



ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

Ф.МОРИАК

ЖИЗНЬ

ЖАНА РАСИНА

Ж.деНЕРВАЛЬ

ИСПОВЕДЬ НИКОЛА

Книга

F. MAURIAC
LA VIE
DE JEAN RACINE

G. DE NERVAL
LES CONFIDENCES
DE NICOLAS

A. DE VIGNY
STELLO
OU LES DIABLES BLEUS

Ф. МОРИАК
ЖИЗНЬ
ЖАНА РАСИНА

Ж. де НЕРВАЛЬ
ИСПОВЕДЬ
НИКОЛА

А. де ВИНЬИ
СТЕЛЛО,
или
СИНИЕ ДЕМОНЫ

ББК 84.4 Фр
М 79

Mauriac F.
La Vie de Jean Racine.
Plon, 1928

Nerval G. de.
Les Confidences de Nicolas // Nerval G. de. Les Illuminés.
V. Lecour, 1852

Vigny A. de.
Les Consultations du Docteur-Noir. Stello ou les Diables bleus.
Gosselin, 1832

Перевод с французского
О. Э. Гринберг, И. И. Кузнецовой, В. А. Мильчиной

Вступительная статья
В. А. Мильчиной

Художник
В. В. Ситников

М $\frac{4703000000-003}{002(01)-88}$ 66—88
ISBN 5—212—00071—8

УРОКИ ТРЕХ РОМАНОВ

Немногие крупные французские писатели XIX и XX веков питали склонность к биографическому жанру, мало кто из них оставил художественные жизнеописания своих прославленных предшественников. «Жизнь Жана Расина» и «Исповедь Николая», вошедшие в предлагаемый читателю сборник, — исключение из этого правила. Перед нами романы о великом французском драматурге XVII века и знаменитом прозаике века XVIII, написанные авторами, чье творчество можно смело причислить к «золотому фонду» французской литературы XIX—XX веков.

Романы в сборнике расположены по «старшинству» героев, а не авторов, поэтому сочинителя XIX века опережает романист, живший веком позже.

Франсуа Мориак (1885—1970) — один из крупнейших мастеров французского психологического романа XX столетия, лауреат Нобелевской премии 1952 года, видный публицист, во время второй мировой войны борющийся своим пером против фашизма (его цикл очерков «Черная тетрадь» был выпущен в 1943 году подпольным издательством «Минюи»).

Главная тема творчества Мориака — столкновение плотских страстей и религиозных исканий. Вышедшая в 1928 году книга «Жизнь Жана Расина» на первый взгляд стоит особняком в творчестве писателя, чьи романы, пьесы, публицистические статьи посвящены преимущественно современности.

Между тем, описывая жизнь великого драматурга XVII столетия, Мориак исследовал в художественной биографии те же явления, что и в «современных» романах, где действуют вымышленные герои. История жизни Расина — это история напряженной борьбы страстной, переменчивой природы против сурового, аскетического, пожалуй, даже ханжеского религиозного воспитания. Жан Расин близок самому Мориаку, писавшему о своем творчестве: «Я не наблюдаю, не описываю — я вспоминаю; вспоминаю узкий мирок моего набожного, тревожного, замкнутого детства». Расин близок

Мориаку и как писатель, показавший в трагическом свете все перипетии безнадежной, беспощадной любви, и как человек, которому пришлось делать выбор между светской жизнью и жизнью, посвященной богу, между страстями и покоем. Уже первые критики «Жизни Жана Расина» заметили, что образ великого драматурга в романе имеет немало общего с самим Мориаком. Впрочем, сходство это ничуть не искажает облик Расина, напротив, именно благодаря духовному родству с героем Мориак смог написать книгу, где Расин — царедворец, королевский историограф, набожный христианин, примерный семьянин и Расин — автор «Федры» и «Гофолии» сливаются в одну сложную, но цельную фигуру; между прочим, это выгодно отличает книгу Мориака от других жизнеописаний Расина.

Роман Мориака знакомит нас не только с жизнью крупнейшего французского драматурга XVII века, но и с литературным бытом этой своеобразной эпохи, с тогдашними представлениями о призвании писателя и о месте, которое отведено ему в обществе.

Расин был воспитан в монастыре Пор-Руаяль, где сформировался янсенизм — религиозное течение во французском католицизме, для идеологов которого характерно сочетание высокой моральной ответственности с фанатической сектантской узостью. Суровые наставники Расина осуждали всякую «светскую» словесность, и в первую очередь драматургию; сочинителей пьес, да и вообще любых сочинителей, они именовали развратителями. В молодости Расин гневно опроверг эти обвинения в язвительном «Письме автору „Мнимых ересей"», а под конец жизни согласился с ними и стал поучать своего сына Жана Батиста точно так же, как когда-то поучали его самого «господа из Пор-Руаяля». Мориак видит в этом проблематику глубоко современную; он помнит, что сходные обвинения предъявляются писателям и спустя три столетия после выхода памфлета Расина, и «примеряет» аргументы Расина к спорам XX века.

Борьба с янсенистскими моралистами — не единственная трудность, встававшая на пути Расина. Великий драматург жил в эпоху, когда литература еще не стала профессией, когда сочинитель не мог заработать себе на жизнь только писательским трудом и должен был искать доходное место, вымаливать пенсии и награды. В XVII веке такое искательство было в порядке вещей, и мориаковский Расин ничуть не стесняется того, что променял театр на должность королевского историографа, а Мориак ничуть его за это не упрекает. Отношение Мориака к избранному им герою вообще отличается чрезвычайной трезвостью и разумностью. Он не идеализирует ни Расина-царедворца, ни Расина-янсениста, он не закрывает глаза ни на безграничное низкопоклонство Расина перед

королем, ни на его излишнюю доверчивость, он сознает, насколько прагматическим было обращение Расина к религии, и помнит об опасностях, которыми грозит таланту безоговорочное подчинение «господам из Пор-Руаяля». Однако Мориак помнит, что на чашу весов нужно положить не только «бытовое поведение» писателя, его льстивые речи, обращенные к королю, его дерзости, адресованные наставникам из Пор-Руаяля, его ханжеские советы сыну, — но и его страстность, его жизненную и творческую смелость, его благородную верность гонимым янсенистам, его преданность семье. И даже в отречении Расина от литературы Мориак находит глубокий смысл, видит в нем не предательство, а проявление высшей мудрости. Если старший сын Расина Жан Батист «зарыл талант в землю», решил в угоду религиозным наставникам ничего не писать, чтобы наверняка не согрешить, то Расин после «Федры» порвал с театром и вообще с литературой, потому что не желал перепевать себя, эксплуатировать свои прошлые достижения, — и это лишний раз доказывает, как серьезно относился он к своему дару.

* * *

Жерар де Нерваль (настоящая фамилия — Лабрюни; 1808—1855), автор романа «Исповедь Никола», — писатель своеобразной литературной судьбы. Нельзя сказать, чтобы при жизни Нерваль не был признан современниками; его охотно печатали, однако в середине XIX века он был всего лишь «одним из многих» и даже ближайшие друзья-литераторы смотрели на него не с таким восхищением, с каким смотрят французские исследователи нашего столетия. Время ничего не отняло у Нерваля, но, напротив, сообщило его творчеству большую глубину и значительность *. Только в XX веке стало ясно, как многое он предвидел, как много в его книгах тонких психологических наблюдений, проницательность которых можно в полной мере оценить лишь теперь: достаточно сказать, что автор «Дочерей огня» по праву считается одним из предшественников Марселя Пруста.

В цикле очерков «Октябрьские ночи» (1852) повествователь — «альтер-эго» самого Нерваля — видит во сне синклит литературных ретроградов, которые судят его за три преступления: «фантазии, реализм и эссеизм». Нерваль очень точно определил здесь главные особенности своей писательской манеры: ему нра-

* В последние годы с творчеством Нерваля смогли познакомиться и русские читатели: вышли из печати его сборники «Избранное» (М.: Искусство, 1984) и «Дочери огня» (Л.: Худ. лит., 1985). Вторая из этих книг открывается обстоятельной статьей Н. А. Жирмунской, дающей полное и точное представление о творческом пути Нерваля.

вилось писать, отталкиваясь от подлинных событий, рассказывать о своих непридуманных странствиях по ночному Парижу и о жизни литературной богемы (это и есть в его понимании реализм, чуждающийся традиционных мелодраматических остросюжетных завязок и развязок). Однако во всяком, пусть даже самом документальном, описании у Нерваля всегда присутствуют личность писателя, его пристрастия, его тонкий, изящный юмор, его лиризм (это и есть «эссеизм»), а с ними непременно входит в повествование стихия «фантазий» — легенды, народные поверья, мечты. Таков Нерваль во всех своих главных произведениях: в книге «Путешествие на Восток» (1846—1851), в сборнике повестей «Дочери огня» (1854), в неоконченной повести «Аврелия» (1855) — страшной, но удивительно поэтичной хронике видений писателя, страдавшего в конце жизни тяжелым нервным заболеванием. Таков он и в сборнике «Ясновидцы» (1852), откуда взят роман «Исповедь Никола» — жизнеописание Никола Ретифа де Ла Бретонна (1734—1806), романиста, драматурга, философа и издателя, личности талантливой, яркой и даже эксцентрической.

Для этого романа, как и для всего сборника «Ясновидцы», характерно и еще одно очень «нервалевское» свойство — в нем смешались жизненные и книжные впечатления, или, как выразился один из исследователей творчества Нерваля, «слились воедино бьющееся в груди сердце и пожелтевшие страницы книг». Нерваль, сказавший в очерке «О книгопечатании» (1850): «Никто ничего не изобретает — все мы лишь припоминаем», — был великим книгоцелем, знатоком редких, странных, полузабытых книг. Книжная, литературная основа особенно хорошо различима в «Исповеди Никола», главным источником которой были автобиографические произведения Никола Ретифа де Ла Бретонна — гигантские по понятиям XX века шестнадцатитомные «Мемуары господина Никола» и пятитомный цикл пьес «Драма жизни». В отличие от Расина, повседневную жизнь которого приходится угадывать, домысливать, восстанавливать по крупицам, Ретиф де Ла Бретонн, «Бальзак XVIII столетия»*, нарисовавший в своих многочисленных романах удивительную по полноте и красочности картину французской действительности, был писателем послеруссоистской эпохи, когда стало принято много говорить и писать о себе; в названных книгах жизненный и творческий путь Ретифа представлен если и не с исчерпывающей точностью (кое-что он видоизменял, кое-что опускал), то, во всяком случае, с полнотой, о которой любой биограф может только мечтать. Нерваль остается верен свидетельствам своего героя. И тем не менее рассказывает

* Так назвал Ретифа французский издатель XIX в. Ф. Бюло.

он не только о нем, но и о себе. Целомудренный фантазер и лаконичный стилист, Нерваль сумел разглядеть родственную душу в Ретифе де Ла Бретонне — многословном авторе двухсот томов, герое множества фривольных походов.

Не случайно Нерваль начинает повествование не с рождения героя, как это было бы естественно в традиционном биографическом романе, а с эпизода, на который никто из читателей объемистых мемуаров Ретифа, пожалуй, не обратил бы особого внимания и я, — с истории влюбленности двадцатипятилетнего наборщика в красавицу-актрису. Это — история самого Нерваля, вся жизнь которого прошла под знаком безнадежной любви к актрисе Женни Колон (ум. 1842); однако если Никола, добившийся в конце концов благосклонности актрисы, довольно скоро забыл ее, то Нерваль хранил верность «театральной» любви до конца дней. Другая выразительная деталь: Ретиф у Нерваля возводит свой род — полусуштя, полусерьезно — к римскому императору Пертинаксу, а Жерар Лабрюни, взявший себе псевдоним по названию поместья своего прадеда, восходившему к имени римского императора Нервы, тоже сочинил себе фантастическую родословную, записав в число своих предков даже аквитанских герцогов.

Есть и другие совпадения. Так, Ретиф де Ла Бретонн был профессиональным типографом: прежде чем начать писать, он много лет работал наборщиком, а затем сам набирал свои произведения. Нерваль же не только много размышлял над образом Фауста, которому народные легенды приписывают изобретение книгопечатания, но и сам сделал важное открытие в этой области: в начале 1845 года он получил патент на изобретение стереографа, опередив на четыре десятка лет создателя линотипа.

Совпадения показательны, но куда важнее близость духовного мира Нерваля и Ретифа. Ретифовская теория сходства между несколькими его возлюбленными (одно из следствий его веры в переселение душ, близкой также и Нервалю) с таким же основанием может быть названа и нервалевской: она лежит в основе едва ли не всех повестей сборника «Дочери огня». Так, в повести «Сильвия» герой-рассказчик, влюбленный в актрису, внезапно осознает, что причина этой влюбленности — сходство актрисы с молодой монахиней, которую он знал в юности (повесть начинается, как и «Исповедь Никола», с описания чувств зрителя, влюбленного в актрису, — совпадения двух текстов едва ли не дословные).

В романе Нерваля перед нами уже не XVII, а XVIII столетие — совсем другая эпоха, другой этап развития французской культуры. Изменилось представление о месте писателя в обществе. Герой Нерваля — сочинитель-профессионал, который пишет без

устали, поистине день и ночь; литература для него — не только высокое призвание, но и способ заработать хлеб насущный. Между прочим, таким был не только Ретиф де Ла Бретонн, но и сам Нерваль. Более того, для Нерваля эта деталь биографии Ретифа представляла особенный интерес; он не раз признавался друзьям, что страшится, как бы его душевное заболевание не отразилось на способности сочинять, не привело к творческому бессилию; в истории своего духовного «двойника», не оставлявшего сочинительство до самых последних дней жизни, несмотря на старость, бедность и болезни, Нерваль черпал моральную поддержку, убежденность, что и для него не все потеряно в литературе.

Если в эпоху Расина многие были склонны видеть в сочинителях «развратителей», врагов честных людей, то в эпоху Ретифа де Ла Бретонна писатель, как справедливо замечает Нерваль, стал «богом» публики, ее кумиром, властителем ее дум. Это относится не только к гигантам французской литературы XVIII столетия — Вольтеру и Жан-Жаку Руссо, но и к писателям более скромных дарований, и в частности к Ретифу, не случайно получившему прозвище «Жан-Жак для бедных». Современницы восхищались романами и рассказами Ретифа, написанными «божественным языком», и утверждали, что читать их равнодушно могут только «ледяные сердца». Ретиф и сам был крайне высокого мнения о себе и своей миссии: он считал себя философом, способным дать объяснение всем явлениям земной и небесной жизни (отсюда его космогонические теории); он сознался в «Мемуарах» во многих своих неблагоприятных поступках, ибо был убежден, что таким образом приносит читателям огромную пользу (учит их поступать иначе). Более того, Ретиф считал себе вправе вмешиваться в окружающую жизнь самым непосредственным образом: бродя по ночному Парижу, он не пропускал ни одного уличного происшествия, стремясь помочь правым и покарать виноватых.

Ретиф де Ла Бретонн жил в предреволюционную эпоху: в эту пору многие старые установления были накануне гибели, рождалось новое отношение к миру. Нервалю тоже было хорошо знакомо такое состояние, когда старая вера уже скомпрометировала себя, а новая еще не сложилась окончательно. В лице Ретифа он показывает человека, который стремится во что бы то ни стало осмыслить мир и собственное место в нем, подвести «философскую базу» и под свои добрые дела, и под свои проступки. Нерваль сознает, что философия эта во многом смешна, наивна, нелепа, что создатель ее далеко не всегда был на высоте; он не снимает с него вины, но помнит о воспитавшей героя эпохе и понимает, что «смутное» время, когда на поверхность выходят «неведомые материи, таинственные субстраты, уродливые создания», не могло

выпестовать другого философа, другого литератора. Помнит он и о том, что Никола оплатил все свои житейские и философские грехи подлинными страданиями и подлинным сочувствием к людям.

* * *

«Стелло» Альфреда де Виньи, третий роман, включенный в сборник, не содержит биографий писателей в полном смысле слова. Здесь представлены эпизоды из жизни трех литераторов, каждый из которых изображен в кульминационный момент своей жизни, момент, едва ли не исчерпывающий всю биографию. Все три героя погибают на заре юности, и Виньи интересуется не столько их жизненный путь, сколько их легендарный облик, мученический ореол, окружающий их.

Чтобы понять смысл «Стелло», нужно познакомиться с жизненным путем и убеждениями его автора.

Альфред де Виньи (1797—1863) родился в аристократической семье, которую Великая французская революция лишила богатств и привилегий. Семейные традиции предписывали Виньи приветствовать династию Бурбонов, возвратившуюся на французский престол в 1815 году, и верно служить ей. Однако французский исследователь П. Ж. Кастекс совершенно справедливо назвал писателя «консерватором не по убеждению, а из презрения». После Июльской революции, посадившей на французский трон монарха-буржуа Луи Филиппа, Виньи довольно долго хранил верность Бурбонам — но не потому, что был убежден в их дарованном «свыше» праве на престол или в особом благородстве их политики, — а потому, что не без оснований полагал: новый политический строй ничуть не лучше старого. У буржуазии, писал Виньи, под видимостью любви к свободе прячется ненависть к аристократии и желание занять ее место возле буржуазного трона. Скептик и агностик в политике, как и в религии, Виньи был убежден, что любой образ правления нехорош, так что в этой области человеку остается лишь выбирать «меньшее из зол», а таковым является правительство, которое «меньше всего напоминает о себе, привлекает меньше всего внимания и требует меньше всего денег».

Впрочем, Виньи далеко не сразу смирился с тем, что лично ему практическая политическая деятельность заказана. В конце 1820—1830-х годов он внимательно присматривается к новейшим идеологическим и политическим течениям во французском обществе. В 1831 году он сотрудничает в либеральной католической газете «Авенир» («Будущее»); тогда же происходит его кратковременное сближение с сенсимонистами, следы которого различимы в «Стелло», где Виньи — чаще всего, впрочем, с ироническим

«остранением» — употребляет некоторые сенсимонистские термины. То был период, когда Виньи верил в возможность создания новой аристократии — интеллектуальной элиты, которая будет отличаться от остальных людей не происхождением и капиталом, а духовным обликом и умственным богатством. Христианский социализм, сенсимонизм некоторое время казались Альфреду де Виньи реальными воплощениями этой мечты, однако довольно скоро наступило разочарование, и уже в 1832 году, работая над «Стелло», Виньи исходил из того, что интеллектуальным и моральным провозвестником нового является не политик, а поэт, причем этот новый «мессия» настолько опережает общество, что конфликт его с окружающими неизбежен. В главе 38 «Стелло» Виньи резко возражает тем, кто убежден в бесполезности искусства; сам он видел свой идеал в поэте-пастыре, указывающем обществу путь вперед. Но этот-то идеал Виньи и обусловил трагизм его произведений, посвященных судьбе поэта, — ведь если общество не может понять опередившего его творца, то судьба этого творца предрешена.

Поэту, полагал Виньи, неуютно жить в любом государстве, при любом правительстве. «Поэты, люди с душой и сердцем, высшие, благородные люди — это парии общества, — писал он в 1831 году. — Всякое правительство ненавидит их, поскольку они — его судьи, предугадывающие мнение потомков». Парии общества, по Виньи, — это то меньшинство, которое ставит превыше всего не собственную выгоду, а долг и честь («единственную основу поведения современного человека, которая заменяет ему религию») — пусть даже в ущерб своим интересам. Мысль Виньи о поэтах-париях получила большую известность, поскольку писатель включил ее в свою драму «Чаттертон» (переработка второго эпизода «Стелло»), поставленную в 1835 году и имевшую огромный успех.

В основу романа «Стелло» положен спор энтузиаста-поэта, чье сердце наделено «всемирной отзывчивостью» и чувствительностью к чужим страданиям, и скептика Черного Доктора, сознающего, как плохо такой поэтический энтузиазм приспособлен к жестокостям реальной жизни, — спор, который постоянно шел в душе самого Виньи: «Холодная строгость и мрачность — не прирожденные мои свойства, — писал он в дневнике. — Они появились в моем характере под влиянием окружающей действительности <...> Стелло затаился, и душой моей овладел Черный Доктор».

Разочаровавшись в реальной политической деятельности, убедившись в иллюзорности надежд и на Бурбонов, и на Луи Филиппа (ни одна монархия не делала ставку на поэтов, не прислу-

шивалась к их советам, не ставила их к кормилу власти), Виньи попытался с помощью романа «Стелло» излечиться от иллюзий, уверить себя, что миссия поэта выше должности политического деятеля и что поэт призван влиять на мир только с помощью своих книг, оставаясь в стороне от сиюминутных политических дразг.

Свой роман Виньи как раз и посвящает разграничению должных и недолжных форм вмешательства поэта в общественную жизнь. Три истории, рассказанные Черным Доктором, — это как бы три предисловия к финальным рецептам, где дозируется точная порция этого вмешательства: «Нейтралитет одинокого мыслителя — это нейтралитет вооруженный...»

В предисловии к предыдущему своему прозаическому произведению, историческому роману «Сен-Мар» (1826), Виньи писал: «Правда искусства зиждется на правдивых наблюдениях над человеческой природой, а не на достоверных фактах. Имена персонажей не имеют к правде никакого отношения. Главное — идея. Имя — не более, чем пример и подтверждение идеи». Сходным образом сформулировал он свое кредо в предисловии к драме «Чаттертон»: «Мне важен был только Поэт; Чаттертон — всего лишь имя, и я намеренно пренебрег точными обстоятельствами его жизни, изобразив лишь то, что делает его судьбу горестным примером благородного несчастья».

Виньи изменяет обстоятельства жизни и смерти своих героев. Подлинный Никола Жозеф Лоран Жильбер (1750—1780) умер не от нищеты, а от травмы черепа (отправившись однажды на прогулку, он неудачно упал с лошади), при жизни же получал четыре пенсии, в том числе и из королевской казны; образ, который возникает под пером Виньи, соответствует не столько подлинному лицу Жильбера, сколько литературной «маске», восходящей к его знаменитому стихотворению «Несчастный поэт».

Настоящий Томас Чаттертон (1752—1770), талантливый поэт, последовав примеру Д. Макферсона, приписавшего «Поэмы Оссиана» шотландскому барду III века, выдал свои намеренно архаизированные стихи за сочинения монаха XV века Раули, однако подделку раскрыли; тогда Чаттертон попытался наняться врачом на торговое судно, но и здесь потерпел неудачу, после чего покончил с собой, причем причиной добровольного ухода из жизни было, по-видимому, отнюдь не только отсутствие признания со стороны общества или недостаток средств, но — о чем Виньи умалчивает — гордый, упрямый, неуживчивый характер, побуждавший юношу остроумно и зло высмеивать тех людей, которые относились к нему с уважением и симпатией.

Наконец, исторический Андре Шенье (1762—1794) погиб вовсе не потому, что власти видели в нем человека, опасного для

общества, и тем более не потому, что его лаврам завидовал Робеспьер; Шенье, один из талантливейших французских лириков, поэт, сумевший порвать с жеманством мадригалов XVIII столетия и выразить в своих идиллиях не букву, не форму, а самый дух античности, поэт, судьба и творчество которого вызвали сочувственный и восхищенный интерес Пушкина, при жизни был совершенно неизвестен и, кроме близких друзей, мало кто слышал о его стихах *; арестован он был как подозрительное лицо в доме своего друга-роялиста, которого зашел навестить, а казнен не за свои антиякобинские высказывания, а по недоразумению: его перепутали с младшим братом, Совером Шенье, замешанным в роялистский заговор заключенных.

Сквозь призму легенды изображены в романе Виньи не только судьбы героев, но и сами исторические события. Король Франции в первом эпизоде «Стелло» — символ сладострастной и циничной французской монархии в целом, а не реальный Людовик XV, который, кстати, умер на шесть лет раньше Жильбера и, следовательно, никак не мог выслушивать рассказ о предсмертной болезни поэта. Английский лорд-мэр в романе — воплощение буржуазного здравого смысла и жестокой прямолинейности, меж тем как в жизни лорд Бекфорд был культурным, образованным человеком, Чаттертона использовал не как слугу, а как секретаря, что, между прочим, реального поэта, в отличие от героя Виньи, ничуть не шокировало (характерно, что в драме Виньи «Чаттертон» лорд-мэр вообще отсутствует, а функции буржуа — гонителя романтического поэта — переданы вымышленному Джону Беллу).

В изображении революции, погубившей Андре Шенье, Виньи также не стремится к полноте и объективности; он показывает, говоря словами Пушкина, «гадкую фарсу в огромной драме» (Пушкин назвал так крики толпы: «Аристократов на фонарь!»). Виньи понимал под террором власть в чистом виде, власть, которая стремится стать абсолютной и потому расходится с народом (не случайно в конце романа народ в лице канонира Блеро выступает против Робеспьера; Виньи здесь разводит якобинский Конвент и революционный народ по разные стороны баррикады; сам он — на стороне народа, устами которого говорит история).

Главным критерием истинности и справедливости взглядов того или иного политического деятеля Виньи считал отношение к человеческой жизни («Мне больше нравится Марат, чем Шарлотта

* Как сказал полвека спустя французский поэт Леконт де Лиль, «когда Андре шел на эшафот, только он один знал, что Франция теряет гения». Рукописи Андре Шенье хранились у его брата Мари Жозефа, который, впрочем, не пытался их обнародовать, и были впервые опубликованы Анри де Латушем лишь в 1819 г.

Корде, — писал он в дневнике. — В момент убийства его душа бесспорно была в тысячу раз чище перед богом, чем душа Шарлотты. Его сердце было преисполнено милосердия. Слезы жалости стояли в его утомленных бессонными ночами глазах. Он только что прочел жалобы нескольких несчастных семейств»). Исторический материал Виньи подчинял главной задаче: осудить политических деятелей, не щающих человеческой жизни, показать, насколько гуманнее и мудрее их поэты. Таким образом он выполнял ту миссию, о которой ведет речь Черный Доктор в его романе: на время отменив «нейтралитет» поэта, он произносил «необходимое слово», выражающее его общественную позицию.

* * *

Русский поэт Батюшков предлагал создать науку о жизни стихотворца — «пиитическую диэтику», которая предписала бы поэту «особенный образ жизни». Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что Мориак, Нерваль и Виньи своими романами внесли в эту науку весомый вклад.

Во всех трех романах речь идет об уроках, которые должен извлечь читатель из биографий героев-писателей. «Жизнь Жана Расина», «Исповедь Никола» и «Стелло» напоминают о том, какая бесценная вещь писательский дар, как тщательно следует его беречь, как умно использовать. И этот урок — пожалуй, главное, что роднит три романа.

В. А. Мильчина

«Расин — Рафаэль драмы. Ему присущи все достоинства этого великого мастера, в котором восхищение древней красотой сливалось с религиозным чувством, впрочем, менее сильным и менее простодушным, чем в средневековье, — выразительность, четкость рисунка, яркий, но одновременно и строгий колорит».

Ф. Р. де Ламенне

«Не читали ли вы случайно поразительное сочинение Ретифа «Разоблаченное человеческое сердце»? Никогда не встречал я столь страстной и чувственной натуры. Невозможно не проникнуться сочувствием к множеству персонажей, прежде всего женщин, которые проходят перед глазами автора, и не заинтересоваться выразительными картинами, столь живо рисующими нравы и повадки простых французов... Подобная книга поистине бесценна».

Ф. Шиллер — И. Гете, 2 января 1798 г.

«Прискорбно, что жизнь Жильбера была столь коротка и несчастлива: успехи, которых он достиг в литературе за несколько лет весьма беспокойной жизни, позволяют думать, что однажды он сделался бы одним из величайших лириков и первым сатириком на французском Парнасе».

Ш. Нодье

«Чаттертон — самый совершенный поэт из всех, писавших по-английски».

Дж. Китс

«Революция отняла у нас человека, обладавшего редким даром сочинения эклог, господина Андре Шенье. Мы видели рукописный сборник его идиллий, где есть вещи, достойные Феокрита. Это объясняет слова несчастного молодого человека на эшафоте; он сказал, стукнув себя по лбу: «Умереть! У меня ведь там что-то было!» В миг смерти муза открыла ему его талант».

Ф. Р. де Шатобриан

Ф. МОРИАК
ЖИЗНЬ
ЖАНА РАСИНА

*В жизни каждого человека
есть высокие вершины
и потаенные расщелины.*

Плиний Младший

На склоне лет Расин не мог спокойно слышать, как его сын Жан Батист без должной почтительности высказывается о великих авторах древности. Однажды, когда юнец до того забылся, что назвал Цицерона трусом, отец написал ему: «Советую Вам никогда не отзываться с пренебрежением о человеке, столь достойном уважения потомков». Расин любил повторять слова Квинтилиана: «Выносить суждения о таких людях нужно с величайшим почтением и осмотрительностью».

Хотели бы последовать этому правилу и мы. Но Жан Расин не имеет ничего общего с теми безупречными гениями, в чьем обществе не рискуешь утратить самообладание. Подобно многим своим знаменитым современникам, он прежде всего — человек, подвластный страстям; к тому же, в его эпоху не было принято много говорить о себе, а писателям еще не пришло в голову, что их частная жизнь может в один прекрасный день заинтересовать публику.

Наконец, на наше несчастье, он оставил двух сыновей, которые заботливо уничтожили все, что могло бы замутить тот высоконравственный образ их отца, который они хотели завещать грядущим векам. Мертвец, которому мы закрываем глаза и подвязываем носовым платком челюсть, покойник, в чьи скрещенные на груди руки мы вкладываем четки, не похож на пылкого человека, которого мы знали много лет. Таким покойником предстает Жан Расин в воспоминаниях сына, благочестивого пьяницы Луи Расина. Отсюда то раздражение, а подчас и дерзость, которых немало в нашей книге, — ведь нами двигала пристрастность любви.

Самое большее, что мы можем сделать для умерших, — не превращать их в статуи непорочных святых, ибо это значило бы умертвить их во второй раз. Самое лучшее — приблизить их к нам, свести с пьедестала на землю.

Тем не менее мы не стали писать о Жане Расине как о живом человеке, не стали делать из него *героя романа*. Если бы знаменитые люди, которых принято сегодня выводить в романах, могли присутствовать при своем воскрешении, они с изумлением воззрились бы на героев, носящих их имена, и вряд ли узнали бы себя. Напрасно авторы стали бы ссылаться на тщательно изученные документы; люди прошлого опровергли бы все вплоть до собственных слов. Письма и дневники великого человека нередко сбивают биографа с толку. Письма, которые пишутся обычно без мысли о посмертной публикации, всегда обращены к адресату; пишущий заботится не о том, чтобы создать верное представление о себе, — он хочет нравиться и старается выглядеть таким, каким его хотят видеть. Любой, даже самый интимный дневник — литературное произведение, подтасовка фактов, ложь. Из нашего внутреннего хаоса мы извлекаем гармоническое создание и любимся им. Если и есть на свете человек, который ведет дневник для собственного удовольствия, а не для грядущих веков (хотя мы сильно сомневаемся, что таковой существует), он тоже совершает подлог, только обманывает не других, а самого себя. Важнейшая в его жизни любовная связь не попадает на страницы дневника; он утаивает именно то, что лучше всего раскрыло бы нам его душу.

Возможно, наши правнуки, которые займутся жизнеописанием нынешних знаменитостей, будут счастливее нас, поскольку люди нашего поколения, как всякий знает, отличаются исключительной честностью по отношению к самим себе. Впрочем, скорее всего, и правнукам придется нелегко; ведь сказать о себе все — значит не сказать ничего; биографы 2000 года будут безуспешно биться над изображением героев, влюбленных в собственную сложность. Мы весьма сомневаемся, что они смогут нарисовать верный и живой портрет своих прадедов, буквально сотканых из противоречий.

Но главная причина, по которой мы не последуем за модой и не станем писать романизированную биографию, — причина столь существенная, что, пожалуй, не было нужды ссылаться на другие, — состоит в том, что для создания такой биографии требуется особый дар, которого мы лишены. Романист, привыкший сам рождать живые существа и нарекать им имена, теряется перед героем, появившимся на свет без его помощи, перед человеком, которого сотворил не он, писатель, а Господь. Можно, конечно, взять некото-

рые известные эпизоды реальной биографии и вышивать по этой канве — вообразим, например, разговор Расина с самим собой ночью, в королевской опочивальне, где поэту приходится коротать время, ибо Его Величество король страдает бессонницей, а Расин — лучший чтец во всей Франции. Прислушиваясь к августейшему храпу, который в любую минуту может прерваться, поэт вспоминает свое детство в глухой провинции, Пор-Руаяль, события, которые привели его, прошедшего земную жизнь до половины, в роскошный альков, где он вынужден бодрствовать в столь причудливой обстановке, среди золота и сквозняков. Это был бы прекрасный монолог, но нам недостает фантазии и святотатственной дерзости, чтобы написать его.

Что же касается биографии Расина, основные этапы которой общеизвестны, тут нам оставалось только скромно задавать вопросы и отвечать на них, не претендуя на сенсационное раскрытие каких бы то ни было тайн. Жизнь человеческая всегда неповторима, всегда единственна в своем роде, но писатель избирает себе одного героя из тысячи, потому что чувствует свое с ним родство: наилучший путь к познанию человека, жившего несколько веков назад, проходит через нашу собственную душу.

I

В 1649 году десятилетний мальчик отправился из Ферте-Милона, где учился в школе у мессира Рено и пел в хоре церкви Богоматери, в Бове — там был коллеж, пользовавшийся доброй славой. Дойдя до Крепи-ан-Валуа, он повернул на Мондидье и заночевал в Клермоне. Мальчика звали Жан Расин, был он сиротой. Когда ему исполнился год, его мать, Жанна Сконен, умерла в родах, подарив ему сестренку Мари. Отец его, регистратор соляного амбара в Ферте-Милоне и окружной прокурор, в 1642 году женился вторым браком на Мадлене Воль, а год спустя, 6 февраля 1643 года, тоже скончался. Девочку взяли к себе Сконены, а мальчика — Расин-дед, смотритель соляного амбара, и бабка, Мари Демулен.

Всякий биограф, желающий понять своего героя, прежде всего стремится выяснить, что у него были за предки. Это естественно: самая своеобразная личность — всего лишь звено родовой цепи. Чтобы проникнуть в тайну всех противоречий и неожиданностей одного-единственного ха-

рактера, понадобилось бы подняться по этой реке с бесчисленными притоками к самым ее верховьям. Но это нам не под силу, даже когда речь идет о нас самих. Кто не погружался в изучение своей родословной, кто не зачитывался старыми письмами, надеясь найти в них ключ к собственной тайне? Увы, напрасно. Что же говорить о тайне человека, который уже больше двух столетий спит в могиле? Так что мы не поддадимся соблазну объяснить характер Расина смешением в нем крови необузданных, грубых Сконенов, потомков франков или скандинавов, с кровью набожных Расинов, выходцев из латинского, церковного мира. Семейный герб Расинов украшала «гадкая крыса», выдававшая не слишком знатное происхождение, о котором Жан Расин не любил распространяться. Но кроме крысы, там был изображен и пророческий лебедь. Герб этот получил прапрадед Расина. Род Сконенов более славен: дед Пьер был королевским прокурором лесного ведомства и председателем соляного амбара. Однако нрав у Сконенов был грозный, и Расин называет их всех франкскими мужланами: «Кроме Пьера, который, впрочем, тоже недалеко от них ушел».

Мы не станем также уподобляться всем предыдущим биографам Расина и утруждать себя поисками в его стиле и гении просвещенной сдержанности, изящества и чувства меры, характерных для уроженцев Валуа, — оставим это авторам учебников и научных трудов по французской литературе.

Важнее другое — атмосфера, в которой Расин рос. Здесь все до мелочей было проникнуто суровым духом христианства. Мы знаем, что такое с самого раннего детства жить в постоянном страхе перед Господом, чей взор преследует нас повсюду, даже в снах. В чьей благочестивой душе не живут воспоминания детства, упоительные, но вместе и страшные? Янсенизм, отнимающий у человека все, чтобы ничем не поколебать могущества Предвечного, и приучающий юное существо жить трепеща, оставил в глуши наших провинций гораздо больший след, чем многие думают. Как ни сладостны воспоминания о первом причастии, не будем забывать, что песнопение наше начиналось в тот день словами: «Грозный ковчег...»

За год до рождения Жана Расина в его родном городе, может быть, даже в том самом доме, где был целомудренно зачат будущий поэт, нашли приют гонимые янсенисты. Господин де Сен-Сиран только что был заключен в Венсеннский замок. Отшельники из Пор-Руаяля укрылись в

Ферте-Милоне: Лансло поселился в семье одного из своих учеников, Никола Витара, кузена Расина, которому в ту пору было четырнадцать лет и с которым много позже Жана Расина будет связывать нежная дружба; за Лансло последовали Антуан Леметр и де Серикур. По словам Фонтена, набожные жители городка относились к ученым изгнанникам с таким почтением, что, когда те проходили по улице, горожане, сидевшие на порогах домов, вставали и молча провожали их глазами.

«Отшельники» покинули Ферте-Милон незадолго до рождения поэта. Но Расин наверняка слышал в детстве немало историй о пребывании в городе гонимых святых: «Господа Леметр и де Серикур выходили из дому лишь ради праздничной мессы в церкви монастыря Сен-Лазар. Летом 1639 года они иногда гуляли после ужина в соседнем лесу либо поднимались на гору и там беседовали о Боге. Около девяти они возвращались — шли они друг за другом, перебирая четки и читая молитвы». Тем временем тетка Жана, младшая сестра его отца Аньес Расин приняла постриг в монастыре Пор-Руаяль-де-Шан под именем матери Аньес де Сент-Тэкл. Его бабка Мари Демулен, сестра той самой госпожи Витар, которая приютила гонимых «отшельников», была такой истовой ясенисткой, что, овдовев в 1649 году, переселилась туда к дочери. Мать восьми детей (среди которых были Аньес и отец поэта), она заслужила спокойную старость. Тогда-то десятилетний школяр Жан Расин и отправился в Бове. Сестра его Мари по-прежнему жила у деда Сконена.

О жизни Расина в Бове известно лишь одно: как-то раз он играл с товарищами в войну, воображая себя участником Фронды, и кто-то попал ему камнем в висок, отчего над левой бровью у него на всю жизнь остался шрам. Учеником он был весьма прилежным, свидетельством чему служит найденный в Клермоне экземпляр «Георгик» Вергилия со множеством помет на полях, сделанных его рукой и обличающих недюжинные познания.

Расину было уже шестнадцать, когда в 1655 году он покинул Бове и отправился в Пор-Руаяль к своей бабке (скромной женщине, на которую настоятельница мать Анжелика смотрела свысока) и тетке. Некоторое — очень недолгое — время господин Лансло преподавал ему в Гранже греческий язык; его учителями были также Николь, Антуан Леметр и Амон. Судя по тому, что полвека спустя Расин просил похоронить его у изножья могилы кроткого

господина Амона, Расин любил его больше других. Из всех отшельников ученый врачеватель был самым добрым и умел излечивать не только телесные, но и душевные раны обездоленных. Должно быть, Расин полюбил его, потому что разглядел его нежное сердце и догадался, какие бури бушевали в груди этого беспорочного человека. Господин Амон принимал последний вздох монахинь, которых грозный владыка не допускал к причастию. Он сочинял специально для них небольшие трактаты, утешая несчастных, разлученных друг с другом и лишенных евхаристии. Он учил их воскрешать в памяти прежние причастия: «Кто может разлучить нас с нашим сердцем?» — писал он им. Как мог чувствительный Расин не привязаться к столь кроткому святому отцу?

Тем временем юноша вышел из школьного возраста. К тому же в марте 1656 года школу в Гранже закрыли, а учеников распустили по домам. Жан остался в Пор-Руаяле — но лишь потому, что там жили его родные; нет никаких оснований полагать, что он подчинялся монастырскому уставу и вставал ночью на молитву. Вот он просыпается в одиночестве, вдали от любимых учителей. За стеной слышны голоса дев, которых он называет смертными ангелами. Сердце его открывается сладкой и грозной вере — но дикая природа знаменитой долины и пленительная греческая поэзия сообщают будят дремлющую в его душе страсть, сила которой пока еще неведома ему самому.

Расин поселился в монастыре Пор-Руаяль-де-Шан в том опасном возрасте, когда мальчик превращается в мужчину, — это заставляет нас задуматься над драмой, которую многовековая традиция мешают нам осознать: приверженность к учению, проповедующему презрение к плоти, ненависть к материальному миру, любовь к вещам неосуществимым, — и это в пору, когда пробуждающееся желание инстинктивно, с отчаянным упорством ищет свой предмет. Мы клянемся никогда не забывать о смерти и о ничтожности всего, что не есть Бог, — а сами находимся в том возрасте, когда жизнь кажется безгранично щедрой, а любое желание — осуществимым. В шестнадцать лет драма Страстной недели состоит для многих в контрасте восхитительной, исполненной неги весны и необходимости предаваться размышлениям о Господе, распятом ради нашего спасения. Юноши мечтают обрести совершенство в страданиях в то самое время, когда все в них и вокруг них вопиет о бессмысленности целомудрия. Столкновение весны со смертью

Спасителя — драма всякого религиозного воспитания; не удалось избежать ее и юноше Расину.

Впрочем, отнюдь не все дети, выросшие в религиозных семьях, пережили эту драму. Как ни странно, очень немногие по-настоящему впитывают в себя христианское учение; большинству оно — как с гуся вода. Вся их вера сводится к заученным словам и жестам. Лишь горстка наиболее страстных предана Господу всем сердцем. Изголодавшись по любви, они с жадностью набрасываются на божественную пищу, которую предлагает им религия, — предлагает до того, как у них появится какая-либо иная. И вот, чем сильнее они привязываются к непреходящему, тем глубже ощущают прелесть преходящего: постоянные помыслы о вечном лишь обостряют их чувствительность к сиюминутному. Живя в пустыни, которую вынуждены были покинуть многие из «отшельников», Расин читает Псалтирь, «Теагена и Хариклею», Библию, Софокла, Еврипида, «Исповедь» Блаженного Августина, Вергилия, — он прислушивается и к зову Бога и к зову богов. Как он, наверное, был очарователен, «малыш Расин» (Антуан Леметр так и адресовал одно из своих посланий — «Малышу Расину, в Пор-Руаяль»), способный растрогать даже этих суровых людей: «Любите всегда Вашего папеньку так же, как он любит Вас...» — писал ему Антуан Леметр.

Первые стихи юного поэта написаны во славу Пор-Руаяля, который он величает «священной обителью тишины». Он призывает Музу лишь затем, чтобы поведать о своей любви к Иисусу:

О муза, Господу служи,
Ему во славу песнь сложи...

.....

Здесь благодатный рай процвел,
И непорочность свой престол

 Воздвигла здесь из лилий,

 Чтоб сонмы ангелов земных

 Немолчный плач творили,

Склонясь у алтарей святых *.

Но он помнит и о Софокле, и о том, что солнце — око мира и само одаряет деревья оружием для борьбы с его «обжигающей красотой». Он пишет о том, что в Пор-Руаяльском пруду земля сливается с небом в «дивном хаосе».

* Перевод М. Гринберга.

И хаос этот проникает в его сердце. Он преследует Флору в полях, он умиляется слезам, пролитым Авророй. Греческий и латынь, которым господин Лансло обучает его, дабы он мог разобраться в Священном писании, становятся для него источником поэзии, цель которой — она сама и ничто иное. На полях книг он оставляет пометы, которые обличают снедающий его жар: «Амур — человечнейший из богов». Поневоле вспомнишь тетрадку, в которой юный Бонапарт записал: «Святая Елена, маленький остров».

Пусть Расин и не выучил наизусть огромный роман «Теаген и Хариклея», который, по словам его сына Луи, наставники запрещали ему читать, все равно ясно, что уже в Пор-Руаяле поэт не боялся читать «дурные» книги. Впрочем, строгие учителя проявляли в этом отношении поразительную непоследовательность, так что когда в один прекрасный день злой мальчишка восстал против своих набожных наставников, у него были все основания жестоко посмеяться над ними (в «Письме к автору „Мнимой ереси" и „Духовидцев"»): «А Вы-то сами, с чего это Вы взялись переводить на французский комедии Теренция? Стоило ли отвлекаться от Ваших святых дел ради перевода комедий? Сумей Вы по крайней мере передать их изящество, публика оценила бы Ваши труды. Вы, наверно, скажете, что убрали только некоторые вольные места, но Вы ведь утверждаете, что, скрывая страсти под покровом приличий, мы лишь усугубляем опасность. Вот Вы сами и оказываетесь в числе растлителей».

Господин де Саси, перелагающий псалмы французскими стихами, не в восторге от творений «малыша Расина». Но «малыш Расин» сомневается, что господин де Саси разбирается в красотах такого рода. Он начинает задыхаться в атмосфере покаяний и священной ненависти. Юношеская лихорадка вот-вот охватит его.

Впрочем, хотя наступил 1658 год и день, когда Расин изменит Пор-Руаялю, недалек, пока никто об этом не подозревает. Вдали от мира юноша переводит Диогена Лаэртского, Филона и Евсевия, что не мешает ему сочинять на латыни элегию *Ad Christum* и оттачивать свое мастерство в подражании гимнам из католического требника — в конце жизни он вернется к этим опытам и создаст замечательные духовные песнопения. Кроме того, он шлет Антуану Витару рифмованные хроники, где без тени сочувствия описывает «позор и поражение несчастных августинцев». Все эти споры о благодати, памфлеты, письма, чудеса и

мученики наскучивают юноше, у которого в голове — иные радости, более подобающие его возрасту и темпераменту. Однако это вовсе не означает, что правы авторы, которые изображают молодого Расина хищником, показывающим когти, познающим свою силу и ни в чем не подчиняющимся религии. Нет, на сей раз Луи Расин, вообще-то склонный подтасовывать факты, гораздо ближе к истине: христианская тревога проникла в душу юного, но уже страстного существа, начинающего поэта, жаждущего известности и оваций, мечтающего о любви и славе — обо всем, что порицают и презирают его учителя; эта тревога раз и навсегда вошла ему в кровь.

Конечно, Расин был человеком неистовым, и мы в этом еще убедимся; нам придется признать, что великий поэт не всегда проявлял величие характера, а великий влюбленный не всегда выказывал величие души. Тем не менее удачное выражение Паскаля (которое, быть может, пришло ему в голову в Гранже, когда он сочинял «Письма к провинциалу») — «восхитительная и преступная жизнь в свете» — полностью приложимо к Расину. Какие бы безумства он ни творил, в глубине его души всегда жило сознание, что наслаждения, которым он предается, греховны. Сама ярость его бунта против Пор-Руаяля свидетельствует о том, какая тревога затаилась в его душе; тревога эта была столь сильна, что при первых же жизненных неудачах она вновь и на сей раз целиком овладела этим пылким и слабым сердцем.

II

В октябре 1658 года девятнадцатилетний Жан Расин покидает (несомненно, с глубокой радостью) Пор-Руаяль и поступает в коллеж д'Аркура, где изучает логику. Пор-Руаяль вовсе не отделен от света пропастью — между ними много переходных ступеней, например, дом набожного герцога де Люина, у которого кузен Расина Никола Витар служит управляющим. Порядки там почти монастырские, но все же туда проникает дыхание внешнего мира. Юноша живет там на попечении Никола, который становится его самым близким другом — если не считать аббата Левассера. Впрочем, вполне возможно, что у него были и другие друзья, — зачастую знакомства, имеющие для нас самое большое значение, не оставляют никаких следов. Точности ради скажем так: Никола Витар и аббат Левассер были теми друзьями Расина, которые не уничтожили его писем.

Эти двое, Витар и Левассер, — из числа тех, чьей дружбой дорожит всякий юноша. Никола на пятнадцать лет старше своего кузена; он весьма преуспел в свете, его очень ценят у Люинов; он не отличается особой набожностью, поэтому к нему относятся настороженно, но карьере его не препятствуют. «Малыш Расин» прислушивается к его советам и узнает то, чему не потрудились научить его наставники из Пор-Руаяля; он подчиняется инстинкту, который заставляет подростков искать дружбы людей преуспевающих и подражать им. Впрочем, не будем изображать нашего поэта более корыстным в выборе друзей, чем он был на самом деле, — ведь в том же году он свел дружбу с человеком старше себя на восемнадцать лет, от которого нечего было ждать, кроме приятных бесед, — то был Жан де Лафонтен, чья жена приходилась Расину дальней родственницей; Лафонтен частенько сбегал из Шато-Тьерри и, приехав в Париж, поселялся у своего дяди неподалеку от особняка де Люина, где жил Расин. Он водил своего юного друга в кабачок вместе с неким Пуэнтрелем из Ферте-Милона и Антуаном Пуаньяном.

В аббате Левассере, своем ровеснике, Расин, по всей вероятности, обрел не столько руководителя, сколько наперсника и единомышленника. Этот «маленький аббатик» только и делал, что кропал стихи да влюблялся. Когда тебе двадцать лет, главное, чтобы друг сочувственно внимал рассказам о твоих сердечных делах и восхищался твоими сочинениями. Особенно важно второе; забавно читать, как нежный Расин тревожится о здоровье аббата Левассера — ведь болезнь может помешать тому насладиться «Нимфой Сены»: «Я страшно боюсь, что болезнь привела Вас в дурное расположение духа, и Вы не оцените моей оды».

«Нимфа Сены», сочиненная в честь бракосочетания короля и напечатанная в 1660 году, приводит в восторг Перро и знаменитого Шаплена, которого с ней познакомил Витар. «Прекрасная, очень поэтичная ода, — многие стансы просто превосходны. Если исправить несколько мест, которые я подчеркнул, получится прекрасное произведение» — таков был вердикт маститого поэта.

Тем временем Расин кончает трагедию под названием «Амасия», которая заинтересовала актрису театра Маре мадемуазель Рост, но поставлена все же не была. Другая актриса, мадемуазель де Бошато, предлагает Бургундскому отелю поставить «Влюбленного Овидия». Мы были бы рады считать, что обе поступали так из расположения к Расину,

но из его письма к аббату Левассеру явствует иное: «Только Вы один можете отблагодарить ее, поскольку она сделала все это только ради Вас», — пишет он о мадемуазель Рост. Впрочем, «малыш Расин» тоже не теряется; это видно из письма, которое он прислал Левассеру из Шевреза, где надзирал за рабочими герцога де Люина: «У меня есть развлечение и посерьезнее (кабачка)...» Следующая фраза не окончена и зачеркнута: «Если Вы хотите знать о моих...» — а то, что осталось, наверняка не самое важное: «Я читаю *приключения* Ариосто, да и сам не обхожусь без приключений. Одна дама вчера приняла меня за сержанта. Хотел бы я, чтобы она была так же хороша собой, как Доралиса». В другом месте он хвалит Левассера, который обхаживает «красоточку четырнадцати лет». Из всего этого явствует, что теперь он относится к страстям не так, как его учителя, и запросто рассуждает о том, что приводит «господ из Пор-Руаяля» в ужас. Он со смехом рассказывает о впечатлении, которое произвело на жену Никола Витара письмо Левассера, прочитанное вслух под самым носом у мужа, — как видно, «малыш Расин» находит очень забавным, что один из его закадычных друзей наставляет рога другому.

В душе своей он уже порвал с Пор-Руаялем. Элиаким сбился с пути истинного, и Иодай корит его. Иодай не стал дожидаться, пока дитя согрешит всерьез: достаточно было одного несчастного сонета в честь Мазарини, чтобы на Расина ополчились его тетка Сент-Тэкл и все «господа из Пор-Руаяля». Он пишет Левассеру: «Я было собрался прочесть мою оду старой служанке герцога, дабы утвердиться в своем мнении, но оказалось, что она, как и ее хозяин, янсенистка и может меня выдать, — а если это случится, мне придет конец, ведь я и так каждый день получаю письмо за письмом, вернее сказать, анафему за анафемой, и все из-за моего злополучного сонета».

Именно это и ставят в вину Расину его недоброжелатели. Все кто стараются опровергнуть легенду о мягком, кротком Расине и делают из него вероломного хищника, наперебой обличают его дерзость и неблагодарность по отношению к Пор-Руаялю. В самом деле, лучшего повода для обвинений не найти. Когда господин Массон-Форестье обнаруживает в письме, где Расин журит младшую сестру, живущую у Сконенов, в Ферте-Милоне, тысячу доказательств его исключительной злобности и скаредности, это, на наш взгляд, совершенно несправедливо, а когда в другом месте он обвиняет поэта, будто бы имевшего наглость

вести молодую жену в дом, где прежде жила его любовница Шанмеле, в цинизме и садизме, то это просто смешно. Стоило господину Андре Аллею установить, что Расин никогда не жил в этом доме, как все старания господина Массона-Форестье опорочить поэта пошли прахом. Но что касается Пор-Руаяля, тут поведение Расина поначалу и вправду кажется непростительным.

8 мая 1661 года господин Сенглен, духовник Паскаля, спасаясь от грозившей ему ссылки в Бретань, укрылся в предместье Сен-Марсо у госпожи Витар, матери Никола и двоюродной бабки Расина. Юноша сообщает об этом Левассеру в досадно неуважительном тоне: «Свергнутый с трона Блаженного Августина, он мудро предпочел удалиться сам, дабы избежать малоприятной поездки в Кемпе согласно королевскому приказу. Свято место пусто не бывает... Вся консистория раскололась на два лагеря при избрании нового папы и тем не менее по-прежнему подчиняется письменным распоряжениям господина Сенглена, хотя он в настоящее время является всего-навсего антипапой. *Percutiam pastorem et dispergentur oves gregis*» *. Конечно, по сравнению с оскорблениями, которые мы прочтем в «Письме к автору „Мнимой ереси"», это еще цветочки. Но можно ли спокойно слушать, как он насмехается над своими гонимыми благодетелями?

Однако вспомним о возрасте нашего героя — в его годы человек еще плохо осознает собственную жестокость. В тот самый год, когда монахи, у которых я учился, были распущены и высланы из города, у старшеклассников хватило ума выпустить нечто вроде сатирической газеты с довольно грубыми насмешками над бывшими учителями. В большинстве своем мы были дети вовсе не злые и тем не менее далеко не сразу почувствовали всю мерзость этого поступка. Впрочем, Расин в 1661 году уже не мальчик — ему двадцать два года. И все-таки, неужели ему нет никакого оправдания? В нем проснулся гений, в душе его рождается целый мир, он как бы заряжен своими будущими творениями. Первый луч славы уже осенил его. Он стоит на пороге новой жизни, сулящей достаток, быть может, даже известность, а к нему придираются из-за одного-единственного пустякового сонета. И чьим именем они заклинают поэта? Именем Бога, но не того, в которого верят благовоспитанные светские люди, и даже не того, которого почи-

* «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада» (*лат.*; Матф., 26, 31).

тает Церковь. Конечно, Паскаль прав, обличая вольномыслие, но разве юное существо, беспечное и дерзкое, может удержаться от соблазна бросить вызов безжалостному Владыке, перед которым янсенисты трепещут сами и хотят заставить трепетать и его? Эти еретики уверяют: тот ничего не понимает в христианстве, кто не видит, что Господь хотел спасти одних и ослепить других, кто отказывается признать Писание достаточно темным, чтобы осужденные на муки ничего не могли в нем разобрать, но достаточно прозрачным, чтобы нельзя было простить им их невежество. Но если они говорят правду, то пылкому и талантливому юноше остается лишь восстать против Всевышнего или, по крайней мере, попытаться забыть о нем и заняться своими делами, отложив заботу о спасении души на потом и выбросив из головы всякие химеры. Именно так и поступил Жан Расин: разочаровавшись в янсенистской ереси, он в конце концов решил не тратить попусту те краткие мгновения, что отведены ему для наслаждения любовью и славы, и не предаваться бесплодным размышлениям о таинствах, которые непостижимы для разума (если верить Писанию) и навлекают на тех, кто все-таки пытается постичь их, проклятие церкви и немилость христианнейшего монарха.

Жан Расин мог бы придерживаться этого образа мыслей и не отказывая «отшельникам» из Пор-Руаяля в уважении, которого они вполне заслуживали. И он, конечно, не стал бы порывать с ними так резко, если бы в самом деле был настолько свободен от их влияния, как старался показать. Ведь мы злимся лишь на тех учителей, которые еще не утратили своей власти над нами. Похоже, что двадцатидвухлетний Расин тяготился зависимостью от Пор-Руаяля прежде всего потому, что волновался о своем положении в свете. Духовное же влияние янсенистов, сознавал он это или нет, сохраняло свою силу. Как бы он ни сопротивлялся, бог Сен-Сирана значил для него гораздо больше, чем казалось ему самому. Пор-Руаяль ослабил опеку, а юный безумец вообразил, что очутился на свободе; но не пройдет и пятнадцати лет, как этот богатый улов будет медленно вытянут из воды и покорно предается в руки ловцов.

В 1661 году Расин еще осторожен с «господами из Пор-Руаяля» и нападает на них только в кругу друзей: он тревожится за свою судьбу. Он честолюбив и ведет себя благопристойно; он — как и большинство людей — не теряет надежды преуспеть в жизни, и напрасно иные из его

биографов закрывают на это глаза. Юный Расин, как и все люди в его возрасте, озабочен своей карьерой. Ему очень хочется выбиться в люди, и он не пропускает никого, кто мог бы ему помочь. Так было всегда, но в обществе с самой жесткой иерархической структурой из всех существовавших, где даже самые большие гордецы не могли обойтись без покровителей и где никто, кроме короля, не смел считать себя независимым, такое поведение особенно извинительно. В ту пору немногие поднимались по социальной лестнице выше ступени, на которой родились. Грош цена была достоинствам, если их не умели преподнести. Ловкий, лстивый, любезный Расин — отражение своего века.

В двадцать два года, еще полностью во власти пор-руаяльских представлений о жизни, он уверен, что ему не на кого рассчитывать, кроме самого себя и своей семьи. Поэтому он решает отправиться в Юзес. Отрывок, сохранившийся в бумагах его старшего сына Жана Батиста, проливает достаточно света на обстоятельство, вынудившие его согласиться на эту ссылку: «Окончив учебу в Пор-Руаяле, мой отец отправился в Париж и изучал философию в коллеже д'Аркура. Затем его решили определить на какую-нибудь церковную должность, а поскольку в Юзесе жил дядя, каноник весьма преклонных лет, владевший значительным бенефицием, то отца послали в Юзес в надежде, что дядя откажет ему свой бенефиций. Дядю звали отец Сконен; прежде он был генералом конгрегации Святой Женевиевы, но, поскольку нрав у него был суровый и беспоконный, монахи боялись, как бы он не произвел в уставе конгрегации каких-нибудь изменений; поэтому по истечении срока его генеральства от него поспешили избавиться, услав как можно дальше и выделив ему упомянутый выше бенефиций».

В самом деле, Антуан Сконен был лицом влиятельным. Три года он был генералом и аббатом конгрегации Святой Женевиевы, носил епископскую митру и посох и даже вступил в спор с архиепископом парижским о том, кому подобает возглавлять процессию с мощами Святой Женевиевы. Оказавшись в Юзесе, этот незаурядный человек, обладавший, впрочем, скверным характером, попал в кабалу к монахам, чьи долги вынужден был отдавать. К такому-то покровителю, который, пожалуй, сам нуждался в покровительстве, с легким сердцем отправился Жан Расин осенним днем 1661 года.

III

Путешествовал он со всеми удобствами; отметим любопытную черту его характера — он повадился всякий день под вечер обгонять своих спутников и у них под носом занимать самое лучшее место для ночлега. В первые дни лишь одно омрачало его настроение: миновав Лион, он перестал понимать местное наречие, и в Валансе в ответ на просьбу снабдить его ночным сосудом служанка поставила ему под кровать жаровню. «Вы можете себе представить последствия этого недоразумения — каково пришлось человеку, который спросонья попытался использовать жаровню в качестве ночного сосуда», — писал он Лафонтену.

Он так и не привык к этому языку, который, на его взгляд, имел столь же мало общего с французским, как и нижнебретонский, и пока жил на Юге, больше всего боялся, что общение с местными жителями испортит ему стиль. Но сильнее всего поразил этого уроженца Центральной Франции здешний знойный климат, давший о себе знать в самом начале весны. Расин воспринял южную природу как человек своего времени, просто и естественно; в отличие от нас, он не искал в ней отражения своих страстей и источника литературных эффектов: «Здесь уже давно лето. Розы вот-вот отцветут, да и соловьи уже почти не поют. Жатва в разгаре, и стоит сильнейшая жара». А вот другое письмо к Витару: «Видели бы Вы этих жнецов, жарящихся на солнце; они трудятся как черти, а выбившись из сил, бросаются наземь и, вздремнув самую малость прямо на солнцепеке, снова принимаются за работу. Что до меня, то я смотрю на все это из окна, поскольку на улице не выдержал бы и минуты — воздух здесь раскален, как в печке, и жара не спадает даже ночью». В стихотворном описании своего времяпрепровождения, которое Расин послал другу, есть божественная строка:

Прекрасней наши ночи ваших дней.

Казалось бы, в первую очередь его должны были заинтересовать лангедокские женщины — пылкие красавицы, выросшие под знойным небом. Однако он дал зарок не думать о женщинах — он приехал не за любовью, а за бенефицием. Для начала дядя одел племянника с ног до головы в черное и усадил за Фому Аквинского. Этот замечательный человек один управляет со всеми делами епархии и капитула; он выбивается из сил, распутывая интриги и разбирая

тяжбы; к племяннику он расположен, но, пожалуй, тот возлагает на него слишком большие надежды. Впрочем, до поры до времени юноша не отчаивается. Опасность в другом: хоть он и одет в черное, ему совершенно ясно, что он попал на Киферу, о чем он и сообщает Лафонтену. «Женщины здесь ослепительно хороши и одеваются всегда к лицу; про них можно сказать: *Color verus, corpus solidum et succi plenum* *. Но поскольку их-то мне в первую очередь и велено остерегаться, не стану продолжать рассказа: долгими речами о таком предмете я осквернил бы дом духовного лица, где живу. *Domus mea domus orationis est* **. Поэтому не ждите от меня никаких суждений на сей счет. Мне сказали: «Будь слеп». И если я не могу до конца ослепнуть, то, по крайней мере, должен онеметь, потому что, сами понимаете, с монахами нужно быть монахом, а с волками вроде Вас и Вашей братии — волком, каковым я и был. До свиданиус».

Он отправляется в Ним на празднества в честь рождения дофина и, описывая свою поездку, лишь мельком упоминает древние арены; его занимает не столько фейерверк, сколько прелестные личики, которые тот освещает. Соблазн велик, он бродит вокруг ловушки, но, помня о бенефиции, не поддается искушению. Другу Левассеру он признается: «Есть здесь одна барышня, изящная и стройная. Я видел ее всего раз пять или шесть и всякий раз находил весьма красивой. У нее румяные щечки, большие черные глаза, а вырез платья, по местному обычаю, низкий, открывает ослепительно белую грудь. Я часто думал о ней с нежностью, а может, даже с любовью... Я подошел к ней, хотел заговорить и уже открыл было рот, но взглянул на нее и запнулся. Лицо ее было нечисто, словно она не совсем оправилась от болезни, и чувства мои тотчас переменялись... По правде говоря, думаю мне, что в тот день у нее было обычное для ее пола недомогание».

Расин всегда был весьма привередлив, ему требовалось, чтобы кожа была «ослепительно белой»; недаром Лафонтен в «Любви Психей» вложил в его уста восторженные строки:

Цвети, жасмин, благоухая.
Тебе не страшен ветер злой.
Моя Аминта дорогая
С тобою схожа белизной ***.

* Природный цвет, упругость, роскошь форм (*лат.*; Теренций. Евнух. 318; пер. А. В. Артюшкова).

** Дом мой есть дом молитвы (*лат.*; Лук., 19, 46).

*** Перевод М. Гринберга.

«Причетник поневоле» весьма охотно пересказывает довольно жуткие истории. Юноша, в чьей груди таятся Гермона, Роксана и Федра, восхищается лангедокскими нравами и хвалит местных жителей за то, что в своих страстях они не знают меры; такова, например, девушка, отравившаяся мышьяком оттого, что отец выбрал ее: «Ходили слухи, что она понесла и свой страшный поступок совершила от стыда. Но после вскрытия выяснилось, что она была девственница из девственниц». Безразличие и холодное любопытство, с которыми написано это письмо, обличают ясный, ледяной и довольно-таки жестокий ум; подобные люди глубже всего проникают в тайны чужих сердец. Они внимательно всматриваются в окружающую жизнь, но при этом никогда не принимают близко к сердцу чужие горести и не берут в расчет ничего, кроме собственного удовольствия. Чувствуется, что Расин от души презирал бы и юг, и южан, не будь они способны на любовные безумства. В этом Стендаль согласился бы с ним: «Знайте, что в этих краях любовь не бывает заурядной — страсти здесь не ведают удержу...»

Между тем отец Сконен не оправдывает возложенных на него надежд; его обходят при распределении бенефициев. Он подумывает о том, чтобы отвезти племянника в Ним и исхлопотать ему духовный сан. А может быть, удастся найти бенефициария-мирянину, который взял бы себе бенефиций Сконена, а свой уступил Жану Расину? Дядя старается изо всех сил, но племяннику от этого не легче; он чуть было не стал приором в Ульши, но дело не сладилось из-за козней некоего отца Косма. Расин теряет терпение; решительно, здешнее общество приводит его в ужас; он пишет Левассеру, что в Юзесе люди так злы и корыстны, что, поговорив с человеком четверть часа, начинаешь питать к нему жгучую ненависть. Особенно угнетает юношу собственное целомудрие. Забросив Фому Аквинского, он пишет поэму, от которой до нас дошло только название, впрочем, говорящее само за себя: «Купание Венеры».

В конце концов, как всякий причетник не по призванию, он начинает злословить: «Монахи наши — глупцы из глупцов, вдобавок невежественны, потому что совершенно не желают учиться. Так что я вовсе с ними не знаюсь...» По правде говоря, в словах этих, сказанных по поводу «Писем к провинциалу», заметно влияние книги Паскаля, по сути дела, направленной не только против иезуитов, но и против церкви в целом. Расин отмечает, что в Лангедоке

«Письма к провинциалу» читают одни гугеноты — это весьма красноречиво свидетельствует о том, как скромно было влияние Пор-Руаяля даже в лучшие его времена. Но самое тяжелое испытание для молодого волка, сделавшегося отшельником, — благочестивые послания тетки Сент-Тэкл и необходимость отвечать ей в таком же елейном тоне. Сколько едва сдерживаемой ярости, сколько холодной ненависти прорывается в строках из письма к Витару: «Постараюсь сегодня после полудня написать тетке Витар и тетке-монахине, коль скоро Вы этого требуете. Однако Вы — да и они тоже — должны простить меня за то, что я до сих пор этого не сделал — ибо о чем мне писать им? Мало того, что я лицемерю здесь, так еще эти лицемерные послания в Париж; я говорю лицемерные, потому что не могу назвать иначе письма, где нужно говорить только о божественном и просить помянуть меня в молитвах. Пожалуй, оно и не помешало бы, но я был бы признателен, если бы мне сделали это одолжение без стольких просьб».

Впрочем, бывает он и мягким, а в письмах к другу Левассеру почти нежным. Он подумывает о создании пьесы и занят выбором сюжета: «Впрочем, в этих краях я слишком погружен в меланхолию, чтобы писать». Тем не менее можно предположить, что из Юзеса он привез с собой «Братьев-соперников», а также «Стансы к Партенизе»:

Партениза! Смогу ль превозмочь твои чары?
Ты подобна богам этой властью большой.
И кто взглядов твоих переносит удары,
Тот, наверно, ослеп, или слеп он душой.

.....
Все рождает любовь к тебе, юной и стройной,
И любовь родилась — все забыл я любя.

.....
Партениза! Ты ввек будешь в сердце моем*.

IV

В 1663 году Расин возвращается в Париж не солоно хлебавши и поначалу вновь поселяется у герцога де Люина. Все, что ему пришлось сдерживать в Юзесе, теперь прорывается наружу. Он сыт по горло, и еще целых пятнадцать

* Перевод Е. Гулыга.

лет будет делать только то, что хочется. К нему пришло бесстрашие гения. Он не побоится бросить вызов ревнивому к чужой славе Корнелию, своему старшему другу Мольеру, наконец, Пор-Руаялю. Почувствовав в душе опасный дар, творец желает любой ценой сохранить ему верность. Не в эпоху Вольтера и Руссо литератор впервые ощутил себя богом; такой поэт, как Расин, прекрасно понимает свой долг если не перед Францией, то перед самим собой. Все, кому не нравятся его трагедии, становятся его заклятыми врагами, и он преследует их с изрядной жестокостью и коварством. Он не желает слушать никого, кроме Буало, с которым связан своего рода договором — договором, а не хрупкими узами нежной юношеской дружбы, как с Левассером. В Буало Расин нашел того страстного, но вместе трезвого и требовательного поклонника своего таланта, в котором так нуждается всякий творец. Художнику нужно, чтобы им восхищались, но не слепо, а со знанием дела.

Впрочем, остережемся превращать юного поэта, вернувшегося в Париж, в бесчувственное чудовище: в том же 1663 году умирает его бабка, Мари Демулен, и он очень удручен ее кончиной. Меж тем он наконец попадает в свою стихию — и в «Слове молвы к музам» благодарит Людовика XIV за щедрость, с какой тот наградил начинающего сочинителя за «Оду на выздоровление короля». Молодому поэту покровительствует Шаплен. Пенсия в шестьсот ливров — первая награда Расина-царедворца; он и дальше будет подвигаться на этом поприще, однако, что и говорить, достигнет здесь гораздо меньших успехов, чем в литературе. Между прочим, пустившись во все тяжкие, он без труда получил то, чего, несмотря на все свое воздержание, не добился в Юзесе: юный любовник актрисы Дюпарк становится приором монастыря Сент-Мадлен в Эпине, а лишившись этого бенефиция в результате тяжбы, которая вдохновила его на создание «Сутяг», делается приором монастыря Сен-Жак в Ферте.

«Слово молвы к музам» принесло Расину то, что гораздо дороже денег, — восхищение графа де Сент-Эньяна, который представил поэта ко двору, и дружеское расположение Буало (его познакомил с новой одой Левассер).

Тем временем Мольер согласился поставить «Фиваиду, или Братьев-соперников». Он ли подказал Расину сюжет или трагедия была начата еще в Юзесе? Правил ли Мольер это весьма посредственное подражание Ротру и Сенеке,

которое нынче почти невозможно читать? Точно известно лишь одно: «Фиваида» сблизил этих двух людей, правда, всего на год, до тех пор, пока новая трагедия, «Александр Великий», не рассорила их навсегда. Даже если наш поэт и не был кругом неправ, общественное мнение винит во всем его одного: ведь для нас, французов, Мольер — национальная святыня, на которую запрещено посягать. Расин отдал «Александра» труппе своего друга. Уже после первого представления он понял, что спектакль провалился. А между тем трагедию хвалили в отеле Невер, у госпожи де Плесси-Генего; к ней благосклонно отнеслись Ларошфуко, Помпон, госпожа де Лафайет, госпожа де Севинье и ее дочь. Подвели актеры — все они, кроме мадемуазель Дюпарк, играли из рук вон плохо. В те времена ни один театр не имел никаких прав на поставленную пьесу. Юный Расин без зазрения совести пожертвовал дружбой Мольера ради успеха своей пьесы и отдал «Александра» в Бургундский отель, где трагические актеры были гораздо сильнее, чем в Пале-Руаяле. Благодаря Флоридору, Монфлери, мадемуазель Эйе и мадемуазель д'Эннебо спектакль прошел на ура.

Любой поэт забывает обо всем, когда речь идет о судьбе его детища; он видит свой высший долг в борьбе за свое творение — вот единственное, что мы можем сказать в оправдание Расина. Впрочем, существенно и другое: Расин мог изменить Мольеру еще и потому, что Мольер был для него старшим товарищем, знаменитым, дающим советы, которые Расин выслушивал более или менее внимательно и терпеливо, — но, разумеется, не другом в подлинном смысле слова. Все мы со школьной скамьи помним лубочную картинку: Буало, Лафонтен, Расин, Мольер и Шапель, встретившись в «Белом баране», «Сосновой шишке» или «Лотарингском кресте», сообща сочиняют фарс «Шаплен без парика» — и с трудом допускаем, что все могло быть иначе.

В начале «Любви Психеи и Купидона» Лафонтен вспоминает об этих пирушках: «Четыре друга, сведшие знакомство на Парнасе, образовали своего рода кружок, который можно было бы назвать Академией, будь он немного шире и будь его члены столь же привержены Музам, сколь забавам. Первым делом они изгнали из своих бесед педантичные рассуждения и все, что хоть сколько-нибудь напоминало академическую премудрость. Если, встретившись и всласть наговорившись о развлечениях, они невзначай затрагивали некую область науки или изящной словесности, то не упускали случая высказаться — но никогда не задер-

живались подолгу на одном предмете и переходили от темы к теме, как пчелы перелетают с цветка на цветок...»

Лафонтен пишет о четырех друзьях, а не о пяти и, возможно, имеет в виду вовсе не тех великих людей, о которых говорит легенда. Впрочем, какой писатель не любит выпить и поболтать с собратьями по перу, пусть даже не испытывая к ним особой приязни. История с «Александром» свидетельствует, что настоящей дружбы между Расином и Мольером не было. С Витаром, Левассером или Буало Расин ни разу в жизни не позволил себе ничего подобного. Как бы слепо ни верил он в свою трагедию, как бы страстно ни желал ее спасти, для человека, который в самом деле был ему дорог, он пошел бы хоть на какие-то уступки. А он, напротив, повел себя еще хуже и на следующий год переманил в Бургундский отель мадемуазель Дюпарк, звезду Пале-Руаяля, чьей благосклонности автор «Жеманниц» тщетно добивался.

Кстати говоря, и до разрыва Расин отзывался о знаменитом брате по перу не так, как отзываются о близком друге. «Монфлери подал королю жалобу на Мольера, — писал он Левассеру. — Там сказано, что Мольер женился на дочери женщины, с которой когда-то спал». Между прочим, в этом виде «сплетня» звучит далеко не так ядовито, как в варианте, которым стыдливо заменил ее жалкий мошенник Луи Расин: «Там сказано, что Мольер женился на собственной дочери». По трусости своей убрав из письма отца слово «спал», этот глупец превратил Расина из автора довольно-таки злой фразы в распространителя гнусной клеветы. Но как бы там ни было, неужели Расин стал бы говорить такое о близком друге? Неужели он не возмутился бы, не ужаснулся? В другом письме он рассказывает Левассеру, как во время утреннего выхода король «обласкал Мольера, и я был за него очень рад; он также был очень рад, что это произошло в моем присутствии...». Штрих мелкий и на первый взгляд незначительный, но также не свидетельствующий об особом расположении. Наверно, уж слишком разными были миры, породившие этих двоих, чтобы они могли понять и полюбить друг друга. Могла ли искренняя дружба связывать бродячего актера, избородившего всю Францию на колеснице Фесписа, с юным буржуа из Ферте-Милона, который, сколько бы он ни восставал против Пор-Руаяля, всю жизнь оставался духовным сыном господина Леметра, провинциалом и янсенистом до мозга костей? Двум писателям, пусть даже добившимся равной славы, редко удается

преодолеть расстояние, волею судеб разделявшее их в ранней юности. Дружба их недолговечна. Известен ли хоть один случай, когда бывший бродяга, пусть со временем и разбогатевший, всем сердцем привязался к человеку, не знающему, что такое скитания и голод?

Меж тем для Жана Расина наступает день бунта. Он назревал уже давно, потому что Расину все труднее становилось сносить упреки матери Сент-Тэкл, такие, например, какими полно это письмо (на нем нет даты, но оно почти наверняка относится к 1663 году; Луи Расин опубликовал его с неточностями; помещаем здесь полный текст):

«Слава Иисусу Христу и Святому Причастию.

Узнав от мадемуазель... что Вы намереваетесь посетить наши края, я решилась было просить у матери настоятельницы позволения повидаться с Вами, ибо некие особы уверили меня, что Вы склонны всерьез задуматься о своей судьбе, и мне было бы весьма отраднo услышать об этом из Ваших собственных уст, дабы я могла выразить Вам всю ту радость, какую испытала бы, если бы Господу было угодно наставить Вас на путь истинный, но строки эти я пишу Вам в сердечной печали и со слезами на глазах, каковые слезы желала бы я пролить в изобилии пред ликом Господним, дабы вымолить у него Ваше спасение, коего чаю больше всего на свете. С болью сердечной узнала я, что Вы чаще, чем когда бы то ни было, посещаете особ, имена коих внушают отвращение всем, в чьей душе есть хоть капля благочестия, и недаром, ибо особ этих не допускают в божий храм и не позволяют им приобщаться святых тайн даже на смертном одре, разве что они раскаются в греховной своей жизни. Судите же сами, дорогой племянник, в какой тревоге я пребываю, поскольку Вам ведомо, что я всегда питала к Вам самые нежные чувства и желала лишь одного — чтобы Вы всецело принадлежали Господу, трудясь на достойном поприще. И посему заклинаю Вас, дорогой племянник, вспомнить о душе Вашей и всерьез подумать о том, в какую пропасть Вы себя ввергли. Я буду молить Господа, чтобы он даровал Вам эту милость. От всего сердца желаю Вам, чтобы то, что мне сообщили, оказалось неправдой; но если Вы столь неразумны, что до сих пор не прекратили знакомств, кои позорят Вас пред Богом и людьми, оставьте мысль посетить нас, ибо Вы прекрасно понимаете, что я не смогу говорить с Вами, зная, что Вы ведете столь прискорбное и

богопротивное существование. Неустанно молю я Господа, чтобы он явил милосердие свое Вам, а равно и мне, ибо Ваше спасение мне бесконечно дорого».

Послания такого рода никогда не приносят пользы; читая их, вольнодумец лишний раз убеждается, что фанатичная вера не нужна обычным людям, да и вообще никому: ведь не может Господь желать конца света! Юноше так трудно поверить, что любить и быть любимым — преступление! Если Жан Расин уже вступил в пору своих театраль-ных увлечений — а это весьма вероятно, — он должен был остро почувствовать оскорбление, нанесенное предмету своей страсти. Он наверняка тут же отыскивал массу доводов против религии, которая, как кажется в такие мгновения, чернит все, что дорого нашему сердцу, — и чем сильнее ощущаем мы узы, с самого детства связующие нас с Богом, тем яростнее наш бунт. Какие могут быть сомнения, думал, вероятно, юный Расин. Разве может Бог требовать, чтобы я уничтожил самого себя, а задушить живущие в моем сердце создания — это все равно что убить себя. И волен ли я помешать этим созданиям явиться на свет? Есть ли в мире сила, способная воспрепятствовать их рождению? Когда все они обретут жизнь, когда я отдам миру все, чем владею, и начну повторяться, тогда, быть может, если еще не будет поздно, я всерьез подумаю о том, как умиловать безжалостного Бога господина Сенглена и тетки Сент-Тэкл, а заодно избегну опасности уподобиться старику Корнелю и написать под конец жизни несколько скверных трагедий.

Но пока на календаре 1665 год. В душе Расина зреет недовольство, и неосторожное вмешательство Николя кладет предел его терпению. Николь, который без особого успеха опубликовал несколько анонимных «Писем о мнимой ереси», вознамерился написать восемь новых посланий. Он дал им название «Духовидцы». На одного из противников Пор-Руаяля, Демаре де Сен-Сорлена, Николь напал здесь в следующих выражениях: «Всякий знает, что начал он с сочинения романов и пьес и тем стал известен в обществе. Даже светские люди не слишком чтят такие таланты, а в глазах тех, кто исповедует христианскую веру и блюдет евангельские заветы, они выглядят кощунственно. Сочинитель романов и пьес — всеобщий развратитель, губящий не тела, но души верующих; он повинен в неисчислимых духовных убийствах, которые совершил либо мог совершить

с помощью своих вредных писаний. Чем старательнее прятал Он под покровом благородства преступные страсти, кои описывал, тем опаснее они становились и тем скорее могли поразить и совратить простые и невинные души. Таковые грехи тем более ужасны, что несть им конца, ибо книги живут вечно и вечно отравляют души тех, кто их читает».

Как ни суров приговор, с ним были согласны не одни янсенисты: Боссюэ в письме к отцу Каффаро отзывается о тех, кто избрал своим занятием живописание страстей, ничуть не более лестно, и спор этот, возмущающий всякого писателя, длится в лоне церкви по сей день. Расин вышел из себя и ответил Николю анонимным письмом, где, по словам его старшего сына Жана Батиста, «не дал спуску этим господам и всласть над ними поиздевался». По остроумию и пылу «Письмо к автору „Мнимой ереси" и „Духовидцев"» не уступает, пожалуй, «Письмам к провинциалу». А тема его волнует нас гораздо больше, чем споры о благодати. Расин был столь осмотрителен, что не подписал брошюру, — но он был еще очень молод, и когда аббат Тетю приписал «Письмо» себе, авторское самолюбие взяло верх, Расин стал кричать на всех перекрестках, что письмо сочинил он и никто иной.

На первый взгляд, тут много странного: ответ на письма неизмеримо злее самих писем. Как, должно быть, накопело на душе у Расина! Он разом выплеснул в своем письме весь яд, скопившийся в его сердце, всю ненависть к святошам, хулящим его творчество. Он не ограничивается защитой, он безошибочно нащупывает слабое место противника и наносит удар: «Вы могли бы отыскать слова помягче, чем «всеобщий развратитель» или «люди, омерзительные всякому христианину». Неужели Вы думаете, что Вам поверят на слово? Нет, нет, сударь, не надейтесь на такое легкоеверие. Вы уже двадцать лет подряд твердите изо дня в день, что Янсений не писал Пяти положений, и тем не менее до сих пор никто в это не верит». В насмешках Расина слышится что-то вольтеровское: «Ах, сударь, раздавайте чины на том свете, не занимайтесь воздаяниями на этом». Однако когда Расин тревожит прах покойных и поминает недобрым словом господина Леметра — того самого, что так любил «малыша Расина», он, как справедливо писал янсенист Дюбуа, переходит уже все границы. Да что там говорить, ведь он не пощадил даже мать Анжелику и предал огласке одну весьма пикантную историю о капуцинах!

Прочтя ответы Дюбуа и адвоката Барбье д'Окура, Расин написал новое письмо, еще более резкое, чем первое, где без труда доказал, что «господа из Пор-Руаяля» считают автора правым или виноватым в зависимости от того, принадлежит он к числу их друзей или врагов. Пор-Руаяль допускает насмешки — «но только над иезуитами». Разве «Письма к провинциалу» не самые настоящие комедии? «Скажите, господа, что происходит в комедиях? В них выводят плута-слугу, скрягу-буржуа, самодура-маркиза и прочих людей, более чем достойных осмеяния. Не спорю, Провинциал нашел еще лучших героев — он извлек их из монастырей и из Сорбонны... На одной странице у него встречаешь иезуита-простофилю, на другой иезуита-негодяя, но в любом случае — иезуита, над которым стоит посмеяться».

Это письмо опубликовано не было; нас уверяют, что Расин внял советам Буало, глубоко почитавшего людей, на которых напал его друг. Но нам слабо верится, что Расина в ту пору было так легко обезоружить. Без сомнения, гораздо больше оснований считать, что на Расина повлияло письмо некоего янсениста Никола Витару, из которого явствует, что Пор-Руаяль тайком принимал свои меры, чтобы заткнуть Расину рот. В их руках имелось послание, где он опрометчиво клялся всеми богами, что не писал письма Николу. Витара попросили разъяснить кузену, что в свете не уважают людей, которые поносят своих благодетелей, напомнили: Расин не раз хвалился, что обязан своим благополучием борьбе с Пор-Руаялем, а благодаря нападкам на янсенистов получил выгодные церковные должности. На старости лет Расин сказал аббату Таллеману в присутствии всех академиков, что письмо Николу — самый постыдный поступок в его жизни, но мы ничуть не сомневаемся, что, принимая решение не публиковать свой второй памфлет, он был весьма далек от раскаяния: молодой честолюбец уступил доводам, с которыми не были согласны ни его душа, ни его совесть.

Ошибка Расина состояла в том, что, будучи по существу правым, он старался не столько доказать свою правоту, сколько побольнее уязвить противника. Сегодня, когда на нас возводят ту же напраслину, что приводила в бешенство Расина, мы бы с радостью сослались на его мнение; но его издевки доказывают нам лишь то, что в доказательствах не нуждается: господин Расин умел высмеять противника и притом очень зло. А ведь этому знатоку человеческого сердца ничего не стоило объяснить своим наставникам, что

католическая религия и литература — союзницы, поскольку обе помогают лучше понять человека. Вместо того чтобы глумиться над «Письмами к провинциалу», он мог бы внушить яansenистам, что Паскаль в своей апологии (о которой уже начали в ту пору поговаривать, хотя до публикации «Мыслей» оставалось еще три года) стремился лишь к одному — доказать правоту религии, обнажив глубокое родство ее таинств с тайнами нашего сердца — а ведь той же цели, пусть даже сами того не сознавая, достигают порой романисты и драматурги. Быть может, «господа из Пор-Руаяля» и согласились бы с ним — ведь недаром спустя годы они испытали-таки сочувствие к Федре, «царице горестной, преступной поневоле».

V

Непримиримость молодого Расина, одерживающего победу за победой: над Мольером, над Пор-Руаялем, а вскоре над Корнелем, свидетельствует, быть может, о том, что сердце его было занято совсем другим. Вся нежность, на какую он способен, направлена на одно-единственное существо; «кто любит, тот не любит никого». Любя, мы снисходительны и милосердны лишь к любимой. Весь мир не в счет; он кажется нам досадной помехой. Нет ничего более надуманного, чем избитое противопоставление нежного Расина Расину жестокому. Зачастую чем больше в человеке любви, тем он вспыльчивее. Он ничего не прощает людям, потому что прощает все одному-единственному человеку.

К сожалению, славная эпоха в жизни Расина, начавшаяся с постановки «Андромахи» в 1668 году и продлившаяся до 1677 года, покрыта для нас мраком неизвестности. Мы знаем о победах, но почти ничего не знаем о том, кто их одерживал. Судьба драматурга сливается с судьбой его творений. «Андромаха», слезы, которыми почтила чтение этой трагедии жена брата короля, язвительные эпиграммы Расина; «Британик», пьеса для знатоков, ее полупровал, предисловия, полные яростных выпадов против старика Корнеля; «Береника» — намеки на любовь короля к Марии Манчини; коварная затея Генриетты Английской — устроить состязание между юным поэтом на гребне славы и знаменитым, но уставшим от жизни старцем; «Баязид» с его турками и резней в финале, которую осудила госпожа де Севинье; «Митридат», «Ифигения», придворные праздни-

ства и слезы, которые исторгает у зрителей Шанмеле; «Федра» — первое поражение, отблеск которого вновь освещает для нас лицо Жана Расина, не писателя, а человека: постаревшее, изможденное лицо, как на портрете работы де Труа, хранящемся в Лангре; оно вновь является нашему взору после десятилетия славы, укрывшей его тщательнее, чем самая глухая безвестность.

Но разве трагедии сами по себе не дают нам никакого представления о породившем их сердце? Луи Расин, выказывая гораздо больше тонкости, чем обычно, утверждает: если в пьесах его отца так много любви, это еще не значит, что их создатель был человеком страстным, — и опровергает общепринятое мнение, согласно которому автор всегда живописует в своих произведениях себя самого. Речь, однако, идет вовсе не о том, чтобы приписывать Расину (как это неоднократно и, в чем мы еще убедимся, не совсем беспричинно делали критики) страстные порывы Гермионы или Роксаны. Поступки персонажей в драматическом произведении чаще всего вымышлены. Интрига, последовательность событий — дело наживное, и именно интригу Расин чаще всего заимствует у древних. Самый слащавый автор, хоть немного знакомый с греческой мифологией и античной историей, мог бы поведать нам о таком же множестве убийств и самоубийств. Но Жан Расин первым во Франции осмелился посмотреть в лицо любовной страсти, первым сорвал ту маску, в которой любовь представляла на театре до него, и если современники не осознали этого в должной мере, причина тому, без сомнения, — неподражаемое совершенство его стихов, совершенство, которое так велико, что кажется нам предустановленным, а иные строки Расина — не сочиненными, а существовавшими от века. Это чудо до сих пор так завораживает нас, что мешает оценить огромный вклад Расина в литературу. Мы еще вернемся к этой теме. А пока заметим, что, не в обиду будет сказано Луи Расину, человек, сумевший так по-новому изобразить страсти, наверняка сам был опален их огнем. Научиться писать о любви можно только у самого себя; невозможно узнать о ней что бы то ни было, глядя со стороны; все наши открытия — результат того, что пережили мы сами; у посторонних наши герои заимствуют лишь привычки, мании, причуды. Писатель, который ограничивается изучением окружающих, умеет рисовать только карикатуры; самое большее, на что он способен, это создание *характеров*. Каким бы заслуженным уважением ни пользо-

вался в наших глазах Лабрюйер, он был совершенно прав, когда утверждал, что лишь возвращает публике то, что получил от нее, а это не так уж много. Люди надеются узнать от нас истину о себе, но рождена эта истина может быть в нашем сердце, и только в нем: одно правдивое слово о любви дается ценой целой жизни, исполненной страсти.

Дюпарк, Шанмеле — исчерпывается ли любовный опыт Жана Расина этими двумя именами? Допустим, он был страстно влюблен в первую, однако она умерла в 1668 году, том самом, когда была поставлена «Андромаха». Неужели вплоть до «Федры» сердце Расина было занято только Шанмеле, чью благосклонность он делил со многими другими воздыхателями, охотно пускаясь наперебой с ними во все тяжкие? Когда речь заходит о делах сердечных, самоуверенность биографов и критиков особенно трогательна. Если до нас дошли имена лишь двух женщин, это вовсе не означает, что в жизни Расина не было других любовных приключений, оставшихся нам неизвестными. Дюпарк и Шанмеле играли в трагедиях Расина; вероятно, поэтому их имена не канули в Лету, в отличие от имен многих других прелестниц, с чьей помощью Расин в конце концов нашел верный путь в том лабиринте страстей, где поначалу заблудился, преследуя своих избранниц.

Все историки литературы согласны с Валенкуром, писавшим, что «Расин был натурой глубоко страстной», но все они сходятся на том, что снедавший писателя огонь не был направлен на определенный предмет. Однако разве может существо, созданное для любви, жить не любя? Не будем идти на поводу у символов: да, любовь — огонь, но такой огонь, который сам создает то, что его питает, даже в самых неблагоприятных условиях. Если мы представим себе Жана Расина в расцвете славы и, вслед за его современниками, допустим, что этого молодого человека приятной наружности, принятого при галантнейшем в мире дворе в правление короля, боготворящего своих фавориток, — что этого молодого человека сжигала страсть, неувядающее изображение которой он нам оставил, то мы вынуждены будем допустить также, что ему было на кого излить свою страсть и кроме двух названных актрис.

Не будем забывать и о свидетельстве госпожи де Севинье: «Если когда-нибудь он перестанет быть молодым и влюбленным, это будет уже другой человек». У маркизы, не упускавшей в своих письмах ни одной придворной или городской новости, не было ни малейшего сомнения: Расин

был влюблен всегда. Вспомним, что она написала после представления «Есфири»: «Он любит Господа так, как любил своих любовниц». Со смерти Дюпарк к тому времени прошел уже двадцать один год, и если бы сердце Расина до возвращения в лоно религии занимала одна Шанмеле, маркиза сказала бы: «...как любил свою любовницу».

В «Любви Психеи и Купидона» Акант (в лице которого Лафонтен, возможно, вывел Расина) не может без волнения слушать рассказ о любви: «Аконт вспомнил о чем-то и вздохнул...» Вот каким друзья представляли себе Расина — человеком с вечно мятущимся сердцем.

Прежде чем перейти к разговору о кризисе 1677 года, который позволит нам глубже проникнуть во «внутренний мир» Жана Расина, проследим основные этапы его триумфального шествия от «Андромахи» к «Федре». Пусть читателя не смущает стремительность, с которой мы проделаем этот путь, — позднее мы пройдем его еще один раз, изнутри.

VI

«Андромаха» была написана в 1668 году; автору покровительствовала Генриетта Английская, герцогиня Орлеанская: «...всем было известно, что Ваше Королевское Высочество удостоило своим милостивым вниманием мои труды над этой трагедией. Известно было, что Вы подали мне несколько весьма тонких советов, благодаря которым она приобрела весьма новые красоты; было известно, наконец, и то, что Вы оказали ей высокую честь, обронив слезу при первом ее чтении...» *

Первое представление пьесы состоялось в покоях королевы, затем, в ноябре, она была сыграна в Бургундском отеле. Мадемуазель Дюпарк, которую пылкий Расин годом раньше отбил у Мольера, играла Андромаху, Дезейе — Гермину, Флоридор — Пирра, а Монфлери — Ореста. Поклонники и противники, все одинаково горячие, сходились на том, что перед ними произведение значительное. Стронники Корнеля не дремали; из Англии прибыло указание Сент-Эвремона: считать Расина лучшим драматургом,

* Здесь и далее произведения Расина, кроме особо оговоренных случаев, цитируются по: Расин Ж. Сочинения: В 2 т. М., 1984 / Пер. И. Шафаренко и В. Шора («Андромаха»), М. Донского («Федра»), Б. Лифшица («Есфирь»), Ю. Корнеева («Гофолия»), М. Квятковской («Духовные песнопения») и эпиграммы).

но — *после Корнеля*. Недоброжелателей Расина возглавлял именно Корнель, этот состарившийся лев, не желавший уступать первенство и упрекавший соперника в легкомыслии и слащавости. Прочитав рукопись «Александра», он сказал, что начинающему автору стоит попробовать себя в каком-нибудь другом жанре, поскольку трагедия ему не по плечу. К великому огорчению старого судьи, осужденный с большим успехом обжаловал этот приговор. Поддерживаемый Генриеттой Английской и молодыми придворными, Расин ринулся в бой; удача сопутствовала ему и придавала отваги. По правде говоря, и хвалили, и хулили его по равно незначительным поводам; современников больше всего волновало, не слишком ли груб Пирр для влюбленного и, наоборот, не выглядит ли этот варвар селадомом. Люди семнадцатого столетия обращали гораздо больше внимания, чем мы, на так называемый местный колорит. В отличие от нас, они не считали, что классическая трагедия полна условностей в обрисовке фона и хранит верность жизни лишь в изображении чувств. Подпевалы Корнеля не давали Расину покоя, упрекая его за неверное изображение римлян в «Британике» и турков в «Баязиде».

Чувствуя поддержку влиятельнейших людей королевства, молодой поэт не отказывает себе в удовольствии отомстить всемогущим критикам ядовитыми уколами. Если учесть, что герцог де Креки более чем холоден к женщинам, а д'Олонн — известный рогоносец, то нельзя не согласиться, что дерзость Расина переходит все границы:

Мои труды от правды далеки —

Сказали два высокоумных друга.

«Так женщину любить нельзя», — решил Креки,

И рассудил д'Олонн: «Не любят так супруга».

В ту пору угодливость по отношению к власти имущим соединялась в Расине с безумной смелостью, и, что бы там ни говорили, этот примерный царедворец то и дело отваживался на такие рискованные выходки, из-за которых рушились все его интриги, как бы блестяще они ни были задуманы, и которые в конце концов погубили его самого.

Между тем Мольер, в пику Расину, поставил в своем театре нелепую пародию Сюблиньи «Безумный спор». Но что было до этого автору «Андромахи»? Женщины по-прежнему рыдали на представлениях его пьесы, и даже маркиза де Севинье, принадлежавшая к числу сторонниц Корнеля, признавалась дочери, что прослезилась «не меньше шести

раз» — и где? в Витре, на спектакле провинциальной труппы.

11 декабря 1668 года мадемуазель Дюпарк скончалась в родах. Мы знаем о скорби ее любовника из рифмованной хроники Робине, где изображены драматурги, стоящие у гроба:

Казался мертвеца бледней
Ближайший из ее друзей*.

Расин присутствовал при последних минутах актрисы, над постелью которой склонялись всякие подозрительные личности. Его ли ребенок стоил несчастной женщине жизни? Он ли опрометчиво снял с ее еще теплой руки кольцо, когда она испустила последний вздох? Оспаривал ли он у своры, толпившейся в спальне, свои права на какие-нибудь «сувениры»?

Дюпарк была довольно-таки посредственной актрисой, однако она сумела извлечь пользу из уроков Расина (с которым познакомилась в двадцать пять лет, уже будучи вдовой актера Дюпарка). Ее отец, некий Джакомо де Горла, был женат вторым браком на Бенуате Ламарр, которая, если верить Вуазен, утверждала, что Расин отравил свою любовницу; только через двенадцать лет выяснится, какими тяжкими последствиями грозит Расину эта смерть. Пока отметим только, что юный Расин, читающий свои трагедии Генриетте Английской и делающий карьеру при дворе, в то же время вращается в весьма сомнительном обществе, куда имеет доступ сама отравительница Вуазен. Нам известно, что он был восприимчивом ребенка, крестной матерью которого стала дочь покойной Дюпарк. Переходные ступени, которые «малыш Расин» постепенно осваивал, существовали не только между Пор-Руаялем и светом, но и между обществом порядочных людей и компаниями гуляк и даже просто подонков, причем тогда, как и сейчас, одно вовсе не было отделено от другого бездонной пропастью. Однажды Расин дорого заплатит за все запретные радости и тайные утехы, которыми манили его эти притоны.

Скорбь об умершей возлюбленной не помешала Расину порадоваться успеху «Сутяг», пьесы, которая была задумана все в том же безумном 1668 году. Вначале Расин намеревался сочинить фарс для Скарамуша, но знаменитый итальянец покинул Париж, и фарс превратился в более тради-

* Перевод М. Гринберга.

ционную комедию в духе Аристофана. В ней обыграны смешные стороны судебного процесса, в котором Расин участвовал и в ходе которого «ни он сам, ни судьи так и не могли толком разобраться в сути дела». Хотя Расин хвалился, что зрители много смеялись на представлении «Сутяг», мы знаем, что улыбки на лицах придворных засияли лишь после того, как изволил засмеяться король; и в самом деле, если говорить начистоту, не за этот фарс ценим мы Расина... Тем не менее он был весьма горд новой пьесой, причем особенное удовольствие доставлял ему, конечно, тот факт, что, выступив на поприще, где царил Мольер, он сравнялся с соперником (если не превзошел его); в предисловии он отпускает по адресу Мольера колкости: «Я не жду громких похвал за то, что довольно долго веселил публику, но ставлю себе в некоторую заслугу, что мне удалось сделать это, не прибегая к грязным намекам и недостойному шутовству, какими теперь без стеснения пользуется большинство наших писателей, вновь низведших театр в болото пошлости, откуда его извлекли более щепетильные авторы». Читая эти строки, Мольер, должно быть, пробормотал: «Тартюф!»

Следующий год — год постановки «Британика», которая едва не обернулась полным провалом. В это время Корнель и его друзья перешли в наступление — Корнель даже лично присутствовал на первом представлении. О том, как оно прошло, нам известно из знаменитого описания Бурсо; мемуарист, хотя и принадлежавший к числу противников Расина, признает, что если в зале было мало зрителей, то лишь потому, что торговцы с улицы Сен-Дени отправились на Гревскую площадь, где в тот день казнили маркиза де Курбуайе. Расин отомстил Корнелю в предисловии к «Британику» и отомстил жестоко: «Возможно ли угодить столь щекотливым судьям? Ну еще бы, и без особого труда, но для этого пришлось бы пожертвовать здравым смыслом, уклониться от правды и удариться в неправдоподобие. Действие, простое по своей сути, не перегруженное событиями, каковым ему и следует быть, ибо оно ограничено пределами одного дня, действие, шаг за шагом продвигающееся к своему завершению и основанное лишь на желаниях, чувствах, страстях участников, надо было бы обременить множеством случайностей, которые не уложишь и в целый месяц, бесчисленными хитросплетениями, тем более поразительными, чем менее они вероятны, нескончаемыми тирадами, где действующие лица говорят как раз обратное

тому, что им пристало говорить. Надо было бы, к примеру, вывести на подмостки героя, который пьян и шутки ради старается внушить ненависть к себе своей любовнице (намек на «Атилу»), спартамца сделать болтуном (намек на «Агесилая»), заставить завоевателя разглагольствовать лишь о любви (имеется в виду Цезарь в «Помпее»), а женщину — давать завоевателям уроки непреклонной гордости (имеется в виду Корнелия из того же «Помпея»). Вот бы возрадовались эти господа!»

«Британик» больше всего понравился двору — здесь никого не удивили ни Агриппина, ни Нерон, ни Нарцисс, ни Бурр, ни даже «искусница Локуста». По свидетельству Буало, увидев Нерона, обожающего играть на театре, Людовик XIV прекратил выступать в балетах. Так велик был в ту пору авторитет Расина. Поэт был посвящен в коварный замысел Генриетты Английской, решившей предоставить ему счастливую возможность публично восторжествовать над Корнелем. По слухам, историю Береники, словно специально придуманную для Расина, выбрала именно она. С ее легкой руки Расин рассыпал по пьесе намеки на юношеское увлечение Людовика XIV Марией Манчини, да и ею самой. Но смерть помешала Генриетте насладиться лицезрением своей особы в образе палестинской царицы.

Карты были крапленые, и это решило участь великого Корнелия. Расину показалось мало полностью завладеть единственной труппой, которая умела играть трагедию, — труппой Бургундского отеля; он сумел устроить так, что премьера его пьесы состоялась 22 ноября 1670 года — на целую неделю раньше, чем премьера «Гита и Береники» Корнелия. Впрочем, Расинова элегия в диалогах была встречена весьма сдержанно, даже у Буало не нашлось для нее доброго слова. И все же Расин одержал победу, но не успокоился и на этом; в предисловии он бьет лежачего, пинает старого врага ногами: «В трагедии волнует только правдоподобное; а можно ли говорить о правдоподобии, если за один день происходит множество событий, которые на самом деле могли свершиться самое малое в течение нескольких недель? Некоторые считают, что эта простота означает лишь недостаток выдумки. Им не приходит в голову, что вся-то выдумка и состоит в том, чтобы сделать нечто из ничего, и что обилие событий всегда является удобным выходом для поэтов, ощущающих, что их дарованию не хватает ни щедрости, ни мощи для того, чтобы на протяжении пяти действий держать зрителя в напряжении сюжетом простым,

но подкрепленным сильными страстями, красивыми чувствами и изящным слогом».

Впрочем, Расину в ту пору было недосуг жалеть противника: Шанмеле в роли Береники, как рассказывает Лафонтен, голосом своим волновала до глубины души не только зрителей, но и автора пьесы. Эта актриса, внучка председателя нормандского парламента Демара и жена Шанмеле, посредственного актера, но неглупого человека, восхитила Расина еще в роли Гермiony. Луи Расин уверяет, что если бы не его отец, она прозябала бы в неизвестности; вначале поэт лишь терпеливо снисходил к ней, но вскоре почувствовал, что ее общество не лишено приятности. Что все-таки значила для него женщина, в которой современники ценили, пожалуй, только голос и у которой, по всеобщему признанию, кожа была далеко не идеальной белизны, а глазки — крохотные и навывкате? Так ли уж безумно любил он эту особу, которую госпожа де Севинье, смотревшая сквозь пальцы на любовные похождения своего сына Шарля, в шутку называла своей невесткой, и не когда-нибудь, а в апреле 1671 года? Буало однажды написал Шарлю Амедю де Брью о Шанмеле: «Вы в ту пору были немало увлечены ею, и не думаю, чтобы с Вами обходились чересчур сурово». Были и другие, не говоря уже о господине де Клермон-Тоннере, который пользовался ее полной благосклонностью задолго до того, как открыто занял место Расина. Поэт, распивавший шампанское вместе со всей честной компанией в гостях у Шанмеле, так хорошо понимал, что является здесь пятым колесом в телеге, что даже написал на эту тему — возможно, не один, а в соавторстве — грубую эпиграмму. Неужели он в самом деле любил актрису, которую так спокойно делил с другими мужчинами? У автора и исполнительницы, как часто случается и сегодня, «был роман». Но вполне возможно, что настоящее чувство Расин испытывал к совсем другой женщине. В 1698 году, уже обратившись к религии, Расин с потрясающим равнодушием писал своему сыну Жану Батисту: «Господин де Рост сообщил мне позавчера, что Шанмеле при смерти, чем он, как мне кажется, весьма опечален; но поистине печально другое, что его, как видно, вовсе не заботит, — я имею в виду упорство этой несчастной, не желающей отречься от театра». Несколько дней спустя он продолжает: «Кстати, должен Вам сказать в оправдание Шанмеле, что она умерла как добрая христианка, отрехшись от театра, раскаиваясь в прожитой жизни и весьма страшась смерти».

Конечно, он расстался с ней более двадцати лет назад, да к тому же, вероятно, хотел затушевать некоторые факты своей биографии, чем и объясняются наивные старания Луи Расина уверить читателей, что отношения поэта и актрисы были абсолютно невинными. Мы часто упрекаем сыновей в том, что они приукрашивают облик отцов, забывая о том, что, как правило, сами отцы при жизни рисуют идеальные автопортреты, завещая их наследникам. Самый искренний человек инстинктивно лжет своим детям, и не случайно в наше время, когда писатели так стремятся говорить правду и показывать себя с самой худшей стороны, они как будто дали зарок не иметь детей. Если бы Руссо не отдал своих наследников в воспитательный дом, хватило ли бы у него смелости написать «Исповедь»?

А если бы Андре Жид...

Впрочем, Расину повезло с сыном — обмануть его было легче легкого; недаром Луи Расин простодушно признается: «Из всех, кто общался с отцом в ту пору, когда он писал для театра, никто не назвал мне ни одной osoby, которая имела бы над ним хоть малейшую власть...» Можно подумать, что кто-нибудь стал бы рассказывать пикантные истории столь набожному сыну!

Именно в 1672—1673 годах, в разгар своего увлечения Шанмеле, которую он был столь мало склонен ревновать к кому бы то ни было, Расин создает ревнивую Роксану из «Баязида». Из лагеря Корнеля вновь посыпались нелепые упреки; Расина обвиняли в том, что его турки не похожи на турок (по правде говоря, передать тяжелую, спертую, душную атмосферу серала с его трусливыми и жестокими рабами, евнухами и немymi стражами не удалось, пожалуй, ни одной драме, даже романтической). Поразительно, с каким упорством в гостиных XVII века придирались к самым малозначающим деталям пьес. Отметим, однако, что, несмотря на неистовство критики, предисловия Расина стали сдержаннее; из них исчезли шпильки в адрес Корнеля. Дело, конечно, прежде всего в том, что Расин — на гребне славы; в 1674 году он получает должность государственного казначея в Мулене, а с нею — потомственное дворянство. Великий Конде обожает Расина, с ним дружат знатнейшие люди своего времени — Мортемары, госпожа де Тианж и госпожа де Монтеспан, д'Эффья, герцог де Шеврез, Кольбер. Тем не менее, как мы убедимся, когда дойдем в своем рассказе до «Федры», успех ничуть не уменьшил вспылчи-

ности поэта; его мирное настроение в 1672 и 1673 годах — следствие облагораживающего, но недолговечного влияния, которое неизменно оказывала и, оказывает на всех, кто стремится проникнуть под ее сень, Французская академия. В ожидании выборов самые желчные авторы обретают не свойственную им кротость, а самые злопамятные откладывают мщение до того дня, когда наконец займут вожделенное кресло. Расин занял свое 12 января 1673 года, наследовав Ламоту Ле Вайе. Речь его при вступлении в Академию была столь посредственной, что даже не сохранилась; по свидетельству Луи Расина, говорил он тихо, и весь успех выпал на долю Флешье, которого принимали в тот же день.

В следующем году была создана «Ифигения». Король пожелал, чтобы первое представление состоялось в Версале, во время празднеств по случаю завоевания Франш-Конте. Фелибьен в своем описании праздника рассказывает, что подмостки для «Ифигении» были выстроены в конце аллеи, ведущей в оранжерею. То было странное смешение сельских гротов, канделябров, гранатовых деревьев, позолоченных статуй, фонтанов и тритонов. Поэт по-прежнему умел при случае показать когти — это видно по знаменитой эпиграмме, которой он заклеил Кора и академика Леклерка, посмевших написать пьесу на тот же сюжет (вот когда впервые было опробовано оружие, которое затем, и уже с большим успехом, применили против «Федры»).

Конечно, до премьеры «Федры» остается еще два года, но наивно было бы думать, что Расин за это время станет совсем другим человеком и начисто утратит свою неуживчивость; столь же наивно думать, что в истории с «Федрой» во всем виноваты только враги Расина. В самом деле, по наущению вельможи, поэта и остроумца Филиппа Манчини, герцога Неверского, и его сестры, надменной герцогини Буйонской, госпожа Дезульер предложила молодому поэту Прадону, уроженцу Руана, автору двух скверных трагедий, написать в пику Расину еще одну пьесу об Ипполите. Но в конечном счете враги Расина повторяли при этом на свой страх и риск историю с «Береникой». Чего ему было бояться? Однако достоверно известно, что он пытался добиться от Людовика XIV запрещения пьесы, написанной его безвестным соперником. Это — один из самых низких поступков Расина. Конечно, герцогиня Буйонская и острословы из ее окружения были опасными противниками. Но это еще не основание, чтобы так позорно струсить.

Хоть «Федру» задушить пытались до рожденья,
Сумел ее спасти Людовик от забвенья*, —

сказал Прадон о своей трагедии в «Послании супруге Дофина». Ему еще не раз вставляли палки в колеса. «Мои читатели и, — писал он, — премного посмеются, узнав, что эти господа хотят лишить авторов права сочинять пьесы, артистов — права играть их, издателей — печатать, а публику — судить их по достоинству».

Расину все-таки удалось поставить свою «Федру», как когда-то «Беренику», на несколько дней раньше, чем Прадону свою. Луи Расин уверяет, что герцогиня Буйонская, не пожалев пятнадцати тысяч ливров, сняла на первые шесть вечеров залы Бургундского отеля и Пале-Руаяля. Далеко не все поддерживают эту версию, особенно в том, что касается Бургундского отеля. Точно известно лишь, что Расин был в отчаянии от успеха соперника — Валенкур видел это собственными глазами. Стоило ли так огорчаться, если все дело было в кознях герцогини Буйонской? Судя по всему, триумф Прадона длился весь январь 1677 года. На сонет герцога Неверского (или госпожи Дезульер), направленный против «Федры», Расин и Буало либо их друзья: шевалье де Нантуе, Фиеск, д'Эффья, Гийераг и Маникан — ответили другим сонетом на те же рифмы, отличавшимся, по словам Бюсси-Рабютена, неслыханной дерзостью: «Двое сочинителей, — писал Бюсси отцу Брюлару, — упрекают одного из первых людей в государстве в том, что он ведет себя не так, как подобает придворному, воину и христианину, что его сестра, племянница Мазарини — шлюха и вдобавок его любовница. Все это чистая правда, тем не менее сочинителей следовало бы высечь...» Расина и Буало не избили палками, как грозился герцог Неверский, лишь благодаря могущественному защитнику. «Если авторы сонета — не вы, — писал им сын великого Конде, — приходите в особняк Конде, и, поскольку вы невинны, господин принц сумеет защитить вас от этих угроз, а если сонет сочинен вами, все равно приходите, господин принц возьмет вас под свое покровительство, поскольку сонет очень забавен и остроумен».

Проще всего было бы сказать, что Расин отложил перо с досады. Несомненно, в январе 1677 года он испытал горечь поражения, но, будь дело только в происках всяких Манчини, Дезульер и Прадонов, он бы, разумеется, вскипел, воз-

* Перевод М. Гринберга.

мутился, но не сдался. На пути Расина встретилось какое-то иное препятствие, которое мы не сразу можем разглядеть. За те два загадочных года, что отделяют «Федру» от «Ифигении», неизвестные нам события потрясли этого честолюбца; был ли то душевный кризис, неосознанное пробуждение религиозного чувства, которое, если оно привито с детства, никогда не исчезает бесследно? Дальнейшее покажет. Угрозы извне? Но какие? Быть может, этот стратег уступает на опасном повороте давлению Благодати лишь оттого, что на карту поставлено его земное благополучие? Мы начинаем понемногу понимать, что он был за человек, Жан Расин; такие люди встречаются и сейчас: они не желают, чтобы жизнь их была партией, которую неизбежно приходится проигрывать. Жан Расин никогда не смирялся с поражением. Возможно, дойдя до крайности, он ухватился за религию как за единственную оставшуюся возможность, сделал на нее последнюю ставку. Конечно, в тридцать семь лет он не считает разумным ставить на эту карту все, что имеет; житейская мудрость состоит в том, чтобы покидать источник лишь когда он совсем иссякнет; но если один источник — театр, долгое время питавший Расина, как ему кажется, близок к истощению, то религии, по крайней мере, это не грозит практически никогда; у верующего всегда остается большое преимущество — надежда. В поведении такого человека, как Расин, все взаимосвязано — это, впрочем, не значит, что все в его поведении — результат свободного волеизъявления. Паскаль называл события господами, данными нам от Бога; как мы увидим, в ту пору, к которой мы подошли, подобные господа свалились на голову Расина в изобилии; но не таков был его трезвый ум, чтобы унизиться до подчинения. Подобно Одиссею, герою его любимого Гомера, он всегда был на высоте; он умел всегда оставаться тем, кем хотел.

И все же его отречение от поэзии — непомерная жертва, принесенная требовательному Богу. Отречение от поэзии? Осмелимся заметить, что нет такого творца, который мог бы хладнокровно решить: с этого дня я бросаю творчество. Даже сказав последнее слово, отдав все, чем богат, он будет повторяться, но по инерции продолжать писать, — так было с Корнелем. А если в душе художника зреет и рвется на свет новый замысел, то, как он ни стараясь, ему не сдержать этого порыва. Каковы были творческие возможности Расина после «Федры»? Точнее, каковы были его возможности в области трагедии? Чтобы разобраться

в этом, нужно вернуться к истокам творчества Расина — самого совершенного во всей французской литературе творчества, венцом которого стала «Федра».

VII

«Андромаха» открыла обществу, которое сочинители лирических стихотворений, романов и трагедий приучили смотреть на любимое существо как на объект завоевания, что завоевать возлюбленного или возлюбленную невозможно. В рыцарской и прециозной литературе нет такой красавицы, которую нельзя покорить смелыми подвигами, нет такой гордячки, которую нельзя в конце концов умиловать. Как бы долго ни длилось испытание, пылкий поклонник в один прекрасный день получает вознаграждение за то, что верно служил своей милой «до седых волос». Немыслимая беспомощность Ореста, говорящего с Гермионой, полнейшая ничтожность Гермионы в глазах Пирра — со времен античности люди успели об этом забыть и не желали вспоминать. Расин же, вчитавшись в Еврипида, порывает с условным изображением милой и нежной любовной игры, где никогда не стоит отчаиваться. Порывает не сразу — «Александр» еще грешит фальшью в изображении чувств, да и во всех последующих трагедиях, вплоть до «Федры», дело не обходится без красотостей.

И тем не менее с самых первых слов «Андромахи» мы понимаем, что Гермиона никогда не полюбит Ореста, а Пирр — Гермиону, как бы отвергнутые влюбленные ни пытались себя обмануть. Едва попав в этот ад, они оставили всякую надежду. То, что некоторые считают самым неестественным в классической трагедии, — обыкновение «рвать страсти в клочья» — у Расина выглядит наиболее убедительным; что еще остается этим несчастным? Ничто не помогает — ни нежность, ни угрозы. Любимый человек не видит, не слышит нас. Он сам влюблен, сам во власти такого же наваждения, он тянется к своему солнцу, к своему магниту. Никакая сила в мире не может отворотить нашего возлюбленного от того, кого любит он, и привязать к тому, кто любит его. Если ему и случается бросить взгляд на сердце, которое он мучит, то лишь затем, чтобы с его помощью попытаться покорить сердце, которое мучит его. Его жертва существует для него лишь постольку, поскольку способна обезоружить его собственного палача; поэтому Гермиона

соглашается выслушать Ореста, поэтому Пирр делает вид, будто возвращается к Гермионе. Мнимое перемирие; они и сами не верят в удачу — кроме, пожалуй, Пирра, у которого есть почва для надежд: его возлюбленная, Андромаха, любит другого, однако этот другой мертв. Орест не существует для Гермионы, а Гермиона для Пирра; но в глазах Андромахи Пирр существует: самый ничтожный живой человек сильнее призрака, даже призрака Гектора, — ведь призраки живут лишь в памяти любящих их людей. Время работает на Пирра; его союзник — забвение. Конечно, Андромаха черпает силу в своей добродетели и блюдет свою честь, но препятствия такого рода великая любовь в конце концов преодолевает. Только одно не покоряется страсти — другая страсть, ибо она лишает нас в глазах любимого человека самого необходимого — жизни: мы для него не существуем. Самое прекрасное место в «Андромахе» — вскрик Гермионы из четвертого действия. Пирр, как всегда поглощенный своей любовью к троянке, наносит Гермионе визит вежливости и каждым своим словом невольно ранит жертву в самое сердце. Он разыгрывает оскорбленную невинность и притворяется, будто верит, что она никогда его не любила. И тогда Гермиона в исступлении выплескивает свою страсть:

Тебя любила я, хоть ты мне изменил,
Но если б ты меня лишь пальцем поманил,
Я б отдала тебе все сердце без остатка.

Но внезапно безумный монолог прерывается: несчастная замечает, что Пирр, полуотвернувшись, даже не слушает ее, да и слышит ли? Он где-то очень далеко от этой фурии; лишь теперь она, быть может, впервые осознает, что ее тело, ее сердце — все то, что зовется Гермионой, не существует для возлюбленного, что она для него — не более чем бесплотный призрак:

Ну что ж молчите вы? Ни слова мне в ответ?
Предатель! Ты своей троянкою лишь бредишь,
С ней сердцем говоришь и все минуты метишь,
Что попусту идут на разговор со мной.
Иди! Я не держу...

Вкладывая в руку Ореста кинжал, она мечтает лишь об одном — чтобы, умирая, Пирр знал, что убивает его она, Гермиона, и наконец поверил в ее существование, в ее любовь — поверил хоть на мгновение.

Расина, который постоянно, день за днем наблюдал абсолютную власть в действии, неотступно преследовала мысль о бессилии этого всемогущества перед лицом любви. Орест или Гермиона не знают иного оружия, кроме нежности, но Нерон, Митридат, Роксана наделены верховной властью и могут приказать: «Полюби меня или умри». Увы, их возлюбленным не дано выбрать жизнь. Баязид и рад бы — пусть даже такой ценой — избежать смерти; он пытается надеть маску, соглашается покориться воле низкой твари, в чьих руках находится его судьба. Напрасные унижения: страсть Роксаны безгранично трезва, иступление лишь прибавляет ей зоркости. Притворству может поверить лишь тот, кто не любит, — или трус, закрывающий глаза на правду. Но страсть тотчас узнает другую страсть; ее не проведешь. Даже если бы Роксана не проникла в тайну Аталиды, она все равно почувствовала бы измену прежде, чем завладела Баязидом. Мы не всегда знаем о том, что любимы, но почти всегда сознаем, что нелюбимы.

Пожалуй, Расину ближе всего подавляемая, отвергнутая страсть. Любовь для него — волна, с яростью бьющаяся об утес. Он видит в ней лишь одно слепое упорство, огромное бесплодное усилие, пену на воде. Счастливая любовь — не его стихия, и живописующие ее пресные сцены можно выдержать лишь благодаря дивным стихам. Трепет Джульетты, ожидающей Ромео, Расину недоступен. Из всех его героинь, которые любят и любимы, полнокровна одна Береника — ибо любовь не приносит ей счастья: Тит жертвует ею ради Рима. Из всех, кто любит и любим, Береника — самая живая. Но ей все равно далеко до тех, кто любит безответно: Гермионы, Роксаны или Федры. Что же до Юнии или Аталиды, то они оживают лишь перед лицом своих палачей — Нерона, Роксаны. Героини Расина обретают плоть и кровь лишь когда владеющая ими страсть разбивается о непреодолимую преграду.

Люди всегда мечтают о покорении стихий: ловкачи, политиканы мечтают воспользоваться иступленными и безнадежными страстями для достижения своих корыстных целей. Но дальновидные расчеты Бурра, Агриппины, Нарцисса и Акомата так же бессильны перед напором этих водяных валов, как и верховная власть Нерона или Роксаны.

Жан Расин выразил себя в придворных и вольноотпущенниках, хладнокровно наблюдающих за мучениями своих

хозяев, ничуть не меньше, чем в «безрассудных влюбленных». У честолюбцев своя страсть — вести опасную игру с огнем и рисковать, стараясь извлечь как можно больше из необузданного нрава тех, от кого зависят их жизнь и благополучие. Посмотрим правде в глаза. Расин, конечно, был не только таким, но и таким он был тоже — человеком, который служит сегодня госпоже де Монтеспан, а завтра госпоже де Ментенон. Сен-Симон сообщает, что Расин, «предоставив свое блестящее перо в распоряжение госпожи де Люксембурга», правил ему судебные протоколы, а также, что король и госпожа де Ментенон «посылали за Расином, чтобы он их развлек»; по словам Шпангейма, посланника курфюрста Бранденбургского, Расин принадлежал к числу тех придворных, которые «на людях рассыпаются в любезностях, а в разговоре с глазу на глаз жалуются и ворчат и без которых не обходится ни одна интрига». В 1678 году, став президентом Французской академии, Расин произнес речь, которую закончил следующим образом: «Все слова нашего языка, все его слоги для нас драгоценны, потому что с их помощью мы прославляем нашего великого покровителя». Позже, в 1685 году, бесстыдство его дошло до того, что он назвал Людовика XIV «мудрейшим и совершеннейшим из людей». И это Расин, который сказал однажды о светском обществе: «Скопище идиотов! А мы следим за каждым их движением, превозносим то, что превозносят они, и браним то, что бранят они...» Похоже, что афоризмы Нарцисса и советы Акомата Расин почерпнул не только из произведений древних.

Впрочем, рядом с Акоматом и Нарциссом в душе Расина живут Роксана и Гермiona. Разве поэту не были знакомы могучие темные страсти, которыми он наделял своих неистовых принцесс; страсти, переходящие из одной трагедии в другую? Сознал ли он, что топчется на месте? После «Баязида», боясь повториться, он пробует себя в новой области: «Митридат», наименее удачная из его пьес, которую Данжо, словно забыв о Мониме, называет комедией — любимой комедией Людовика XIV (так же высоко ставили ее Карл XII и принц Евгений), построен на историческом материале; его главная тема — прославление завоевателей. В «Ифигении» стремление автора заглушить не умолкающие в его душе голоса Гермiony и Роксаны и не дать их однообразному безумию прорваться на сцену еще более очевидно. «Ифигения» — безупречная копия с античного образца.

Поэт не желает заглядывать в собственное сердце, но двор и столица ежегодно ждут от него очередной трагедии, поэтому он — с присущим ему мастерством — копирует Еврипида. Светских людей не проведешь, и вот уже ханжи радуются, что в пьесе почти нет любви. Иезуит Пьер де Виллье в «Рассуждении о трагедиях нашего времени» высказался так: «Можно утверждать, что успех «Ифигении» вывел из заблуждения публику, полагавшую, будто нельзя создать трагедию, не изобразив в ней страстной любви».

Еще целых два года Расин борется с женщиной, которую уже не раз выводил на сцену и которая действительно требует, чтобы ее воплотили в трагедии еще раз — последний ли? Предчувствовал поэт скорое расставание с театром или нет? Бесспорно одно: в это свое создание, которое он вынашивал уже много лет, он вложил больше сокровенного, чем в Гермиону или Роксану. Мы почти ничего не знаем о личной жизни Расина с 1675 по 1677 год, но как много говорит нам написанная в течение этих загадочных лет «Федра»! Невозможно не вспомнить здесь страдальческое лицо на лангском портрете.

Уже по первым словам Федры, этой обреченной, измученной царицы, видно, что при всем сходстве с другими героинями Расина она живет в ином измерении: Гермиона и Роксана повиновались зову своей крови, они не знали иного закона, кроме того, который диктуют кровь и плоть; как сомнамбулы стремились они к предмету своих вожделений, далекие от мысли, что могут причинить кому-то вред. Но Федру Расин наделил созревшей в нем за эти годы роковой уверенностью в том, что плотская любовь — зло, причем зло, которого мы не властны избежать.

Почему на пороге сорокалетия Расин вновь внял голосу христианской веры? Да именно потому, что стоял на пороге сорокалетия. Ведь не только демоны, но и ангелы блюдут полдень нашей жизни. Когда Жюлю Ренару исполнилось сорок два года, он записал в дневнике: «Смерть кажется мне большим озером, к которому я приближаюсь, все яснее различая его очертания». В эту пору человек устает от груза прошлого, который несет на своих плечах; он вдруг воочию видит свою судьбу; он осознает ее в свете вечности, и ничья любовь уже не может отвлечь его от мысли о смерти. Он с изумлением обнаруживает, что утратил способность внушать к себе такую любовь, какая в юности легко пьянила мозг и прогоняла мрачные мысли. Судя по всему, Шанмеле

в эпоху «Федры» доставляет Расину одни огорчения. Быть может, убедившись, что она любит его не больше, чем других, он стал труднее переносить и то, что она любит не его одного. Удачливый любовник никогда не желает смириться с тем, что его разлюбили. Только тот, кто привык быть обманутым, может в одно несчастное утро хладнокровно взглянуть в зеркало, чтобы увидеть там жалкого рогоносца. Был ли счастливым соперником поэта художник Труа или Клермон-Тоннер, ясно одно — Шанмеле оказывала предпочтение не Расину. Мы ничего не знаем о закате их любви, кроме того, что можно прочесть между строк в рассказе Броссета: «Первое представление «Федры» состоялось в Версале в присутствии короля и госпожи де Монтеспан. Шанмеле наотрез отказывалась произнести стихи:

Нет, я не так бесчестна,
Как те искусницы, что, ловко скрыв свой грех,
Глядят с невинностью бестрепетной на все х, —

но господин Расин решительно не соглашался их вычеркнуть. Многие зрители обратили внимание на это место во время спектакля».

Мы без труда можем представить себе спор между любовниками: женщина вольного поведения никогда не прощает намеков, которые можно отнести к ней самой. А язвительный Расин, особенно если его мучила ревность, наверняка не поскупился на ядовитые издевки. Без сомнения, к тому времени о его любовнице уже начал ходить непристойный стишок (к которому он так или иначе явно приложил руку), начинавшийся словами:

Шесть кавалеров, не вступая в спор,
Служили Клодии поочередно... *

Ничто так не способствует пробуждению глубокого религиозного чувства, как этот грустный финал — втопанная в грязь и исчерпавшая себя любовная связь. Только такой законченный безбожник, как Стендаль, мог сказать, что непорочность — комическая добродетель. Покидая на заре особняк на улице Висконти, где жила Шанмеле, Расин, должно быть, не раз вспоминал «смертных ангелов» — непорочных дев из Пор-Руаяля, чьи молитвы приводили его в восхищение в ранней юности.

* Перевод М. Гринберга.

Впрочем, Расину религия представлялась чем-то вроде спасительного лекарства. Жажда познания была ему неведома. Все его разговоры с Буало вертелись вокруг особенностей просодии или смысла какого-либо произведения. Не религиозное томление, а нужда возвратила Расина к религии. Поэт, который даже во времена своей бурной юности предчувствовал, что в один прекрасный день сможет обрести в лоне церкви покой и искупить там годы, когда он был самим собой, ни разу не усомнился в правоте христианского учения. Этот прагматик инстинктивно выбрал пастбище, где растет целительная для него трава.

О том, что Расин еще до заговора против «Федры» желал примириться со своими бывшими наставниками, свидетельствует предисловие к трагедии. Вспомним хотя бы знаменитый пассаж, где, заверив зрителей, что ни одна из его пьес не прославляла так громко добродетель, и похвалившись, что заклеил здесь любовные слабости, он добавляет: «Быть может, это послужит средством для того, чтобы примирить с трагедией многих прославленных своим благочестием и твердостью убеждений особ, осуждающих трагедию в наши дни. Они, без сомнения, отнеслись бы к ней более благосклонно, если бы авторы заботились столько же о поучении своих зрителей, сколько об их развлечении...»

Несомненно, все те два года, что Расин вынашивал «Федру», он был во власти переживаний, среди которых религиозные чувства занимали не последнее место, причем Бог, который мучил его, не был ни богом иезуитов, ни богом короля. Расин ханжа? Это совершенно неправдоподобно. Мы еще убедимся, что король приложил немало усилий, чтобы отдалить его от театра. Но пока мы ведем речь об эпохе, когда он не торопясь обдумывал свою последнюю светскую трагедию. Религиозный дух, каким проникнута «Федра», не имеет ничего общего с тем, которым начали щеголять придворные подхалимы. Федру гнетет бог Сен-Сирана. Если Расин и желал кому-нибудь угодить, то не Людовику XIV, а Великому Арно и другим отшельникам, которых прежде оскорблял.

Он никогда не переставал верить в то, что однажды внушил ему Николь: он развратитель, губитель душ, и души эти будут гибнуть по его вине до тех пор, пока трагедии его будут ставиться на театре. Он сын своего века, века, когда честолюбие и любовь становились опасным оружием в руках

стольких Орестов и Роксан, когда яд Локусты убил столько рабов и принцев:

Нет, похвалы не пусты
Отравам пагубным искусницы Локусты.

В «Федре» разлита атмосфера ужаса. Должно быть, Расин прожил эти два года в постоянном страхе. Быть может, он почувствовал над собой карающую десницу — десницу Господа, который наслал на него свидетелей его прежней беспутной жизни. С детства привыкший верить в Провидение, чья воля проявляется в деяниях человеческих, он во всем видит благие или дурные знаки. Впрочем, то, что происходит с ним, заставило бы задуматься и самых бесшабашных храбрецов. 21 ноября 1679 года он предстал перед «Огненной палатой» и услышал, что Катрин Вуазен называет его убийцей, отравившим одиннадцать лет назад свою любовницу Дюпарк. Вуазен утверждала, что Расин «тайно женился на Дюпарк, ревновал ее ко всему свету и в частности к ней, Вуазен, которой не доверял, что он избавился от Дюпарк с помощью яда, поскольку ревность замучила его, что во время болезни Дюпарк он не отходил от ее постели и снял с ее пальца кольцо с дорогим брильянтом, а также присвоил себе многие украшения и ценные вещи, принадлежавшие покойной».

Конечно, Расин уже два года как остепенился; конечно, в письме Лувуа государственному советнику Базену де Безону от 11 января 1680 года: «Прилагаю приказ короля об аресте госпожи Ларше; приказ об аресте господина Расина будет выслан по первому Вашему требованию» — речь идет о королевском историографе, снискавшем благосклонность Его Величества, о женатом человеке, отце семейства. Но из того, что бомба взорвалась лишь два года спустя, никак не следует, что, сочиня «Федру», поэт не подозревал о грозящей ему опасности — этой или какой-либо иной. Нет другого автора, который бы так мало заботился о том, чтобы ему простили его гениальность. Победители, отличающиеся столь недобрым нравом, рискуют дорого заплатить за не слишком безупречную жизнь. Конечно, Расин без труда оправдался (тем более, что обвинительница не располагала никакими доказательствами, а Базен де Безон был его братом по Академии). И тем не менее напоминания о беспутной юности не могли не привести в трепет того, кто с детства затвердил: ничто не сокрыто от взора Предвечного. Если мы не всегда виновны в том, в чем нас обвиняет

свет, есть другие грехи, не известные свету, но ведомые Господу. Заставил ли Расин свою любовницу избавиться от ребенка? Был ли невольной причиной ее гибели? Достоверно одно: в молодости он охотно имел дело с темными личностями и водил знакомство с людьми, которые далеко не всегда оставляют в покое своих знатных приятелей, когда те хотят с ними распрощаться. «Поступки наши преследуют нас». Поступки юного Расина продолжали преследовать его спустя десять лет. Как, наверное, возросла в ту пору его любовь к королю! Каким утешением служила ему мысль, что он в милости у короля и может укрыться под сенью трона, на котором восседают король и его фаворитка, может обнять священные колена! Король; Бог.

И вот из этого великого смятения рождается «Федра»; из всех трагедий Расина (за исключением «Ифигении») внешне наименее оригинальная, наиболее точно копирующая Еврипида (и, Сенеку) — и одновременно самая «расиновская», та, в которую автор вложил все самое сокровенное; творение единственное в своем роде, неповторимое, копия, не похожая ни на какой образец. Пожалуй, нельзя даже назвать эту пьесу шедевром, поскольку автору не интересен никто, кроме Федры. Солнце светит только для нее и только против нее. Другие персонажи словно не существуют. Даже Ипполит виден нам лишь постольку, поскольку озарен пламенным желанием Федры. Меж тем у Еврипида Ипполит интересен сам по себе — это целомудренный, слишком целомудренный отрок, юный, чистый душой охотник, бродящий по лесам; двор, однако, мог увидеть в этом странном юноше намек на некоторых вельмож, например, на господина де Креки, который, увы, обижая прекрасный пол, устремлял свой пыл отнюдь не к Диане. «Что бы сказали щеголи об Ипполите, ненавидящем женщин? Сколько пошлых шуток отпустили бы на этот счет!» — писал Расин. Дочь Миноса заслоняет от нас всех героев пьесы. Арикия нужна лишь для того, чтобы Федра могла простонать бессмертные слова:

И вот я узнаю, что любит Ипполит,
Что любит — не меня!

В лучах света лишь страдальческое чело Федры; кругом суетятся тени. Пылкие признания Ипполита Арикии:

Ты здесь — бегу я прочь; коль нет — ищу тебя я, —

звучат неестественно в его устах, кажется, будто он похитил их у Федры.

В пьесе два главных героя: Федра и Бог. Поэт отдает на суд божий человеческую любовь. В его крови бурлит то, что в первую очередь запрещается всякому христианину: унаследованные от предков низменные страсти вступают в борьбу с жертвенностью, преданностью, самоотверженностью.

Чудо состоит в том, что автор «Федры» сумел выразить в нескольких сотнях прекраснейших строк две стороны любви, терзающей смертных. Любви самой обычной — потому что, хотя из мифа и вытекает обратное, нет ничего менее преступного, чем томление Федры; разговоры о кровосмесительной страсти — пустые слова, поскольку кровь Федры не течет в жилах Ипполита. Ее чувство вовсе не противоестественно. Современный психиатр не нашел бы в нем ничего ненормального — просто-напросто влечение зрелой женщины к юному девственнику: материнский инстинкт и безумный бунт плоти. Как у всех влюбленных, у Федры любовь — не столько буйство, сколько слабость. Какой женщине не случилось хоть раз в жизни вздохнуть:

Головой твоею благородной
Безмерно дорожа, я нити путеводной
Не стала б доверять. Пошла бы я с тобой,
Чтобы твоя судьба была моей судьбой!

Но выходит, что, как ни естественна любовь Федры, она чревата позором. При мысли, что ее чувство оскорбляет неведомого Бога, в ней пробуждаются Гермiona и Роксана.

Однако Расин хочет обнажить и другую сторону человеческой страсти. Пусть Ипполит — не родной по крови жене Тезея; достаточно того, что несчастная считает свою страсть кровосмесительной, чтобы эта страсть стала таковой на самом деле; в любви нередко случается так, что в преступлениях виноваты сами законы. Да и вообще реальные события здесь мало что значат; над этой женщиной тяготет проклятие, которое губит не одну ее, но весь ее род — род людей, обреченных на нелепые, трагические заблуждения.

О рок! О ненависть жестокой Афродиты!..
Вовеки на земле не будут позабыты
Безумства, к коим страсть мою толкнула мать!

Пасифая в своих безумствах, которые Федра осмеливается помянуть в разговоре с Эноной, достигла самой мрачной из бездн, дошла до последнего круга ада. У Еврипида кормилица бормочет: «Любовь к быку — о ней ты говоришь, дитя?» * Что бы ни совершила Федра, она виновата прежде всего тем, что принадлежит к своему роду; ей это известно, как известно и то, что в таких случаях люди нередко, сами того не зная, повторяют поступки своих предков. Чем чудовищнее страсть, тем слабее сопротивление, которое может оказать несчастная жертва, бессильная и обреченная добыча. Самое большее, на что она способна, — какое-то время скрывать свое горе от людей; но настает день, когда и это становится невозможным:

В крови пылал не жар, но пламень ядовитый...

В такие моменты мы любим Федру за ее смирение. Она не оправдывает себя, она сознает свой позор, она униженно признается в нем Ипполиту. Она до дна испивает горькую чашу: описав человеку, без которого не может прожить ни дня, муки своего несчастного тела, истерзанного слезами и любовным жаром, она не может не крикнуть (никогда еще человеческие уста не издавали столь душераздирающего вопля):

Взгляни — и ты поймешь, что мой правдив рассказ.
Но нет — ты на меня поднять не хочешь глаз.

Удивительная прозорливость. Где эта новая Гермиона, эта наследница Роксаны научилась проникать в тайники собственной души? Гермиона уже не бродит вслепую по дворцу Пирра. Роксана покинула темные своды сераля. В «Федре» они выходят на свет и трепещут под лучами священного солнца. «Нужно познавать себя до тех пор, пока не ужаснешься», — писал Боссюэ маршалу де Бельфону. Федра ужасается. Она дочь богов, дочь неба; как и сотворивший ее поэт, она знает это. Первые слова, которые научился говорить Расин, были слова молитвы, и вся беспутная юность не могла стереть из его памяти воспоминание о небесах. Как бы низко ни пал христианин, он всегда знает, что и он — сын божий.

Но Федре неведом Бог, любящий нас беспредельной любовью. Ее истерзанное сердце не может обратиться к этому судье, от которого она не ждет ничего, кроме новой

* Перевод С. Аппа.

кары за свое преступление. Ни одна капля крови не была пролита за ее душу. Федра — из числа несчастных, которых наставники «малыша Расина» преспокойно отлучали от Того, кто искупил их грехи. «Господа из Пор-Руаяля» пребывали в страшной уверенности, что всемогущий Господь намеренно ослепляет и губит подобные создания. Их Божество превращалось в Рок — в Судьбу, которая не только не слепа, но, напротив, неусыпно следит за тем, чтобы души, отверженные еще до рождения, не избежали гибели.

Судьба Федры повторяется бесчисленное количество раз в ее потомстве — в существах, которые умеют жить, ничего не ожидая и ни на что не надеясь, лишенные любви, среди безводных пустынь. За каждым поворотом нашего пути мы вновь видим ее безжизненное лицо, сухие губы, горящие глаза, которые молят о пощаде; мы видим несчастные тела, парализованные стыдом, хотя единственное их преступление состоит в том, что они родились на свет.

Кто может спасти Федру от отчаяния? Нежданное открытие окончательно уравнивает ее с Гермионой и Роксаной. Появляется преграда, о которой она не ведала, та самая преграда, о которую разбились надежды двух ее неистовых сестер. Она верила в целомудрие Ипполита, она не подозревала, что у нее может быть соперница... О! новая, еще неведомая боль!

И вот Федра уже не дочь небес, она спускается на землю и превращается в ревнивую тварь, которая жаждет одного — ужалить и убить прежде, чем сама расстанется с жизнью. Снова это однообразное топтание перед наглухо запертой дверью.

Конечно, в «Федре» Расин заговорил о таких вещах, о каких не осмеливался заговорить ни один из его соперников (за исключением Корнеля в «Полиевкте»), — он ведет речь о предопределении свыше, о врожденной порочности и благодати. Но если дочь Пасифаи заставляет его приоткрыть врата, ведущие к познанию этих тайн, в святая святых, куда мы уже давно ворвались, уподобившись стаду диких зверей, сам Расин не переступает заветного порога. Он знает, что художник обязан выбросить из головы, забыть то, что известно человеку. Именно это имел в виду Ницше, когда писал, что истина, дабы оставаться истиной, должна прятаться под покровами и что в грехах его восхищает их умение оставаться на поверхности из уважения к глубинам.

Дочь Миноса уподобляется прочим героиням Расина. Гермиона называла себя «влюбленной безумицей» — эти же

слова слетают и с уст Федры. Расин верен себе. По-другому и быть не могло: драматургия, в особенности классическая трагедия с ее жесткими правилами, — жанр, в котором автор быстрее всего исчерпывает себя и труднее всего находит новые пути.

Расин исчерпал не только свои возможности, но и возможности жанра. Все трагедии, написанные после него, — не более чем подражания. Вольтер — всего лишь подражатель. Без сомнения, театр Расина был подобен обществу его времени, которому вскоре после смерти поэта пришел конец; жанр истощался и умирал вместе с режимом, который изображал. Но еще важнее другое: в наши дни изменилось представление о человеческом сердце; нынешних драматургов интересуют не общие и неизменные его законы, а те новые законы, которые можно вывести из его странностей и причудей.

Между тем если что и остается за рамками трагедии, так это ход времени. В пяти актах, действие которых происходит в течение одного дня и в одном месте, невозможно показать рождение любви, ее развитие, кризисы, пароксизмы, передышки, спад и гибель. Страсть здесь может быть изображена только на грани катастрофы. А главное, невозможно нарисовать героев в разные периоды их жизни, показать их не только в пространстве, но и во времени.

Впрочем, и освободившись от трех единств, театр не много выиграл. Утратив былую мощь, строгость и гармонию, он не научился взамен изображать течение времени; во всяком случае, если оно и течет, то только между актами. Самые лучшие современные пьесы зачастую оставляют впечатление, что главное в них происходит, когда занавес опускается. Все драматурги, стремящиеся обновить театр, пытались воспроизвести *в зрелище* бег времени, мысль о котором неотступно преследовала Пруста, — и, пожалуй, безуспешно.

Впрочем, Расин наверняка никогда не задумывался о трудностях такого рода. Ему и в голову не приходило, что можно что-то изменить в правилах игры, которыми он так блестяще владел (равно как и в устройстве королевства или догматах истинной веры). Но зато он не мог не чувствовать, что повторяется; в ту пору он, без сомнения, склонен был винить в этом главную тему своих пьес — любовную страсть и уверял себя, что нужно приняться за драму, где не будет ни слова о любви. Однако все это было еще достаточно неопределенно; иначе отчего он, прежде с такой жизне-

радостной язвительностью дававший отпор всем своим противникам, после постановки «Федры» так пал духом, что покинул поле боя? Сознал ли, что, написав этот шедевр, он уже не сможет пойти дальше, не повторяясь? Известно одно: подобно тому, как после «Баязида» он покорно принял за «Ифигению» Еврипида и создал ее гениальную копию, так после «Федры» он обратился к античному образцам: начал работу над «Ифигенией в Тавриде», над «Алkestой» (и далеко не очевидно, что он был прав, бросив их в огонь).

Тайные тревоги, страхи, угрызения совести обычно не только не истощают творческих сил художника, но, напротив, пробуждают и питают их. Расин отложил перо в самую тяжелую для него пору, хотя другие на его месте предпочли бы выплеснуть свои чувства в новом произведении. Конечно, мысль эта слишком современна и вряд ли пришла бы в голову Расину, но законы творчества одинаковы для всех времен; творческий инстинкт заставляет нас высвечивать самые темные стороны нашей души, запечатлевать в искусстве все самое смутное и зыбкое. Расина же само совершенство его искусства вынуждало замолчать. Трагедии Расина — это прежде всего четкость и ясность. Он не стал бы изображать те стороны человеческого «я», которые нарушают чистоту жанра. Прозрачная, светлая трагедия совершает отбор в человеческом сердце; она устраняет одни страсти, обостряет другие; ей потребны четкие контуры; смятение и противоречивость, которые сегодня приводят нас в восхищение, ей противопоказаны. В 1677 году Расин не только не считал искусство лекарством, не видел в нем возможности облегчить душу, но, напротив, опасался, по-видимому, как бы владевшее им беспокойство не испортило новое произведение: он уже не считал себя способным достичь прозрачности, даже следуя греческим образцам.

А могло быть, впрочем, и так, что однажды вечером, выходя из театра после представления «Атиль» или «Агесилая», Расин дал себе клятву: «Уж я-то сумею замолчать вовремя». В трудный момент своей жизни он вспомнил Корнеля, которому под старость пришлось сносить попреки молодежи. Когда Расин был молод, творческий инстинкт, эта внутренняя потребность созидать, соединялся в его душе с желанием любить и владеть предметом своей любви, и это давало ему силы не только противостоять мольбам и угрозам родни и бывших наставников, но даже зло вышучивать их. Однако стоило этим двум страстям ослабеть под

непрекращающимися ударами Судьбы, как Благодать вновь одержала верх. Бессильная против замысла, нуждающегося в воплощении, она празднует победу, когда творческий путь завершен. Произведения прекрасны и бессмертны, они живут своей жизнью, даже если их творец отрекается от них. А сам он может теперь позаботиться о спасении своей души.

VIII

Бывает в жизни пора, когда все в душе человека, даже самое лучшее, восстает против Бога. Но бывает и другая пора, когда Бог показывает нам наше ничтожество, дабы наставить на путь истинный. В 1677 году Расин еще очень далек от святости. Мало сказать, что он не отрекся от света. Никогда еще этот игрок, чувствуя, что счастье изменяет ему, так горячо не желал отыграться. Но замечательная прозорливость помогла ему понять: тому, что все считают его главным козырем, — театру — на самом деле грош цена, эту карту нужно поскорее сбросить. Прозрение, не столь странное, как кажется на первый взгляд: автор довольно часто сознает, что выговорился, чувствует прежде других, что ему больше не о чем поведать миру. Но жить-то надо; когда талант иссякает, остается ремесло. Скажи король Франции иному из нынешних писателей: «Бросайте писать романы, я назначаю вас дворянином при особе короля и даю вам задание воспевать мои подвиги...» — о! с каким легким сердцем этот писатель дал бы согласие! Особенно если в юности за ним водились кое-какие грешки, если вокруг него бродят подозрительные личности, если он чувствует, что ходит по краю пропасти.

Поразительно, что и Жан Расин, и его августейший повелитель, по воле Провидения схожие друг с другом чертами лица, почти одновременно ощутили в своих сердцах пробуждение спасительного страха перед судом небесным. И если, как писал Паскаль шведской королеве, власть монархов над подданными подобна власти могучих умов над умами более слабыми, то выходит, что Людовик XIV и Жан Расин на склоне лет ощутили одинаковое раскаяние при мысли о множестве малых сих, которых они смутили, а может, и соврали с пути истинного своим распутством.

Разумеется, Бог Янсения, единственный, которого знал Расин, не пользовался благосклонностью монарха. Расин

достоин огромного уважения за то, что преклонил колена перед Великим Арно. Между прочим, не всем пришлось по душе этот поступок. Посланник курфюрста Бранденбургского Шпангейм писал: «Расин плетет козни даже в делах веры, он всегда старается держаться поближе к тем, кто наверху. Янсенизм во Франции вышел из моды, но, чтобы сойти за человека порядочного и высоко духовного, Расин не прочь прослыть янсенистом...»

Все это клевета, и притом глупая. Расин слепо поклонялся Людовику XIV, но верностью Пор-Руаялю он поступиться не мог. В этом, и только в этом, причем не однажды, а постоянно, до конца дней своих он упорствовал, рискуя впасть в немилость. Теперь мы особенно ясно понимаем: его юношеские издевки над бывшими наставниками — не что иное как досада влюбленного. Расин еще не возвратился всем сердцем к Богу, но он уже послушен Пор-Руаялю. В течение пятнадцати лет тетка Сент-Тэкл не теряла надежды завладеть столь славной добычей. И вот наконец рыба на крючке. Прежде всего Расин мирится с Николем. Переговоры с господином Арно, который «не мог забыть насмешек над матерью Анжеликой, своей сестрой», взял на себя Буало. Он воспользовался постановкой «Федры», чтобы привести к Арно ее автора. «Они пришли на следующий день, — рассказывает Луи Расин, — и хотя зала была полна народу, виновный смиренно пал в ноги господину Арно. Тот в свою очередь преклонил колена, и они обнялись».

С этой поры тетка Сент-Тэкл, Арно и Николь не оставляют Расина в покое ни на минуту, и он — хотя и с трепетом — повинуется. Благодаря ему господин де Ноай, архиепископ Парижский, назначает общине того духовника, которого ей угодно. Выдавал ли он себя перед королем? Если верить Фенелону, Расин во всеуслышание объявлял у госпожи де Ментенон, что часто бывает в Пор-Руаяле. Впоследствии он подолгу живет там, а его семья каждый год участвует в процессии, посвященной празднику Тела Господня. Жан Батист Расин говорит, что отец его страстно любил господина Арно. Расин был в числе тех, кто после смерти изгнанника осмелились сопровождать его сердце в Пор-Руаяль. Он общался у Николая со всеми, кто сочувствовал янсенистам, рискуя быть обвиненным в преступлении, которое король именовал «пособничеством». Ему в самом деле предъявили такое обвинение; быть может, это и свело его в могилу.

Но в год постановки «Федры» набожный царедворец, чье сердце вскоре будет разрываться между любовью к королю и верностью Пор-Руаялю, еще не ощущает этого мучительного противоречия; на закате молодости и любви, когда удача изменяет ему всюду — и в ремесле, и в творчестве, когда под угрозой находятся, быть может, даже его честь и безопасность, он принимает любую помощь, откуда бы она ни исходила: от Господа или от света, от Людовика XIV или от Великого Арно, от госпожи де Монтеспан или от матери Сент-Тэкл; о том, как примирить в своем сердце враждующие силы, он подумает после. Дело не в этом! А в чем же?

«Федра» провалилась в начале февраля 1677 года, женился Расин 1 июня того же года; за четыре месяца, отделяющих одно событие от другого, он успел подумать о том, не уйти ли ему в картезианский монастырь. Однако нельзя сказать, чтобы он женился на первой встречной; нет, продумано было все, вплоть до мелочей. Расин женился по расчету, пожалуй, даже чересчур точному. Многие литераторы заключали браки на таких же основаниях, но ни один, кроме Расина, не стал искать женщину, которая бы не знала ни строчки из творений своего жениха и считала бы, что увидеть их на сцене — значит продать душу дьяволу. Катрин де Романе, с которой Расин обвенчался 1 июня 1677 года в церкви Святого Северина, была именно такова. Расин познакомился с этой юной особой, дочерью покойного мэра города Мондидье, бывшего государственного казначея Амьенского финансового округа, и племянницей заместителя прокурора Ле Мазье, у Витаров. Брак с этой девушкой сулил массу выгод: у Катрин де Романе было состояние и не было родителей. Богатая сирота и, как показало будущее, хорошая мать: она родила ему много детей. Луи Расин уверяет, что «ее равнодушие к поэзии было столь велико, что за всю свою жизнь она так и не удосужилась узнать, что такое стихи, и несколько лет назад, услышав от меня о существовании мужских и женских рифм, спросила, какая между ними разница; в ответ я сказал, что ее супруг разбирался в этом лучше моего. Трагедий, которые не должны были бы оставить ее равнодушной, она никогда не читала и не видела на сцене, она знала их только по названиям, поскольку их нередко упоминали в разговорах».

Расин в эту пору так резко и уверенно меняет курс, что если в угоду госпоже де Монтеспан и госпоже де Тианж он

и соглашается написать либретто оперы о Фазтоне, то не стоит, как делали многие критики, называть его Тартюфом, — лучше попытаться понять причину подобной непоследовательности. Он слишком тщательно продумывал любой свой шаг, чтобы без серьезных причин, вот так запросто согласиться перепевать Кино, тем более в то время, когда он вообще сторонился театра, пытаясь начать новую жизнь на более прочных основаниях. Состоя на королевской службе, он вполне мог позволить себе отказать фаворитке, чье могущество уже клонилось к закату; из предисловия Буало мы знаем, что он подчинился ей с большой неохотой: «Поскольку у господина Расина не лежала душа к этому сочинению, он сказал, что закончит его, только если я соглашусь ему помогать». Далее Буало говорит, что, вероятнее всего, те несколько строк, которые Расин успел написать, не были найдены после его смерти, поскольку автор уничтожил их «из щепетильности — ведь речь в них шла о любви».

Нет ли какой-нибудь тайной причины, объясняющей непоследовательность раскаявшегося поэта? Заметим: Расин принимается за «Фазтона» между ноябрем 1679 и январем 1680 года. Именно тогда его вызывают в «Огненную палату»; письмо Лувуа Базену де Безону с обещанием выслать королевский приказ об аресте Расина по первому требованию датировано 11 января 1680 года. Как мог Расин в таких обстоятельствах рисковать навлечь на себя чье бы то ни было неудовольствие? Главное для него сейчас — не прогневить никого из тех, кто может сослужить ему хорошую или плохую службу. Тогда же он дает настоятельнице монастыря Фонтэвро согласие перевести «Пир» Платона (что бы сказала об этом мать Сент-Тэкл, настоятельница Пор-Руаяля?). Он не гнушается даже сочинением мадригалов вроде предисловия к «Избранным сочинениям семилетнего автора» — герцога Мэнского. Меж тем, убедившись, что опасность миновала, Расин, внешне оставаясь таким же придворным льстецом, как и прежде, больше ни разу не приложил руку к подобному вздору.

Впрочем, страх не только побуждал его угодничать — он все сильнее привязывал его к Богу. Мы убеждены, что именно к этому времени относится переложение XVII псалма (во всяком случае, оно безусловно написано гораздо раньше «Духовных песнопений»). Можно себе представить, какой смысл вкладывал «сър Расин» в строки:

Мою трепещущую душу
Объял тогда смертельный страх,
И видел я, что не разрушу
Тех уз, что мне готовит враг;
Уже не чая избавленья,
К тебе я возносил моления,
И до тебя дошел мой глас
И возбудил твой гнев суровый:
Расстроив нечестивых ковы,
Из западни меня ты спас.

И далее:

Я презираю век неверный,
И дух мой не запятнан скверной.

Или еще:

Я жив лишь милостью твоею,
Ты мне защита и покров.
Твоя рука не даст злодею
Меня низвергнуть в страшный ров. *

Господин Менар удивляется тому, что Луи Расин, в чьих бумагах сохранился текст этой оды, написанный рукой его великого отца, не опубликовал ее и даже никогда не упоминал о ней. Не потому ли, что она была создана в страшное время и возвращала к событиям, которые дети поэта и его друзья хотели сохранить в глубокой тайне?

Отныне Расин все больше укрепляется в благочестии. Возможно, сначала он следовал только букве, а не духу, но смирять то, что Паскаль называл «автоматом», — вовсе не значит лицемерить. Расин добровольно принял позу набожного человека, а преклонив колена, он, как это нередко случается, ощутил пробуждение религиозного чувства. Многие из тех, кто ищут путей к Богу, отвечают доброхотам, советующим молиться о ниспослании благодати, что молиться они смогут, лишь когда уверуют; они теряют надежду вырваться из замкнутого круга: чтобы уверовать, нужно молиться, а чтобы молиться, нужно уверовать. Жан Расин по причинам, многие из которых были вполне земными, смог разрубить этот узел и заранее приуготовить в своей душе сосуд, который благодать заполняет сама, стоит только открыть ей путь. Он сумел выказать рвение прежде, чем стал ревностным христианином.

* Перевод М. Гринберга.

IX

Жан Расин усердно служит Господу; его семейная жизнь полностью опровергает точку зрения Паскаля, писавшего своей сестре Жильберте Перье, что брак — дело, недостойное христианина, низкое и предвсудительное. Расин искупает супружеское счастье примерным благочестием. Про его детей не скажешь, что, родившись на свет, они начинают свой земной путь; они сразу после рождения начинают свой путь на небо. Ведь самое важное — спасение души. Как бы сложилась судьба дочерей Расина — Мари Катрин, Нанетты, Бабетты, Фаншон и Мадлон, — не получили они такого воспитания? Три ушли в монастырь, четвертая тоже осталась в девицах, только старшая согласилась выйти замуж, однако лишь после того, как пожила в кармелитском монастыре и в Пор-Руаяле. Старший из двух сыновей, Жан Батист, попытался было — очень робко — противиться отцовской власти, но его хватило ненадолго: Расин обладал железной волей, и супруга его была ему под стать, как видно из письма Расина Жану Батисту от 10 марта 1698 года: «Мать Ваша чувствует себя хорошо. Мадлон и Лионваль (Луи) немного приболели, я подумываю о том, чтобы позволить им прервать пост. Я уж было решился, но Ваша мать считает, что в этом нет надобности». Мадлон было тогда десять лет, Луи — чуть больше пяти; отсюда явствует, что, хотя госпожа Расин наверняка не читала Блаженного Августина, она полностью разделяла точку зрения этого отца церкви, убежденного, что мы грешим уже в самом юном возрасте, едва успев появиться на свет. Пожалуй, идеи Фрейда о сексуальной извращенности грудных младенцев, шокирующие наших современников, показались бы совершенно естественными простодушным приверженцам яansenизма. «Лионваль по-прежнему страдает поносом, — писала госпожа Расин Жану Батисту. — Бедный малыш шлет Вам привет и обещает, что, не в пример Вам, никогда не будет ходить в театр, чтобы не попасть в ад». Так смотрел на театр пятилетний сын великого Расина. Нанетта ушла в монастырь урсулинок в Мелене, а Бабетта — в женский монастырь в Варивиле, причем обе сделали это с радостью; Жанна Николь Франсуаза умерла в монастыре Мальну; девицей дожила до конца дней своих и Мадлон. Поистине драматичной оказалась судьба старшей, Мари Катрин; понадобилось немало времени, чтобы эта девушка поняла: она не из тех, кто создан для затворничества, ни в кармелитском

монастыре предместья Сен-Жак, ни в Пор-Руаяле ей не место. За пылкий нрав Расин любил ее больше других детей, хотя и считал несколько странной. Странность этого простодушного создания заключалась в том, что бедная девушка всеми силами старалась обратить к Господу страсть, природа которой оставалась ей неведома. В конце концов она согласилась пожить под родительским кровом. «Кажется мне, что Ваша старшая сестра становится благосклоннее в нарядах, которые она прежде так гордо отвергала, — пишет Расин 16 июня 1698 года, — и я имею основания полагать, что ее желание стать монахиней пропадет так же бесследно, как прошло некогда ваше желание уйти в картезианский монастырь. Меня это ничуть не удивляет, ведь я знаю непостоянство молодых людей и не доверяю их решениям, да еще таким скоропалительным».

В конце концов 16 января 1699 года Мари Катрин стала женой господина Колена де Морамбера, сеньора де Риберпре, адвоката, и это решило все проблемы. Впрочем, как видно из письма господина Виллара, друга семьи Расинов, господину де Префонтену, венчание мало чем отличалось от пострижения в монахини: «Вечером священник из церкви Святого Северина в короткой и прочувственной речи благословил брачное ложе. Господин и госпожа Расин удалились в половине десятого. Во время вечерней молитвы новобрачные, как обычно, прочли вместе со всей семьей отрывки из Священного писания. Отец в качестве домашнего пастыря вкратце повторил наставления господина кюре, и к одиннадцати вечера все в доме уже почивали».

По письмам Расина к старшему сыну Жану Батисту хорошо видно, как он в конце жизни относился к воспитанию. Воспоминания о собственной юности его совершенно не смущают. Он вовсе не думает о том, сколь соблазнительной может показаться сыну жизнь отца, в юности полная любви и славы, а под старость безупречно благочестивая — но не в ущерб честолюбию. Кончая коллеж, Жан Батист наверняка не подозревал о беспутной молодости отца, но о его театральных триумфах был вполне осведомлен. Так что он, скорее всего, немало удивлялся, получая от отца отповеди вроде этой: «Судя по Вашему письму, Вы немного завидуете мадемуазель де Ла Шапель, которая прочла больше комедий и романов, чем Вы. Скажу Вам со всей искренностью, с какой обязан говорить с Вами: мне крайне огорчительно думать, что Вы придаете столь большое значение подобным пустякам...»

Чтобы быть хорошим воспитателем, нужно уметь кое-что забывать. Расин ничтоже сумняшеся пишет сыну такие же письма, какие в свое время приводили в бешенство его самого. Ему и в голову не приходит, что эти благочестивые увещания могут обозлить Жана Батиста, как тридцать пять лет назад в Юзесе они злили его, и что подросток может в конце концов сорваться с цепи, как сорвался он сам, когда принялся осыпать оскорблениями господина Николя, того самого Николя, который сейчас при смерти, а он, Расин, посылает ему лекарства и с чистой совестью заверяет сына, что это «один из ближайших его друзей».

Но он, без сомнения, был прав, рассчитывая, что *вздор*, которому он будто бы не придавал значения, поможет ему заслужить уважение сына. Жан Батист становился послушной глиной в нежных, но сильных руках отца. Впрочем, как ни молод он был, он скорее всего заметил, что доводы отца против романов и комедий не так весомы, как те, к которым прибегнул некогда Николь и которые вывели из себя вспыльчивого автора «Александра». «Поверьте мне, — писал Расин, — даже если Вы будете превосходно разбираться в комедиях и романах, это ничуть не поднимет Вас в глазах света и не внушит к Вам особого почтения».

Если бы речь шла только об уважении светских людей, Жан Батист мог бы ответить отцу, что тот в свое время завоевывал это уважение отнюдь не примерным благочестием. Но самое любопытное место в письме — то, где Расин сообщает Жану Батисту, что «единственная его цель — воспитать сына так, чтобы он при вступлении в свет не опозорил отца». В июне 1695 года он настаивает: «Вы знаете мое отношение к операм и комедиям, которые, как говорят, будут представлены в Марли. Для Вас и для меня самого очень важно, чтобы Вы там не показывались, тем более что Вы в данный момент находитесь в Версале отнюдь не для того, чтобы участвовать во всяких забавах. Король и весь двор знают, как я шепетилен в этом отношении, и Вы низко пали бы в их глазах, если бы в Вашем юном возрасте отнеслись ко мне и к моим чувствам без должного почтения».

Нет никаких сомнений, что молодой человек, в чьей душе уважение к отцу боролось с досадой, внял лишь последнему соображению, он решил побереечь репутацию отца, на что тот, в свою очередь, отвечал с обидой: «Я весьма признателен Вам за внимание, но позвольте Вам заметить, что мне было бы еще приятнее, если бы, рассуждая об опе-

рах и комедиях, Вы думали не только обо мне, но и о Господе. Я прекрасно понимаю, что, отправившись в театр, Вы не покроете себя позором в глазах людей, но неужели Вам безразлично, что Вы опорочите себя перед Богом?» — после чего с поразительным простодушием добавлял: «Неужели Вы сами не понимаете, как странно будет выглядеть, если Вы, в Ваши годы, станете руководствоваться принципами, столь отличными от моих?» У какого еще старика так бесследно изгладились из памяти его юношеские выходы?

Эта ненависть к театру — свидетельство власти янсенизма над стареющим Расином. Он долго отрицал обвинения Николая, но в конце концов вынужден был признать, что заслуживает названия «всеобщего развратителя». Развратителя и отравителя! Кто знает, сколько влюбленных женщин под влиянием Гермионы и Роксаны прибегло к помощи Вуазен? Театр изображает нравы эпохи, но разве при этом он не влияет на них? Расина, как всякого католического автора, неотступно преследует мысль о душах, которые он погубил своими произведениями и которые будут гибнуть и после его смерти. Яд, сокрытый в пьесах, действует ничуть не слабее, чем тот, в применении которого обвиняли Расина клеветники, и одна лишь эта мысль могла отвратить нашего героя от театра, не будь более земных причин. Голоса веры и честолюбия нередко сливались в душе Расина. Боязнь божьего гнева и поиск житейских выгод толкали его на одни и те же поступки.

Вот о чем Расин печется в первую очередь: чтобы Жан Батист думал о спасении своей души и не запятнал доброго имени отца. Это становится очевидно, когда покорный сын вступает на дипломатическое поприще. Получив от господина де Торси депешу для передачи господину де Бонрепо, французскому посланнику в Гааге, Жан Батист посмел в дороге немного замешкаться, чем вызвал бурное негодование Расина, в котором вдруг всколыхнулась былая язвительность: «В первые дни Вашего путешествия я очень тревожился, как бы из-за излишней поспешности с Вами не приключилась какая-нибудь беда, но когда в письме из Монса я прочел, что Вы выехали из Камбре только в девять часов, да еще гордитесь, что одолели такой длинный путь, то понял, что Ваше *исключительно бережное отношение к собственной особе* избавляет меня от забот о Вашем благополучии». Сказано очень зло, а причина этой злости бесхитростно изложена чуть дальше: «Что до меня, то, признаюсь

Вам, я боюсь показаться при дворе, а в особенности боюсь встречи с господином де Торси». В другом письме он продолжает: «Я по-прежнему боюсь показаться на глаза господину де Торси, чтобы он не стал подшучивать надо мной из-за Вашей медлительности».

Однако превыше всего — спасение души сына. В канун Пасхи Расин напоминает юному дипломату о долге христианина. Жан Батист находится в Гааге, где за делами и развлечениями легко забыть о Боге. «Но я слышал очень много хорошего о добродетельных голландских священниках... Если бы у Вас возникло желание познакомиться с кем-либо из них...» Таким образом Расин властно вмешивается в духовную жизнь сына. Что, впрочем, ничуть не удивительно, если вспомнить, что в те времена отец запросто мог написать сыну: «Я уже совсем было собрался женить Вас без Вашего ведома, и если бы дело не сорвалось...»

Расин был не из тех поэтов, что брезгливо сторонятся повседневной жизни. Роль добропорядочного буржуа, отца семейства, не смущала и не тяготила его. Он входил в самые прозаические подробности, сердился, что Жан Батист не бережет свою одежду, требовал у него отчета в малейших расходах. В письмах он непременно сообщает о том, когда и сколько раз членам семейства, включая его самого, промывали желудок. Словом, он совсем не похож на «господина с возвышенными чувствами». При этом он до последних дней трогательно заботится о сестре, живущей с мужем, господином Ривьером, в Ферте-Милоне. В завещании он не обошел ни свою престарелую кормилицу, ни бедных родственников. Он сохранил связи с родным провинциальным мирком и не стал мещанином во дворянстве: слишком близок он был к Королю-Солнцу и прочим придворным светилам, чтобы питать какие бы то ни было иллюзии на свой Счет. В письмах он без устали рассказывает о детях: «Вчера Ваша мать повела весь выводок на ярмарку. Малыш Лионваль здорово струсил, увидев слона, и громко расплакался, когда слон запустил хобот в карман лакея, который держал его за руку. Девочки были посмелее и получили в награду кукол, с которых не сводят глаз...» Нужно жениться поздно, как Жан Расин, чтобы суметь обрести покой в лоне семьи и мирно дремать в этом «последнем приюте» до конца своих дней.

Х

Расин любил короля. Почему многие историки литературы так старались это затушевать? Мы так же можем судить об этой любви, как слепорожденный — о красках и линиях. Нам такая любовь чужда, вернее, мы перенесли ее на другие объекты. Что поразительнее: когда люди поклоняются куску трехцветной материи или когда предмет их поклонения — человек, воплощающий в себе Францию, человек, чьи предки создали Францию, а дети именуются детьми Франции? Если бы Жан Расин мог узнать, как шокирует нас его страстная привязанность к королю, он был бы, наверно, удивлен ничуть не меньше, чем современные французские католики, если бы их патриотизм сочли ересью. Вряд ли он понял бы, что возмущает нынешнего теолога в его словах из письма к госпоже де Ментенон: «Господь даровал мне милость никогда не краснеть ни за короля, ни за Евангелие». Сначала король, а уж потом Евангелие! Пожалуй, только в этом воспитанник Пор-Руаяля погрешил против первенства духовного начала.

Немилость короля ускорила кончину Расина — нас это не удивит, если мы вспомним, в какой чести он был целых двадцать лет после постановки «Федры»; чем больше было милостей, тем большее оказалось их лишиться. Он видел в этом счастье: быть любимцем своего кумира, в любое время дня и ночи спешить на зов царя царей, пользоваться едва ли не единолично привилегией без специального приглашения присутствовать при утреннем выходе Его Величества (королевский постельничий дал Расину понять, что ему это не по вкусу, и Расин от души порадовался, когда того заключили в Бастилию по обвинению в квиетизме!).

Король был так милостив, что, когда у него начиналась бессонница, оставлял Расина на ночь в своей опочивальне. У него не было недостатка в чтецах, но кто из них мог сравниться с Расином? Однажды в Отее, в гостях у Буало, Валленкур слышал, как Расин читал с листа «Эдипа» Софокла с таким пылом, что у слушателей захватило дух; а когда в один прекрасный день в Тюильри он декламировал сам себе «Митридата», рабочие решили, что он сошел с ума и «того гляди бросится в пруд».

Однако замечательнее всего не то, что Людовик XIV поднимал величайшего поэта Франции с постели, чтобы тот развлекал его чтением, а то, что он повелел ему бросить

стихи и сделаться историком. Это лишний раз доказывает, какого высокого мнения был Людовик XIV о своей особе, причем самое поразительное, что никого из современников это назначение нисколько не удивило.

Стараниями госпожи де Монтеспан Расин и Буало удостоились сомнительной чести быть возведенными в ранг королевских историографов. Произошло это в феврале 1677 года, то есть как раз тогда, когда столько тайных и явных причин заставили Расина пойти ва-банк. Большого шума новое назначение не вызвало, но насмешек хватало — завистники не дремали. В те времена военные не любили, чтобы литераторы совали нос в их дела. Героизм был привилегией, которую буржуа охотно уступали вельможам. Бюсси-Рабютен возмущался, что король не доверил писать историю своего царствования родовитому дворянину, такому, например, как он, Бюсси. А самому королю было, наверное, забавно таскать за собой в походы двух замечательных поэтов, не слишком ловко держащихся в седле. Примерно так же, вероятно, во время последней войны посмеивался король-народ, встречая в окопах великих писателей, которые, между прочим, льстили этому народу гораздо больше, чем Буало и Расин Людовику XIV.

В 1678—1693 годах Расин сопровождает короля, воюющего в Нидерландах и Люксембурге; Буало почти все время проводит дома, пытаясь вылечить больное горло; его боязнь полностью потерять голос — едва ли не единственная тема дошедшей до нас переписки двух великих людей (если не считать рассуждений о просодии). Шутка Сегре не лишена справедливости: «Господин де Ларошфуко имел в виду Депрео и Расина, когда сказал, что не может долго нравиться тот, кто всегда умен на один лад. Эти двое не знают ничего, кроме поэзии; заговорите с ними о чем-нибудь другом, и вы поставите их в тупик».

Но самые злые насмешки обрушились на Расина и Буало при осаде Гента; придворные прозвали их «господами с возвышенными чувствами». Король, не отличавшийся большой тактичностью, намекнул на это сразу после смерти поэта. «Господин Депрео, — писал Жан Батист своему брату Луи, — без устали хвалил христианское мужество, с которым он (Расин) встретил смерть, и даже сказал об этом королю; тот отвечал: „Меня это немало удивляет, ибо, насколько я помню, при осаде Гента вы и то проявили больше отваги“».

Лучший друг Расина при дворе, господин де Кавуа, на войне то и дело строил ему козни, чтобы посмешить короля; некоторые из них, не стоящие пересказа, упоминает Луи Расин. Шутки госпожи де Севинье более остроумны: «Так вот, два поэта-историографа следуют за двором, невообразимо растерянные, пешком, верхом, по уши в грязи... Их изумление забавляет короля... У обоих безмерно дурацкий вид. На днях они сказали королю, что теперь их не удивляет необычайная храбрость солдат, — чтобы покончить с ужасами военной жизни, всякий с радостью пойдет на верную смерть. Все рассмеялись; так наши поэты развлекают короля».

Как бы там ни было, письма Расина из армии гораздо человечнее, чем можно было бы ожидать. Те черты чрезмерно чувствительного поэта, над которыми насмехались люди вроде Севинье или Скюдери, встречаются у нас наибольшее сочувствие. Конечно, у него иногда вырываются и такие слова, как в письме маршалу Люксембургскому по случаю его победы при Флерюсе: «Все было в этой битве: величие, вражда, отвага, огромная армия, ужасная резня... Судите сами, какое здесь раздолье для историка...» Но когда перед нами письма неофициальные, мы яснее читаем истинные мысли Расина. Вот, например, что он пишет в мае 1692 года после смотра в лагере при Жеври, в двух часах от Монса: «Я был до того утомлен и ослеплен блистанием шпаг и мушкетов, так оглушен барабанами, трубами и литаврами, что, по чести сказать, перестал понимать что бы то ни было, положился на своего коня и от всего сердца желал лишь одного — чтобы все, кого я вижу, оказались в это мгновение в своих хижинах или домах, рядом со своими женами и детьми, а я сам — на улице Каменщиков, в кругу моей семьи».

Парадная история, которую создал Расин и которая, должно быть, состояла из одних славословий (Расин был не прав, но он исполнял волю короля), сгорела в январе 1726 года в доме Валенкура. Пожар был такой сильный, что даже серебро расплавилось; естественно, не уцелели и книги, в частности все сборники анекдотов о знаменитых людях, которые коллекционировал милый болтун. В 1683 году стараниями Лувуа Расин был принят в «малую академию» (существовавшую с 1663 года). Вместе с Буало, Ренсаном, Шарпантье, Таллеманом-младшим, Кино и Фелисьеном наш поэт придумывал надписи для медалей в честь великих деяний короля. Из этого кружка ученых царедворцев воз-

никла впоследствии Академия надписей и изящной словесности.

Итак, день и ночь Расин льстил королю, и даже служба его состояла в том, чтобы беспрестанно восхвалять монарха. Так ли хорошо он справлялся со своими обязанностями, как это принято считать? Стоит повнимательнее вчитаться в черновик одного из его писем к госпоже де Ментенон, и станет ясно, что вместе с удачей Расину изменила и ловкость царедворца. Быть постоянно перед глазами владыки и никогда не вызывать его неудовольствия — вот главное умение придворного; научиться ему невозможно, это врожденный дар. «Он жаждет прослыть услужливым, — язвительно пишет Шпангейм, — но не хочет и не может оказать ни единой услуги; удивительно, как он до сих пор не впал в немилость. Для человека, вышедшего из низов и попавшего ко двору, он держится неплохо. Он заимствовал у актеров напыщенные жесты, подправил их и получил доступ всюду вплоть до королевской опочивальни». Конечно, к суждению бранденбуржца нужно относиться с осторожностью, но вот, в передаче Луи Расина, мнение Людовика XIV, который, вероятно, является тут самым авторитетным судьей: «Кавуа подле Расина мнит себя остроумцем, Расин подле Кавуа мнит себя царедворцем». Приговор вынесен; впрочем, он ничуть не принижает поэта в глазах тех, кто его любит. Расин выбивался из сил, занимаясь делом, которое ему, выходцу из буржуазной, провинциальной, янсенистской семьи, было глубоко чуждо. Великий Арно и Николь деликатно предостерегали его. Они говорили ему о чрезмерности его славословий. По поводу речи в Академии сам король изволил заметить, что лесть в слишком больших дозах вредна. Не в том ли состояла главная ошибка Расина-царедворца, что его любовь к Людовику XIV была искренней? Не случайно он сказал в «Есфири»:

Кто оскорбления не может пережить
И облик истинный личиною прикрыть, —
Тот пусть от царских глаз подальше отстранится.

Сам он, по собственному признанию, в присутствии короля терял голову. Вскоре мы увидим, как он вливается глазами в августейшее чело, ловит слова, слетающие с этих еще недавно ласковых, а ныне суровых уст, пытается поймать взгляд монарха, кружит вокруг светила, которое по-прежнему светит, но уже не греет. Король лишил его благо-

склонности, как Бог лишает благодати. И не в силах бедного человека вернуть утраченное счастье. Милости и немилости короля неисповедимы.

XI

Людовик XIV ценил Расина не за лесть, а за ум — «Есфирь» помогла поэту гораздо больше, чем весь фимиам, который он воскуривал королю. Воспитанницы Сен-Сира уже не раз ставили трагедии Расина. «Наши девочки только что сыграли «Андромаху», — писала госпожа де Ментенон, — да так прекрасно, как им больше не сыграть ни ее, ни другие Ваши пьесы». Госпоже де Ментенон хотелось, чтобы Расин написал что-нибудь специально для ее воспитанниц. Расин спросил совета у Буало, тот возмутился и заклинал друга не позориться, но поэт решил воспользоваться случаем и, не запятнав своей славы, услужить всемогущей красавице; уже сам сюжет был лестным для нее. В предисловии Расин писал, что избрал рассказ об участии Есфири, потому что «история ее представляет собой величественный урок любви к богу и отрешения от мира среди мирской суеты». В этой короткой фразе заключено все, что мечтала услышать о себе госпожа де Ментенон. Впрочем, побоявшись, что намеков в пьесе окажется недостаточно, Расин написал пролог, который с блеском прочла госпожа де Келюс, племянница госпожи де Ментенон. В лице этой дамы (обладавшей довольно пышными формами) благочестие восхваляло короля за то, что он сражается во славу Господа; врагам его, включая папу Иннокентия XI, стоявшего на стороне принца Оранского, набожный поэт сулил адские муки, отваживаясь на такие строки:

Из ада мрачные исходят испаренья

И самый светлый взор лишают силы зренья.

Госпожа де Келюс играла по очереди все роли, заменяя заболевших; она была Есфирью вместо мадемуазель де Вейлен, Артаксерксом вместо мадемуазель де Ластик, «прекрасной, как день», Мардохеем вместо мадемуазель де Глапион (о которой Расин сказал госпоже де Ментенон: «Вот Мардохей, чей голос берет за душу»); заменяла она также мадемуазель де Мэзонфор (которая однажды перепутала текст и расплакалась, когда Расин упрекнул ее: «Ах, мадемуазель, что же вы сделали с моей пьесой»; заплакан-

ное, ее личико стало еще прелестней, Расин утер красавице слезы своим носовым платком и тоже разрыдался). Амана, Зерешь и Гидаспа играли мадемуазель д'Абанкур, мадемуазель де Марсильи и мадемуазель де Морне.

Начиная с 26 января 1679 года при дворе только и говорили что о «Есфири». Мест в Сен-Сире было мало, и приглашение на спектакль считалось большой честью. Представьте себе короля, стоящего у входа в зрительный зал (просторное помещение перед дортуарами) и самолично принимающего гостей. «Робкие голубки» перед тем, как выйти на сцену, пели «*Veni Creator*» *. Король опрометчиво впустил к этим овечкам профессиональных певцов. Мадемуазель де Сент-Осман позволила себе некоторые вольности, а мадемуазель де Марсильи покорила сердце маркиза де Вилетта. Сен-сирские наставницы, вынужденные присутствовать на этих празднествах, притворялись, будто ничего не видят, и бормотали молитвы. Госпожа де Ментенон почувствовала опасность слишком поздно. Впрочем, после того, как пьесе напечатали, интерес к ней ослабел. Причины столь шумного успеха хорошо видны из знаменитого письма госпожи де Севинье. На первом месте в нем — радость знатной дамы, удостоившейся беседы с королем; и в самом деле, те, кто имел счастье оказаться в зрительном зале, были заранее расположены к пьесе. С другой стороны, представление не могло не понравиться даже недоброжелателям — так возвышенно звучал текст на сюжет из Священного писания в устах благочестивых девочек. В «Есфири» было все, что нравилось стареющему королю: поклонение ему самому гармонично сочеталось с поклонением Господу. Расин сумел превознести величайшего короля земли и слить его образ с образом царя небесного, да как искусно! Людовик XIV внезапно начал находить вкус в том, что вечный хор непорочных дев воспевает его не только на земле, но и на небесах. Но люди, которым удача не кружила голову и у которых было столько же здравого смысла, сколько у госпожи де Севинье остроумия, сумели дать «Есфири» более трезвую оценку. Госпожа де Лафайет ставит точки над *i* в своих «Записках о французском дворе»: «Госпожа де Ментенон, желая развлечь своих воспитанниц и короля, обратилась к Расину, лучшему поэту Франции, которого оторвали от поэзии, где ему не было равных, и, на его несчастье и на горе всех любителей театра, превратили в историографа,

* Приди, дух творящий (*лат.*).

а в этом деле равных ему было предостаточно. Она попросила его написать пьесу на сюжет из Священного писания; ведь нынче при дворе, словно на том свете, единственный залог спасения — набожность. Расин выбрал историю Есфири и Артаксеркса и написал текст, который был положен на музыку... Получился очаровательный дивертисмент для юных воспитанниц госпожи де Ментенон, а поскольку вещи обычно ценятся в зависимости от того, кто их исполнил или заказал, приглашенные на представление, желая польстить госпоже де Ментенон, говорили, что в жизни своей не видели ничего прекраснее, что новая пьеса превосходит все, что когда бы то ни было создавалось в этом роде... Кто смог бы устоять перед таким множеством похвал? Госпожа де Ментенон пришла в восторг и от замысла и от исполнения. В пьесе можно было увидеть намек на падение госпожи де Монтеспан и возвышение госпожи де Ментенон. Вся разница состояла в том, что Есфирь была чуть-чуть помоложе и не такая ханжа. Поскольку в Астинь узнавали госпожу де Монтеспан, а в Есфири — госпожу де Ментенон, эта последняя с удовольствием пригласила публику на представление, которое поначалу не было расчитано на посторонних...»

Но самое трогательное в «Есфири», по нашему мнению, — намеки, которые Расин считал понятными ему одному. Нет, не очень-то ловким царедворцем был поэт, который, сочиняя хоры для новой трагедии, вспоминал гонимых дев из Пор-Руаяля и не думал, понравится ли это королю. А ведь даже если бы Людовик ничего не заметил, наверняка нашлись бы добрые души, которые не замедлили бы его просветить. Так и случилось. Поначалу Его Величество не придавал этому значения, но проступок поэта запал ему в память. А поскольку он слушал «Есфирь» без устали, то в конце концов не мог не запомнить стон юной израильтянки из первого действия:

Какое месиво из плоти и костей
Гниет без погребенья,
И праведники на съеденье
Влекумы стаями зверей!

«А что, это мысль!» — решил, должно быть, король на десятом представлении. Кажется, будто, узнав от какого-нибудь предателя о желании Расина быть похороненным в Пор-Руаяле у изножья могилы господина Амона, король умилился

ся, что его историограф выбрал столь ненадежное место, и поклялся в сердце своем потревожить его покой.

В ноябре 1690 года Расин прочел в гостинной благочестивого маркиза де Шанденье новую пьесу на сюжет из Священного писания. Однако как бы далеко ни продвинулся великий драматург по стезе благочестия, ему на роду было написано вечно сталкиваться с людьми еще более благочестивыми. Член конгрегации Святого Сульпиция аббат Годэ де Маре, имевший большое влияние на госпожу де Ментенон и назначенный ее стараниями епископом Шартрским, убедил свою покровительницу не подвергать юных воспитанниц снова той опасности, которая грозила им при постановке «Есфири». Первое представление «Гофолии» состоялось в начале 1691 года при закрытых дверях, без костюмов, в покоях госпожи де Ментенон; затем ее несколько раз сыграли в Версале (однажды — в присутствии английской королевской четы). Единственными, кто оценил этот шедевр, были обладавший непогрешимым вкусом Буало, а также, надо отдать ей должное, сама госпожа де Ментенон, которая, не соглашаясь с общим мнением, утверждала, что «Гофолия» — самое прекрасное творение Расина.

Две трагедии поэта на библейские сюжеты так сильно отличаются одна от другой, что их трудно сравнивать. «Есфирь» — изящная пьеса на случай (в которой встречаются возвышенные строки — например молитва Есфири). Взавшись за мелкую работу на заказ, великий гений создал шедевр придворной литературы, шедевр для благочестивого двора. Здесь нет ни одного опрометчивого слова, все продумано, все выверено. В «Гофолии» же мы вновь слышим голос подлинного Расина, великого Расина, которого вот уже четырнадцать лет считали умершим. Он заимствовал «Гофолию» из Библии, но создал ее заново, написал своей кровью. Конечно, поэт не признался бы, что в груди старой царицы, неумолимой, смятенной, побежденной, бьется его старое сердце, — и тем не менее это так!

Незадолго до смерти роль Гофолии сыграла Сара Бернар. У тех, кто был на спектакле, до сих пор в памяти царственное величие актрисы в роли дочери Ахава. На том представлении я вспомнил, что Вольтер тоже принимал сторону Гофолии против первосвященника. Позиция любопытная, но, как мне казалось, противоречащая замыслу поэта.

Однако, если перечитать эту страшную пьесу, становится очевидно, что Расин хотел, чтобы старая царица была

исполнена величия. В Гофолии величия не меньше, чем в Иодае, но она одинока, а на стороне Иодая могущественный защитник, Бог. Федра, раздавленная Господом, не противилась простертой над ней карающей деснице. Представим себе, что Федра пережила Ипполита, пережила Тезея и, вступив в пору, когда женщина больше не думает о любви, решила удовлетворить свое честолюбие, — такая Федра уже не будет слепа, как прежде, когда плотью ее и кровью безраздельно владела любовная страсть. Честолюбцы умеют хранить хладнокровие. Героиня Расина поднимает голову, готовая сразиться с орлом, который вот-вот камнем упадет на нее; Гофолия бросает вызов Богу. На первый взгляд она напоминает Агриппину — возрастом, преступлениями, безумной жаждой власти. Но Агриппина жила в ином мире, в мире, где не было Бога, а были лишь человекоподобные боги, которых так легко умиловать. Напротив, у Гофолии, как и у Федры, есть неумолимый и всемогущий противник. Федра покорилась, опустила руки. Величественная старая Гофолия, окруженная верными сирийцами, жаждет разрушить храм ненавистного Бога, забросать камнями фанатичных и дерзких священников. Ей кажется, что она еще сохраняет свободу воли, меж тем на самом деле она так же связана по рукам и ногам, как Федра. Она не сознает, что каждый шаг приближает ее к разверстой могиле. Первые же слова, которые Расин вкладывает ей в уста, призваны внушить жалость:

Мир, что так нужен мне и так недостижим, —

горестно признается она Авениру. И сразу после этого оправдывает свое поведение с высокомерием, достойным Екатерины Медичи, Христины Шведской или русской царицы Екатерины II:

Свершила я лишь то, что долгом почитала,
И как бы злобно чернь сегодня ни роптала,
Не ей, мятежнице, судить мои дела...

Она ссылается на интересы государства — довод, по понятным причинам, важный и для Расина. Если придворный Короля-Солнца и не оправдывает царицу, то все же, в отличие от первосвященника, смотрит на нее без гнева

— Своей победою могла б я наслаждаться, —

говорит она, похвалившись победами над соседями, имеющими много общего с победами Людовика XIV. Она даже милостивее к своим врагам, чем великий король:

Добра — порукою тому мои дела —
К священству вашему я, Авенир, была...
Никто не пострадал, и цел доньше храм.

(А Людовик XIV в ту пору, возможно, уже решил, что не оставит от Пор-Руаяля камня на камне.)

Расин глубоко постиг то, что Ницше назовет позже моралью сверхчеловека. Он жил во времена, когда мораль эта была, можно сказать, общепринятой. Гофолия, а вместе с ней Агриппина, Бурр, Нарцисс, Береника, Тит, Акомат, Митридат, Аман, Матфан — носители этой морали сильных, с которой Расин, несмотря на всю свою религиозность, имел глубокую внутреннюю связь. Замечательно, что и другой великий янсенист, Паскаль, не однажды высказывал суждения, которые привели бы в восторг Стендаля и Ницше, — их особенно много в «Рассуждении о любовных страстях» и в посвящении арифметической машины шведской королеве. Но все дело, наверно, в том, что однажды эти два человека из породы завоевателей поняли, что правда — на стороне рабов, вернее, что господ не существует, поскольку все мы в равной степени рабы нашей грешной плоти и Всевышний требует от своих падших сыновей, чьи грехи искупил его сын, чтобы они принесли ему в жертву все, что составляло их славу.

Тонкие расчеты Гофолии рушатся от одного-единственного сна. При всем своем уме она не может избавиться от суеверной тревоги и смятения:

Увидела я сон (хоть снов ли мне страшиться!)...

— и это дает Господу власть над нею. Бог вселяет в ее душу не только ужас, но и нежность, жалость: маленький Элиаким тревожит кровожадную Гофолию, чарует ее, несмотря на свои боговдохновенные дерзости. «Его беспомощность, правдивость, обаянье» пленяют сердце, которое, казалось, безнадежно очерствело. Она не ведает, что бог Иоаса обращает против нас и наши слабости, и наше сочувствие к слабым, — мы чаще всего губим себя из-за других и ради других.

Гофолия подавляет угрызания совести; она оправдывает себя тем, что отвечала убийством на убийство, оскорблением на оскорбление. Разве не убили на ее глазах отца, брата, разве не при ней

— Взирал ли кто на зрелище страшней? —
Погибло семьдесят царевых сыновей?

Расин вкладывает ей в уста речь взволнованную и искреннюю; он допускает, что она убеждена в своей правоте, однако он знает, что в борьбе с Господом никто никогда не бывает прав. Бог — не тот противник, который может ошибаться. Его суд — не чета нашему. Как бы мы ни храбрились, наше сердце перед ним как на ладони; сами того не ведая, мы принадлежим ему; он овладевает нами изнутри. «Гофолия» изображает чудо — покорение Богом великой души, которой суждено погибнуть, — погибнуть, в отличие от Федры, безвозвратно. Вероотступник Матфан проницательно описывает симптомы ее капитуляции:

Я третий день ее не узнаю, мой друг.
Она теперь не та владычица былая,
Что, слабость женскую рассудком подавляя,
Умела в нужный час опередить врага
И знала, как в борьбе минута дорога.
Сломили волю в ней пустые угрызенья.
Решимость прежнюю свели на нет сомненья,
И — снова женщина — она лишилась сил.

При всей гордыне Гофолии Бог мог бы сломить ее одним знамением, но он доставляет себе удовольствие схитрить; он подкидывает могучей хищнице добычу, а сам скрывается.

Сети расставлены: в храме, на первый взгляд совершенно пустом, Гофолию ждут две приманки: отрок и клад, а где-то в глубине затаила дыхание толпа вооруженных левитов. Царица произносит гневную речь против Иодая, и вновь каждое ее слово исполнено величия; вспомним хотя бы строку, глубинный смысл которой вряд ли укрылся от Людовика XIV:

Безумной черни вождь и враг верховной власти!

(Только король часто обращал подобные слова не к первосвященнику, а к Великому Арно.)

И наконец, когда толпа левитов бросается на эту старую, всеми покинутую женщину, она с презрением смотрит на беснующуюся чернь; она не желает признать победу первосвященника; не к нему обращается она, а к действительно своему врагу:

Еврейский бог, ты снова победитель!

.....

Лишь ты, жестокий бог, ты в этом виноват.

Ты соблазнил меня надеждою на мщенье,

Но вынуждал меня сто раз на дню решенье...

Но даже и теперь, на краю гибели, она не сдаётся, не смиряется с поражением, она верит в победу — ведь дух бунта и гордыни неистребим и будет восставать против Всевышнего до скончания века. Этот дух унаследовал от нее при рождении маленький Иоас: она передала факел этому носителю света, этому Люциферу; она не сомневается, что дитя отомстит за нее. О пленительное видение! храм, обогранный кровью Захарии...

Что ж! Пусть теперь царит твой сын, твоё создание...

Расин, быть может, сам не сознавал, с каким наслаждением сочинял он монологи этой неистойвой старой царицы, которая не покоряется Господу даже на пороге смерти. Избравший повиновение, трепетное служение, он не отдавал себе отчета, что какая-то часть его души радуется богохульным речам Гофолии, пьянеет от ее отчаянной отваги. Иодай изгоняет тигрицу из храма; тело ее выбросят прямо в грязь, и свора агнцев разорвет его в клочки. Ее постигнет та же судьба, что Иезавель. Расин становится на сторону агнцев, которые не погибнут, которые однажды обретут решимость. Он становится на сторону слабейших, потому что по сути дела они-то и оказываются сильнейшими:

Всю, без раздела
Отдав творцу любовь свою,
С соблазнами мы в бой вступаем смело
И верх берем в бою.
Нет счастья во вселенной целой
Превыше, чем творцу отдать любовь свою
Всю, без раздела.

XII

«Всю, без раздела, отдав творцу любовь свою...» Но в сердце Расина живет и сеет смуту другая любовь: он любит Господа, но при этом страдает от малейшего неудовольствия своего Повелителя. Расин чувствителен к ничтожнейшим знакам немилости; словно впечатлительный ребенок, он льнет ко всякому, кто польстит ему или его похвалит. Госпожа де Ментенон посмеивалась над детским простодушием поэта в вопросах веры; еще больше она, должно быть, удивлялась его доверчивости. Ведь он знал, как она обошлась с Фенелоном, знал, что нет человека, ради которого

она поставила бы под угрозу свое благополучие. Вероятно, она еще со времен «Гофоллии» поняла, что Расин вступил на опасный путь. В четвертом действии Иодай весьма неосмотрительно высказывается о королевской власти:

Ты, в храме выросший безвестным бедняком,
С соблазнами двора покуда не знаком,
Не пробовал хмельной отравы самовластья,
Не видел ни льстецов, ни их подобострастья.
Они тебе внушат, что соблюдать закон —
Долг черни, а не тех, кто властвовать рожден,
Что прихоть царская и есть источник права,
Что волен государь всем жертвовать для славы;
Что труд и нищета — удел людей простых;
Что надлежит пасти жезлом железным их...

Накануне Революции зал в этом месте взрывался аплодисментами; в эпоху Империи Фуше грозил запретить пьесу. Быть не может, чтобы эти строки не насторожили в свое время и Людовика XIV, тем более что он знал о связях своего историографа с янсенистами. Впрочем, он жалуется Расину звание дворянина при особе короля — он всегда любил смотреть, как люди движутся навстречу собственной гибели; самое страшное в его опалах было то, как долго он их вынашивал. Людовик XIV не любил, чтобы литераторы с их умом и священники с их добродетелями вмешивались в государственные дела. Надо сказать, что почти все великие писатели его царствования были того же мнения. В XVII веке Ницше, утверждавший, что поэты и ученые — люди подневольные, которым незачем давать в руки бразды правления, никого бы не удивил. Расину, казалось бы, на роду было написано разделять эту точку зрения. И все же — быть может, неосознанно — какая-то часть его души восставала против Гофоллии и Людовика XIV и сочувствовала Иодаю и Пор-Руаялю.

В покоях госпожи де Ментенон этот чудак принимался рассуждать о нищете народа; он позволял себе иметь на сей счет собственное мнение. Поразительно, что до сих пор никто еще не обвинил супругу старого короля, особу весьма непростого нрава, в злом умысле: ведь, попросив Расина изложить трогательные рассуждения о несчастном народе в письменном виде, она хладнокровно затянула петлю на его шею. Просьба более чем странная! Можно ли было поручиться, что написанное не пойдет дальше всемогущей дамы? Она клятвенно заверяла в этом Расина; известно,

однако, что все вышло иначе; госпожа де Ментенон утверждала, что король застал ее за чтением и потребовал назвать имя автора. Все это маловероятно, особенно если вспомнить, что, по словам Бюсси-Рабютена, та же дама усаживалась писать королю нежные письма перед самым его приходом в надежде быть «пойманной с поличным». Можно ли сомневаться, что она смошенничала? Как бы там ни было, Его Величество, недовольный запиской Расина, высказал суждение, которым трудно не восхититься: «Неужели он полагает, что, коль скоро сочиняет дивные стихи, то знает все на свете? И что, коль скоро он большой поэт, я должен назначить его министром?» Франции вскоре предстояло на практике проверить мудрость этих слов: вот-вот должен был появиться на свет Жан-Жак Руссо.

Госпожа де Ментенон выдала себя позже, в письме к госпоже де Мэзонфор: «В свете Вы проводили бы время с большей приятностью, но, несомненно, погибли бы: Расин начал бы Вас развлекать и втянул в янсенистские интриги...»

Но Расин — сама доверчивость; современники часто отмечали его простодушие; больше всего простодушия было в Расине-царедворце: он верил людям на слово и вечно забывал об осторожности. Когда Людовик XIV холодно отверг его просьбу об уменьшении налога на должность королевского секретаря, он не нашел ничего лучшего, как обратиться за помощью все к той же госпоже де Ментенон. Не успел бедняга опомниться от одной неприятности, как другая весть повергла его в еще большее отчаяние: оказывается, король прислушивается к доносам тех, кто обвиняет его, Расина, в янсенизме. Впрочем, нет ни малейшего сомнения, что король и его супруга изменили свое отношение к поэту гораздо раньше. Неужели до них не дошли ядовитые эпиграммы против их августейшей четы? Конечно, трудно было предположить, что их автор — кающийся, постаревший Расин, но недаром говорится: седина в бороду, а бес в ребро. Известно ведь, что поэт не переставал злословить до самой смерти; в 1694—1695 годах он встретил появление «Германника» Прадона, «Юдифи» Буайе и «Сезостриса» Лонжепьера эпиграммами, впрочем, весьма посредственными. От человека обостренной чувствительности можно ждать чего угодно. И мы легко можем себе представить, что вспылчивый Расин, который в свое время был способен насмеяться над матерью Анжеликой и господином Леметром и грязно оскорблять в стихах свою любовницу Шанмеле,

осознав однажды коварство госпожи де Ментенон и неблагодарность короля, взорвался и выплеснул накопившуюся в нем желчь:

Страшился ада он, и стала я царицей.

Мы готовы поверить, что это он вложил в уста госпожи де Ментенон такое признание. Разве не мог Расин, столь глубоко постигший тайны сердца человеческого, отбросить на время низкопоклонство царедворца и разгадать интриги этой изворотливой особы? Да и не было тут никакой особой тайны: над ее ухищрениями потешался весь двор. Господин Менар не желает и слышать об этом; по его мнению, одно предположение, что Расин мог написать такую гнусность, — кощунство. Как требовательны мы к умершим знаменитостям! Разве нам пришло бы в голову ссориться с другом из-за того, что однажды, выйдя из себя, он написал ядовитый сонет против коварной знатной дамы?

Как бы там ни было, если у Расина и возникали подозрения по поводу госпожи де Ментенон, то лишь временами; она держалась с ним весьма осторожно. Простодушный поэт соглашался навещать ее тайно — как будто подобная скрытность со стороны столь осмотрительной особы не должна была рассеять последние сомнения. «Завидев его однажды в Версальском парке, — рассказывает Луи Расин, — она удалилась в боковую аллею, приглашая его последовать за ней. Когда он приблизился, она сказала: — Чего вы боитесь? Я причина ваших несчастий и почитаю себя обязанной исправить содеянное мною. Отныне ваша судьба — это моя судьба. Дайте туче пройти — и солнце засияет вновь. — Нет, нет, сударыня, — отвечало он, — для меня солнце не засияет уже никогда. — Отчего вы так полагаете? В чем вы сомневаетесь: в моем сочувствии или в моем могуществе? — Он отвечал: — Мне известно, каково ваше могущество, сударыня, я знаю также, что вы весьма добры ко мне, но у меня есть тетка (Сент-Тэкл), которая любит меня иной любовью. Эта святая дева всякий день молит Господа ниспослать мне невзгоды, унижения, кары, и ее могущество больше вашего. — Тут послышался шум кареты. — Это король, — воскликнула госпожа де Ментенон, — прячьтесь скорее. — И Расин скрылся за деревьями...»

Мы очень хорошо представляем себе эту картину: несчастный Расин стоит в кустах, тяжело дыша и прижимая руку к правому боку, который у него в ту пору уже побаливал. И это ловкий царедворец? Разговаривать с госпожой де

Ментенон о тетке Сент-Тэкл и уверять, что янсенистская настоятельница ближе к Богу, чем королевская «служанка-госпожа», — это даже не оплошность, а какой-то садизм. Ему оставалось только закрыть глаза и ринуться в пасть льву — что он и сделал, написав письмо, черновик которого хранится в Национальной библиотеке; должно быть, король и его супруга славно позабавились, читая его. В письме этом он с отчаянным простодушием высказывает самое сокровенное. Царедворец здесь жертвует второстепенным ради спасения главного, отрекается от пор-руаяльской доктрины, клянется, что не принадлежит к янсенистам, но высказывает такую заботу обо всех, кто к ним принадлежит, что король, прочитав это послание, должен был счесть его автора лицом более чем подозрительным. Пожалуй, это единственный случай, когда Расин осмеливается напомнить, что он обладает почетным правом увековечить образ Его Величества в более или менее лестных тонах: «Подумайте, сударыня, разве могу я с чистой совестью сказать потомкам, что великий монарх не слушал доносов на совершенно не известного ему лиц, если на собственном печальном опыте убеждаюсь в обратном!» Кто бы мог подумать, что Расин однажды отважится на такую неуклюжую угрозу? И разве мог Людовик XIV простить ему этот шантаж в духе Ювенала? В знаменитом письме говорится также: «Уверю Вас, что когда в «Есфири» я вложил в уста хора слова: «Царь, сражайся с клеветой», — я никак не думал, что однажды сам паду жертвой клеветы. Я знаю, что, по мнению короля, всякий янсенист — заговорщик и еретик (королю, вероятно, не слишком понравилось, что Расин поучает его на сей счет; он был уверен, что сам прекрасно разбирается в янсенизме, и будущее показало, что он был прав)... Благоволите же вспомнить, сударыня, сколько раз Вы говорили мне, что самое большое мое достоинство — ребяческая покорность всему, во что верует и что предписывает Церковь, вплоть до мелочей. В угоду Вам я сочинил около трех тысяч строк на благочестивые темы («в угоду Вам» звучит ужасно, и мы уже не так жалеем старого поэта) <...> Я, безусловно, был совершенно чистосердечен и вложил в них все чувства, коими преисполнен. Случилось ли Вам хоть один-единственный раз обнаружить в них что-либо, близкое к янсенистским заблуждениям? (Наивный человек! — как будто полиции Людовика XIV не было известно, что в часы, свободные от работы над историей короля, он пишет «Историю Пор-Руаяля».) А что касается заговоров, то если уж такого пре-

данного королю человека, как я, — человека, видящего цель своей жизни в том, чтобы думать о короле с любовью и восхищением, собирать сведения о его великих деяниях и стараться передать другим свои чувства, — считать заговорщиком, кто же тогда не заговорщик?»

Его Величество любил отмерять свой гнев маленькими порциями, растягивать удовольствие. Впрочем, много ли у него еще было радостей? Внешне жизнь поэта складывалась прекрасно, но по сути его дела обстояли с каждым днем все хуже. Расин — дворянин при особе короля, без него не обходится ни одно празднество в Марли, его приглашают в Фонтенбло. Планета-спутник продолжает свой печальный бег вокруг солнца, но ни единый луч света ее не согревает. Вот поэт стоит в дверях, прижав руку к правому боку, в надежде услышать от монарха доброе слово или хотя бы поймать его взгляд. Он в отчаянии. «Я решил как можно больше времени проводить в Париже, — пишет он Жану Батисту, — не только из-за здоровья, но и для того, чтобы не уподобляться придворным, предающимся разного рода излишествам...» В былые времена, даже когда он вступил на путь благочестия, эти излишества не пугали его. Рвутся последние связи; неумолимая Сент-Тэкл может торжествовать. Храни нас Господь, думал, должно быть, ее племянник, от этих святых особ, которым мало самим нести свой крест, и они молят небо ниспослать такие же тяжкие испытания своим близким. Расин отрекается от того, что еще привязывало его к земле. Ныне, в угоду тетке Сент-Тэкл и Господу, он наг и нищ. Он смиряется с опалой; он отвращает лицо от солнца. Примерно тогда же он бросает в огонь экземпляр своих сочинений, который начал править. Что до земных благ, то их у него было вообще не так много, как утверждали враги; муленское казначейство, пенсии литератора, историографа, дворянина при особе короля и королевского секретаря в общей сложности приносили ему чуть более четырнадцатитысяч ливров в год. Капиталом в сорок тысяч ливров и домом на улице Гранд-Фрипри владела госпожа Расин, которая надолго пережила мужа и еще успела, попавшись на удочку Ло, потерять большую и лучшую часть своего состояния по вине его «системы».

С октября 1698 года Расин страдает коликами; его мучит лихорадка, и он глотает хину. Беспокоит боль в боку. Тем не менее он отправляется в Мелен, чтобы присутствовать при пострижении своей дочери Нанетты, и во время

церемонии не может сдерживать рыданий. Известно, что он всегда плакал, когда какую-нибудь девушку (пусть и не его дочь) постригали в монахини. Есть люди, особенно чувствительные к самоотречению, к чистоте юных существ; аббат Перрейв, например, часто повторял: «Обожаю первые причастия...» А Расин обожал пострижение в монахини. «Господин Расин, *желающий поплакать*, предпочел бы пятницу, — писала госпожа де Ментенон госпоже де Бринон по поводу пострижения мадемуазель де Лалли, — впрочем, это вовсе не обязывает Вас что-либо менять...» Но дорога в Мелен была очень скверной; несчастный вернулся чуть живой: «На правом боку у меня нарыв», — так в письме Жану Батисту он впервые упоминает о болезни, которая вскоре сведет его в могилу.

Жан Батист впоследствии смертельно ненавидел друга отца, Валенкура, за то, что тот написал аббату д'Оливе: «Однажды утром, собравшись, как обычно, выпить чаю и обнаружив, у себя на боку затвердение вместо гнойника, Расин пришел в ужас и закричал, что умирает. Он спустился в спальню, лег в постель и уже не вставал. Вскоре выяснилось, что весь гной скопился в печени. Боли у него были такие сильные, что однажды он спросил, нельзя ли избавиться разом от них и от жизни». Странные христиане были сыновья Расина: с их точки зрения, бого-человек Христос мог позволить себе закричать от боли на кресте, но они не желали и слышать, что дрогнул тот, кого они любили и кто был всего лишь слабым смертным. Мы же склонны верить Валенкуру — это был порядочный человек, генеральный секретарь морского министерства, близкий друг не только Расина, но и Поншартрена, графа Тулузского, Д'Агессо, Боссюэ, Буало, Лабрюйера, «любезный, добрый, веселый, остроумный без натуги» (так описал его Сен-Симон).

Расин не выходит из дому. На версальской дороге не видно больше обитой красным узорчатым бархатом двухместной кареты, в которую запряжены два дряхлых мерина с короткими хвостами. В марте становится очевидно, что Расин при смерти; весь двор сочувствует ему, и даже король проявляет некоторое сострадание. Додар, врач, пользовавшийся пор-руаяльских отшельников, делает ему крестообразный разрез на правом боку, чуть ниже соска; из нарыва вытекают две унции гноя.

Расин, всю жизнь такой вспыльчивый, удивлял близких терпением и кротостью. Он повторял, что никогда не мог

найти в себе сил поститься и благодарен Господу за то, что теперь ему приходится голодать. У постели больного неотлучно находились его зять Морамбер, Валенкур, аббат Ренодо и Виллар, сосед по улице Каменщиков, который спустя четыре года был заключен в Бастилию и до самой смерти, наступившей в 1715 году, расплачивался за свое преступление, состоявшее в принадлежности к янсенистам. Из Отея приехал Буало, и Расин поведал другу, «лучшему человеку в мире», как он рад, что умирает первым. Собрывал Расина его духовник, священник церкви Сент-Андре-дез-Ар (дом Расина на улице Маре относился к приходу церкви Святого Сульпиция, но прежде Расин жил на улице Кладбища Сент-Андре-дез-Ар, где были крещены три его старшие дочери, а затем на улице Каменщиков).

За два дня до смерти Расин в присутствии господина Додара попросил Жана Батиста принести из его кабинета маленькую черную шкатулку и, достав оттуда рукопись «Краткой истории Пор-Руаяля», передал ее врачу.

В ответ на утешения Жана Батиста Расин сказал: «Пусть доктора говорят, что хотят, это их дело, но неужели вы, сын мой, хотите обмануть меня, неужели вы заодно с ними? На все воля Господня, но уверяю вас: будь у меня выбор между жизнью и смертью, я не знал бы, что избрать, — слишком поздно».

Полтора месяца он с беспримерным терпением сносил все муки и скончался 21 апреля 1699 года около четырех часов утра. Он умер в том же возрасте, что и господин Амон, возле которого он хотел покоиться. Умер так же мирно, повторяя, быть может, то же слово «тишина», которое несколько раз произнес перед смертью господин Амон. Тело его отнесли сначала в церковь Святого Сульпиция, а затем, согласно его последней воле, перевезли в Пор-Руаяль: «Завещаю, чтобы после смерти тело мое перенесли в Пор-Руаяль-де-Шан и похоронили на кладбище у изножья могилы господина Амона. Я смиренно молю госпожу настоятельницу и монахинь оказать мне эту честь, хотя и вовсе недостоин ее, ибо вел жизнь предосудительную, употребил во зло блестящее воспитание, которое получил некогда в этом монастыре, и презрел великие примеры благочестия и покаяния, кои были мне даны и кои наблюдал я безо всякой пользы. Но чем сильнее оскорблял я Господа, тем больше нуждаюсь я ныне в заступничестве святой общины перед Его лицом. Я молю также мать настоятельницу

и монахинь принять от меня указанные в моем завещании восемьсот ливров. Написано в Париже, в моем кабинете, 10 октября 1698 года».

Жизнь Расина опровергает известную шутку того времени: «При жизни он не похоронил бы себя в Пор-Руаяле». Он оставался пленником Пор-Руаяля, как бы далеко ни уходил от него. Он не покидал его ни на мгновение.

ХIII

«Депрео! мы оба, вы и я, много потеряли со смертью Расина», — прокричал Людовик XIV, издали завидев Буало. Старый поэт повсюду рассказывал о столь хвалебном отзыве Его Величества — всякий придворный рад был бы умереть, лишь бы о нем сказали такие слова. Но это был последний приезд поэта в Версаль. «Я разучился льстить...» — говорил он.

Такая преданность делает честь не только Буало, но и Расину. Буало всю жизнь играл в доме своего друга роль старого ворчливого дядюшки, стыдящегося своей нежности: «На днях мы были за городом, в О т е е , — писал Расин в одном из последних своих писем, дошедших до нас, — и господин Депрео на славу угостил все наше семейство; после обеда он повел Лионваля и Мадлон в Булонский лес и в шутку грозился бросить их там одних. А сам не понимал ни слова из того, что лепетали бедные дети».

Тем не менее Буало нельзя упрекнуть в чрезмерной снисходительности, он судил Расина более чем трезво. Он был не самого высокого мнения о таланте своего друга — нам всегда трудно поверить, что в близких людях, даже самых замечательных, есть что-то необыкновенное. Буало всегда ставил Расина ниже Мольера... и ниже самого себя. Он сказал об этом даже королю, который удивился, но, подумав, добавил: «Впрочем, вы в этом разбираетесь лучше моего». Среди учителей Расина он числил Еврипида и себя самого. Он гордился тем, что научил Расина «с трудом слагать легчайшие стихи». Мы не знаем, известно ли было мнение Буало Расину; быть может, оно его вовсе не возмутило бы. Ревниво оберегавший свое превосходство, особенно если речь шла о сравнении его с Корнелем (когда нашлись люди, возражавшие против печатания речи Лабрюера, в Академии, поскольку автор «Андромахи» был поставлен в ней выше автора «Сида», Расин горячо защищал ее), он тем не менее никогда не заносился, ибо превыше всего почи-

тал древних. Он отважно отстаивал их совершенство в споре с Перро и терпеть не мог, когда его сравнивали с ними. Возможно, именно поэтому он полагал, что Буало делает ему слишком много чести, произнося его имя рядом с именем Еврипида. Этот гордец не обладал требовательной ненасытностью современных художников, которые по своей необразованности с легкостью утверждают во мнении, что они ничем не обязаны предшественникам; ничего не зная, они воображают, будто изобрели все заново. Расин же не стыдился, когда его называли подражателем. Он не считал для себя зазорным быть учеником.

Сколько наивности было в этих двоих — в Расине и Буало! Стихи и лекарства — этим едва ли не исчерпывалось содержание их писем, да, по всей вероятности, и разговор о в, — и мы не можем не восхититься такой целомудренной сдержанностью. Впрочем, им была чужда внутренняя противоречивость, вернее, они не считали ее большим достоинством; в отличие от нас, сегодняшних людей, они не были на ней помешаны, не стремились к ней во что бы то ни стало. И в этом они также подражали грекам. Расин молил Господа простить ему тайные прегрешения его жизни, но вспоминал ли он о них, когда оканчивал молитву? Вряд ли. Однако когда Расин принимался злословить, Буало, свидетель его бурной юности, должно быть, кое о чем ему напоминал.

Ибо дружба не мешала Буало судить Расина-человека так же трезво, как Расина-поэта. «Он говорил, что Расина наставила на путь истинный религия, от природы же он был насмешлив, вспыльчив, завистлив и сладострастен». Он знал своего грозного друга лучше нас. Он был своим человеком в доме Расина и, возможно, помогал сыновьям поэта сжечь опасные бумаги, оставшиеся от отца.

Вспыльчивость, завистливость, сладострастие — залог самых тяжких прегрешений. Если Буало и находил подчас благочестие своего друга слишком ревностным, он, однако, не мог не признать, что иные ненасытные сердца ради своего спасения должны целиком предаться Богу. В двадцать лет молодость, талант, успех, любовь помогают Расину совладать с чрезмерной чувствительностью, которая делает его столь уязвимым. Этот гениальный насмешник может отразить любую атаку; опережая противника, он бросается на него и разит без промаха. Но молодость проходит, любовь остывает. Ветер успеха меняет направление; прекрасное дерево приносит последние плоды; поэт ослабел, устал. Быть

может, враги похитили у него его смертоносное оружие. Бедный поэт! Иным не нужен защитный панцирь — у них от рождения такая толстая кожа, что им не страшны никакие нападки. Расину же на роду написано принимать все близко к сердцу: все его задевает, все ранит; не будь даже людской вражды, ему хватило бы мучительной мысли о смерти; смерть ему отвратительна... О, если бы за гробом нас не ждала бездна, могила, безграничная тьма. Если бы кто-нибудь встречал нас на пороге — встречал с распростертыми объятиями. Как бы ни был грозен этот некто, для Расина он все равно лучше, чем ничто. Поэт верит в свою неотразимость; он мечтает о неправедном Боге, Боге, который был бы способен полюбить его, Расина, сильнее, чем других. Он льстит себя надеждой, что сумеет умиловить Всевышнего — он вновь станет ребенком, будет смиренно выполнять самую черную работу. Ему это ничего не стоит; он вовсе не так горд, как кажется. По сути дела, для него важнее всего угождать и чувствовать себя в безопасности. Он знает, чем потрафить Господу, — ведь его учили этому с самого детства. Буало посмеивался над ним: «Мне бы Ваши добродетели, особенно христианские, — я бы черпал в них утешение, но ведь я, в отличие от Вас, не был возвращен в святилище веры...» А Расин был там возвращен. Его школьные тетради пестрят гимнами, которые пришлось не по душе господину де Саси, и сейчас, перед смертью, он возвращается к ним, чтобы сделать их достойными Бога Авраама, Исаака и Иакова.

Дивные «Духовные песнопения» — творение сердца, которое алчет спасения. Да поможет Господь этому «рабу смерти» добровольно предаться во власть благодати. Однако человеку мало самому быть счастливым, ему потребно, чтобы другие были несчастны; отверженные помогают избранным лучше почувствовать свое избранничество. И вот Расин мечтает о том, как в царстве небесном будет слышать запоздалые сетования «безутешных теней»:

Гонясь за праздными благами,
Что ныне отняты у нас,
Какими горькими путями,
Увы, ходили мы подчас!
Душа, томима суетою,
Влачась безумия стезею,
Не знает отдыха и сна,
Но взор от света отвращает —

Напрасно путь он освещает
Туда, где мир найдет она.
От беззаконий наших ныне
Какой нам остается плод?
Где наша власть, оплот гордыни
И суесловия оплот?
Увы, без друга, без защиты,
Очам всевидящим открыты,
Мы притекли на Божий суд,
Как будто жертвы на закланье,
И следом наши злодеянья
К престолу Вышнему идут.

Самого Расина смерть не застанет врасплох; он все предусмотрел заранее, он сделал все необходимое и даже более того. С сомнительными знакомствами, оставляющими в душе вечную неудовлетворенность, покончено; он не станет больше пить из мутных источников, он знает, какая пища ему нужна:

Хлеб ангельский даю сегодня
Всем кто вонмет моим словам.
Из лучшего зерна Господня
Он приготовлен в пищу вам.
Сей хлеб не для земного пира,
И тот, кто не отрекся мира,
Не может от него вкусить.
Вы жить воистину хотите?
Примите же его, ядите —
И вечно будете вы жить*.

Характер — это судьба, писал Новалис. Расину, чрезмерно чувствительному юноше с насмешливым, вспльщивым, сладострастным нравом, было на роду написано отринуть Бога с тем, чтобы позднее вернуться к нему. Таким людям, как Расин, суждено делать смелые ходы одновременно на двух досках — той, что подвластна времени, и той, что принадлежит вечности. Преступница Федра вновь открывает ему путь к сердцу непорочной девы Сент-Тэкл, а любовница короля отвращает от гибельной стези, уже не сулящей лавров, и покровительствует ему при дворе — таким образом, не рискуя ни славой поэта, ни спасением души, он обеспечивает себе благополучие на земле и блаженство на небесах. Более того: написав «Федру», Расин

* Перевод М. Гринберга.

обнаруживает, что он уязвим, как слабые женщины, как заблудшие дети, которых Иисус предпочитал фарисеям и гордецам. На тридцать восьмом году жизни Жан Расин убоился наступающей тьмы; он ищет руку, на которую можно опереться, край плаща, за который можно ухватиться. Господь находит лишь тех, кто сбился с пути.

XIV

«Характер — это судьба...» Применимы ли эти слова к Расину? Судьбу его определил характер, но не тот, которым наделила его природа, а тот, который сформировала религия. Родись Жан Расин в иное время и не в такой богобоязненной семье, судьба его сложилась бы совершенно по-иному. Быть может, она была бы трагической, а может, наоборот, более блестящей, более счастливой — смотря по тому, что взяло бы верх; необузданные страсти или честолюбие и хитрость. Во всяком случае, он не впал бы в немилость из-за связей с Пор-Руаялем.

Вот урок, который можно извлечь из жизни Жана Расина: судьба наша в нас самих, мы ткем ее, как паук свою паутину; мы сами избираем себе друзей и возлюбленных; в жизни очень мало непредсказуемых событий; почти все, что с нами происходит, — дело наших рук; а то немногое, что от нас не зависит, мы воспринимаем так, как велит наш характер, и, следовательно, опять-таки сами лепим свою судьбу. Лишь одна сила в мире может, вмешавшись в игру, восстать против неизбежности и переменить наш жребий; сила эта — христианство. Ибо оно властно даже над нашей природой. Лишь благодати изредка удается победить природу. И даже если в конце концов религия терпит поражение, этому всегда предшествует минута колебания, когда кажется, что судьба возроптавшего на Бога вот-вот переменится. Уверовавший человек — зрелище не менее удивительное, чем повернувшая вспять река: *Jordanis conversus est retrorsum* *. Конечно, в первую очередь мы говорили о чисто человеческих причинах возвращения Жана Расина к Богу. Но если поначалу благодать не гнушается никакими средствами, то об окончательной ее победе можно говорить лишь тогда, когда новообращенный укрепит в вере. (Вот

* Иордан к тому месту, откуда течет, возвращается (*лат.* Еккл., I, 7).

почему всем новообращенным следовало бы несколько лет соблюдать обет молчания и, пока вера их не пройдет испытания временем, не похваляться своим благочестием.) Господу достаточно самого незначительного происшествия: театральной или любовной неудачи, смерти любимого человека, появления какого-нибудь шантажиста... Впрочем, в конце концов наступил день, когда Расину уже ничто не грозило: Вуазен не было в живых, никто не отрицал его первенства в драматической поэзии, успех «Есфири» вытеснил из памяти публики провал «Федры». И все же он не вернулся к светской жизни; хитросплетения побочных причин сошли на нет, а вера его пребыла твердой; обстоятельства прочнее привязали его к Господу, чем мистические чувства, которые горят ярко, но быстро остывают. Расин изменился до неузнаваемости. Вспыльчивый ревнивец тихомирно воспитывает детей, сладострастник обходится без удовольствий; страсти его если и не утихли, то устремились к новому предмету; прежде он любил любовниц, теперь любит Бога. Он не надеется угодить своим благочестием королю, ведь вера его расходится с официальной доктриной и связывает его судьбу с судьбой ненавистных Его Величеству мятежников. В этом Расин особенно решительно пошел наперекор своему характеру. Он ни единого разу не отрекся от Николая и Арно — Бог победил!

Итак, бесповоротно порвать с христианством — значит лишить себя благодетельной надежды в один прекрасный день ускользнуть, излечиться от самого себя. Один критик-атеист с блеском доказал нам, что к Богу, как правило, обращаются люди, которые когда-то пошли по плохой дорожке. В самом деле, чаще всего наиболее страстно желают умереть и возродиться самые великие грешники. Кто очистит их от скверны, если не тот, кто ради этого пришел в долгий мир? И вот они встают перед выбором: либо гордиться своим ничтожеством, предаться самолюбванию, погрязнуть в безнадежном довольстве собой, искать утешение в самом источнике падения — либо возненавидеть себя и тем заслужить право стать другими. Кто-то рассказывал мне об одном поэте, вернувшемся в лоно церкви (от которой он успел сильно отдалиться), что все в нем, вплоть до тембра голоса, вплоть до смеха, стало иным. Так Паскаль всякий день благодарил Спасителя, который «силой своей благодати человека слабого, ничтожного, исполненного вожделиний, гордыни и тщеславия, превратил в человека, чуждого всех этих зол...»

Но даже когда мы уверены, что ненавидим себя, мы не перестаем себя любить. Отдадим должное Расину: он ни на минуту не возвращается к тому, с чем покончил. Мы посмеялись мимоходом над строгими поучениями, которыми он засыпает двадцатилетнего сына, как будто сам он не был в его годы молодым кровожадным волком. Все дело, однако, в том, что мысль об этом волчонке отвратительна Расину, он смотрит на него без всякой снисходительности, он не считает, будто есть время оскорблять Господа и есть время угождать ему. Значит, он твердо уверен, что овладел высшей мудростью; он хочет избавить своих детей от горькой участи обрести эту мудрость слишком поздно.

Вот чему учит нас Расин: у всякого человека бывают в жизни минуты, когда он начинает ненавидеть себя, испытывать к себе отвращение, но сохранить эту ненависть, это отвращение нелегко. Разумеется, в эпоху, когда, в отличие от нашего века, никто не сотворял из молодости кумира, не обожествлял ее, сделать это было легче. Мы прекрасно помним вздох Лафонтена: «Ужель прошла пора любви?» Но в этих словах нет и следа того отчаяния, той безысходной ностальгии, что привязывает многих из нас к нашей бурной юности и порождает омерзительный тип безутешного состарившегося подростка.

Погрузившись на несколько месяцев в жизнь Жана Расина, человека, в чьем сердце бушевали страсти, мы не могли не восхититься тем, что он сумел побороть себя. Конечно, и ему, как всякому христианину, случалось повторять бессмертную жалобу апостола Павла: «Ибо не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю».

Во мне сошлись на битву двое.
О Боже, где найду покой?
Один велит мне быть с тобой,
Всем сердцем возлюбить благое,
Другой же, верх берущий в бое,
Велит закон отринуть твой.

Один, свободный, чуждый тлена,
К высотам горним устремлен,
Но тщетно призывает он
Презреть желанья плоти брэнной;
Его не слышу: неизменно
Другим к земле я пригнетен.

Так длится распря их глухая,
И нет мне мира! Тяжело
На дух мой бремя налегло —
И, лишь добро творить желая,
Любя его, творю всегда я
Лишь ненавистное мне зло *.

Когда король впервые услышал эти строки, он сказал госпоже де Ментенон: «Сударыня, я прекрасно знаю обоих...»

Сегодня многие утратили расиновскую уверенность в том, что зло есть зло и его нужно ненавидеть; даже перестав творить зло, они не находят в себе сил его возненавидеть; отсюда лжеобращения, за которыми всем на потеху немедленно следуют новые падения. Пусть тяжкие страдания и обращают душу к Господу, они не отвращают ее оттого, что она покинула. А многочисленные светила всех возрастов умоляют ее не насиловать себя и ни в чем себе не отказывать. Они оправдывают ее причуды, извиняют ее безумие. Суровый Ницше ужаснулся бы, узнав, что у него появились столь легкомысленные последователи. И тем не менее их голос сегодня заглушает все другие голоса; ему внимают больные сердца, находящиеся на полпути к Господу. Так множатся поражения благодати и возвраты к скверне. Вот почему многие свидетели этих печальных капитуляций, видя в религии последнее средство спасения, возрождения к истинной жизни, тем не менее колеблются, не могут решиться пойти с этой козырной карты: «Как ни мало у нас надежды на Бога, — говорит Монтерлан, — не будем рисковать ею». Воссоединиться с Богом, по его мнению, означает навсегда утратить его.

Простодушие Жана Расина. Он хранит верность тому, кого обрел. Он целует крест. А нас пришлось бы привязывать к кресту, да и это не помогло бы, — ведь наше «я» перестало бы тогда быть самим собой; отделившись от нашего тела, оно продолжало бы жить лишь в нашей памяти. Мы утратили секрет Жана Расина: тот секрет, что позволял ему постоянно идти вперед, не оставляя позади частиц души, по-прежнему погрязших в скверне. Простодушие Жана Расина — он верил, что коль скоро Спаситель пролил свою кровь и за него, Расина, то он обязан жить жизнью цельной. В угоду Господу он ограничивает себя, отсекает лишнее.

* Перевод М. Гринберга.

Ему и в голову не приходит, что он уничтожает главное в себе, что все в нас, даже самое худшее, является частью нашей неповторимой индивидуальности. Расин с восторгом приобщался к простоте: его ребяческая вера вызывала улыбку госпожи де Ментенон. Ничто не было бы ему так чуждо, как наше любование собственной сложностью.

Мы не страдаем от царящей в нашей душе смуты, мы наслаждаемся ею; более того, мы дорожим нашей сложностью как богатством, которым мечтаем воспользоваться, — либо для того, чтобы жить с полной отдачей, либо для того, чтобы создавать бессмертные произведения. Какую большую власть имеет над нами голос, оплакивающий наше самоотречение или насмехающийся над ним! Много писалось о том, что Паскаль, живи он в наши дни, не был бы христианином, ибо открытия исторической критики разрушили бы основания, на которых зиждилась его вера; однако некоторые фрагменты «Мыслей» заранее опровергают такого рода аргументы. Напротив, Расин в наши дни, очень возможно, пленился бы

Своим бесспорным достоянием —
Неповторимым обаянием.

Но в таком самолюбании нет ничего зазорного. Мы вглядываемся в собственное сердце, и пьянящая радость самопознания заглушает заботу о спасении души. Когда мать Сент-Тэкл заклинала своего юного племянника «подумать о себе», она не подозревала, что эти слова могут иметь какой-нибудь иной смысл, кроме: «подумай о своей душе». И этот же смысл будет вкладывать в них уверовавший Расин, наставляя сына. Думать о себе во времена Расина означало только одно: думать о вечном спасении. А мы, сегодняшние люди, всегда ставим на первое место себя; мы стремимся к трезвости, но (даже если мы верим в Бога) остерегаемся всего, что грозит изменить, исказить наш внутренний мир; мы — те, кто отмечен Господом, — хотим спастись, но спастись целиком, оставаясь самими собой. Мы хотим слишком многого — перейти из царства природы в царство благодати, не пожертвовав ни единой черточкой нашей неповторимой личности (к этому сводятся, например, все размышления Андре Жида). Самые одаренные, самые святые спасители душ сталкиваются с этим требованием, и оно становится для них камнем преткновения.

«Оставайтесь свободным», — говорил один монах поэту, алчущему благодати. «Я возлагаю все надежды на эту

свободу, — вторил ему Жак Маритен. — Ни один лживый орден не будет иметь на вас никаких прав. Кто заставляет вас менять образ жизни? Вы принадлежите Церкви, а не миру — пусть даже набожному».

Стать другим — остаться прежним; претендовать на разрешение этого противоречия, конечно, безумие. Но пример Расина помогает нам понять, как опасно не справиться с этим противоречием. В тридцать восемь лет он возвращается к Богу, отрекается от театра, круто меняет образ жизни, избирает благочестие. Даже с чисто мирской точки зрения такой финал бурной жизни не лишен величия; такой пятый акт не разочарует даже вольнодумца. Но у Расина есть дети, и он хочет, чтобы сын его начал свою жизнь с того, к чему сам поэт пришел только под старость. Жан Батист Расин, которому в год смерти отца было двадцать, так и поступит. Жан Батист был недурен собой и общителен; отец бранил его за мечтательность, своеволие и неумение «думать о последствиях своих поступков». С другой стороны, он хвалил юного гордеца за «великий страх оказаться в тягость кому бы то ни было», а Депрео любил получать письма от образованного молодого человека и считал его достойным сыном славного отца. После смерти Расина господин де Торси отправил Жана Батиста в Рим в свите французского посланника. Но Жан Батист пренебрег карьерой, вернулся в Париж, продал унаследованную от отца должность дворянина при особе короля, отказался от женитьбы, после чего, по словам его младшего брата Луи, «заперся в своем кабинете и там, в окружении книг, дожил до шестидесяти девяти лет, почти ни с кем не видясь, кроме одного друга, который, правда, стоил целого общества».

Во всем этом много странного: пылкий юноша — таким он предстает и в письмах отца, и в своих собственных — в расцвете лет удаляется от света и живет отшельником. Как яростно клеймит он Валенкура, посмевшего сообщить аббату д'Оливе, что болезнь лишила Расина мужества: «Валенкур, который всю жизнь раболепствовал перед отцом, поскольку был ему всем обязан, решил после его смерти наверстать упущенное и представить себя человеком, перед которым мой отец низкопоклонствовал, вдобавок он посвятил во все свои наглые выдумки не кого иного, как аббата д'Оливе <...> которого я всегда рад во всеуслышание назвать человеком, достойным глубочайшего презрения». Далее он говорит о Валенкуре как о самом подлом и самодовольном

человеке в мире. В этих строках клокочет ненависть святоши, отлученного от всего на свете, к острослову, которого все на свете забавляет и который даже добродетелен на языческий манер (после того, как все книги Валенкура сгорели во время пожара, он говорил сам себе в утешение, что грош цена была бы этим книгам, если бы они не научили его обходиться без книг).

Но лучшие места в письмах Жана Батиста — те, где он журит своего незадачливого брата и с чисто расиновской безжалостностью не оставляет камня на камне от его пошлой поэмы о религии. Жан Батист строго напоминает Луи, что в том возрасте, когда он решил взяться за перо, их отец уже оставил сочинительство; он утверждает, что поэма Луи прославил бы любое имя, но не имя Расина, которое «уже прославлено, и преумножить эту славу нельзя, а вот приуменьшить вполне можно... Будем говорить начистоту, как и положено братьям. Неужели Вы думаете, что в силах превзойти отца или хотя бы сравняться с ним? Вы вправе делать, что делаете; но если Вы не верите в свой успех, я вправе давать Вам те советы, какие даю, а даю я их Вам единственно для того, чтобы уберечь Вас от разочарований, неизбежных на поприще, какое Вы избрали. Потому-то я и написал Вам, что на Вашем месте радовал бы талантами, которые ниспослало мне небо, только себя самого и ближайших друзей, и ограничился бы этим невинным развлечением... Вы, быть может, не подумали о том, что наскочили на опаснейший из всех рифов — заговорили о себе самом... Вы рассказываете читателю лишь о собственной особе; создается впечатление, что Вы заняты только собой, своими стихами и их судьбой в грядущих веках; в конце концов Вы доходите до того, что желаете им едва ли не вечной жизни. Позвольте мне заметить Вам, что Вы изображаете себя таким одаренным ребенком, какого свет не видывал. Только выйдя из пеленок, Вы уже превзошли все науки; Вы изучили сочинения поэтов, ораторов, философов — все, вплоть до трудов Ньютона, хотя говорят, что во всей Европе едва ли сыщется три человека, способные понять их. А не знаете Вы одной-единственной вещи — катехизиса, потому что знай Вы его, Вам было бы известно, что существует книга, называемая Священное писание, и она является основанием всей нашей религии, — между тем Вы обнаруживаете это случайно и уже после того, как все прочли, все пролистали, все пробежали глазами, — одним словом, когда Вам стало уже решительно нечем заняться».

В этих словах слышны мощь и язвительность, выдающие человека, который, подобно своему знаменитому родителю, был создан для борьбы, побед, первенства. Но над ним самим одержали победу поучения кающегося отца; он усвоил, что главное — спасение души, и здесь нельзя рисковать. Он зарывает в землю свои способности; жениться, кропать скверные вирши, потихоньку спиваться — все это он предоставляет младшему брату, который в год смерти Расина был еще ребенком, не настолько подвергся влиянию отца и пытается хоть немножко пожить, тогда как Жан Батист запирается в своем кабинете наедине с книгами; больше сорока лет он ждет там смерти. И мы никогда не узнаем, о чем говорил он с тем единственным другом, которого допускал в свое уединение. Он ничего не создает, не оставляет потомства. Он ни с кем не общается — и уверен, что спасется. Но еще вопрос, насколько соответствует духу янсенизма такое полное отречение от самого себя. Одобрил бы его великий Расин? Вероятно, да, коль скоро в последние годы жизни он непрестанно бранил театр и в конце концов швырнул в огонь экземпляр своих сочинений, на котором имел слабость сделать пометы.

И тем не менее, хотя, как говорит Боссюэ, «жизнь по законам природы не имеет ничего общего с жизнью по законам благодати», именно живя под знаком благодати, Расин написал «Есфирь», «Гофолию» и «Духовные песнопения», и именно в эту пору он пробивал себе дорогу при дворе. Он пролил больше слез оттого, что имел несчастье прогневить Людовика XIV, чем оттого, что в молодости запятнал себя грехами, и милость Господа не могла заставить его забыть о немилости короля. В сущности, несмотря на искренность своего раскаяния, Расин умер, по-прежнему пребывая во власти страстей; страсти его и погубили. Только детям его (за исключением Луи); удалось достичь того самоотречения, к которому он безуспешно стремился. В детях он принес наконец свою жертву и возвысился до того, чтобы пожелать быть никем. Устами загадочного Жана Батиста он смог наконец произнести чудесную молитву, которую господин Амон читал каждое утро, просыпаясь, и которая, быть может, содержит разгадку этой загадки: «Я буду жить с тобой, ибо общение со всеми другими таит опасность. Я буду жить тобой, ибо всякая другая пища — яд. Я буду жить для тебя, ибо всякий, кто живет не для тебя, а для себя, не жив, но мертв».

Ж. де НЕРВАЛЬ
ИСПОВЕДЬ
НИКОЛА

Часть первая

112

Часть вторая

155

Часть третья

195

ГОЛЛАНДСКИЙ ОТЕЛЬ

Это случилось в июле 1757 года в Париже. В Королевской типографии служил некий молодой человек лет двадцати пяти; он был наборщиком, и все звали его просто Никола, ибо полное имя свое он берег до лучших времен — когда откроет собственное дело либо обретет положение в обществе. Не подумайте, однако, что он был честолюбив; всеми помыслами его безраздельно владела любовь — ради нее он пожертвовал бы даже славой, которой, возможно, был достоин, но так никогда и не добился. Завсегдатаи Французской комедии не могли не заметить в первом ряду амфитеатра узкоголицего юношу с орлиным носом, смуглой, в частых оспинах кожей и живыми черными глазами, глядящими дерзко и лукаво; сей кавалер был недурен собой, статен, со стройными сильными ногами в хороших башмаках; непринужденные манеры выдавали в нем человека, привыкшего к успеху, и искупали простоту платья, чересчур скромного для зрителя Королевского театра. Это и был наборщик Никола; почти каждый вечер он оставлял большую часть дневного заработка в театральной кассе и самозабвенно рукоплескал шедеврам комического искусства (трагедий он не любил); самый пылкий восторг вызывали у него сцены с участием прелестной мадемуазель Геан, блиставшей в ту пору в «Воспитаннице» и «Обманчивой наружности».

Для натур мечтательных нет ничего опаснее, чем любовь к актрисе: это непрестанное самообольщение, дурной сон, безумный бред. Все существование их сосредоточивается на одной несбыточной цели, и пока они стремятся к ней, они счастливы — но стоит им протянуть руку, чтобы коснуться идола, как грезы рассеиваются.

Никола целый год любовался мадемуазель Геан в прозрачном свете рампы, прежде чем решился подойти поближе. В те времена актеры выходили из театра в проулок,

ведущий к перекрестку Бюсси. У дверей толпились лакеи, носильщики портшезов и товарищи Никола по несчастью, пылкие и целомудренные поклонники юных актрис: коротышки-приказчики, студенты да робкие поэты, завсегдатаи кафе «Прокоп», успевавшие сложить в антракте мадригал или сонет. Дворяне, судейские, откупщики и газетчики, посещавшие театр когда по билетам, а когда и по приглашениям, не тратили времени даром: после спектакля, к большой зависти незадачливых воздыхателей, они провожали актрис до самого дома.

Сюда-то и зачастил Никола, чтобы — без всякой надежды быть замеченным — полюбоваться тонкой талией, ослепительным цветом лица и прелестной ножкой красавицы Геан, которая после спектакля садилась в портшез и отправлялась домой. У Никола вошло в привычку незаметно следовать за ней, и он ни разу не видел, чтобы кто-нибудь ее провожал. Никола вел себя как совершенный мальчишка — он часами ходил взад и вперед под окнами актрисы, наблюдая за игрой теней на занавесах, — при этом он старался делать вид, будто оказался здесь случайно: ведь бедный юноша из народа, живущий трудами рук своих, даже мечтать не смел о той, что не пускала на порог банкиров и вельмож.

Однажды вечером, выйдя из театра, мадемуазель Геан против обыкновения не села в портшез, а пошла пешком об руку с одной из товарок; миновав проулок, девушки впорхнули в ожидавшую их карету и помчались. Никола бросился вдогонку, однако лошади бежали так быстро, что он вскоре выбился из сил: пока карета петляла по улочкам, он еще кое-как поспевал за ней, но вот она покатила по набережным, и Никола начал отставать. По счастью, было темно, и он рискнул вскочить на запятки, — там он перевел дух, в восторге от собственной находчивости, но терзаемый ревностью. Он не сомневался, что карета направляется в какое-нибудь укромное местечко. У невинной «воспитанницы», которой он только что восхищался на сцене, появился таинственный кавалер.

Впрочем, какое право имел он, безумец, все еще находящийся во власти театральной иллюзии, совать нос в ночную жизнь красавицы Геан? И что бы он испытывал сейчас, если бы в тот вечер давали не «Воспитанницу», а «Обманчивую наружность»? Он любил женщину идеальную, у него никогда и в мыслях не было приблизиться к ней. Однако сердце человеческое соткано из противоречий: в тот

день Никола впервые почувствовал, что влюблен не в героиню пьесы, но в самое мадемуазель Геан, женщину из плоти и крови. Он полон был решимости проникнуть в одну из ее тайн, если надо, защитить ее — так порой во сне человек вдруг понимает, что видит сон, и во что бы то ни стало хочет пробудиться.

Миновав мосты и покружив по улочкам правого берега, карета въехала во двор какого-то особняка в квартале Тампль и остановилась. Незаметно соскочив на землю, Никола испытал минутное замешательство. Но тут он услышал, как мадемуазель Геан мелодичным голосом сказала своей спутнице:

— Выходи прежде ты, Жюни.

Жюни! Это имя пробудило у Никола смутное воспоминание: так звали некую мадемуазель Прюдом, танцовщицу из Комической оперы, с которой он — правда, уже довольно давно — познакомился на загородной прогулке. Он сделал шаг вперед, чтобы помочь ей выйти из кареты.

— А, вы тоже приглашены?! — воскликнула она, узнав Никола.

Он хотел ответить, но вдруг почувствовал, как мадемуазель Геан, выходя из кареты вслед за подругой, легонько оперлась на его руку. От восторга Никола потерял дар речи. Драгунский полковник, вышедший встретить дам, увидев его, сказал:

— Мадемуазель Геан, вот один из самых верных ваших поклонников.

Он часто видел Никола в театре и запомнил, с каким жаром молодой человек хлопал красавице актрисе. Мадемуазель Геан обернулась к Никола и, одарив его самой пленительной улыбкой, ласково произнесла:

— Сударь, я рада видеть вас в числе гостей.

Никола стоял как громом пораженный — он впервые услышал, как этот голос, такой знакомый, обращается к нему, впервые увидел, как идол, которому он поклонялся, сходит с пьедестала и хотя мгновение живет и улыбается для него одного. Все же у него достало сил ответить:

— Мадемуазель, я всего лишь скромный поклонник вашего таланта и почту за счастье восхищаться вами и впредь.

У него возникло особое чувство, какое испытывает всякий, кто впервые видит актрису вблизи и понимает, что только теперь ему предстоит узнать эту как будто бы давно знакомую женщину. Правда, часто обнаруживается, что субретка лишена остроумия, кокетка — грации, а влюблен-

ная — сердца, не говоря уже о том, насколько свет рампы меняет черты лица! Однако мадемуазель Геан была в жизни еще прелестнее, чем на сцене. Пока она поднималась по лестнице, опершись, на руку полковника, Никола стоял как столб, не сводя глаз с ее белоснежной шейки и гибкой талии.

— Что же вы мешкаете, — сказала мадемуазель Прюдом, — дайте руку и идемте.

Никола медленно приходил в себя. По счастью, в тот день на нем была свежая рубашка и почти новый люстриновый сюртук — словом, он был одет вполне пристойно и даже гораздо опрятнее многих других гостей.

— Где мы находимся? — шепотом спросил он у Жюни и, пока они поднимались наверх, объяснил ей, как попал сюда. Танцовщица расхохоталась:

— Успокойтесь, друг мой, из мужчин будут только принцы да поэты, как говорит господин Вольтер; здесь собирается смешанное общество... Вы часом не принц?

— Я потомок императора Пертинакса, — с серьезнейшим видом, отвечал: Н и к о л а, — моя родословная, составленная по всей форме, хранится в Бургундии, в Нитри, у моего деда.

Жюни ничуть не удивилась:

— Ну что ж! Жаль, конечно, что вы не поэт, — прочли бы за десертом что-нибудь веселенькое. Но не беда! Принц — тоже неплохо, тем более, что вы со мной.

— Но где мы все-таки находимся?

— В Голландском отеле, в гостях у венецианского посланника.

Они вошли в залу, ту самую, которую Бомарше потом сделает биллиардной. Никола, лишь несколько месяцев назад приехавший в Париж и обедавший только в Поршеронах, был ошеломлен великолепием стола. Впрочем, он держался с таким достоинством, что мог смело появляться в любом обществе, — гости удивлялись единственно тому, что молодой человек никому из них не знаком — ведь сюда допускались только светские и литературные знаменитости. Дамы были сплошь актрисы: мадемуазель Гюс, острая на язык и задорная, но не такая красивая, как мадемуазель Геан, мадемуазель Алар, в те времена стройная и легкая, мадемуазель Арну, уже прославившаяся в роли Психеи в «Пафосских празднествах», юная Розали Левассер из Итальянской комедии, пришедшая в сопровождении щеголеватого аббата, мадемуазель Гимар и Камарго-вторая, прима-

балерина Французской комедии. Соседкой Никола слева оказалась госпожа Фавар. Но даже в обществе стольких знаменитых красавиц он не замечал никого вокруг и не сводил глаз с мадемуазель Геан, сидевшей на другом конце стола рядом с драгунским полковником. Жюни стала донимать его расспросами. Пришлось поведать ей историю своей страсти.

— Плохи мои дела, — сказала она со смехом, — ведь у меня нет другого кавалера. Но я вас прощаю, вы меня славно позабавили.

После ужина Розали Левассер, обладавшая восхитительным голосом, исполнила несколько песенок из комических опер; мадемуазель Арну порадовала всех арией «Бледные огни»; мадемуазель Гюс сыграла сцену из Мольера; госпожа Фавар спела ариетту из «Служанки-госпожи»; Гимар, Алар, Прюдом и Камарго-вторая исполнили падекатр из балета «Медея»; мадемуазель Геан сыграла сцену с письмом из «Воспитанницы». Затем настал черед поэтов: каждый прочел стихи или спел песню собственного сочинения. Надвигалась ночь; самые известные литераторы, самые именитые гости, одним словом, люди серьезные, уже разошлись. Обстановка стала более непринужденной; Грекур прочел одну из своих сказок, Роббе — сатиру на принца Конти, который предложил ему двадцать тысяч ливров за то, чтобы он ее не печатал. Пирон продекламировал стихи, отмеченные печатью века, не уважающего ничего, даже любви. Слушатели еще пребывали во власти этих неистовых строк, когда госпожа Фавар обратилась к своему соседу справа:

— Теперь ваш черед!

Никола смешался; в этот миг красавица Геан устремила на него свой взор, и он смутился еще сильнее. Желая ободрить его, она с божественной улыбкой спросила:

— А вы, сударь, чем нас порадуете?

— Это юный принц! — воскликнула Жюни. — От него нет никакого проку, он ничего не умеет... Это потомок императора Пер... Пер...

Никола покраснел до ушей.

— Пертинакса. Вот! — выговорила наконец Жюни.

Венецианский посланник нахмурился: он не очень-то верил в потомков римских императоров; отпрыск рода Мочениго, занесенного в золотую книгу Венеции, он кичился тем, что знает все великие имена Европы. Никола понял, что необходимо объясниться, иначе его сочтут бахвалом.

Он встал и начал излагать историю своего рода; он рассказал, как сын Пертинакса, преемника Коммода Гельвия, спасся от смерти, которой грозил ему Каракалла, и укрылся в Апеннингах; там он взял в жены Дидию Юлиану, дочь императора Юлиана, также подвергавшуюся преследованиям. Щеголеватый аббат, сопровождавший Розали Девассер, мнил себя человеком ученым; услышав это утверждение, он недоверчиво покачал головой, в ответ Никола процитировал на чистой латыни брачный контракт супругов и массу других документов. Аббат признал себя побежденным, а Никола педантично перечислил потомков Гельвия и Дидии вплоть до Олибрия Пертинакса, королевского ловчего, жившего во времена Хильперика, после чего назвал еще множество Пертинаксов, среди которых кого только не было: и купцы, и прокуроры, и мелкие чиновники, — так он добрался до потомка императора Пертинакса в шестидесятом колене Никола Ретифа, чье имя является переводом имени его предка, вошедшим в употребление с тех пор, как официальные бумаги стали составлять на французском языке.

Никто не стал бы слушать этот долгий перечень, если бы не пояснения Никола, превращавшие его родословную в пародию на родословные вообще. Поэты и актрисы хохотали от души; вельможи, желая показать себя людьми широких взглядов, сделали вид, что не обиделись на явную насмешку; одним словом, живость и остроумие рассказчика покорили всех. Никола так увлек слушателей историями из жизни своих прославленных предков, что, когда дошел до самого себя, все стали наперебой просить его продолжить рассказ. Он согласился поведать историю своей первой любви. Несколько чванливых гостей, начинавших досадовать на успех Никола у дам, тихо удалились, так что теперь на юношу были устремлены только внимательные и дружелюбные взоры. Исповеди тогда были в моде. Никола изливал душу пылко, бурно, не без толики простодушной безнравственности, восхищавшей непритязательных слушателей; но когда рассказ дошел до кульминации, в нем зазвучала неподдельная страсть и все увидели истинную натуру рассказчика, благородство и искренность его чувств; он сумел глубоко взволновать легкомысленное общество и пробудить в падших сердцах воспоминания о чистой любви юных лет. Даже мадемуазель Геан, столь же холодная, сколь и прекрасная, и вдобавок слывшая неприступной, поддавалась обаянию молодого человека с такой нежной и чувствительной душой.

В конце рассказа, когда голос у Никола задрожал, а на глазах показались слезы, она воскликнула:

— Возможно ли это? бывает ли такая беззаветная любовь?

— Да, сударыня, — отвечал Никола, — этот рассказ не менее правдив, чем предыдущий... Особа, которую я любил, была похожа на вас, во всяком случае, чертами лица и улыбкой, и лишь преклонение перед вами может утешить меня в моей утрате.

Наградой ему были громкие рукоплесканья. Люди восторженные утверждали даже, что перед ними талант более яркий, чем Прево д'Экзиль, более нежный, чем Арно, более серьезный, чем Кребийон-сын, и вдобавок знающий жизнь лучше любого из этих писателей. Так скромный наборщик разом получил признание прославленных литераторов, прославленных остроумцев и прославленных красавиц своего времени. Отныне его карьера в свете зависела только от него самого. А между тем в его речах не было ни слова лжи; он действительно считал себя потомком императора Пертинакса и действительно любил женщину, умершую несколько месяцев назад. Но свято место пусто не бывает, и, хотя рана еще не зарубцевалась, идеальное и поэтическое чувство к мадемуазель Геан постепенно овладело его душой.

Ужин закончился весьма необычно — впрочем, в те времена ночные сборища часто кончались подобным образом. По сигналу слуги погасили свечи, и в темноте началась игра, напоминающая жмурки; по-видимому, в этом и заключалась соль праздника, во всяком случае, для посвященных. Каждый имел право проводить ту даму, которую поймает в потемках. Любовники заранее договаривались, как опознать друг друга, поскольку правила игры запрещали изменить выбор, пусть даже совершенно случайный. Никола неожиданно почувствовал, как кто-то берет его за руку и отводит в сторону; тут он ощутил прикосновение другой руки, нежной и трепетной: это была рука мадемуазель Геан, просившей проводить ее. Когда они спускались по потайной лестнице во двор, он услышал возглас Жюни:

— Придется мне пожертвовать собой и утешить полковника.

КТО ТАКОЙ НИКОЛА

Тридцать лет спустя случай вновь привел нашего героя, известного теперь под именем Ретиф де Ла Бретонн (ибо к фамилии своего отца — Ретиф — он присоединил название родительской фермы Лабретонн), на старинную улочку Тамбль в Голландский отель, владельцем которого ныне стал Бомарше. Судьбы героев предыдущей главы сложились по-разному. Венецианский посланник был казнен по приговору Совета десяти как шпион и мошенник, в свете его не любили, и никто о нем не жалел; красавица Геан очень скоро умерла от чахотки, и Никола долго оплакивал ее. Сам же он из бедного наборщика превратился в опытного типографа, сочетающего труд ремесленника с деятельностью литератора и философа. Прежде чем встать за наборную кассу, он снимал бархатный камзол и отстегивал шпагу. Впрочем, набирал он лишь собственные произведения, а сочинял он столько, что не успевал писать от руки: стоя перед кассой, с горящими глазами, он литера за литерой складывал на верстатке вдохновенные, испещренные ошибками строки, которые поражали читателя необычной орфографией и намеренной эксцентричностью. Он имел привычку использовать в одном произведении разные шрифты в зависимости от смысла высказывания. Цицеро помогал ему выразить страсть, подчеркнуть эффектные места, боргес как нельзя лучше подходил для плавного повествования и моралистических рассуждений, петит позволял уместить на одной странице множество скучных, но необходимых подробностей. Иногда Никола вдруг извещал читателя, что ему заблагорассудилось обновить существующую орфографию, после чего продолжал главу либо на арабский манер, опускаемая часть гласных, либо внося полный разброд в согласные: заменял б на п, з на с, д на г и так далее, сообразуясь с правилами, которые весьма пространно излагал в примечаниях. В другой раз он решал, как в латыни, обозначать краткие и долгие слоги, — и набирал часть слова заглавными буквами или петитом, кроме того, он любил выделять гласные, расставляя где надо и где не надо надстрочные знаки. Однако ни одна из его причуд не обескураживала бесчисленных читателей «Совращенного поселанина», «Современники» и «Парижских ночей»; автор их вошел в моду, успех его произведений, выходивших полутомами, может сравниться только с успехом, который с недавнего времени приобрели романы-фельетоны. У них много общего: стреми-

тельное повествование, перебиваемое диалогами, с претензией на драматичность, затейливое переплетение событий, множество человеческих типов, написанных крупными мазками, нагромождение надуманных, но напряженных ситуаций; пристрастие к самым испорченным нравам, самым непристойным зрелищам, какие только существуют в крупном столичном городе в развращенный век; у Ретифа все это было вдобавок щедро сдобрено душеспасительными рассуждениями, философическими максимами и планами общественного переустройства, обличающими несомненный, хотя и сумбурный гений, за который его прозвали Жан-Жаком для бедных.

Хотя для бедных, но все-таки Жан-Жаком! Меж тем Ретиф был, пожалуй, лучше своих книг. Он обладал воображением прихотливым и разнузданным, но намерения у него были добрые. Ночами он часто бродил по улицам, заходя в грязные притоны, в логова мошенников, когда просто из любопытства, когда ради того, чтобы помочь несчастным и помешать свершиться злодейству. Он взял на себя роль Педро Справедливого не по праву королевской крови, но по долгу писателя-моралиста. В свете он хотел быть ангелом-хранителем чужого благополучия: мирил рассорившихся родственников, искал для обездоленных богатых покровителей. Он гордился, что во время ночных прогулок ему не раз случалось утешить и ободрить страдальца, спасти девушку от позора и оскорблений: за одно это ему стоит простить большую часть ошибок и заблуждений. Ретиф известен прежде всего как романист; но помимо романов он оставил несколько томов философских, воспитательных и даже политических сочинений, которые, правда, не стал подписывать полным именем. «Философия господина Никола» содержит целую пантеистическую систему, где автор, по примеру философов своей эпохи, пытается осмыслить появление мира и людей как цепь сотворений или, вернее, самозарождений; Фурье в своей космогонии многое позаимствовал из этой системы, близкой ему по духу. В вопросах политики и морали Ретиф *коммунист*. «Собственность — источник всяческих пороков, всяческих преступлений, всяческого разложения», — утверждает он. Свои планы переустройства общества он пространно изложил в трактатах «Андрограф», «Гинограф», «Порнограф» и других, откуда видно, что нынешние мыслители не сказали по этому поводу ничего нового. Те же идеи легли в основу большей части его романов. Во втором томе «Современниц» описан обмен-

ный банк, который устраивают работники и торговцы, живущие на одной улице, словно в фаланстере.

Вернемся, однако, к биографии этого самобытного человека; он рассеял ее подробности во множестве произведений, где изобразил себя под вымышленными именами, — позже он дал к ним ключ. Ретифу пришла в голову странная мысль — показать главные события своей биографии как бы в свете волшебного фонаря; в цикле пьес и диалогов, озаглавленном «Драма жизни», читатель видит его с ранней юности и до резни 2 сентября, которая так его удручила.

В другой книге, «Тайны человеческого сердца», Ретиф подробно описывает все переживания своей многотрудной и многострадальной жизни. До него только пять человек имели смелость описать самих себя: Блаженный Августин, Монтень, кардинал де Рец, Джероламо Кардано и Руссо, — причем только двое последних были к себе совершенно беспощадны. Ретиф, быть может, пошел в этом еще дальше. «Как англичане продают свой костюм, — говорит он, — так я в шестьдесят лет, задавленный долгами, изнуренный недугами, вынужден предавать огласке свою частную жизнь ради того, чтобы прокормить себя лишние несколько дней».

Читая это признание — скольких мучений оно, должно быть, стоило Ретифу, — мы чувствуем жалость к бедному старику, который на пороге смерти, с мужеством и силой отчаяния, извлекает на свет грехи молодости и пороки зрелого возраста, да еще, быть может, преувеличивает их, дабы угодить испорченному вкусу своих современников, чьи кумиры — Фоблаз и Вальмон. Впоследствии этим реалистическим приемом, превращающим человека в предмет анатомических штудий, стали злоупотреблять — мы же воспользуемся им для изучения характера, который себялюбие доводит до самых прискорбных заблуждений и самых немислимых признаний. Мы попытаемся рассказать о жизни этого странного человека совершенно непредвзято, опираясь на сведения, исходящие от него самого; исповедь его поучительна: она показывает, как Провидение карает человека за его грехи. Наш век не менее падок до мемуаров и исповедей, чем век минувший; однако в простоте и искренности нынешние писатели сильно уступают своим предшественникам. Впрочем, любопытно было бы узнать, идет ли правдивость на пользу роману или во вред.

ГОДЫ ДЕТСТВА

Деревушка Саси на границе Шампани и Бургундии в пятидесяти лье от Парижа и в трех от Осера состоит из одной-единственной улицы с сотней домов по каждой стороне. На краю деревушки, у так называемых Верхних ворот, за ручьем Фарж, на фоне леса и зеленых холмов белет ограда фермы Лабретонн. Там родился Никола Ретиф, чей дед, человек образованный, принадлежавший к судейскому сословию, считал себя потомком императора Пертинакса. Правда, генеалогическое древо, которое он нарисовал в доказательство этого родства, было, по всей вероятности, просто выдумкой, насмешкой над претензиями иных соседей-дворян, приезжавших к нему в гости. Так или иначе, семья Ретифов славилась в округе и достатком, и родственными связями: из нее вышло несколько священников; Никола поначалу тоже хотели определить по духовной части, но его независимый и даже диковатый нрав долгое время препятствовал этому намерению. Больше всего на свете он любил бродить с пастухами по лесам Саси и Нитри, любил суровую кочевую жизнь. Когда ему было лет двенадцать, произошел случай, еще сильнее привязавший его к пастушескому делу. Пастух его отца по имени Жако вдруг, никого не предупредив, отправился в паломничество на гору Сен-Мишель. Местные молодые люди почитали ее священной, и юноша, который не побывал там, слыл трусом. Для девушек святым местом была могила прекрасной королевы Алисы, девы из дев, и всякая честная девушка спешила поклониться ей. Когда Жако ушел, стадо осталось без присмотра. Никола сразу вызвался заменить пастуха. Родители колебались: ребенок еще мал, а в округе рыщут волки; но рабочих рук на ферме не хватало, да и Жако ушел всего на две недели — так что в конце концов Никола доверили стадо.

И вот настал первый день свободы — какая радость! какое блаженство! На рассвете Никола выходит из дому, за ним бегут три огромных пса — Пенсар, Робийяр и Фрике. Два самых сильных барана несут на спинах провизию на весь день, бутылку воды, подкрашенной вином, и хлеб для собак. Наконец-то Никола свободен, наконец-то он сам себе хозяин! Он дышит полной грудью; он впервые чувствует, что живет... Белые облака, плывущие по небу, трясогозка, прыгающая на пригорке, осенние цветы без листьев и запаха, однозвучное пение птички-каменки, зеленые луга в

утренней дымке погружают его в сладостные грезы. Проходя мимо куста, где два месяца назад они с Жако нашли гнездо коноплянки, он думает о бедном пастухе и об ожидающих его опасностях. На глаза Никола наворачиваются слезы, воображение разыгрывается, и он пытается — впервые в жизни — сложить стихи на мотив песни, которую пели нищие, шедшие в собор Святого Якова.

Идет на поклоненье Жак
К святому Михаилу.
«Да не вредит в пути мне враг!» —
Взывает к Рафаилу.

Дружок его овец пасет,
Доит их на закате;
А Жака шаткий мост ведет
К небесной благодати *.

Так Никола ступил на опасный путь. Он неверно истолковал свою любовь к уединению: то была любовь не пастуха, но поэта. Бедные овцы — он заводит их в самые дикие и голодные места. Его влечет к развалинам часовни Святой Магдалины, и он вновь и вновь возвращается сюда, убеждая себя, что приходит собирать ежевику, но настоящая причина в другом — это место навевает на него тихую грусть. Никола осмелел. За лесом Бупарк, неподалеку от виноградников Монтре, есть темная лощина, поросшая высокими деревьями. Поначалу мальчик боялся туда ходить; он вспоминал истории о грабителях и вероотступниках, превратившихся в животных, которые рассказывал ему Жако. Но его подопечные оказались не так пугливы и спустились в лощину. Козы прыгали от куста к кусту, овцы щипали траву, а свиньи рыли землю, ища дикую морковь, которую крестьяне называют *морковник*. Никола следил, чтобы они не забирались чересчур далеко; неожиданно он заметил под дубом большого черного кабана, который, решив порезвиться, присоединился к своим более цивилизованным сородичам. Юный пастух затрепетал от радости и ужаса — появление дикого зверя сделало местность еще притягательнее. Никола притаился за кустом, стараясь не шевелиться. Невдалеке на лужайке появилась косуля, вслед за ней выскачил заяц; на одну из больших груш, плоды которых крестьяне называют медовыми, сел удод. Мечтатель уже

* Перевод М. Гринберга.

видел себя в стране фей; вдруг из чаши выбежал волк — рыжеватая шкура, острая морда, горящие, как угли, глаза... Собаки набросились на него — и прощай все чудеса: косуля, заяц и кабан! Даже удод, соломонова птица, и тот улетел; но, как добрая фея, оставил на память о себе дерево с медовыми грушами, такими нежными и сладкими, что их любят даже пчелы. Мальчик набил карманы этим лакомством, чтобы угостить братьев и сестер.

Поразмыслив, Никола сказал себе: «Лощина ничья... Пусть она будет моя, я буду ее хозяин; отныне это мое маленькое царство! Надо воздвигнуть здесь памятник, чтобы закрепить свои права, — так все делают в Библии, которую читает отец». Несколько дней он строил пирамиду. Когда она была закончена, он опять подумал о Библии, и ему пришлось на ум принести жертву. «Я свободный человек, решил он, и мне никто не нужен; я могу сам быть королем и жрецом, судьей и пастухом, хлебопек, землепашец и охотником». И он отправился на поиски жертвы; подбив из пращи пчелоеда, он осудил эту хищную птицу, смущающую покой гостей лощины, на смерть. Если бы он был взрослым и знал учение о всеобщей гармонии, согласно которому хищники приносят пользу, весьма возможно, он поступил бы по-другому. Так что не будем порицать его за это ребячество; отметим только, что наш мечтатель с самого детства был не чужд мистики*. Однако для совершения религиозного обряда требовались свидетели. В полдень тягловый скот отпускают попасться после утренних работ. Никола дождался этого часа и кликнул пастухов, проходивших вдали:

— Идите, скорее идите сюда, — кричал Никола, — я покажу вам *мою* лощину, *мое* грушевое дерево, *моего* кабана и *моего* удода. (Впрочем, ни кабан, ни удод так и не соизволили показаться.) Никола объяснил, что, поскольку он открыл лощину, лощина эта принадлежит ему, и в доказательство продемонстрировал пирамиду и алтарь. Все признали его права вполне законными. Потом началась церемония: подожгли охапку хвороста и, как велит Священное писание, бросили в огонь внутренности жертвы, после чего Никола положил в костер тушку птицы и прочел молитву собственного сочинения, сопроводив ее несколькими стихами из

* Любопытно, что Гете, ставший впоследствии, как и Ретиф, пантеистом, в детстве тоже приносил жертву Предвечному (здесь и далее примечания автора, кроме специально оговоренных случаев).

псалмов. Он совершил обряд со всей подобающей торжественностью: когда птица изжарилась, он разделил ее мясо между присутствующими и первым попробовал свой кусок — вкус был отвратительный. Мясо пчелоеда понравилось только собакам — они с радостью набросились на остатки священной трапезы.

Кто бы мог подумать, что сей убежденный собственник станет таким рьяным коммунистом, что идеи его приобретут столько сторонников в революционную эпоху! Но до этого еще далеко, а пока у новоявленного землевладельца нашлись завистники среди местных пастухов; тайна его была раскрыта, жертвоприношение сочтено святотатством, и аббат Тома, единокровный брат Никола, который жил в нескольких лье от Саси, приехал в Лабретонн, чтобы собственноручно высечь юного еретика; аббат объяснял свою суровость тем, что, будучи крестным отцом виновного, он в ответе перед Богом за его грехи. Бедняга и не подозревал, как опрометчиво поступает, беря на себя эту ответственность. У Никола было два старших брата — дети отца от первой жены; оба нечасто навещали родных; один был кюре в Куржи, другой — аббат Тома — наставником у янсенистов в Бисетре и приезжал домой только на каникулы. В тот год он возвратился в Бисетр не один: его попечению вверили юного брата, которого пора было наконец научить уму-разуму. В Осере они сели на кош *. Аббат Тома был рослый, сухощавый детина с длинным желчным лицом, лоснящейся веснушчатой кожей, орлиным носом и фамильными бровями Ретифов, густыми и черными, как смоль. Нрава он был сдержанного, но под внешним спокойствием бушевали страсти, и лишь железная воля и упорство помогли ему смирить пылкую натуру. Как только братья добрались до Бисетра и Никола присоединился к другим детям, аббат Тома словно забыл, что мальчик ему не чужой. Вступив в длинные сводчатые коридоры монастыря-тюрьмы и оказавшись среди всех этих, как он их называл, маленьких кюре, Никола затосковал по дому. Однообразие церковных служб наводило на него скуку; в библиотеке были лишь книги янсенистского толка: «Письма к провинциалу» Паскаля, «Опыты» Николая, «Жизнь и чудесные деяния дьякона Париса», «Жизнь господина Тиссара» — они тоже не занимали мальчика. Зато позже он будет с признательностью вспоминать уроки

* Кош — судно для перевозки пассажиров и грузов. — *Примеч. пер.*

янсенистов. Паскаль, Расин и многие другие ученики янсенистов, считал он, обязаны своей прозорливостью, рассудительностью, глубиной проникновения в суть предмета и чистотой произношения Пор-Руаялю, и это тем более замечательно, что иезуиты взрастили только Аннатов, Коссенов и им подобных. Серьезные, вдумчивые янсенисты, в отличие от молинистов, с ранних лет учили своих питомцев мыслить напряженно и последовательно; они не давали воли их страстям, которые от этого, впрочем, разгорались лишь сильнее; привыкнув рассуждать логически, ученики янсенистов становились либо преданными слугами господними, либо дерзкими философами. Молинисты не были так строги, они не считали, что человек должен всечасно помнить о Боге и трепетать при каждом своем шаге, при каждом изъявлении воли, но, менее склонные к размышлениям, более терпимые, поверхностные молинисты много чаще приходили к безразличию, чем янсенисты к безбожию.

Между тем в Бисетре назревали перемены. Покровитель янсенистов архиепископ Жиго де Бельфон умер, его сменил Кристоф де Бомон. Он назначил нового ректора, который со дня своего вступления в должность косо смотрел на наставников янсенистов. Этот *чужак* был человек вспыльчивый и недобрый; он пожелал ознакомиться с библиотекой; при виде полемических сочинений, которые аббат Тома, гордившийся своими убеждениями, и не собирался он него прятать, он нахмурился и сказал, что таким книгам не место в библиотеке для детей.

— Никогда не рано познать истину, — отвечал аббат Тома.

— Уж не собираетесь ли вы учить меня?! — возмутился ректор.

Оскорбленный наставник замолчал. Ученики наблюдали эту сцену с присущим детям злорадством. Просматривая книги, ректор наткнулся на Новый завет с комментариями Кенеля.

— Да ведь это запрещенная книга! — вскричал он и с отвращением швырнул ее на пол.

Бедный аббат Тома смиренно поднял ее и поцеловал место, куда она упала.

— Вы, вероятно, забыли, — сказал он — что в ней содержится полный текст Евангелия.

Ректор в гневе хотел отобрать у воспитанников все экземпляры Нового завета. Аббат Тома возвысил голос:

— Господи! — воскликнул о н . — У детей твоих отнимают слово твое!

На сей раз ученики были на его стороне. Никола, набравшись храбрости, подошел к ректору и сказал:

— Мой отец, которому я больше верю, чем вам, говорил мне, что это завет Иисуса Христа.

— Твой отец гугенот, — отвечал ректор.

Слово «гугенот» в те времена было таким же бранным, как «безбожник». Два местных священника пытались примирить спорящих, но тщетно; аббат Тома почувствовал, что пора ему искать другое место. И правда, через несколько дней его предупредили, что уже подписан указ об изгнании янсенистов. Он не стал ждать, пока его отстранят от должности. Детей отослали домой, а их наставник вместе со своим помощником и Никола отправился в Саси.

ЖАННЕТТА РУССО

Возвращаясь в родные места, Никола трепетал от радости; когда на горизонте показались холмы Кот-Грель, сердце его забилось сильнее, а из глаз хлынули слезы. Вскоре он увидел Ванданжо, Фарж, Триомфэ, наконец, Бупарк, за которым находилась его лощина. Он хотел поделиться своими чувствами с аббатом Тома и начал с упоением перечислять местные красоты, но брат перебил его:

— Наверно, все это очень трогательно, раз вы плачете, но мы уже в двух шагах от Саси, давайте-ка лучше прочтем молитву.

Аббат Тома чувствовал себя в отчем доме неуютно и поспешил отвезти Никола в Куржи к старшему брату, кюре, чтобы тот обучил мальчика латыни. Вскоре басни Федра и эклоги Вергилия открыли воображению юноши новый пленительный мир. По воскресеньям и в праздники церковь наполнялась толпой девушек, и он украдкой поглядывал на них. Судьба его решилась на Пасху. Звуки органа, запах ладана, пышность церемонии воспламенили душу Никола и одурманили его мозг. С началом проскомидии девушки в нарядных платьях стали подходить к причастию; вслед за ними шли их матери и сестры. Шестые замыкала высокая, красивая и скромная девушка; бледность лица еще больше подчеркивала румянец невинности, пылавший на ее щеках; она была одета с большим вкусом, чем ее подруги; осанка ее, убор, красота, нежный цвет лица — все воплощало

идеальный образ, живущий в душе каждого юноши. Когда служба кончилась, Никола вышел следом за красавицей. Поступь ее была легка, как у античных граций. Встретив экономку юре Маргариту Парис, она остановилась.

— Добрый день, мадемуазель Руссо, — с этими словами Маргарита поцеловала девушку.

«Теперь я хотя бы знаю, как ее зовут», — подумал Никола.

— Дорогая Жаннетта, — добавила Маргарита, — вы сущий ангел.

«Жаннетта Руссо! — подумал Никола, — какое дивное имя!»

Девушка произнесла в ответ несколько слов мягким чистым голосом, звук которого совершенно пленил Никола *.

Отныне все помыслы Никола были устремлены к Жаннетте. Он искал ее до самого вечера, но вновь увидел, только когда раздались звуки «Magnificat» и все, кто стояли на клиросе, повернулись к нефу. Назавтра чувство Никола лишь окрепло; он дал себе клятву прилежно учиться, дабы стать достойным Жаннетты; с этого дня ум его стал развиваться; беззаботное детство кончилось. Однажды, когда юре с аббатом Тома пошли поглядеть, как идет сев, и Никола остался дома один, он решил поискать в приходской книге запись о крещении Жаннетты, чтобы доподлинно узнать, сколько ей лет; самому ему в ту пору исполнилось пятнадцать, похоже, что Жаннетта была старше. Он начал с 1730 года и вскоре с великой радостью обнаружил следующую запись: «19 декабря 1731 года родилась Жанна Руссо, законная дочь Жана Руссо и Маргариты и т. д.» Никола перечитал эти строки раз двадцать, пока не выучил наизусть все, вплоть до имен свидетелей и крестных и прежде всего дату 19 декабря, которая стала для него священной.

* Много лет спустя, во времена Республики, автор с нежностью вспоминал свою первую любовь: «Гражданин читатель! — писал он. — Жаннетта Руссо, этот ангел, сама того не ведая, решила мою судьбу. Не думайте, что я прилежно учился и преодолел все трудности потому, что обладал силой и мужеством. Нет! Я всегда был малодушен, но в сердце моем жила настоящая любовь: она дала мне силы возвыситься над собой и прослыть храбрецом. Я сделал все, чтобы стать достойным этой девушки, чье имя и ныне, спустя сорок шесть лет, ныне, когда мне уже исполнилось шестьдесят, приводит меня в трепет... О Жаннетта! если бы ты была рядом со мной, я бы сравнялся с Вольтером и намного превзошел Руссо! Одна только мысль о тебе облагораживала мою душу. Я был уже не я; я становился человеком деятельным, пылким, боговдохновенным.

Одна-единственная мысль омрачала его радость: Жаннетта старше его на три года и, быть может, выйдет замуж прежде, чем он сможет просить ее руки. Никола знал, где она живет, и дни напролет проводил в долине у ручья Фонтен-Фруад, где среди тополей стоял дом ее отца; он по-дружески здоровался и прощался с каждым деревом и под вечер возвращался домой, погруженный в меланхолические любовные грезы.

Но полнее всего Никола ощущал очарование своей избранницы там, где она явилась ему впервые — в церкви. Пытаясь примирить веру с любовью, он без конца повторял: *Unam petii a Domino, et hanc requiram omnibus diebus vitae meae* (Одну просил я у Господа, ту только ищю во все дни моей жизни!). Наполняя эту молитву новым смыслом, он получал несказанное наслаждение. Звонарем в церкви был крестьянин, работавший на винограднике. Никола вызвался заменять его — теперь он приходил в церковь спозаранку и, пока никто не видел, бежал к той скамье, на которой обычно сидела Жаннетта, преклонял колена в том же месте, где она, целовал плиты пола, по которым ступала ее ножка, и читал свою любимую молитву.

Лето в тот год было засушливое, и в один из дней аббат Тома послал Никола вместе с певчим по имени Юэ за водой для приходского сада к колодцу господина Руссо. Но у колодца не оказалось веревки. Что делать? Юэ увидел Жаннетту и хотел попросить у нее веревку. Трепеща от подобного святотатства, Никола оттащил мальчишку за полу. Говорить с ней, с ней!.. Он весь дрожал — нет, не от ревности, а от возмущения. Однако Жаннетта сама догадалась, в чем дело, и принесла веревку; пока девушка помогала Юэ привязывать ее, она несколько раз дотронулась до его руки; Никола не завидовал товарищу: прикосновение ее нежной ручки обожгло бы его огнем. Он пришел в себя только после ухода Жаннетты и только тогда заметил, что девушка не сказала ни ему, ни его товарищу ни одного слова, а проходя мимо него, потупилась. Неужели она заметила, что в церкви он все время смотрит на нее? Как бы там ни было, благочестивая прихожанка мадемуазель Друэн не преминула сообщить экономке кюре, что Никола во время проповеди не сводит глаз с мадемуазель Руссо. Маргарита из лучших побуждений передала ее слова молодому человеку, уверяя, что чувства его ни для кого не секрет.

МАРГАРИТА

Маргарите Парис, экономке куржийского кюре, было под сорок, но поскольку она была женщиной набожной и вдобавок никогда не знавшей ни в чем нужды, она выглядела моложе. Одевалась Маргарита со вкусом и делала такую же прическу, как Жаннетта Руссо. Туфли на высоком каблуке, которые она выписывала из Парижа, и бумажные чулки с длинными голубыми стрелками подчеркивали стройность ее ног. Был праздник Успения, стояла жара; после вечерни экономка переделалась в белое. Мальчики певчие играли во дворе, аббат Тома был в церкви, Никола сидел за столом у окна и учил латынь; Маргарита в той же комнате перебирала салат; время от времени юноша поднимал глаза от книги и следил за мельканьем ее рук, продолжая думать о Жаннетте. Воспоминание о недавней встрече Маргариты с Жаннеттой объединяло в его представлении этих двух женщин.

— Сестра Маргарита, — спросил он, — а правда, что мадемуазель Руссо богата?.. Я говорю про дочку нотариуса...

От удивления Маргарита оставила салат и подошла к Никола:

— Почему вы меня об этом спрашиваете, дитя мое?

— Потому что вы знакомы с ней... а мои родители, верно, порадовались бы, если бы я женился на богатой...

Хитрость школяра, пытающегося примирить свою платоническую страсть с сыновней почтительностью, не укрылась от экономки; но, вспомнив одну давнюю историю, она расчувствовалась, села рядом с Никола и с горестными вздохами поведала ему, что когда-то господин Руссо, отец Жаннетты, просил ее руки, но получил отказ.

— Так что, — сказала она, — я люблю эту красивую девушку — ведь она могла быть моей дочерью... И мне жаль вас. Если бы я могла помочь вам, я поговорила бы с ее родителями и с вашими; но вы слишком юны, она на целых три года старше вас...

Никола зарыдал и бросился на шею Маргарите; слезы их смешались, хотя ни женщина, ни мальчик не сознавали, что причина их волнения не столь уж невинна... Маргарита опомнилась первой и встала; она густо покраснела и глядела сурово, но тут Никола, сжимавший ее руки, едва не лишился чувств. Экономка смягчилась, обняла его, брызнула ему в лицо водой и, когда он пришел в себя, спросила:

— Что с вами?

— Не знаю, — отвечал Никола, — когда я говорил о Жаннетте, а глядел на вас, я вдруг почувствовал, как сердце мое куда-то проваливается... Я не мог отвести глаз от вашей шеи, от растрепавшихся волос. Ваши мокрые от слез глаза заворожили меня, как змея завораживает птичку: та видит опасность, но не может улететь...

— Но если вы любите Жаннетту... — сказала Маргарита серьезно.

— Да, я люблю ее!

У Никола мороз пробежал по коже; юноша словно прирос к месту. По счастью, зазвонил колокол; ему пора было в церковь. Но и там смятенная Маргарита в слезах, с вздымающейся грудью стояла у него перед глазами, вытесняя целомудренный образ Жаннетты. Когда Жаннетта вошла в церковь и заняла свое обычное место, юноша успокоился: эта девушка внушала ему благородные помыслы и добродетельные стремления и никогда не пробуждала в нем чувственность, ибо воздействовала лишь на душу.

Маргарита не была ни кокеткой, ни святошей; она испытывала к Никола только материнскую нежность, однако сердце ее было мягким, ибо знало, что такое любовь. Страсть совсем юного существа, напомнившая ей ее лучшие годы, тронула ее. Бедный Никола, как и она, не сознавал всей опасности подобных излишней и исповедей, где к возвышенным чувствам примешивается низменная похоть. Однажды, проходя мимо дома Жаннетты Руссо, Никола увидел, как она прядет, сидя на скамейке рядом с матерью, и ножка ее, двигающаяся в такт прялке, поразила его стройностью и изяществом. Возвратившись домой, он заглянул в комнату Маргариты и увидел зеленую сафьяновую туфлю на высоком каблуке. «Как она пошла бы Жаннетте!» — подумал он со вздохом. И унес туфлю к себе, чтобы вдоволь на нее наглядеться.

Назавтра было воскресенье. Маргарита с самого утра искала туфлю по всему дому; Никола испугался, что его проделка раскроется и, прокравшись в комнату экономки, потихоньку сунул туфлю в сундук. Экономка была не так глупа и разгадала его хитрость; однако она обулась не говоря ни слова. Никола любовался ножкой, которой пришлось в пору такая крошечная туфелька.

— Сознайтесь, — сказала ему Маргарита сулыбкой, — ведь это вы спрятали мою туфлю...

Никола покраснел, но не стал отрицать свою вину: да, он всю ночь продержал туфлю у себя.

— Бедное дитя! — воскликнула Маргарита. — Я вас прощаю, я вижу, что вы могли бы совершить ради Жаннетты Руссо то, что некий Луи Деневр совершил ради... другой девушки.

— Ради кого же, сестра Маргарита?

Маргарита не ответила. Никола долго думал о том, что значит это полупризнание. Через день экономка собралась за покупками в соседний городок Осер. Приходской осел, животное весьма упрямое, не раз грозил сбросить свою хозяйку. Никола был крепче, чем мальчишки певчие, которые обычно его погоняли, поэтому на сей раз в помощь Маргарите отрядили его. Она проворно взобралась на осла; голову ее покрывал тонкий кисейный убор, талию стягивал корсет на китовом усе; на ней был белый бумажный казакин, передник в красную клетку и шелковая юбка цвета спелой сливы, на ногах — злополучные сафьяновые туфли с блестящими пряжками. Неизменная улыбка лишь подчеркивала манящую томность всего ее облика, черные глаза искрились нежностью. Спуск в долину Монтальри был крутой и, помогая Маргарите сойти с осла, Никола подхватил ее на руки и нес до самого низа; там она недолго шла пешком, затем Никола вновь посадил ее на осла: дальше дорога до самого города была прямая. Время от времени Никола расправлял юбки Маргариты и укреплял ее ножки в стремях; экономка с улыбкой смотрела, как рука его касается ее зеленых туфель, и это сообщало особенную прелесть их разговорам о Жаннетте. Потом осел оступился, и Никола поддержал свою спутницу за талию, от чего она вся зарделась.

— Как сильно вы любите Жаннетту, — сказала она, — одна лишь мысль о том, что мои зеленые туфли могли бы прийтись ей впору, не дает вам покоя.

— Да, правда, — отвечал Никола, сконфуженно убирая руки со стремя.

— Ну что ж! Мне тоже трудно совладать с нежностью к дочери человека, который был мне дорог и который ни в чем передо мной не виноват. Поэтому я одобряю ваше решение просить руки Жаннетты; но будьте осторожны и не проговоритесь об этом вашим братьям — они недолбливают вас, ведь вы от другой матери... Я берусь замолвить за вас словечко Жаннетте, а потом поговорить с ее родителями...

Никола со слезами на глазах кинулся целовать Маргарите руки — тонкие и гораздо более изящные, чем у Жан-

нетты, еще по-детски неуклюжей. Сестра Маргарита, слегка взволнованная, решила положить конец этим восторгам и напомнила молодому человеку, что пора читать часы. Никола собрался с мыслями и, как мужчина, начал первый; потом Маргарита говорила стих, а он поучение — так они незаметно добрались до города.

Маргарита исполнила поручение кюре, потом сделала несколько покупок и повела Никола обедать к госпоже Жеди — галантерейщице-янсенистке, у которой она обычно покупала басон и кружева для церкви, а также ленты и прочие мелочи для себя. У госпожи Жеди была красавица дочь, недавно вышедшая замуж к взаимной выгоде обоих семейств за молодого человека из Кламси, тоже янсениста. Набожная мать не давала молодым шагу ступить без ее ведома, так что они не могли ни поговорить, ни просто побыть вдвоем без ее дозволения. Юную супругу по-прежнему именовали мадемуазель Жеди. Впрочем, строгий надзор за взрослыми детьми не был редкостью в семьях *порядочных людей* (так называли себя янсенисты). Кроме того, в доме жила двадцатилетняя племянница хозяйки, которая следила за супругами и за малейшую провинность обрушивала на них самые свирепые кары. Старой деве вменялось в обязанность заносить все проступки новобрачных, совершенные в отсутствие госпожи Жеди, в особую тетрадь. Таков был суровый уклад этого дома.

За столом Никола украдкой бросал взгляды на сидевшую справа от него молодую жену, чья печальная участь внушала ему живое сочувствие, и говорил себе, что на месте мужа проявил бы больше твердости в борьбе за свои права; накрахмаленный апостольник племянницы, сидевшей слева от него, напоминал ему о благонравии. Однако стол стоял в задней комнате, и в окно видна была улица; чтобы не скучать, Никола наблюдал за прохожими.

— Ах! Какие красивые девушки в Осере! — вырвалось у него.

Госпожа Жеди метнула на него испепеляющий взгляд.

— Но самые красивые сейчас с нами, — поспешил добавить Никола.

Молодой муж опустил глаза и покраснел до ушей; племянница сделалась пунцовой; Маргарита изо всех сил притворялась возмущенной, а мадемуазель Жеди посмотрела на Никола с нежностью и участием.

— Это брат куржийского кюре? — строго спросила хозяйка у Маргариты.

— Да, сударыня, и его, и аббата Тома, но он не пойдет по духовной части.

— Все равно, у него дерзкий взгляд, и я посоветовала бы братьям присматривать за ним.

Никола с Маргаритой выехали из Осера в четыре часа пополудни, чтобы успеть вернуться в Куржи засветло. Миновав Сен-Жерве, они прочли часы и вечернюю молитву, потом заговорили о порядках в доме госпожи Жеди. Маргарита ласково пожурела Никола за неуместную выходку, и они вместе посмеялись над незавидной судьбой бедного мужа. Путники решили поужинать на лужайке при въезде в долину Монтальри, где в тени ив и тополей среди камней бежал ручеек. Никола достал из корзины припасы и поставил бутылку с водой, подкрашенной вином, в ручей, чтобы она охладилась. За едой Никола поведал, что он увидел случайно после обеда у госпожи Жеди: молодой муж в дверях украдкой целовал жену, пока хозяйка и ее племянница пошли распорядиться насчет десерта.

— Довольно об этом! — прервала его Маргарита, вставая, но Никола удержал ее за подол и силой усадил обратно. Экономке пришлось уступить:

— Так и быть, поболтаем еще немножко.

— Я хочу показать вам, как он целовал жену.

— Ах, господин Никола, это грех! — воскликнула Маргарита; от неожиданности она не успела оттолкнуть его. — Что подумала бы Жаннетта?

— Жаннетта! Да, вы правы, Маргарита... Не знаю, отчего так получается: я все время думаю о ней, но когда вижу вас, сердце мое так бьется, что я не могу дышать...

— Идемте отсюда, сын мой, — мягко произнесла экономка.

В голосе ее было столько достоинства, столько теплоты, что Никола показалось, будто с ним говорит его мать. Теперь, подсаживая Маргариту на осла, он прикоснулся к ней едва ли не со страхом, и тут уже Маргарита целомудренно поцеловала его в лоб.

Она глубоко задумалась, словно какая-то горестная мысль не давала ей покоя; наконец, она сказала:

— Господин Никола, остерегайтесь вашей пылкой и любвеобильной души. У вас есть склонность к греху, как у моего дяди, господина Польве, вырастившего меня. Необузданные страсти опаснее, чем вы думаете. В зрелом возрасте они становятся еще неистовее, и даже старость не спасает от них порочную душу, с годами человек ожесточается и

начинает внушать ужас даже близким людям. Дядя мой стал причиной всех моих несчастий: он изо всех сил боролся с преступной любовью ко мне, но не мог совладать с ревностью и потому отказал господину Руссо. Он заявил, что не желает выдавать меня замуж и собирается постричь в монахини, а чтобы сделать наш брак решительно невозможным, помог родителям господина Руссо подыскать ему невесту, на которой господин Руссо в конце концов женился... и она родила ему... вашу Жаннетту. Когда господин Руссо отступился от меня, за мной начал ухаживать другой молодой человек, господин Деневр, но робость моя и невинность были столь велики, что я не решилась распечатать письмо, которое он передал мне, и ему пришлось просить моей руки по всем правилам. Господин Польве ответил, что никто в округе не пара его племяннице. Тогда господину Деневру удалось украдкой поговорить со мной, и жалобы его так тронули мое сердце, что я позволила ему прийти ночью ко мне под окно. Но дядя проснулся и застал господина Деневра возле нашего дома. Он поднялся на чердак, взял ружье и выстрелил в молодого человека. Несчастный не издал ни звука: истекая кровью, он кое-как выбрался из переулка, куда выходило мое окно. Чтобы не скомпрометировать меня... он не послал за врачом... Через несколько дней его не стало. Он успел передать мне письмо, которое написал на смертном одре... Я храню его до сих пор... С того дня я оставила всякую мысль о замужестве!

Рассказывая свою историю, Маргарита плакала горячими слезами, гладила Никола по волосам и смотрела на него с нежностью: его любовь к Жаннетте напоминала ей о господине Руссо, а восторженность, пылкие взоры и трогательное влечение к ней самой, заставлявшее его на время забыть даже Жаннетту, — о господине Деневре. Впрочем, если былые невзгоды делали ее снисходительной, то разница в годах служила порукой ее безопасности.

Экономка и Никола возвратились домой около девяти. В десять все легли спать. Однако юноше было не до сна; разыгравшееся воображение рисовало ему самые причудливые картины. Спал он на первом этаже, в одной комнате с аббатом Тома и певчими Юэ и Меленом. Комната Маргариты была в другом крыле дома и выходила окном в сад. Перед глазами Никола стоял, как живой, молодой Деневр, пренебрегающий опасностью ради встречи с возлюбленной. Никола начало казаться, что Деневр — это он, что нет ничего сладостнее, чем отдать жизнь за нежное свидание, и,

не то в полусне, не то во власти лихорадочной галлюцинации, он выскользнул из комнаты и через черный ход вышел в сад. Вот и окно Маргариты, из-за жары она оставила его открытым. Она спит, длинные волосы ее рассыпались по плечам; в бледном свете луны лицо с правильными чертами кажется молодым и прекрасным. Никола взобрался на подоконник и спрыгнул в комнату Маргариты.

Экономка прошептала сквозь сон:

— Оставь меня, дорогой Деневр, оставь меня!

О страшный миг, о двойная иллюзия, которая могла иметь самые печальные последствия!

— Я готов умереть за вас! — воскликнул Никола, обнимая спящую.

Чтобы довершить сходство, не хватало только выстрела ревнивого дядюшки. Однако развязка оказалась иной. Аббат Тома слышал, как Никола встал, и следил за ним; грубый пинок мгновенно пробудил юношу от грез. Тем временем бедная Маргарита в полной растерянности решила, что двадцать лет спустя на ее глазах повторяется страшная развязка драмы, которую она только что видела во сне. На шум прибежали певчие. Аббат Тома вытолкнул их взапой, потом схватил Никола за ухо, привел в свою комнату, велел тотчас собираться и, не дожидаясь рассвета, повез его в Саси. Назавтра собрался семейный совет, и решено было отдать Никола в ученье к господину Парангону, владельцу типографии в Осере. Поскольку Маргариту подозревали в том, что своей снисходительностью и кокетством она дала повод к случившемуся, ей пришлось покинуть дом священника, а на ее место взяли богомолку громадного роста по имени сестра Пилон.

Через несколько дней Никола с отцом приехали в Осер, и юноше вновь случилось обедать у галантерейщицы-янсенистки госпожи Жеди. В ее доме успел разразиться скандал, не меньший, чем в Куржи. На молодую жену была наложена епитимья, и она вышла к столу в плотном чепце с бумажными рогами. Ускользнув от двойного надзора — матери и кузины, — она совершила преступление, о котором свидетельствовала укоротившаяся впереди юбка, и все это без дозволения родительницы. Зять как вольнодумец и распутник был отослан к родителям.

— Моя дочь запятнала себя грехом! — причитала госпожа Жеди.

Однако зять, оставив прежнюю робость, затеял тяжбу, требуя вернуть жену и ее приданое.

ОБУЧЕНИЕ РЕМЕСЛУ

Типография господина Парангона в Осере находилась рядом с францисканским монастырем. Печатные станки стояли в первом этаже, наборные кассы — в большой зале наверху. Поначалу Никола поручили самую черную работу: выбирать из мусора рассыпанные литеры и раскладывать их по отделениям кассы; кроме того, ему приходилось исполнять поручения тридцати двух рабочих, таскать им воду и сносить все их грубоности. Каково было ученику янсенистов, да еще влюбленному в Жаннетту Руссо, терпеть подобные унижения! Однако ум, трудолюбие и в особенности познания в латыни вскоре снискали ему уважение наборщиков. У хозяина в кабинете стоял шкаф с книгами; Никола, предпочитавший книги увеселительным прогулкам, на досуге запоем читал романы госпожи де Вильдье. Видя, с какой легкостью обмениваются письмами любовники в такого рода сочинениях, он почел вполне естественным написать Жаннетте любовное послание восьмисложным стихом; однако, забыв, как это ни странно, о необходимых мерах предосторожности, юноша отправил письмо почтой; оно попало в руки родителей девушки, а те доставили его прямоком кюре, чем привели в негодование и его, и аббата Тома, и сестру Пилон. Все лишний раз порадовались, что удалили от дома такого опасного соблазнителя, а влюбленный юноша понял, что отныне путь в Куржи для него заказан, и сильно опечалился.

Но внезапно явилось новое лицо, овладевшее всеми его помыслами и решившее его судьбу. Из Парижа возвратилась жена хозяина, госпожа Парангон, с которой Никола еще не был знаком. Вот ее портрет, написанный Ретифом много лет спустя, когда он достиг вершины славы: «Вообразите себе обворожительную женщину, дивно сложенную, с лицом прелестным, благородным и величавым, но не лишенным истинно французской пикантности; бледность не портила, но, напротив, лишь украшала ее; волосы у нее были пепельные, мягкие и шелковистые, брови изогнутые, густые и темные; чудесные голубые глаза, смотревшие из-под длинных ресниц, сообщали ее облику ангельскую кротость, которая придает красоте особенное обаяние; голос звучал робко, чисто, звонко и проникал в самую душу; поступь, оставаясь поступью порядочной женщины, была исполнена сладострастия; у нее были длинные тонкие пальцы, безупречные руки и самая изящная ножка, какая когда-либо при-

надлежала красивой женщине. Одежда ее говорила об изысканном вкусе; самый простой наряд обретал на ней неотразимое очарование пояса Венеры. Более всего в ней пленяла мягкость, участливость — за это женщины любили ее, а мужчины обожали».

Такова была госпожа Парангон; она вышла замуж недавно, и муж ее казался недостойным столь любезной супруги. Как-то раз, в самом начале своей жизни в доме господина Парангона, Никола, в воскресный день стороживший типографию, услышал женские крики; они доносились из кабинета хозяина. Он бросился туда: господин Парангон обнимал Тьеннетту, служанку, она вырывалась, моля пощадить ее честь.

— Какая наглость! — заорал х о з я и н . — Как вы смеете врываться туда, где нахожусь я! Вон отсюда!

Но Никола так решительно вступился за девушку, что господину Парангону пришлось отступить. Тьеннетта убежала, а хозяин, несколько сконфуженный, попытался рассеять подозрения своего ученика, имевшие, увы, слишком много оснований.

Весть о возвращении хозяйки застала Никола за работой. Некоторое время он продолжал рыться в пыли, подбирая литеры, шпации и марзаны, потом наскоро умылся и спустился вниз, где столпились печатники. Госпожа Парангон, которая была со всеми приветлива и для каждого находила ласковый взгляд и доброе слово, сразу заметила Никола.

— Это новый ученик? — спросила она у мастера.

— Да, сударыня, — отвечал т о т . — Из него выйдет толк.

— Но где же он? — удивилась госпожа Парангон, ибо юноша, поздоровавшись, спрятался за спинами печатников.

— Скромность — лучшее украшение, — заметил кто-то не без иронии.

Вспыхнувший от смущения подмастерье вынырнул из толпы.

— Господин Никола, — продолжала госпожа Парангон, — ваш батюшка — друг моего отца, надеюсь, и мы с вами будем друзьями...

В этот миг любезная улыбка молодой женщины пробудила в душе Никола смутное, как сон, воспоминание: когда-то, в детстве, он уже видел эту женщину, но тогда она была совсем другой.

— Ну что же вы, — продолжала госпожа Парангон, — неужели не узнаете Колетту де Вермантон?

— Колетта? Это ты?.. Это вы, сударыня? — пробормотал Никола.

Печатники вернулись к своей работе, а юный подмастерье, оставшись в одиночестве, вновь и вновь перебирал в памяти подробности неожиданной встречи, восхищаясь столь удивительным стечением событий. Тем временем госпожа Парангон удалилась в заднюю комнату; служанка помогла ей снять дорожное платье. Через несколько минут она вышла.

— Тьеннетта говорит, что вы порядочный юноша.. и вдобавок умеющий молчать, — добавила она, недвусмысленно намекая на то, что произошло в кабинете господина Парангона. — Надеюсь, эта вещица пригодится вам. — И она протянула ему серебряные часы.

С этого дня печатники прониклись к подмастерью таким уважением, что освободили его от самой черной работы. Узнав Никола ближе, госпожа Парангон оценила по заслугам любознательного юношу, который, в отличие от многих своих товарищей по типографии, не был ни мотом, ни распутником, и любила беседовать с ним о книгах. К романам госпожи Вильде и даже к «Принцессе Клевской» она относилась с недоверием.

— Еще я читаю Теренция, — сказал Никола, — и даже начал его переводить.

— Ах! Почитайте же ваши переводы! — попросила госпожа Парангон.

Он принес тетрадь и прочел отрывок из «Девушки с Андроса». Читал он с жаром, особенно ту сцену, где Памфил объясняется в любви прекрасной рабыне; госпоже Парангон пришлось в голову попросить его почитать «Заиру» — в Париже она видела эту пьесу на сцене Французской комедии. Она время от времени поясняла, с какой интонацией произносили ту или иную реплику актеры, но вскоре почувствовала, что ей милее простая и естественная манера молодого человека: она облокотилась на спинку его стула, и тепло ее руки, которое он ощущал плечом, заставляло его голос звенеть и дрожать от волнения. Приход госпожи Минон, жены прокурора и родственницы госпожи Парангон, прервал это сладостное занятие.

— Я так взволнована, — сказала госпожа Парангон. — Господин Никола читал мне «Заиру».

— Он хорошо читает?

— С душой.

— О! Тем лучше! — воскликнула госпожа Минон, хлопая в ладоши. — Пусть прочтет нам «Девственницу». Ее ведь, кажется, тоже сочинил Вольтер. Вот будет забавно!

По неведению и наивности Никола и госпожа Парангон приняли ее предложение; впрочем, из этой затеи ничего не вышло: едва раскрыв поэму Вольтера, супруга господина Парангона почувствовала все ее легкомыслие.

Меж тем нравственность Никола подверглась вскоре гораздо более серьезному испытанию. Однажды вечером он сидел один в гостиной, вдруг в комнату крадучись вошел незнакомый мужчина; одежда его была в беспорядке, вернее, он был полураздет; Никола признал в нем монаха францисканца из соседнего монастыря. Монаха звали Годэ д'Аррас; он рассказал, что попал в западню и еле спасся; войти в главные ворота без рясы он не может, ибо ему трудно объяснить, куда она делась. Дабы избежать скандала, он просил позволения воспользоваться дверью типографии, выходящей на монастырский двор. Никола выручил беднягу и сохранил его приключение в тайне.

Спустя несколько дней монах пришел снова, на сей раз в рясе, и пригласил Никола на обед в свою келью. Отличная еда и тонкое вино располагают к откровенности: Годэ д'Аррас рассказал, что удалился в монастырь не по душевной склонности, а по требованию семьи и давно тяготится монашеской жизнью. Впрочем, он имел право разорвать обет и тем оправдывал свое легкомысленное поведение.

Никола, не терпевшему никакого принуждения, были отвратительны феодальные порядки, продолжавшие существовать в просвещенном XVIII столетии; его возмущали родители, заставлявшие своих детей приносить против воли суровый монашеский обет; правда, им дозволялось покинуть монастырь, лишь бы дело обошлось без скандала. Поначалу Никола не питал особого сочувствия к монаху, потерявшему где-то в полях свою рясу. Но мысль, что Годэ д'Аррас сердцем уже на свободе, хотя отчасти оправдывала его поведение. Молодые люди подружились. Если Никола, предаваясь подчас сумасбродным мечтаниям, поступал до сих пор как человек достойный и честный, то Годэ д'Аррас был законченным продуктом цинической эпохи. Мать платила ему хорошее содержание, и он часто приглашал друзей-монахов на обед в свою уютную келью с окном в сад. Бывал там и Никола. Во время застолий вино лилось рекой и высказывались суждения не столько религиозного, сколько фи-

лософического свойства. Они немало повлияли на будущего писателя, он сам это признавал.

Короткие отношения всегда располагают к откровенности, и эта опасная дружба не была исключением. Монах сообразовал участливо выслушать историю первой любви Никола, хотя простодушие юноши вызывало порой его улыбку.

— Вообще, — сказал Годэ д'Аррас, — положите себе за правило избегать всяких романических привязанностей. Есть лишь один способ не покориться женщине — это покорить ее себе. И вообще, совету обходиться с женщинами пожестче. Они будут только сильнее вас любить. Я заметил, что вы равнодушны к госпоже Парангон, смотрите, не благоговейте перед нею. Вы мышка, с которой она играет, покорный слуга, которым она хочет как можно дольше повелевать. Будьте мужчиной, лишите прекрасную даму славы несокрушимой добродетели...

Никола впервые слышал столь смелые речи и страдал от такого надругательства над своим чистым чувством.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил он наконец.

— Я хочу сказать, что хватит смотреть да облизываться. Соберитесь с духом, откройтесь ей и берите быка за рога, либо начните волочиться за какой-либо другой дамой, тогда эта сама прибежит к вам, и вы добьетесь двух побед разом.

— Нет, — возмутился Никола, — ни за что!

— Ну что ж, узнаю почтительного поклонника Жаннетты Руссо.

Никола зарекся бывать у монаха, но яд уже проник в его сердце; сладостные грезы, истинно христианское чувство, в котором он ни за что не признался бы и у которого не было иной цели, кроме беспорочного единения душ, образ, столь целомудренный и благородный, что не вытеснял из сердца юноши образ Жаннетты Руссо, но мирно уживался с ним, — все эти радости поэтического ума, питающегося одними мечтаниями, отныне уступили место пылкой и вполне плотской страсти. Почерпнув в философских сочинениях новые идеи, Никола уже не видел причин пренебрегать советами Годэ д'Арраса; когда он оставался в одиночестве, покой его смущали латинские музы, которые на разные лады, то насмешливо, то печально, повторяли недавно усвоенные им софизмы... «Женщина как тень: когда вы идете за ней, она бежит от вас, когда вы бежите от нее, она идет за вами».

Однажды Никола зашел в монастырскую церковь; шла вечерняя служба. Монахи, вкусившие утром от щедрот Годэ д'Арраса, пели необычайно громко. Никола узнавал голоса своих сотрапезников, окрепшие от благороднейших бургундских вин; он вышел и забрел на кладбище, где стал машинально читать старинные надписи на могилах. На одной из них готическим шрифтом было высечено: «Гийен, 1534». Размышляя о двух столетиях, отделяющих его от незнакомца, Никола почувствовал тщету жизни и смерти и поддался сладостной грусти, которая посещала древних римлян в разгар пиршества; подобно Тримальхиону, он воскликнул: «Раз жизнь так коротка, надо спешить!..»

Никола вернулся в типографию; чтобы отвлечься от этих мыслей, он раскрыл книгу, но тут возвратилась от прокурорши госпожа Парангон. Она была в туфлях на зеленом каблуке, с язычком и блестящей пряжкой. Туфли были новые и натерли ей ногу, а поскольку Тьеннетты не было дома, она попросила Никола пододвинуть малиновое кресло и села в него. Юноша бросился к ней и снял с нее туфли, не расстегивая. Красавица только улыбнулась:

— Принесите же мне другие.

Никола кинулся исполнять приказание, но, когда он вернулся, госпожа Парангон поджала ноги и захотела обуться сама.

— Что это вы читаете? — осведомилась она.

— «Сида», сударыня, — отвечал Никола. — Ах! как несчастна была Химена! Но как прелестна!

— Да, ей пришлось нелегко.

— О, еще как нелегко!

— Правду сказать, я полагаю, что преграды... только разжигают любовь.

— Конечно, сударыня, они ее разжигают так сильно, что...

— Откуда вам знать это в ваши лета?

Никола залился краской. После минутного молчания он осмелился произнести:

— Я знаю это не хуже, чем Родриго.

Госпожа Парангон рассмеялась, затем встала и сказала уже серьезно:

— Желаю вам быть таким же добродетельным, как Родриго, и, главное, таким же счастливым.

Хотя ирония, прозвучавшая в ее словах, была вполне благожелательной, Никола почувствовал, что зашел слишком далеко. Госпожа Парангон удалилась, но туфли ее со

сверкающими пряжками остались подле кресла. Никола с трепетом схватил их, полюбовался изящной формой и, собравшись с духом, крохотными буквами написал внутри одной из них: «Я вас обожаю!» Тут вошла Тьеннетта, и он отдал туфли ей.

ВЕНЕРА

Этот странный поступок, это столь необычное любовное послание, которое дерзкий подмастерье посмел написать жене х о з я и н а, — первый шаг Никола на опасном пути. Читателю уже известна его влюбчивость, а ведь мы рассказали не все, обойдя молчанием множество приключений, героинями которых были юные обитательницы Саси и Осера. Отныне душа эта, несмотря на нежный возраст, уже не чувствует себя невинной; в жизни всякого человека есть минута, когда он делает выбор между добром и злом и тем предопределяет свою судьбу. Такая минута наступила и в жизни Никола. Ах! если бы можно было взять часы и отвести их стрелку назад! Увы! часы остановятся, но вечный бег времени будет продолжаться.

В тот день господин Парангон и мастер цеха отправились в масонскую ложу, поэтому Никола предстояло обедать вдвоем с хозяйкой. Он не решался сесть за стол.

— Садитесь, — проговорила госпожа Парангон дрогнувшим голосом.

Никола занял свое обычное место.

— Садитесь против меня, ведь нас только двое.

Она налила ему суп. Он хранил молчание и медленно подносил ложку ко рту.

— Что же вы не едите? — спросила госпожа Парангон. — О чем задумались?

— Ни о чем, сударыня.

— Вы ходили к мессе?

— Да, сударыня.

— Вам досталась облатка?

— Нет, сударыня, я был на хорах.

— У меня остался кусочек.

Она указала ему на серебряное блюдечко, но он не смел протянуть руку, и госпоже Парангон пришлось самой передать ему облатку.

— Вы все думаете о чем-то, — добавила она.

— Да, сударыня...

Он почувствовал неучтивость своего ответа и постарался взять себя в руки; вспомнив, что сегодня день рождения госпожи Парангон, он произнес:

— Я думал о том, что сегодня праздник... Как бы мне хотелось иметь букет цветов, чтобы вам преподнести. Но у меня ничего нет, кроме моего сердца, которое и без того принадлежит вам.

Она улыбнулась в ответ:

— Мне довольно вашего желания.

Никола встал, подошел к окну и посмотрел на небо.

— Сударыня, — продолжал он, — если бы я был богом, я подарил бы вам не цветы, а самую красивую звезду, ту, что горит там, вдали. Люди называли ее Венерой...

— Ах, господин Никола, что вы такое говорите!

— Мы не в силах достать звезду с неба, но можем восхищаться ею издали. Теперь, глядя на Венеру, я всякий раз буду думать: «Вот дивное светило, под которым родилась мадемуазель Колетта».

Госпожа Парангон была тронута:

— Спасибо, господин Никола, вы так красиво это сказали!

Никола радовался, что избежал упреков, которые, без сомнения, заслужил, но спокойное достоинство хозяйки, которая вскоре удалилась к себе, принял за холодность. Он был так взволнован, что не мог усидеть на месте. Вечерело. Юноша вышел из дома и направился в сторону бенедиктинского аббатства. Когда он вернулся, дома никого не было; господин Парангон получил письмо — дела срочно призывали его в Вермантон, госпожа Парангон, взяв с собой Тьеннетту, пошла проводить его. Сердце Никола было переполнено, ему нужно было излить свои чувства. Он бросил взгляд в окно: по монастырскому двору, созерцающая звезды, широким шагом расхаживал Годэ д'Аррас.

Этот монах-философ обладал, как мы уже говорили, своеобразным складом ума. В голове его самым причудливым образом уживались спиритуалистические и материалистические идеи. Все, кто слышал его вдохновенные речи, неминуемо подпадали под их власть. Никола несколько раз вместе с Годэ д'Аррасом прошел из конца в конец монастырский двор, пытаясь по мере сил уразуметь его философские построения. Но у молодого человека так кружилась голова от платонической любви к Жаннетте и чувственного влечения к госпоже Парангон, что он не мог не поделиться

с Годэ д'Аррасом своими терзаниями. Монах отвечал рассеянно.

— Юноша, — говорил он, — идеальная любовь есть благородный напиток, до краев наполняющий чашу, довольно тебе любоваться его алым цветом. Природа открывает тебе свой неиссякаемый источник, спеши, ибо не успеешь ты утолить жажду, как чаша с божественным нектаром перейдет к другим!

Слова эти повергли Никола в еще большее смятение. — Как! — возразил он, — разве не бывает доводов, способных укротить самую испуганную страсть? разве нет женщин, которых должно чтить, богинь, перед которыми должно преклонять колена, не смея просить у них даже ласкового взгляда, даже улыбки?

Годэ д'Аррас покачал головой и продолжал развивать свои циничные, хотя и путанные теории. Никола завел речь о высшей справедливости, о карах, ожидающих за гробом людей порочных и преступных... Но монах не верил в Бога.

— В природе, — говорил он, — искони царит гармония, здесь все определяют числа, всем управляют физические законы.

— Однако мне было бы тоскливо, — отвечал Никола, — оставить надежду на бессмертие.

— В бессмертие верю и я, и вера моя непоколебима, — сказал Годэ д'Аррас. — Когда тело умирает, душа радуется своему освобождению и удивляется, что любила жизнь.

И, словно во власти пророческого вдохновения, он продолжал:

— Свободное существование человека длится, по моим подсчетам, около двухсот пятидесяти лет. Я исхожу из физических законов круговращения светил. Мы в силах воскресить только материю, из которой было сделано наше поколение, а материя эта, по-видимому, распыляется окончательно и становится пригодной для оживления лишь по прошествии названного мною срока. Первые сто лет своей духовной жизни души наши, как мы сами в расцвете нашей телесной юности, счастливы и не терзаются угрызениями совести. Следующие сто лет длится пора силы и блаженства, последние же пятьдесят лет отравлены ужасом перед возвращением к земной жизни. Тяжелее всего для души то, что ей неизвестно, в каком обличье она вернется на землю: вселится ли она в хозяина или в слугу, в богача или в бедняка, в красавца или в урод, в мудреца или в дурака, в добряка или в злодея. Вот что страшно. Мы, смертные,

живя на земле, ничего не знаем о жизни в мире ином, потому что душа, получая новую телесную оболочку, утрачивает память. Расставшись с телом, душа, напротив, вспоминает не только все, что ей довелось испытать в последнем воплощении, но и все свои предыдущие существования...

Слушая эти необычные проповеди, Никола продолжал грезить о любви. Годэ д'Аррас заметил это и замолчал; однако он успел заронить в сердце молодого человека зерно опасных идей, которые развеяли в прах последние остатки христианского воспитания. На прощанье Никола коротко рассказал о новостях в доме Парангонов. Между прочим, он упомянул, что хозяин типографии уехал в Вермантон.

— Так значит, красotka осталась соломенной вдовой! — воскликнул монах.

На том они и расстались.

Придя домой, Никола почувствовал себя, словно пьяный, который входит с улицы в жарко натопленную комнату. Час был поздний, все спали, и он открывал двери с осторожностью, чтобы никого не разбудить. Дойдя до столовой, он вспомнил, как обедал здесь наедине с хозяйкой; окно было растрепано, и он поискал глазами «прекрасную звезду мадемуазель Колетты», Венеру, которая так ярко светила в небе в тот час; теперь ее уже не было видно. В голове его мелькнула неожиданная мысль; он вспомнил последние слова Годэ д'Арраса и, как вор, как предатель, бросился к спальне своей возлюбленной. Благодаря простоте провинциальных нравов в убежище целомудрия вела обычная застекленная дверь на задвижке, да и та была не заперта. Ровное дыхание госпожи Парангон отмеряло быстрое мгновения ночи. Никола осмелел: он приоткрыл дверь, в тусклом свете ночника разглядел кровать, на коленях подполз к ней и, ободренный недвижимостью спящей и тишиной, встал во весь рост.

Быстрый боязливый взгляд на постель пробудил в душе Никола гораздо меньше пыла, чем он ожидал. Второй раз в жизни он проник в спальню женщины; но госпожа Парангон не обладала непринужденностью и опрометчивой беспечностью бедной Маргариты Парис. Она спала, укрывшись одеялом до самого подбородка, похожая на статую римской матроны. Если бы не легкое дыхание и не вздымающаяся под одеялом грудь, она казалась бы строгим изваянием на могиле. Вероятно, услышав шорох сквозь сон, она протянула руку, потом тихо кликнула Тьеннетту. Никола простерся

на полу. Боясь, что хозяйка заденет его рукой и совсем проснет, он не двигался, затаив дыхание и с ужасом ожидая, что вот-вот появится Тьеннетта. Прошло несколько минут; все было тихо; у Никола достало сил лишь на то, чтобы ползком выбраться из комнаты. Он добежал до столовой и притаился в углу за буфетом; вскоре раздался звонок. Госпожа Парангон приказала служанке лечь в ее спальне.

Как показаться на глаза монаху после столь смехотворной попытки? Эта мысль тревожила Никола даже больше, чем сожаление об упущенной возможности.

Так юная душа день ото дня становилась все порочнее, и неудовольственное самолюбие жгло ее сильнее, чем безответная любовь.

Назавтра госпожа Парангон попросила Никола почитать после обеда «Письма маркиза де Розеля». Ничто в ее тоне и взгляде не указывало на то, что ей ведома причина шума, разбудившего ее ночью, и Никола быстро успокоился; читал он с блеском, с жаром; госпожа Парангон сидела в кресле у камина, слегка запрокинув голову, и время от времени прикрывала глаза; это напомнило Никола целомудренную картину, виденную им накануне. Голос его дрогнул, стал звучать глуше, а потом и вовсе умолк.

— Н о я не сплю!.. — проговорила госпожа Парангон. — Впрочем, даже когда я сплю, сон у меня очень чуткий.

Никола вздрогнул; он попробовал читать дальше, но не мог справиться с волнением.

— Д о в о л ь н о , — сказала она , — вы устали. Я от души сочувствую этой Леоноре...

— А м н е , — Никола вновь осмелел , — мне милее ангельский нрав мадемуазель де Ферваль. Ах! все женщины, на мой взгляд, достойны любви, но есть среди них настоящие богини.

— А главное, среди них есть женщины, достойные уважения , — промолвила госпожа Парангон.

Потом, после паузы, которую Никола не решился прервать, она мягко продолжала:

— Н и к о л а , пора вам подумать о будущем... Вы никогда не помышляли о женитьбе?

— Н е т , сударыня , — начал было Никола, и осекся, поняв, что гнусно солгал.

Его первая возлюбленная предстала его внутреннему взору; но госпожа Парангон ни о чем не догадывалась:

— В ы из порядочной с е м ь и , — говорила она , — сын наших друзей, подумайте над тем, что я вам скажу. У меня

есть сестра, она много моложе меня... и чуть-чуть на меня похожа. — Последние слова она произнесла не без смущения, но с очаровательной улыбкой. — Так вот, господин Никола, если вы будете работать на совесть, я отдам за вас сестру. Пусть план мой ободряет вас и охраняет вашу нравственность. Мы еще поговорим об этом, друг мой.

Достойная женщина встала и направилась к двери. Никола бросился целовать ей руки и оросил их слезами.

— Ах, сударыня!.. — воскликнул он прерывающимся голосом.

Но она не стала его слушать и удалилась.

Никола остался наедине со своими мыслями; доброта и снисходительность госпожи Парангон преисполнили его душу восторгом. Юноша понял, что она все знает, но прощает его.

РОКОВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

В жизни Никола наступила бурная пора. Перед нами уже не простодушный отрок, любящий уединение и латинскую поэзию; неотесанный крестьянский мальчишка-дикарь стал прилежным учеником янсенистов, затем мечтательным воздыхателем, который почитает женщину за фею и не решается даже дотронуться до нее, боясь, что греза рассеется. Городской воздух оказался пагубен для этой мятущейся души, постоянной единственно в любви к природе и удовольствиям. Коварные советы, которым он охотно внимал, сомнительные философские сочинения, прельщающие своей неприкрытой безнравственностью и мнимой мудростью*, сыграли свою роль: он превратился в не знающего никакой узды юнца, чей до времени просвещенный ум наделен способностью к холодному анализу, свойственной обыкновенно зрелым мужам и зиждущейся на опыте, в гуляку, который во всеоружии своих познаний предается грубым утехам, что можно простить людям, не ведающим иной жизни, но не ему. Ему не дано было оценить чуткость госпожи Парангон, ее снисходительность, ее нежное участие, ее возвышенное сострадание к заблудшей, но искренней душе. Он счел, что его ночная выходка не так уж сильно разгневала благородную женщину. Однако с тех пор, стоило им остаться наедине, как она заводила речь о своей сестре и

* Позже он писал: «Если бы не трудолюбие, я стал бы негодяем».

порой он готов был поверить, что в один прекрасный день обретет в этом ребенке вторую Колетту; девочка и вправду походила на старшую сестру и обещала стать со временем ее копией, но как долго надо было ждать! Приступы благо-разумия приводили Никола в задумчивость, и госпожа Парангон была не в силах отказать ему в улыбке, отнять у него руку, когда он хотел поцеловать ее, якобы в залог грядущего законного счастья. Она почувствовала опасность этих бесед, этих уступок и сказала Никола:

— Вам нужно развеяться. Отчего вы не бываете на праздниках, на гуляньях, как другие юноши? Все вечера и воскресные дни вы сидите дома, читаете и пишете, так недолго и заболеть.

«Ну что ж, — решил он, — она права, пора наконец начинать жить!» После чего с исступлением, на какое способны лишь люди меланхолического склада, успевшие разочароваться в жизни, предался всем удовольствиям, доступным жителю Осера — маленького городка, бывшего, однако, в те времена ничуть не добродетельнее Парижа. И вот он уже неперменный участник народных гуляний, душа общества; товарищи удивляются происшедшей в нем перемене и принимают в компанию. Он отбивает у них любовниц, бросает смуглянку Марианну ради пикантной Аглаи Ферран. Нежная Эдме Сервинье и кокетка Дельфина Барон оспаривают друг у друга его внимание. Он посвящает им обеим модные стихи в духе Шолье и Лафара. Иногда к его радости слухи о какой-нибудь скандальной истории достигают ушей госпожи Парангон; она упрекает его со слезами на глазах, на что он с торжествующим видом заявляет:

— Вы ведь сами говорили: молодому человеку надо немного развлечься... А там, глядишь, он станет примерным мужем... Как господин Парангон!

И бедная женщина молча удаляется к себе, чтобы дать волю своему горю.

Увы! Никола приходит домой пьяным, у него появились развязность, дурные манеры любимца дам. Госпожу Парангон все это очень огорчает.

Но вдруг поведение его меняется, он вновь становится домоседом и все время о чем-то тоскует; умерла одна из его многочисленных любовниц, Мадлон Барон, и хотя связь их была мимолетной, несчастье это опечалило его. Госпожа Парангон искренне разделяла его скорбь, которую, без сомнения, преувеличивала. Настороженность ее исчезла. Однажды в воскресенье она складывала мотки пряжи в высокий

шкаф. Тьеннетта ушла за покупками, дома был один Никола, и хозяйка попросила его помочь. Она стояла на стремянке, и, подавая мотки, Никола любовался ее стройной ножкой в белом дрогетовом башмачке на тонком высоком каблуке, который придавал еще больше хрупкости этой миниатюрнейшей ножке. Никола никогда не мог устоять перед таким соблазном. Искушение стало еще сильнее, когда он заметил, что у госпожи Парангон затекли ноги и ей трудно спуститься, так что ему пришлось подхватить ее и опустить на кипу льна, лежавшую на полу. Как описать, что случилось в тот краткий миг, быстролетный, словно сон? Долго сдерживаемое чувство, роковая случайность, восторжествовавшая над стыдливостью, — все было против бедной женщины, такой доброй и великодушной: она сразу лишилась чувств и лежала, словно мертвая. Никола испугался; у него достало сил лишь на то, чтобы отнести госпожу Парангон в спальню. Вернулась Тьеннетта; Никола сказал ей, что хозяйке стало дурно, и она позвала его. Он описал свою тревогу и отчаяние, затем, увидев, что госпожа Парангон вот-вот очнется, убежал, не в силах вынести ее взгляда...

Итак, злодеяние свершилось. Бедная женщина, которая, быть может, в глубине души любила Никола, но ставила долг выше любви, наутро не встает с постели. Она посылает Тьеннетту сказать Никола, что больна и не выйдет к завтраку. Такая сдержанность и доброта — словно нож острый для человека, сознающего свою вину. Никола бросается к ногам изумленной Тьеннетты, орошает ее руки слезами:

— О позволь мне, позволь увидеть ее, на коленях молить ее о прощении! Я хочу сказать ей, как я раскаиваюсь в своем преступлении...

Тьеннетта в замешательстве:

— О каком преступлении вы говорите, господин Никола? Госпоже нездоровится, быть может, вы тоже больны?.. У вас, верно, лихорадка?

— Нет, Тьеннетта, я здоров, но я должен ее видеть!

— Боже мой! Господин Никола, да кто вам не дает пойти к госпоже?

Никола был уже в комнате больной. Упав на колени перед ее постелью, он рыдал, не в силах вымолвить ни слова и не смея поднять на нее глаз. Госпожа Парангон наконец произнесла:

— Кто бы мог подумать, что сын таких порядочных родителей совершит поступок... во всяком случае, попытается совершить...

— Сударыня! Выслушайте меня!

— Ах, говорите, что хотите... у меня нет сил прервать вас.

Никола бросился целовать ей руки, но госпожа Парангон отдернула их; уткнувшись пылающим лицом в свежее полотно простыней, юноша молчал.

Смятение его было столь велико, что тронуло даже женщину, которую он так тяжело оскорбил.

— Небо покарало м е н я , — сказала о н а . — Какой суровый урок! Я лелеяла мечту выдать за вас сестру: мы породнились бы и были счастливы без преступления. Теперь об этом нечего и думать...

— Ах, сударыня!

— Ты не захотел быть мне братом! — воскликнула госпожа Парангон. — Горе тебе! Ты станешь любовником покойницы, я не переживу этого позора!

— Ах! Ваши слова слишком жестоки, сударыня!

Никола встал и пошел к двери. В душе его созрело роковое решение.

— Так у него еще есть сердце! — простонала больная я . — Куда вы идете?

— Туда, куда велит мне совесть!.. Я осквернил божество в его самом совершенном образе... я не имею права жить...

— Оставайтесь! — приказала о н а . — Отныне ваше присутствие мне необходимо... Мы будем служить друг другу вечным укором... Моя жизнь, жестокосердный юноша, зависит от твоей: посмей же распорядиться ею!..

— Я недостоин вашей с е с т р ы , — сказал Никола, раздражаясь слезами. — Ведь став ее мужем, я все равно любил бы вас. Я соглашался с вашими планами, чтобы не разлучаться с вами. Но я не хочу изменять вам даже с вашей сестрой!

С этими словами он выбежал вон из комнаты. Он отправился к городскому валу, вдоль которого тянулись аллеи, где любили гулять горожане, ему необходимо было прийти в себя после мучительной сцены.

На бульваре былолюдно: рабочие затеяли игры, девушки прогуливались стайками. Никола узнал среди них нескольких постоянных посетительниц танцевальных зал, где часто бывал и он. Силясь отвлечься, он примкнул к одной из компаний, где царит буйное веселье, прогоняющее грустные мысли, и никто не докучает тебе расспросами. После обеда на лоне природы Никола расстался с друзьями и

отправился домой; проходя по улице Сен-Симон мимо больницы, он услышал взрывы смеха, и горькие мысли вновь нахлынули на него. Смеялись три молоденькие девушки — они дразнили подружку, которую застали в объятиях уродливого толстяка Туранжо, печатника из типографии Парангона; всегда очень грубый, в тот вечер он был еще и навеселе. Бедная девушка от обиды лишилась чувств. Печатник в ярости накинулся на насмешниц и больно ударил одну из них. На шум сбежался народ, и не миновать бы Туранжо расправы, не случись тут Никола: он первый подскочил к Туранжо и, схватив его за руку, сказал:

— Ты совершил подлость. Если бы не я, тебя растерзали бы на части. Но я вызываю тебя. Будем драться на шпагах. Ты был солдатом, храбрости тебе не занимать.

— Я готов, — ответил Туранжо.

Окружающие пытались помирить их, но безуспешно. Кто-то принес две шпаги, и при свете уличного фонаря началась дуэль по всем правилам. Никола едва умел держать шпагу, но и Туранжо в тот вечер был ему под стать, ибо не слишком твердо стоял на ногах. Никола со всей силы нанес противнику удар; печатник упал, из раны на шее брызнула кровь. Жизнь его была вне опасности, но Никола пришлось скрываться от полиции. Он успел наскоро проститься с госпожой Парангон, которая догадалась, какое горе и отчаяние стоит за поступком юноши. Впрочем, благодаря этой дуэли он прославился на всю округу и заслужил репутацию защитника красавиц. Слава эта докатилась даже до родного дома, который он навестил перед отъездом в Париж.

ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ

Прогостив несколько дней у родителей в Саси, Никола отправился в столицу, где поступил наборщиком в типографию. Мы уже видели, что всякое свежее женское личико воспламеняло эту душу, страстную и, по выражению самого Никола, пронизанную электричеством, как ни одна другая. Незадолго до своей мимолетной связи с мадемуазель Геан он неожиданно получил известие о смерти госпожи Парангон. После описанных нами событий бедная женщина не прожила и года. Она знала о беспечной легкомысленной жизни Никола в Париже, вероятно, это отравило ее последние минуты. Никола, от природы тянувшийся к добру, но из-за отсутствия твердых принципов неизменно поддавав-

шийся злу, много лет спустя писал об этой поре своей жизни: «Добронравие — как ожерелье; стоит развязать нитку — и оно рассыплется».

Между тем дурное поведение истощило и здоровье Никола и его кошелек. Простой рабочий, даже самый опытный, получал в день самое большее пятьдесят су, и юноше очень скоро стала не по карману жизнь, подобающая его новым знакомствам. Неожиданно он получил письмо из Осера... Писал господин Парангон. Судьбе было угодно, чтобы оно пришло как раз тогда, когда Никола остался без работы и без гроша в кармане; к тому же он тосковал по дому и мечтал навестить родные места. Господин Парангон советовал на одиночество и предлагал бывшему ученику место мастера цеха. «Это Туранжо напомнил мне о Вас, — добавляло оно. — Как видите, он не держит на Вас зла...»

Когда Никола получил письмо, в кошельке у него осталось всего двадцать четыре су; чтобы заплатить за дорогу в Осер, ему пришлось продать четыре полотняные рубашки. Господин Парангон очень ему обрадовался, и поскольку Никола не хотел жить у него в доме, посоветовал ему постоялый двор некоего Рюто.

Судьба складывается из событий случайных и на первый взгляд незначительных, но благодаря какой-нибудь мелочи вдруг круто меняющих либо к лучшему, либо к худшему всю жизнь человека. Так полагал Никола, не слишком веривший в Провидение. Поэтому позже он сокрушался: «Ах, зачем я поселился у этого Рюто!», «Будь у меня чуть побольше денег, когда я получил письмо от господина Парангона!», «Ну почему я не переехал прежде, чем пришло это письмо!»

Рядом с постоялым двором Рюто жила вдова аптекаря госпожа Лебег, у нее была дочь Аньес, отличавшаяся несколько мужеподобной красотой; по слухам, Аньес унаследовала от отца кое-какое состояние и потому считалась выгодной партией. Рюто был недурен собой и ухаживал за вдовой Лебег. Иногда он приглашал Никола на ужин, где Аньес Лебег всячески выказывала юноше свое расположение. Впоследствии Никола узнал, что платил за эти ужины господин Парангон, недаром вино к столу подавали отличное — типограф знал в этом толк. Обольщение продолжалось и вскоре пошли разговоры о свадьбе. Никола написал родителям, которые уже знали обо всем от господина Парангона и потому охотно дали свое согласие. Все словно сговорились погубить бедного юношу. Годэ д'Аррас, развра-

тивший его своим безбожием, мог бы на сей раз спасти его, открыв ему глаза на истинное положение дел, но он давно покинул Осер. Вдобавок, господин Парангон, не раз ссужавший его деньгами, приобретал над ним все большую власть. «Кого Юпитер хочет превратить в раба, того он лишает разума», — говорил добрый Гомер. Перед самой свадьбой Никола получил анонимное письмо, которое содержало множество сведений о прошлом его невесты. Но рок преследовал несчастного и здесь: он узнал почерк одной из своих бывших любовниц и приписал письмо отчаянию ревности. Итак, венчание состоялось, и только по выходе из церкви на лице господина Парангона проступили пятна и заиграла злорадная улыбка. Никола женился на одной из самых известных в городе распутниц. Что же касается приданого, то оно было обременено такими долгами, которые сводили его почти к нулю. Бедный юноша быстро понял, что господину Парангону известно, что произошло когда-то в его доме. Окончательно Никола убедился в этом позже, пока же он покинул опостылевший Осер. Аньес Лебег успела опередить его, сбежав с одним из своих кузенов.

Никола возвратился в Париж и поступил в типографию Андре Кнапена. В те времена труд печатников был в цене: опытный наборщик получал до двадцати восьми ливров в неделю. Это относительное благополучие подняло дух Никола Ретифа, и вскоре он написал свои первые романы. Самый большой успех среди них имела «Неверная жена», где он вывел Аньес Лебег; потом вышел «Совращенный поселянин», основу которого составили события, происшедшие с ним самим.

Часть вторая

СЕПТИМАНИЯ

Мода на автобиографии, воспоминания и исповеди, или признания, которая, как эпидемия, время от времени вспыхивает в наш век, в конце прошлого столетия была повальной болезнью. Однако у Руссо не нашлось более смелого подражателя, чем Ретиф. Он не просто использовал собственные приключения и приключения своих знакомых в качестве материала для новелл и романов, — он достоверно и подробно описал их в шестнадцатитомном сочинении под названием «Господин Никола, или Тайны человеческого сердца»; но этого ему показалось мало, и он воспроизвел то же самое в драматической форме. Так родилась дюжина трех- и пятиактных пьес, неизменным героем которых под разными именами выступает сам автор.

Как бы охотно ни живописали себя современные авторы, им далеко до такого самолюбования. Мы уже видели, как Никола развлекал сановников и банкиров рассказами о собственных похождениях, делая достоянием гласности свои любовные связи, дурные дела, семейные и супружеские тайны. Еще большей дерзостью было написать цикл пьес под названием «Драма жизни» и представлять эти пьесы в различных домах; разыгрывали их нарочно нанятые актеры Итальянской комедии, иногда итальянский кукольник манипулировал китайскими тенями, а реплики произносил сам Ретиф. Кто еще так выставлял себя на всеобщее обозрение? Надо сказать, что это публичное моральное анатомирование было опасно не только для героя, но и для зрителей. Они и не подозревали, что в один прекрасный день займут место в этом волшебном фонаре, отражающем подлинную жизнь, что бродячий комедиант выставит их на посмешище, сделает послушными марионетками в своих руках, заострит их характерные черты, слабости и пороки, заговорит их голосом, с их интонациями, повторит слова,

которые они сказали однажды в некоем доме на некоей улице в некоем более или менее приличном обществе и которые подслушал безжалостный наблюдатель. Кто стал бы знаться с этим человеком, если бы предвидел, что, подвергнув себя публичному унижению, он станет мстить насмешникам, поклонникам и даже просто любопытным?

Каждому из них он будет повторять: *Quid rides?.. De te fabula narratur!* * Он проникнет в их роскошные особняки, в их альковы, выведает тайны наглухо запертых охотничьих домиков, соблазнив горничную, либо напоив в кабачке привратника. Таков был Ретиф — впрочем, до последних дней свято веривший, что лишь долг писателя-моралиста осуждает его на роль романического соглядатая-резонера.

Нравственности в поступках, стройности и вкуса в писаниях — вот чего всегда не хватало Ретифу де Ла Бретонну. Но гордыня мешала ему признаться в этом. Он неизменно винил в собственных пороках либо темперамент, либо нищету, либо рок, который, карая его за каждую провинность, отпускает ему тем самым все грехи. Он уверовал в то, что страдания в земной жизни искупают любой проступок, поэтому человеку, который страдает не ропща, дозволено все. Прежде чем перейти от юношеских увлечений Никола к печальному финалу его любовной карьеры, мы расскажем две очень несхожих истории из его жизни. Чтобы они не показались невероятными, нужно мысленно перенестись в XVIII столетие, в эпоху чудовищной испорченности нравов, вполне достоверную картину которой рисуют, к примеру, «Манон Леско» и «Опасные связи».

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

В те времена, когда Никола еще работал у Кнапена, он часто гулял по вечерам вдоль набережных острова Сен-Луи, откуда открывался прекрасный вид на утопающие в зелени берега Сены. Обыкновенно он уходил оттуда на закате. Однажды по дороге домой он увидел на набережной Сен-Мишель даму в черном атласном плаще с капюшоном; ее сопровождал господин средних лет в парике с косицей — то ли муж, то ли управляющий. Ножка в зеленом башмачке, равная которой была разве что у госпожи Парангон или

* Но чему ты смеешься?.. Не твоя ли история это? (*лат.*; Гораций. Сатиры. 1, 1, 69—70; пер. М. А. Дмитриева). — *Примеч. пер.*

герцогини де Шуазель, привела Никола в восхищение — мы уже знаем, что женские ножки были его слабостью. Лицо дамы скрывала вуаль, и Никола, как Бюффон, принужден был судить о целом по одной-единственной детали.

Никола пошел следом за таинственной парой; миновав мост, дама и ее спутник свернули на улицу Сен-Жак. На углу улицы Сен-Северен мужчина указал даме какую-то дверь, подождал, пока она войдет, постоял еще несколько минут и удалился. Больше всего Никола заинтриговало, что дама вошла в дом, пользующийся дурной славой: здесь помещалось заведение, где за карточным столом собирался всякий сброд. Недолго думая, Никола шагнул за незнакомкой. Войдя в залу, он тихо сел за стол и осмотрелся. В зале было много дам, и когда одна из них вставала из-за стола, Никола опускал глаза, ища зеленый башмачок, но не нашел ни башмачка, ни ножки, способной соперничать с ножкой госпожи Парангон и госпожи де Шуазель. Куда же исчезла загадочная гостья?.. В конце концов он решил спросить о ней у хозяйки; подойдя к этой разряженной особе, Никола признал в ней землячку, уроженку Нитри, некогда очень красивую, ставшую ныне одной из баронесс зеленого сукна. Встреча была трогательной. «Баронесса» вспомнила времена, когда была простой крестьянкой и сажала малыша Никола к себе на колени.

— Как ты сюда попал? — спросила о н а . — Я-то ладно, но мне больно, что сын порядочных людей оказался в таком месте.

Никола поведал ей о том, как влюбился с первого взгляда в зеленый башмачок на трехдюймовом каблуке и стройную ножку его обладательницы.

— Как могло случиться, что она вошла сюда на моих глазах, а теперь ее здесь нет?

— Она з д е с ь , — отвечала «баронесса», — в соседней комнате, вон за той стеклянной дверью. Приосанься, быть может, она как раз смотрит на тебя.

— На меня? — переспросил Никола.

— Может, на тебя, а может, на кого-нибудь другого... Это знатная дама, ей любопытно знать, что происходит в домах, где ей заказано бывать, а если...

— Если что?..

— То, что я тебе говорю: держись молодцом... старайся понравиться!

Никола ничего не понимал. Около часу ночи игра закончилась, и, как бывает обыкновенно в таких заведениях,

началось пиршество. Прекрасная незнакомка так и не появилась; хозяйка, ненадолго куда-то отлучавшаяся, вернулась, подошла к Никола и шепнула ему на ухо:

— Она выбрала тебя... Я рада, что счастье улыбнулось моему земляку. Но учти, есть одно условие... Лица ее ты не увидишь! Довольно того, что ты видел зеленый башмачок.

Наутро Никола проснулся в одной из комнат дома. Греза развеялась. Это была история Амура и Психеи наоборот: Психея улетела до зари, а Амур остался в одиночестве. Несколько сконфуженный, но совершенно очарованный незнакомкой, Никола пытался расспросить хозяйку, но та хранила молчание, без сомнения, щедро оплаченное. Она даже хотела убедить Никола, что он хлебнул лишнего... и просто-напросто видел приятный сон. Но Никола, не пивший ничего, кроме воды, не дал обмануть себя.

— Ну что ж, — сказала Массе (так звалась хозяйка а), — тогда держись. Ты не знаешь, кто эта дама, и никогда не узнаешь.

— Как! Я ее больше не увижу?

— А ты ее и не видел.

— Не смогу отыскать ее?

— Даже не пытайся. Впрочем, теперь она уже никогда не наденет зеленые башмачки, можешь быть уверен. И не станет ходить пешком, как вчера вечером. Забудь и думать о ней.

И, чтобы придать своим словам больше веса, она вручила Никола туго набитый пистолями кошелек, который он с негодованием отшвырнул. Лишь много позже, рассказав эту историю в нескольких литературных салонах, Никола догадался, что в нее замешана некая очень знатная дама. Однако в ту пору мало кто брал на себя смелость настаивать на таких предположениях. Сегодняшние читатели, воспитанные на современных романах, удивятся, что Никола не искал незнакомку; но для безвестного и почти нищего наборщика это было слишком рискованным предприятием*. Да и сердце его было весьма непостоянно.

Через пятнадцать лет, в 1771 году, печальный долг призывает Никола на родину. Он плывет из Парижа в Санс; грустный и задумчивый, прислушивается он к веселой болтовне нарядно одетых дам на корме.

* В одном из рассказов об этом приключении Ретиф де Ла Бретонн утверждает, что за ним следили, и, если бы он пошел следом за таинственной незнакомкой, его бы непременно убили. Впоследствии он якобы получил этому подтверждение.

— Сколько людей в эту минуту счастливы, — а я, несчастный, еду к умирающей матери! — восклицает он.

Две дамы отделяются от остальных и проходят мимо Никола, укрывшегося в темном углу. Не замечая его, они продолжают начатый разговор.

— Как будем называть барышню, чтобы никто не отгадал ее настоящее имя? — спрашивает одна из них.

— Будем называть ее Королевна, — отвечает другая. — Она и вправду почти королевского рода, но кому это может прийти в голову?

— Да, она была бы королевной, — подхватывает первая со смехом, — будь она на самом деле дочерью принца де Куртене, представителя самого старинного рода во Франции, но как бы ее мать ни старалась всех в этом убедить, никто ей не верит.

— Кто посмеет осуждать ее: ведь она хотела вдохнуть жизнь в этот древний род, благороднейший из всех, что существуют в христианском мире? Посуди сама, дорогая, вскоре Куртене останутся только в Англии. И что станет с гербом с пятью золотыми монетами, более славным, чем герб с лилиями?

— Родилась-то девочка, — говорит первая дама, — так что зря она старалась. Чтобы сохранить титул и унаследовать высокое положение, нужен был мальчик.

— Она сделала все, что могла. Не всякому везет с наследниками.

— А молодой человек был хорош собой?

— Она видела его, а он ее нет. Ему было лет двадцать...

Тут дамы заметили Никола, который стоял в тени, закрыв лицо руками, и, казалось, не мог их слышать.

— Бедняга! — сказала одна из них. — Он, кажется, очень страдает: от самого Парижа все плачет и плачет. Он уже не молод, но у него живые проницательные глаза... С каким умилением он смотрит на Септиманетту... И опять плачет. Вероятно, он потерял дочь таких же лет!

Тем временем девушка подошла к своим гувернанткам; Никола встал, сделав вид, что слышал только последние слова.

— Да, точно таких же лет! — произнес он с глубоким волнением, тронувшим и дам и девушку. — Позвольте мне поцеловать ее.

Девушка с детской грацией подставила лоб.

— Простите, — осведомился Никола, — одна из вас, вероятно, ее мать?

— Нет... В ней течет кровь...

Но тут более суровая из дам взглядом велела своей товарке замолчать.

— О! Благородная кровь! — воскликнул Никола, так и не дождавшись конца фразы. — Какой счастливец ее отец!

— Отец ее не любит, ведь она девочка... а он хотел...

Первая дама вновь строго посмотрела на вторую, призывая ее к молчанию. Тут кош как раз подплыл к берегу; впереди зеленел луг, вдали виднелся замок. За дамами и девушкой приплыла лодка, на берегу их ждала карета с гербом.

— Мне так хотелось бы еще раз поцеловать ее! — попросил Никола.

Просьба его показалась на сей раз несколько нескромной, но из сочувствия к его горю это было ему позволено. Целуя девушку, Никола вынул из букета, который она держала в руках, цветок и вложил его в свою книгу. Кош поплыл дальше.

— Чей это замок? — спросил Никола у одного из моряков.

— Замок Куртене.

Значит, его незнакомка и вправду была знаменитая Септимания, графиня д'Эгмонт, дочь Ришелье и супруга принца, который не сумел сам обзавестись наследником. Теперь все разъяснилось, и Никола пожалел, что имел неосторожность хвастать этим приключением, ибо объявлять себя его героем было не весьма порядочно и вдобавок весьма рискованно. Только в 1793 году Ретиф решился предать огласке развязку истории; начало ее он обнаружил в 1746 году, так сильно изменив обстоятельства, что узнать героев было невозможно. В те времена подобные случаи были нередки; случалось даже, что мужья сами толкали своих жен на измену либо ради продолжения знатного рода и сохранения привилегий, либо для того, чтобы за отсутствием прямых наследников состояние не перешло к родственникам по боковой линии.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ: ЗЕФИРА

А теперь мы расскажем еще одну удивительную историю, ее героиня — девушка низкого происхождения, но возвышенных чувств. После смерти госпожи Парангон не было

в жизни писателя более горестной утраты, и он трижды поведал о ней — в романе, в драме и в мемуарах. История эта случилась, когда он служил наборщиком и еще не написал ни одной книги. Вероятно, она послужила толчком к созданию одного из его первых сочинений.

Однажды в воскресенье Никола проходил мимо Оперы, размещавшейся тогда в Пале-Руаяле. В одном из окон на улице Сент-Оноре он заметил девушку, которая пела, аккомпанируя себе на арфе. На вид ей было лет четырнадцать, не более; божественная улыбка озаряла ее живое и нежное лицо, голос проникал прямо в сердце; когда она встала, в окне мелькнула тонкая, как говорили в те времена, осиная талия; все движения девушки полны были восхитительной грации. На какое-то мгновение Никола забыл о госпоже Парангон — но затем воспоминания нахлынули с новой силой, и это дало ему силы убежать от сирены.

Вечером он возвращался домой на улицу Сент-Анн той же дорогой. Девушка уже не сидела у окна, в розовых туфельках и в платье с оборками она шла вдоль торговых рядов по грязной мостовой. Никола был еще молод, в сердце его жила память о дорогом существе, поэтому, глядя на нее, он не испытывал ничего, кроме жалости. Он заговорил с бедняжкой, и она рассказала ему, что зовут ее Зефира, что живет она вместе с матерью, сестрой и подругами. Ответы ее отличались таким простодушием, вернее, таким неумением отличить добро от зла, добродетель от порока, что Никола показалось, будто она играет заученную роль. Он простился с девушкой и в глубокой задумчивости продолжал свой путь. Назавтра, возвращаясь из типографии вместе со своим соседом по комнате печатником Луазо, Никола рассказал товарищу о Зефире, сокрушаясь о судьбе бедной девочки, даже не подозревающей о том, что она погибшее создание; он хотел остановиться, чтобы расспросить ее подробнее, но Луазо, человек суровый, вдобавок вскоре собиравшийся жениться, увлек его прочь, толкуя об опасности, которая грозит всякому, кто склоняется над бездной.

— Даже чтобы кого-нибудь спасти? — спросил Никола.

Луазо кивнул головой, а Никола принялся разглагольствовать об испорченности жителей больших городов и обязанности полиции блюсти нравы, упомянув мимоходом античных гетер и те достойные порядки, которые Жанна Неаполитанская ввела в славном городе Авиньоне. Доводы

его были неиссякаемы, познания — неисчерпаемы. Добрый Луазо произнес в ответ всего несколько слов — он напомнил товарищу о госпоже Парангон. Никола прикусил язык; однако он ничего не мог с собой поделать и вечером вновь поспешил на улицу Сент-Оноре; с сочувствием глядя на бедную девочку, он еще раз поговорил с ней. Луазо опять пожурил его. Сам он теперь возвращался из типографии другой дорогой.

С недавних пор здоровье Никола пошатнулось: его стали мучить приступы удушья, длившиеся часами. Он не мог работать и слег. Луазо трудился за двоих, но средства их быстро истощились. Жили они в шестом этаже у зеленщика, прирабатывавшего расклейкой афиш. Все убранство каморки Никола состояло из убогого ложа, двух стульев, колченогого стола да старого сундука. Окном служило вентиляционное отверстие, заклеенное двумя кусками промасленной бумаги. Луазо жил за перегородкой, которую хозяин, чтобы закрыть щели, оклеил театральными афишами. Афиши эти служили больному единственным развлечением, он переводил взгляд с «Меропы» на «Альциону», с «Цыганки» на «Гувернантку», вспоминая то неподражаемую госпожу Фавар, то не столь талантливую, сколь хорошенькую мадемуазель Гюс; рядом висели афиши «Обманчивой наружности» с участием красавицы Геан и «Арлекинадикаря», причудливой драмы, где блистала некая Коралина, чем-то похожая на ... Зефиру. Вдруг дверь приотворилась, и в комнату заглянул хозяин.

— Вас спрашивает ваша кузина.

— Но у меня нет в Париже кузины.

— Вот видите, мадемуазель, — сказал зеленщик, оборачиваясь, — вы все выдумали... Таких девиц, как вы, не принимают дома.

— Да нет же, Никола мой кузен, — возражал приятный голосок, — я только что приехала из деревни.

— О! то-то вы такая нарядная, а он такой замухрышка...

Обладательница приятного голоса проскользнула под руку у зеленщика в комнату:

— Ах, какая нищета!.. Но, сударь, ведь он же при смерти! — воскликнула она.

И правда, у Никола как раз начался приступ удушья.

— Что нужно сделать прежде всего? — спросила девушка решительным тоном. — Вот деньги. — И она протянула зеленщику несколько золотых монет.

— Прежде всего, — отвечал смягчившийся зеленщик, — нужно дать ему бульона.

— Так принесите же.

Придя в себя, Никола почувствовал, как одна маленькая ручка приподнимает его голову, а другая подносит ему ко рту ложку. Сомнений не было: этот ангел сострадания звался Зефирой. В то утро она встретила Луазо и спросила его:

— Отчего не видно вашего друга?

— Он сильно расхворался, — ответил Луазо.

Зефира спросила адрес Никола, Луазо назвал его и поспешил в типографию.

Пока Никола, которому полегчало, собирался с силами, чтобы встать на своем убогом ложе, Зефира в платье из розовой тафты подмела каморку, навела порядок на столе и под столом, вновь подошла к постели больного, дала ему пилюли и английские капли, отерла лоб своим платочком и обвязала голову своей косынкой, затем вдруг выпалила:

— В таком наряде не ходят за больным, я скоро вернусь.

В ее отсутствие зеленщик принес еще одну чашку бульона.

— Ваша кухня, верно, горничная у богатых господ, — сказал он, — она заплатила мне за месяц вперед и подарила золотой крестик моей дочурке.

Тут Никола окончательно уверился в том, что бедная девушка — добрая фея, пусть она и не спустилась с неба, как другие феи, а поднялась к нему из бездны.

Зефира вскоре вернулась в простеньком платьице и просидела у постели Никола до вечера; зеленщик принес ей обед, и, очарованный добротой и любезностью мнимой кухни, даже прибавил от себя скромный десерт, которым Зефира поделилась с больным. Тем временем стемнело; девушка с явной неохотой встала.

— Куда вы идете? — спросил Никола.

— Домой, меня уже ждут.

И она убежала, глотая слезы. Не успел Никола повторить про себя прощальные слова Зефиры, как на лестнице послышались шаги его друга Луазо.

Луазо вернулся в дурном расположении духа — товарищи по типографии смогли ссудить ему совсем ничтожную сумму, он принес только немного сахара для больного да хлеба для себя. Войдя, он почувствовал запах жаркого. То был обед Зефиры, оставшийся почти нетронутым.

— В добрый час, — сказал Луазо, — наш славный хозяин жалеет нас!

И он пододвинул стол, собираясь приняться за еду. На пол упал кошелек с деньгами.

— Что это? — спросил Луазо.

Никола был удивлен не меньше товарища.

— Тебе что, прислали деньги из деревни? — недоумевал Луазо.

— Ну да, кому я там нужен!.. Кроме тебя и... Да это же она!

— Кто она?

— Зефира, которую ты встретил сегодня утром и которая ухаживала за мной, пока ты был в типографии.

— Как? Эта девица?

Честный Луазо совсем потерялся; он то восхищался добротой и преданностью девушки, то хотел отнести назад оставленные ею нечистые деньги. Наконец он спрятал деньги в сундук, чтобы завтра, когда она придет, вернуть ей.

Наутро Зефира появилась снова; она была так хороша, так простодушна, так трогательна, что Луазо расчувствовался.

— Какое мне дело до добродетели, — воскликнуло н, — я преклоняюсь перед этой девушкой!.. но деньги... нет, мы не можем их принять...

Зефира поняла, что он имел в виду.

— Это деньги моего отца, — сказала она, — они хранились у моей старшей сестры, и она отдала их мне, узнав, что есть страдалец, который нуждается в помощи.

Луазо открыл кошелек и со слезами умиления пересчитал монеты. У двух друзей было столько неотложных дел, что пришлось им на время забыть о щепетильности. В тот вечер Зефира засиделась у Никола допоздна. Когда Луазо вернулся из типографии, она попросила его проводить ее.

— Мне, — переспросило н, — провожать вас?

— Иначе меня арестуют.

— Ну что ж, пошли, — вздохнул Луазо, — хорошенькая же будет у меня репутация в округе!

Сама же Зефира смотрела на свою жизнь очень просто. Мать объяснила ей, что женщины делятся на два разряда, каждый из которых по-своему порядочен и по-своему полезен. Коль скоро Зефира не принадлежит по рождению к первому, значит, она принадлежит ко второму, вот и все.

Назавтра было воскресенье, и она провела его у двух друзей:

— Я все рассказала матушке, и она отпустила меня на весь день. Она одобряет мои чувства, она говорит, что пусть уж лучше я хожу к простому рабочему, коли он хороший человек, чем к приставу, который будет меня колотить, или к игроку, который меня оберет. Матушка такая добрая...

Луазо хмуро молчал; Никола, который уже начал поправляться, вдруг вскочил с прежней живостью и надел свой единственный сюртук.

— Пойдем к ее матери, — сказал он Луазо.

— Ложись в постель, — ответил тот.

— Ни за что! В постели я умру от горя. Девушка не должна возвращаться в этот ужасный дом... В болезни моей наступил перелом: приступы удушья прошли, зато каждую ночь после ее ухода меня трясет от ярости, ты понимаешь, почему?

Луазо пытался его отговорить. Тщетно! Никола был так взволнован, что ничего не желал слушать. Они отправились на улицу Сент-Оноре к матери Зефиры, которая звалась Перси. Когда-то она была старьевщицей, потом дала денег в рост и содержала дом свиданий, но однажды к ней нагрянули стражи порядка; ей пришлось заплатить большой штраф, впрочем не столько за нарушение закона, сколько за то, что не делилась с ними своими барышами. С тех пор она стала исправно платить налог и зажила припеваючи. Перси сказала, что дочь ее девушка порядочная, но как только она войдет в возраст, то, с ведома лейтенанта полиции, тоже займется *делом*. Планы эти, которыми Перси делилась охотно и подробно, ужаснули друзей. Луазо не мог сдержать негодования.

— А что прикажете делать? — возразила Перси. — Все знают, какое мое ремесло. Кто возьмет ее замуж? Да и захочет ли она с ее воспитанием, красотой и способностями сделаться белошвейкой или пойти в прислуги и жить на несколько су в день? Да если бы и захотела, разве что-нибудь переменилось бы? Кому она нужна? Известно, чем кончают красивые девушки из народа...

— Так в о т, — сказал Н и к о л а, — я женюсь на ней, если ноги ее не будет в вашем доме и она станет трудиться.

Перси бросилась ему на шею:

— Ты не шутишь, мой мальчик? Надо же, ты довел меня до слез, а я уж отвыкла плакать... Послушай-ка: не думай, что у моей девочки совсем нет приданого... и денег,

добытых честным путем. Я торговала поношенным платьем, я давала деньги в рост: это честный доход.

— Мне ничего не надо, — сказал Никола, — я уже здоров и могу работать, жалование у меня хорошее... Так вы согласны, чтобы ваша дочь больше сюда не возвращалась?.. По правде говоря, вы добрая женщина.

— Боже мой! — воскликнул Луазо, — ужели ростки добродетели есть даже в таких душах?.. Я и не подозревал об этом... впрочем, я предпочел бы не знать этого и дальше.

Луазо был прав: легче считать, что, однажды ступив на стезю порока, человек гибнет, гибнет безвозвратно, и спасти его может только раскаяние, чем разбираться в причудливом смещении добра и зла. Луазо рассуждал как человек примитивный, но благоразумный. К несчастью, Никола не был ни тем, ни другим.

Зефира была на седьмом небе: посвятить жизнь своему избраннику!.. Порукой ее добродетели служила любовь. Однако прежде всего славному Луазо пришлось преподавать ей уроки хороших манер и стыдливости. До сих пор она читала только романы Кребийона-сына да Вуазенона, теперь ей дали прочесть высоко нравственные книги. Ее обучили говорить не так, как она привыкла, и только когда от чересчур вольного обращения и легкомысленной болтовни не осталось и следа, стали подыскивать ей место. Невеста Луазо мадемуазель Зоя помогала двум друзьям в воспитании Зефиры. Она же нашла ей место в модной лавке на углу улицы Гранз-Огюстен. Скромное платье, ненапудренные волосы и тюлевый чепчик изменили облик девушки до неузнаваемости. Никола уведомил обо всех этих переменах мать Зефиры, она одобрила их и обещала не искать встречи с дочерью, пока та не кончит ученье.

Никола мог видеть Зефиру только по воскресеньям; в этот день мадемуазель Зоя заходила за ней, и они вчетвером отправлялись за город. Всю неделю Никола с нетерпением ждал свидания и каждый вечер прохаживался перед лавкой, заглядывая в окна; его считали верным поклонником одной из девушек, но не знали, какой именно. Парижских лавочниц такой любовью на расстоянии не удивишь — это дело обычное. В одну из встреч Никола условился с Зефирой, что будет каждый день писать ей. Она садилась с работой у окна, а он аккуратно складывал свое послание гармошкой и просовывал его в щель. Зефира ловко вытаскивала листок — и целый вечер была счастлива. Иногда, когда девушки были уже в постели, Никола с Луазо, который недурно

играл на лютне, приходили на пустынную улицу и исполняли арии из новейших опер, такие, как «Мне Амур нарисовал» или «Здесь, в прелестном уголке», — выбирая преимущественно куплеты, где встречается слово «зефир»... Влюбленные непритязательны.

Воскресные дни друзья проводили обыкновенно на монмартрских холмах. Однажды в трактире у них случилась ссора с мушкетерами. Один из них вспомнил, что как-то видел Зефиру на улице Сент-Оноре. Встретив девушку в обществе простых рабочих, мушкетеры захотели ее отбить. К счастью, силы у противников были равные: мушкетеров было трое, а друзья в тот день пришли вместе со своим квартирным хозяином зеленщиком; но мушкетеры были при шпагах, а Никола и Луазо безоружны. Зато зеленщик, почуввав неладное, притащил из кухни длинный вертел.

— Берегись, негодяй! — заорал один из забияк при виде этого орудия, — мы дворяне и засадим тебя в Шатле.

— Вы бесчестите ваше имя и военный мундир! — крикнул Никола.

— Нашел о чем говорить!.. Сами водятся с кем попало! Спросите-ка у этой вашей Зефиры, кто ей милее: дворянин или рабочий?.. У нас есть золото, красotka! — добавил мушкетер, позвякивая кошельком.

Защитники Зефиры старались избежать драки, но эти слова вывели Луазо из себя:

— Какая гнусность! — воскликнул он, — вы совершили тяжкое преступление... Вы насмеялись над возвратом к добродетели.

— Вот еще! — фыркнул мушкетер, выпивший больше других. — Нашли добродетель! А эта красotka тоже из добродетельных?

И он попытался обнять Зою. Луазо резко оттолкнул его:

— Я требую уважения к невесте гражданина! (дело происходило в 1758 году).

— Гражданин! — расхохотался мушкетер. — Так говорят только в Женеве... Ты часом не гугенот?

В ответ Луазо схватил табуретку и ударил его; началась драка. Зефира и Зоя пытались разнять дерущихся, но им это не удавалось. Зеленщик очень ловко орудовал вертелом, и мушкетерам пришлось несладко, но тут подоспела стража. Никола вошел в такой раж, что продолжал размахивать стулом. Луазо остановил его, и Никола оставалось лишь унести из зала лежавшую без чувств Зефиру. Когда прибыл

полицейский комиссар, мушкетеры, чтобы выгородить себя, стали утверждать, что серьезный молодой человек в черном (Луазо) — протестантский пастор; они говорили, что подросли как раз вовремя, чтобы разогнать еретиков, слушавших его проповедь. Комиссар поверил и приказал надеть на Никола и его друзей наручники, грозя им виселицей, но тут один из мушкетеров, не такой пьяный, как остальные, соизволил наконец признать, что он и его спутники слегка погорячились.

— Вот подлинное великодушие, — восхитился комиссар . — Сразу видно людей благородного происхождения.

— По правде говоря, как считаешь, что сочиняют подлые писаки, хочется плюнуть на свои дворянские привилегии и , — сказал мушкетер рабочим.

Но, уходя, добавил с прежним высокомерием:

— Так и быть, мы отрежем вам уши как-нибудь в другой раз!

Записав имена и адреса участников драки, комиссар ушел. Хотя мушкетеры отказались от своих обвинений, для таких бедняков, как Никола и Луазо, приключение могло кончиться плачевно; вдобавок даже самое поверхностное дознание непременно всколыхнуло бы щекотливый вопрос о происхождении Зефиры, невольно ставшем причиной ссоры. Впрочем, бедная девушка больше думала об опасности, грозящей ее друзьям; вечером у нее началась лихорадка. Модистки уже вернулись; и они, и хозяйка слышали, как Зефира бормочет в бреду: «Я пойду к матушке, у нее есть могущественные заступники... Правда, я поклялась, что ноги моей не будет в ее доме... но надо пойти... Матушка близко знакома с лейтенантом полиции: он помог ей выправить бумаги... Матушка богата... и знакома со знатными дамами... Матушка всегда рада помочь!.. Все эти люди ее погубили... но у нее доброе сердце!.. Иначе Никола и Луазо повесят как гугенотов, и все из-за меня... Почему? Потому что я дочь... своей матери!..»

Слыша эти сбивчивые признания и видя изумление модисток, Луазо и Зоя очень встревожились. Пришлось им рассказать всю правду; впрочем, опасения их были напрасны: девушек растрогала горестная судьба товарки. Никола при этом не было: он не появлялся в лавке, чтобы не скомпрометировать Зефиру. И он не подозревал, как тяжело захворала его возлюбленная: ему казалось, что она не вполне оправилась от обморока, только и всего. Вечером Луазо ничего ему не сказал. Лишь наутро, когда Никола несколько

успокоился, Луазо со всей осторожностью сообщил ему о болезни Зефиры. Никола, забыв обо всем на свете, ринулся в лавку.

— Входите же, — сказала хозяйка, — я знаю, кто вы... Поднимитесь к ней, она все время зовет вас.

Зефира была слаба и грустна, но спокойна. Она уверяла Никола, что просто устала и нуждается в отдыхе; она уговорила его пойти в типографию и на прощанье дважды поцеловала со словами: «До вечера». В типографии все обратили внимание на необычайную бледность Никола. В восемь часов Луазо сказал:

— Давай перекусим, потом я зайду за Зоей и мы все вместе навестим Зефиру. Пока мы будем у нее, ты постоишь за дверью, чтобы ее не волновать: больно уж ты бледный.

Никола послушался и не входил в комнату, но ему был слышен голос возлюбленной. Выйдя от Зефиры, Луазо сказал:

— Иди, отдыхай, ей полегчало: теперь я больше тревожусь за тебя...

Утром Никола обнаружил, что каморка его друга пуста; он узнал от зеленщика, что Луазо не ночевал дома. Никола помчался в типографию. Луазо стоял у наборной кассы.

— Как Зефира?

— Мы с Зоей всю ночь не отходили от ее постели.

— Боже мой! А я спал!

— У тебя такой вид, что ей стало бы только хуже!

— Как она себя чувствует?

— Гораздо лучше.

При последних словах Луазо густо покраснел и попытался переменить тему: заговорил было о новом срочном заказе, но Никола не стал слушать — он схватил сюртук и кинулся в лавку. Луазо пришел следом за ним. Зефира задышалась; взяв своего возлюбленного за руку и сияясь улыбнуться, она прошептала:

— Это пройдет.

Больше Никола не оставлял ее ни на минуту.

Вечером, когда Зоя ненадолго прилегла, Зефира жестом показала Никола, что хочет положить голову ему на грудь... Он откинулся на спинку стула, и девушка, два дня назад еще полная жизни, склонила белокурую головку на его плечо. Просидев в этой неудобной позе часа два, Никола громко вздохнул. Зоя проснулась.

— Вам надо отдохнуть... Я сменю вас, — проговорила она и переложила голову Зефиры на подушку.

Она не сказала Никола, что его возлюбленная мертва. Друзья сообщили ему об этом лишь на следующий день.

— Я тоже у м р у , — произнес он спокойно.

Сам он признавался впоследствии, что был упоен своим горем.

Много дней провалялся он в бреду и беспамятстве, но остался жив. Очнувшись, он проговорил:

— Теперь я окончательно утратил госпожу Парангон.

Ибо Зефира живо напоминала ему госпожу Парангон, как та в свой черед казалась ему похожей на Жаннетту Руссо, предмет его первой любви.

Теория сходства — одна из излюбленных идей Ретифа, лежащая в основе многих его романов. Есть люди, для которых важна не столько душа, сколько наружность; в этом есть что-то от язычества, и сколько бы Ретиф ни уверял нас, не верится, что он всю жизнь любил одну женщину — в трех лицах. Сходство почти всегда объясняется тем, что люди происходят из одних мест либо находятся в родстве; Жаннетта Руссо и госпожа Парангон и вправду были землячки. Поэтому Ретиф предполагал, что мать Зефиры также родом из этих мест. Вообще Ретиф даже самые правдивые рассказы о своей жизни неизменно перемежал философскими рассуждениями. Он, словно индус, был уверен, что люди разделены на касты, и потому отвергал учения об абсолютном равенстве, его не могло поколебать даже то, что в иных семьях муж принадлежит к одному сословию, а жена — к другому, ибо он был убежден, что одни дети больше походят на отца, другие — на мать; впрочем, он признавал, что в Европе есть выродки, в чьих жилах течет смешанная кровь. Многие утонченные умы XVIII столетия размышляли на досуге над подобными проблемами, но никто не заходил из своих теориях так далеко, как Ретиф, в чьих парадоксах порой встречаются проблески истины.

Как ни чиста была душа Зефиры, чью смерть Никола воспринял как искупление, мы вынуждены с грустью признать, что встреча с этой девушкой оказала на произведения и нравы писателя самое пагубное влияние. Луазо был прав: нельзя безнаказанно прикоснуться к пороку. Плодом размышлений Никола о судьбе определенного разряда женщин, которых он хотел поднять как в их собственных глазах, так и в мнении света, стал «Порнограф», произведение, призванное блюсти нравственность, но полное суждений, нравственность которых весьма сомнительна.

САРА

Мы подходим к эпохе, изобилующей суровыми уроками и оставившей по себе тяжкие воспоминания. Никола уже не первый танцор Осера, любимец госпожи Парангон, возлюбленный одиннадцати тысяч дев и — в той или иной мере — мучениц, звавшихся Жаннетта Руссо, Маргарита Парис, Манон Прюдо, Флипота, Тонтон Лакло, Коломба, Эдме Сервинье, Дельфина Барон и Роза Ламблен... он уже не пылкий поклонник мадемуазель Прюдом и красавицы Геан и не безымянный любовник, которого белокурая Септимания, графиня д'Эгмонт, выбрала, дабы вознаградить себя за холодность высокородного супруга. На календаре 1780 год, Никола сорок пять лет. Он еще не старик, но молодость прошла; голос у него хриловатый, лицо в морщинах, а из-под небрежно надетого парика выбиваются серебристые прядки. Богач может вволю тешить себя иллюзиями, покупая их за бешеные деньги, как первые весенние овощи или редкие цветы посреди зимы, бедняку же приходится рано или поздно смириться с грустной реальностью, которую прежде скрывало от него воображение. Горе безумцу, который поверит лживым клятвам молоденьких девушек! До тридцати лет мы легко оправляемся от любовных неудач; после сорока каждое новое поражение берedit старые раны. Зрелый мужчина страдает вдвойне: сердце его разбито, достоинство оскорблено.

Итак, в ту пору Никола квартировал на улице Бьевр у госпожи Дебе-Лееман. Эта сорокалетняя, не утратившая привлекательности еврейка родом из Антверпена называла себя вдовой, при ней жил некий господин Флоримон, старый волокита, растративший на женщин все свое состояние и низведенный до роли козла отпущения. Первое время Никола почти не замечал дочь госпожи Лееман, девочку лет четырнадцати, очень похожую на мать, но юную и свеженькую. Он вспоминал о девочке, только когда слышал, как мать бранит ее или бьет. Но прошло четыре года — и она превратилась в статную блондинку с нежной белой кожей; в манерах ее, движениях, походке появилась грациозная небрежность, а в глазах светилась такая трогательная грусть, что Никола не мог смотреть на нее без слез. Это сердце его, которое он считал мертвым, подавало знак, что оно просто спало, а теперь просыпается.

Никола уже очень давно жил один и ни с кем не знался — днем он работал, вечерами бродил по пустынным ули-

цам. Друзей у него не осталось — одни умерли, другие разъехались; мало-помалу он потерял интерес к жизни и впал в глубокую апатию — слишком бурная юность часто кончается полным безразличием. Впрочем, утратив бодрость духа, он взамен обрел спокойствие... но вот однажды воскресным утром маленькая белая ручка тихо постучала к нему в комнату. Он отворил дверь. На пороге стояла Сара:

— Господин Никола, не могли бы вы дать мне какую-нибудь книгу, которая вам сейчас не нужна, у вас их много, а я люблю читать.

— Выбирайте, мадемуазель, — сказал Никола, — все книги до единой в вашем распоряжении.

Скромность Сары, ее румянец, ее замешательство были столь неподдельны, она так робела и так боялась показаться навязчивой, что Никола пришел в полное восхищение. Девушка пробыла у писателя совсем недолго и на прощание подставила ему лоб для отеческого поцелуя.

Всю неделю Сара работала у барышень Амеи, куда мать отдала ее учиться плести кружева, а воскресные дни проводила дома. Поэтому она снова и снова приходила за книгами, которые Никола в конце концов стал ей дарить. Не было ничего чище и трогательнее этих первых встреч. Правда, Никола слышал нелестные отзывы о девушке, но считал их клеветой. Он полагал, что в дурной славе виновата мать, известная своей алчностью, у самой же Сары был такой простодушный вид, что Никола не простил бы себе, если бы словом, жестом или даже взглядом смутил ее чистоту и невинность; он относился к ней с почтением и предупредительностью, не признаваясь себе в природе своих чувств. Но Сара все поняла, вернее, за нее это поняла мать; отныне девушка стала навещаться чаще и вести более задушевные речи; для начала она принесла с собой несколько тщательно выбранных песенок из тех, что зовут «брюнетками», и спела одну из них, лучше всего выражавшую ее отношение к Никола.

В сорок лет страсти разгораются не так быстро, как в двадцать, но в сердце таится гораздо больше нежности: мужчина не так пылок, не так неистов, не так порывист, зато исполнен преданности и готов на любую жертву ради любимой. Он страшится будущего и цепляется за прошлое в надежде спастись от смерти, он хочет начать жизнь сначала, и чем моложе любимая женщина, тем сильнее и сладоутнее его чувства. Нетрудно догадаться, с каким восторгом

слушал Никола слова, лившиеся из прелестнейших в мире уст:

Весь день душа больная поет,
Томясь в мучительном огне,
И ночь придет — не успокоит,
То радостно, то страшно мне.

Забудусь — о тебе мечтаю
и брежу именем твоим;
Очнусь ли — вновь от страсти таю.
Ты сердцем овладел моим *.

— Поете вы с чувством, — сказал Никола. — Но так ли нежно ваше сердце, как ваш голос?

— Ах, сударь, — отвечала Сара, — если бы вы меня лучше знали, вы не задали бы мне этого вопроса, но, когда вы узнаете меня ближе, вы сами увидите, постоянна ли я в своих чувствах.

— Вот самое приятное, что я мог услышать из ваших дивных уст.

— Боже мой, но это так естественно. Ведь если ты однажды кого-нибудь полюбила, разве это не на всю жизнь? Ужели можно забыть любимого человека?

— Поистине сладостная мораль!

— Ей учит нас природа.

— Вы рассуждаете как истинный философ, мадемуазель.

— В самом деле, я немного разбираюсь в людях... Я как-нибудь расскажу вам об этом.

Никола насторожился, но быстро успокоился: девушка с наивным воодушевлением сообщила, что они с матерью бывали в гостях у замечательных людей, например у одного придворного, в чьем загородном доме, в нескольких лье от Парижа, собиралось высшее общество. Быть может, Никола придал бы большее значение этим ее словам, если бы Сара вдруг не переменяла тему разговора.

— А знаете, — щебетала она, — ведь я воспитывалась в монастыре... И получила там такое образование, что задумала написать пьесу. Ах! театр — вот что было моей истинной школой. Если бы не матушка, я бывала бы там еще чаще, но она не любит хорошие спектакли, она скучает даже на комедиях, ей нравится только Николе с его канатными плясу-

* Перевод М. Гринберга.

нами. Одино — и тот чересчур серьезен для нее или, если угодно, чересчур...

Сара не осмелилась закончить фразу. Позже Никола понял, что она хотела сказать «чересчур благопристойен».

— Ну что же , — сказал он, помолчав, — коль скоро вас влечет к себе театр, надо вам попробовать себя, свое изящество и ум на этом поприще.

— Н е т , — отвечала о н а , — я берегу все это для более важного дела.

— Какого же?

— Я хочу заслужить ваше уважение.

Удар попал в цель, Никола расчувствовался и сжал девушку в объятиях.

Сара приходила все чаще и чаще. Госпожа Лееман, как ни странно, смотрела на это сквозь пальцы. Между соседями завязались дружеские отношения. На крещение Никола принес семье госпожи Лееман гостинец — пирог с запеченным бобом. За столом Флоримон, нахлебник госпожи Лееман, развлекал всех своей болтовней, изъясняясь с изысканной вежливостью, которой, по его словам, научился в свете. Пирог доели, но боба в нем не оказалось; Сара заподозрила, что Флоримон утаил его, чтобы не платить выкуп.

— С чего бы это? — удивилась госпожа Лееман. — Деньги-то все равно мои.

Флоримон возражал с видом оскорбленной невинности.

— Скорее всего , — сказал Н и к о л а , — это я ненароком проглотил боб, так что считаю своим долгом угостить вас вином.

Удовлетворение Флоримона и восторг госпожи Лееман и Сары с лихвой вознаградили его за жертву.

Назавтра к Никола пришла госпожа Лееман:

— Мне надо поговорить с вами о дочери.

И она рассказала ему, что прочила Саре в мужья некоего господина Деларбра; этот молодой человек часто бывал у них в доме, а потом вдруг исчез. Она осведомилась, говорила ли Сара Никола о своих отношениях с Деларбром, впрочем, вполне невинных.

— Д а , — ответил о н , — но как о чем-то давно забытом.

Деларбр не пара ее дочери, продолжала госпожа Лееман. Недавно, добавила она с гордостью, Сара получила новое предложение. Господин де Весгон, давний друг дома, хочет подарить ей двадцать тысяч ливров и тем обеспечить ее будущее; этот почтенный человек поступает так из чисто отеческих чувств, в память о дружбе, которая некогда

связывала его с отцом Сары... Но Сара отказывается от денег господина де Весгона, и госпожа Лееман, не в силах побороть ее упрямство, просит Никола помочь ей переубедить дочь, она уверена, что девушка послушается советов такого умного человека.

Никола был неприятно удивлен. Госпожа Лееман пожаловалась на здоровье:

— Что будет с бедной Сарой, если меня не станет? У меня есть опыт, господин Никола: годы идут, красота вянет... эта сумма обеспечила бы Саре небольшую пожизненную ренту, которая, вкупе с тем, что останется после меня, позволила бы ей жить безбедно...

Никола покачал головой, но госпожа Лееман продолжала настаивать, заклиная его дружескими чувствами, которые он питает к ее дочери, и даже предложила познакомиться как-нибудь за ужином с господином де Весгоном, дабы он мог убедиться в чистоте побуждений старца.

Никола был уязвлен в самое сердце и всю ночь не сомкнул глаз. Наутро Сара как обычно поднялась к нему. Он начал с вопроса о двадцати тысячах ливров и спросил девушку напрямик, может ли она принять эти деньги без ущерба для своей репутации. Сара опустила глаза, густо покраснела, села к Никола на колени и заплакала. Никола умолял ее ответить.

— Ах! если бы вы знали! — простонала она между двумя всхлипами.

— Доверься мне, милое дитя.

— Я так несчастлива!

— Несчастлива? С каких пор и отчего?

— С рождения... Моя мать...

Казалось, Саре трудно говорить.

— М о я м а т ь , — произнесла она наконец, — повинна в смерти моей сестры. Я тогда была совсем ребенком, только и знала, что хохотать да резвиться... С тех пор я сильно переменялась! Мать внушает мне ужас, едва слышав ее шаги, я начинаю дрожать от страха!

И она рассказала ему о временах, когда они с матерью жили на маленькой улочке в квартале Маре, у столяра. Вдова часто приводила в дом мужчин, всякий раз новых, а девочку отсылала на чердак, где та страдала от холода и даже от голода... Когда Сара слишком громко кричала, мать приходила в ярость, шипала ее, выкручивала ей руки или разбивала в кровь лицо. А однажды на чердак ворвался мужчина, и...

— Бедное дитя! — воскликнул Никола.

— О мой друг! О мой отец! — продолжала Сара, в слезах бросаясь в его объятия, — я давно поклялась, что никогда не выйду замуж... во всяком случае за человека молодого...

Никола посмотрел на нее с нежностью:

— За человека молодого! А как же юный Деларбр, который несколько месяцев назад бывал здесь... так часто?

— Деларбр, — вздохнула Сара. — Ах! не стану лгать, я его любила... во всяком случае, так, как может любить несмышленное дитя... но он больше не придет... Я ему все рассказала!

Никола уронил голову на руки, помолчал, потом с горечью воскликнул:

— И он тебя бросил! Не понял, что твоя чистая душа... тысячу раз искупает подлость, жертвой которой ты стала!

Здесь Никола невольно вспомнил госпожу Парангон. Образ этой женщины преследовал его, как рок, и вот он опять возвращался в новом обличье бередить его незаживающую рану. Никола вскочил и в отчаянии заметался по комнате. Сара, не вполне понимавшая его горе, подбежала к нему, усадила и, улыбаясь сквозь слезы, принялась целовать:

— Ах! стоит ли меня жалеть? Стоит ли так отчаиваться? Защитник мой, мой наставник, подумайте сами, разве все это может помешать нашей нежной дружбе? Я не виновата, увя! и вам нечего мне прощать... И потом, если бы Деларбр меня не бросил, разве я сейчас была бы здесь, с вами... у вас в объятиях... разве могла бы болтать с вами, плакать... смеяться?

Она снова села к Никола на колени и, обвинив его шею рукой — рукой зрелой женщины, — стала перебирать розовыми пальчиками его густые кудри.

В сердце писателя понемногу возвратился покой, тревога улеглась. Как зачарованный, смотрел он на прекрасные черты девушки.

— Что с вами? — спросила Сара, видя, что он задумался.

Признание, так долго сдерживаемое, сорвалось с его уст:

— Я думаю о тебе, прелестное, дитя. Пора наконец сказать: я давно тебя люблю... и все время избегал тебя, боясь твоей молодости и красоты.

— Все время, пока я сама не пришла к тебе однажды утром!

— Что я мог тебе предложить? Сердце, иссохшее от горя... и раскаяния!

— О чем же тебе теперь горевать? Разве теперь твое сердце не покойно?

— Оно никогда еще не билось так сильно... вот послушай.

— Ах! это, наверно, оттого, что...

— Отчего?

— От любви... — прошептала Сара.

Никола опаматовался; писательский опыт на миг вернул ему силы.

— Нет, — сказал он серьезно, — я питаю к тебе, дитя мое, только искренние и ровные дружеские чувства.

— А если бы я полюбила вас?

— Твоя любовь прошла бы слишком скоро.

Сара потупилась.

— Год тому назад, — продолжал Никола, — я в очередной раз поддался очарованию...

— Чьему? — спросила Сара, быстро вскинув глаза.

— Я был очарован образом, который сам придумал, прихотью воображения, мимолетной, как сон, — я даже надеяться не смел, что сон этот станет явью, — несбыточной мечтой, одной из тех, за которыми я гонялся всю жизнь и которые по воле неисповедимой судьбы иногда сбывались.

— Но что это был за образ? Что за сон?

— Это была ты.

— Боже мой, я!

— Ты бегала по дому, я встречал тебя на лестнице, на улице... ты становилась все взрослее, все прекраснее, по вечерам я иногда заставал тебя на пороге, беседующей с молодым Деларбром...

Сара покраснела:

— Но клянусь вам...

— Ах, да какая разница! — решительно сказал Никола, — разве он не был молод, хорош собой и, следовательно, достоин тебя?.. Разве это не естественно, разве это не радует душу, — чистая любовь двух юных прекрасных существ?.. А я любил тебя по-иному — как любят странные видения, являющиеся нам в снах... мы просыпаемся, охваченные дивной страстью — слабым отблеском юношеских безумств... а через минуту уже смеемся над собой!

— О боже! Сразу видно, что вы поэт!

— Вот именно. Ведь мы, поэты, не живем! Мы анализируем жизнь!.. Другие люди для нас только игрушки... и они жестоко мстят за себя! Дружба, любовь — что это? Так ли уж я уверен, что любил? Дневные образы для меня ничуть не более реальны, чем ночные видения. Горе тому, кто нарушит мой вечный сон, не будучи бесплотным образом!.. Как художник, бесчувственный ко всему, что его окружает, хладнокровно пишет с натуры битву или бурю, так мы смотрим на людей как на модели для своих творений, видим в страстях материал для изображения, и всем, кто вторгается в нашу жизнь, суждено стать жертвами нашего эгоизма, как сами мы — жертвы собственного воображения!

— Вы меня пугаете! — воскликнула Сара.

— Не бойся, — отвечал Никола, — тебе ничто не угрожает. Просто у меня есть опыт, дорогое дитя; я научился разбираться и в других и в себе, в сердце у меня горечь, но я ни на кого ее не изливаю... Знаешь ли ты, что мы, поэты, делаем с нашими чувствами?.. Мы претворяем их в книги, чтобы заработать на жизнь. Так поступал женевец Руссо, так поступил я сам в «Совращенном поселянине». Я поведал историю моей любви к несчастной женщине из Осера, которой уже нет в живых, но я был скромнее, чем Руссо, я не был откровенен до конца... быть может, оттого, что пришлось бы рассказать...

Он замолчал.

— О, дайте же мне прочесть эту книгу! — взмолилась Сара.

— Позже, не сейчас!.. Но послушай, сейчас ты увидишь, как опасно дружить со мной... Я уже вывел тебя в «Современницах»!

— Замечательно! — девушка захлопала в ладоши, — но каким же образом?

— Раз ты милостиво прощаешь меня, прелестное дитя, то вот тебе книга. Видишь, героиню этого рассказа зовут Аделина. Так я нарек тебя.

— Ах! какое красивое имя! Так меня и зовите... А кого она любит?

— Шавиньи.

— Шавиньи?.. Значит, так вы называли себя.

— Нет, я назвал так молодого Деларбра, который в ту пору приходил сюда каждый день. Видя, как он предупредителен, как влюблен, как нежен, я вспомнил свою юность... Я представлял себя на его месте, воображал, что ты любишь меня. Ах! я был бы еще нежнее, еще восторженнее...

Деларбр — всего лишь беспомощная и бледная копия с меня в юности, однако я не мог его ненавидеть... Я ни на что не надеялся. Лишь в одиночестве, сам с собой, говорил я о чувствах, которые питал бы к тебе, будь я на его месте. Он любил тебя, я же тебе поклонялся. Если бы ты предпочла другого, я ревновал бы за него... я убил бы его соперника!.. Я бы женился на тебе, будь я на его месте.

Сара стыдливо спрятала лицо на груди Никола, потом взглянула на него, улыбаясь сквозь слезы:

— О, говори, говори, но позволь мне восхищаться тобой, твоим пылом, твоей добротой, твоим гением... До сих пор я больше всего любила слушать тебя... Теперь я смотрю на тебя, и ты кажешься мне молодым и прекрасным. О, как я завидую тем, кого ты любил!

— Лишь одна из них была достойна тебя, моя Сара! Но она питала ко мне только дружеские чувства... Ее уже нет в живых... Поговорим же еще о странной любви, где я представлял себя на месте того, кто казался мне более достойным твоей любви. Ты не знаешь, как далеко заходил я в своих безумствах... Я люблю гулять по вечерам на острове Сен-Луи, там самые красивые в мире солнечные закаты. Так вот! Я любовался ими, опираясь на парапет набережной, и украдкой нацарапал на сером камне начальные буквы имени, которым я тебя назвал: Ан. Ад. Это значило: Ангел Аделина.

— О! в первый же погожий день мы вместе пойдем туда, ты покажешь мне эти буквы и расскажешь все, что думал, когда писал их! — потребовала Сара.

— Да, друг мой, раз ты этого хочешь... Но увы! я постарел еще на год и столько выстрадал!

Сара бросилась к нему на шею; смех и слезы ее проливали божественный бальзам на раны несчастного.

— Я разделю все твои горести! — говорила она. — Ты расскажешь мне о той женщине из Осера, которую ты так любил...

— О! — отвечал Никола, — столько радости... столько горя... сердце мое не выдержит! Да благословит тебя Бог, дочь моя, дитя мое! Да, я люблю тебя... у меня еще хватает безумия тебя любить, прости меня...

В этот момент на лестнице послышался голос госпожи Леэман; она звала дочь обедать.

— Мне пора и дти, — заторопилась Сара, — но прежде я хочу сказать вам еще несколько слов.

— Ты снова говоришь мне «вы»?

— Нет, это по рассеянности... Я хотела рассказать тебе об одной моей подруге — ты, быть может, видел ее у меня, она тоже работает у барышень Амеи... Ее зовут мадемуазель Шарпантье.

— Я ее видел, она прелестна.

— Она такая добрая!.. но мне неловко просить тебя...

— Что случилось? Сейчас же признавайся, милое дитя!

— Я так боюсь показаться нескромной... У моей подруги умерла мать, она долго болела и не оставила дочери ничего, кроме долгов. Как бы я хотела быть богатой, чтобы ей помочь!.. Ей приходится очень туго, сейчас ей так нужен один луидор!.. Через полтора месяца она тебе его непременно вернет.

— Один луидор! Всего один луидор! — воскликнул Никола и, достав из большой шкатулки два луидора, вложил их в белую ручку Сары, присовокупив к ним поцелуй.

— О! как она обрадуется! — прошептала Сара и побежала вниз.

С этого дня отшельничеству Никола пришел конец. Вдова Лееман после признаний Сары вызывала у него отвращение, но желание видеть девушку почаще пересилило его; он завязал дружбу с господином Флоримоном, без устали восторгаясь его аристократическими замашками, и старался угодить вдове, заказывая в трактире ужины для всей честной компании; при этом он не забывал позаботиться, чтобы среди блюд были индейка или гусь, которыми скупая госпожа Лееман кормила потом своих домашних несколько дней.

Мы уже говорили, что Сара могла приходить к Никола только по воскресеньям, ибо всю неделю она проводила у барышень Амеи. Но вот однажды в понедельник он услышал на лестнице громкие голоса.

— Бесстыдница! — кричала госпожа Лееман дочери.

— Никакая я не бесстыдница, да только это не ваша заслуга! — отвечала та.

— Подожди у меня, негодница, вот я тебе!..

Никола выскочил из комнаты.

— Полюбуйтесь на дочь, которая грубит матери! — воскликнула госпожа Лееман, ища сочувствия:

Никола бросился к девушке:

— Сара, дорогая моя, успокойтесь!

Но Сара глядела на него весьма неприятливо и смягчилась лишь перед уходом. Когда дверь за ней закрылась, госпожа Лееман пожаловалась Никола:

— Как тяжело отпускать единственную дочь к чужим людям!

— Отчего же не оставить ее дома?

— Ах, сударь, мы так бедны... а я не хочу ни о чем просить друзей.

Никола в те времена жил в полном достатке; его первые произведения, особенно «Совращенный поселянин» и «Современницы», приносили гораздо больше денег, чем работа в типографии.

— Заберите дочь домой, — сказал он госпоже Лееман, — мы сделаем для нее все, что сможем.

— Тут как раз в третьем этаже скоро освободится комната, мы вскладчину обставим ее мебелью, вы будете ей за отца, и мы заживем одной семьей, — обрадовалась вдова.

Итак, со следующей недели Сара перестала ходить в лавку барышень Амеи. Вскоре ее связь с Никола стала полной и нерасторжимой. Бесконечные беседы, восхитительные ужины на окраинах или за городом в обществе госпожи Лееман и Флоримона... Во время этих трапез маленькая ножка Сары неизменно покоилась на ноге Никола, а когда они бывали в театре, девушка, не обращая ни малейшего внимания на устремленные на нее со всех сторон восторженные взгляды, вкладывала свою ручку в руку Никола.

Однако госпожа Лееман старалась не отпускать от себя дочь, а если Никола и Сара шли куда-нибудь вдвоем, непременно посылала за ними Флоримона. Этот пресыщенный волокита был не самым приятным спутником, но он ничего не имел против взаимной склонности влюбленных. Флоримон ходил за ними по пятам, словно сторожевой пес, не мешая им ворковать. Однажды Никола вызвался купить госпоже Лееман семена и луковицы цветов. Она, как все уроженки Брабанта, любила тюльпаны. Никола с Сарой отправились на набережную Цветов и выбирали семена так долго, что Флоримон устал ждать и решил скоротать время в соседнем кабачке, откуда вышел сильно шатаясь. Пока он пытался взвалить на плечи мешок с семенами, Сара написала матери записку, где объяснила, что Флоримон пьян и им с Никола стыдно брать его с собой на прогулку. Флоримон ушел с этой запиской, не прочитав ее.

— Вот бы нам пойти в театр! — весело сказала Сара. Никола посмотрел на нее. Ей были очень к лицу

английская шляпка и казакин из переливчатой тафты. До спектакля оставалось еще много времени, и они выбрали самый длинный путь. Никола повел девушку вдоль набережных к острову Сен-Луи, где он так любил гулять. Оттуда в те времена открывался очень живописный вид: с одной стороны сельские просторы, с другой — два рукава Сены, величественные громады старого собора и ратуши; справа и слева, довершая картину, тянулись бульвары Май и Рапе с утопающими в зелени ресторанчиками на каждом шагу. Никола хотелось заодно показать Саре священные буквы Ан. Ад., которые он нацарапал на парапете набережной, когда приходил сюда излить жалобы безнадежной любви. Ныне все переменялось. Влюбленные вывели под этими полустершимися буквами свои подлинные инициалы и покинули остров только после того, как солнце скрылось за высокими башнями тюрьмы Шатле. Они пересекли площадь Мобер, миновали улицы Сен-Северен и Сент-Андре-дез-Ар и по улице Комедии вышли к театру, по-прежнему навевавшему на Никола воспоминания о красавице Геан *. По дороге он со слезами на глазах поведал Саре историю своей трагической любви, и девушка от всего сердца сочувствовала его горю.

— Умерла! Она умерла! — восклицал Никола. — Умерла, как и та, другая, такая прекрасная и такая добрая (госпожа Парангон)! Увы, все, кого я любил, сошли в могилу!

— А я, разве я не люблю тебя так же, как они? — возразила растроганная Сара.

— Сейчас, быть может, и любишь, но что будет дальше?

— Друг мой, не говори так... До сих пор моя чувствительность приносила мне одни муки, пощади же меня...

— О прости, дитя мое! Я столько выстрадал, а ты...

— В моей жизни не было ничего, кроме страданий, но боль, причиненная тобой, была бы для меня горше всех моих былых невзгод.

Они вошли в залу. Давали «Воспитанницу» Фагана — ту самую пьесу, где некогда с такими чувством и грацией играла мадемуазель Геан. Никола, как все гордые умы, не верил в случайности и во всем, что с ним про-

* Никола Ретиф сохранил в памяти все подробности этого дня, последнего счастливого дня своей жизни.

исходит, видел перст судьбы. На сей раз пьеса оказалась ему отвратительной, а исполнительница главной роли — дурнушкой. Он не заметил, как в соседнюю ложу вошла дивной красоты женщина с чудесными пепельными волосами (тогда как раз перестали пудрить волосы), прекрасными глазами, черными бровями и изысканными манерами.

— Погляди, какая красавица, — сказала Сара.

— Она хороша, — согласился он, — но ты гораздо красивее!

Дама, видя восхищение Сары, приветливо заговорила с ней. Сара отвечала холодно. Когда Никола с удивлением посмотрел на девушку, она шепнула ему на ухо:

— Я очень ревнива. Если бы я поддержала разговор, ты бы тоже принял в нем участие и наверняка понравился бы ей...

Никола был польщен:

— Зато мне никто не может понравиться, кроме Сары.

Упоительный вечер кончился, и пора было возвращаться домой, где их ждала разъяренная госпожа Лееман. Чтобы задобрить ее, Никола купил у ювелира на улице Бюсси красивые подвески. Мера предосторожности оказалась не лишней: на пороге дома влюбленных встретил несчастный Флоримон, которого вдова выставила за то, что он вернулся один. Протрезвев от обрушившихся на его голову проклятий, он совсем пал духом. Никола храбро встретил бурю, — впрочем, как только в руках у него блеснуло золото, она утихла, и в доме вновь воцарился покой.

Однако госпожа Лееман не позволяла влюбленным развлекаться без нее.

— Если девочке скучно, — как-то сказала она, — я сама поведу ее на прогулку.

И вот погожим весенним вечером госпожа Лееман с Сарой отправились на Большие бульвары. Никола до семи часов был занят в типографии, а потом собирался присоединиться к ним. Когда он пришел, они сидели в боковой аллее среди других красивых и нарядных дам. Подле них расположился смуглый господин в расшитом камзоле, похожий на креола; он уже успел завязать беседу с госпожой Лееман. Сара сидела очень чинно; увидев Никола, она улыбнулась и пригласила его сесть рядом. Смуглый кавалер не замедлил откланяться и удалился.

Два или три дня спустя важное дело задержало Никола, и он не смог в обычное время присоединиться к дамам. Вечером госпожа Лееман с усмешкой доложила, что давешний кавалер не дал им соскучиться. То же повторилось еще через несколько дней. Дома Сара отвела Никола в сторону:

— Вы бросаете меня на произвол судьбы, а ведь вам известны намерения моей матери... Ах, друг мой!

И вот однажды госпожа Лееман заявила, что наконец-то ее дочь может выйти замуж за человека с положением. Слова эти ножом вонзились Ретифу в сердце, ведь он, как мы уже говорили, был несвободен, хотя давно уже жил с женою врозь. Он отвечал со вздохом, что главное для него — счастье Сары и что он желает ей хорошего мужа. Назавтра Никола нездоровилось, и он не покидал своей комнаты. На полу под дверью он обнаружил записку:

«Мой милый и добрый друг! Твою девочку заставляют идти гулять без тебя... Придется терпеть, раз нет другого выхода. Лечи свой насморк и поскорее выздоравливай... Если бы ты мог подыскать мне место у какой-нибудь дамы или просто надомную работу, у меня достало бы сил сопротивляться и я была бы счастлива, насколько это возможно в моем положении. Не забывай твою подружку

Сара».

Никола в тот же день нанес визит одной знатной даме, которая жила на острове Сен-Луи и о которой он часто упоминает в «Парижских ночах». Дама эта согласилась взять Сару в компаньонки. На обратном пути он встретил мать и дочь в карете. Госпожа Лееман крикнула ему, что они едут в Пале-Руаяль и ждут его там. Успокоенный относительно чувств Сары ее запиской, он не стал спешить. Когда он появился в Пале-Руаяле, он уже не застал там ни госпожи Лееман, ни Сары.

Никола вернулся домой. Еще издали он увидел, что в окнах темно... На двери висел замок. Он поднялся к себе и заметался по комнате. Время от времени он выбегал на улицу в надежде встретить дам. Никого. Пробило полночь; с последним ударом он разразился слезами. Он вспомнил слова Сары, намеки ее матери. В час ночи, не находя себе места, он вышел на улицу. Случай вновь привел его на пустынные набережные острова Сен-Луи. В лунном свете он принялся искать священные инициалы, нацарапанные его рукой и рукой Сары, и найдя их, зарыдал от отчаяния. Отворилось окно, кто-то спросил, что с ним.

— Перед вами отец, потерявший свое д и т я , — отвечал Никола.

Он шел домой, надеясь еще, что дамы были где-нибудь на балу и наконец вернулись. Дом был пуст. В пять утра Никола в изнеможении заснул; ему снилась Сара, ее густые белокурые волосы разметались по груди, она звала его: «Друг мой! спаси меня!» Он вскочил... уже рассвело; дома по-прежнему никого не было *.

Всякий раз, заслышав цокот копыт, Никола вздрагивал, но экипажи проезжали мимо. Только на третий день у дверей остановилась карета. Он бросился вниз. Госпожа Лееман приехала без Сары, в сопровождении незнакомца, вернее, нового знакомого, обходительного креола с Больших бульваров.

— Где ваша дочь? — сердито закричал Никола.

— Она осталась за городом, в доме господина де Ла Монтетта, — госпожа Лееман указала на своего спутника, — который был так любезен, что проводил меня.

— И вы оставляете вашу дочь одну у мужчины?

— А вам какое дело?.. К тому же Сара там вовсе не одна, с ней родные этого господина... А сам он, как видите, здесь, со мной!

Господин де Ла Монтетт поклонился, разглядывая искаженное гневом лицо Никола. Впрочем, вдова Лееман вовсе не хотела обижать писателя:

— Разве моя дочь не предупредила вас, что мы собираемся за город? — спросила она уже мягче.

— Я понятия не имел об этом!

— Вот дуреха!.. — воскликнула госпожа Лееман.

Она употребила даже более крепкое словцо, попросив у господина де Ла Монтетта прощения за свою материнскую строгость.

— Господин Никола стал моей дочери вторым отцом, — объяснила она, — и я понимаю его беспокойство... Но ведь Сара оставила вам записку... — добавила она, обращаясь к Никола.

— Вы правы, сударыня, я совсем запамятовал, — ответил он и удалился.

Никола был в смятении. Если бы речь шла о браке с достойным избранником, он, как человек благородный, не стал бы противиться и, возможно, не был бы так удручен;

* Через пятнадцать лет писатель говорил, вспоминая эту тревожную ночь: «Тогда во мне еще не проснулась ревность!»

но записка Сары, где она ни словом не обмолвилась о загородной прогулке, указывала на опасность совсем иного рода. Пока он размышлял в нерешительности, карета вновь умчалась, ибо госпожа Лееман приезжала домой только за тем, чтобы взять кое-что из вещей. В юности Никола случалось бежать за каретой, чтобы узнать, куда направляется его возлюбленная, но попробуй проделать такое, когда тебе за сорок! Пришлось ждать всю ночь, а потом еще целый день. И только под вечер раздался наконец условный стук; опрокидывая стулья, он рванулся к двери. На пороге стояла Сара; она произнесла ледяным тоном:

— Ну! Я здесь! В чем дело?

— В чем дело?.. Да разве я сказал вам хоть слово, бедное мое дитя?

— Нет, — отвечала Сара в замешательстве, — но у вас такой грозный вид...

— Я ни в чем вас не упрекаю... Но вы сами понимаете, те три дня, что вас не было...

— Вы пообедаете с нами, не правда ли? — спросила Сара как ни в чем не бывало.

Девушка по-прежнему стояла в дверях. Услышав, что мать зовет ее, она побежала вниз.

Никола понял, что все кончено. «Теперь, — сказал он себе, — мне остается в самом деле стать ей отцом и выяснить, может ли этот человек сделать ее счастливой». Он спустился в гостиную. За столом сидел господин де Ла Монтетт. Ему было лет сорок, страсти, казалось, всегда обходили его стороной... Никола видел, что соперник гораздо богаче его и уверился, что речь идет о браке по расчету; так он объяснял себе сдержанность девушки и горевал лишь от того, что ножка Сары уже не покоится на его ноге.

Обед прошел бы вполне благопристойно, если бы под конец, взглянув на господина де Ла Монтетта, госпожа Лееман не воскликнула в приливе откровенности:

— Даже не верится, что мы знакомы с вами всего две недели! В тот день мы собирались в театр, и, если бы господин Никола пришел за нами вовремя, мы не имели бы удовольствия познакомиться с таким любезным кавалером... который стал нам настоящим другом!

Какая пытка! «Я сам во всем виноват!» — сокрушался Никола. А Сара томно склонила голову на плечо креола, не заметив, казалось, пошлости, сказанной матерью. Никола призвал на помощь все свое мужество, чтобы скрыть неудовольствие. После обеда все пошли в Ботанический сад.

Как человек светский, гость бережно поддерживал Сару под руку, и приличия требовали, чтобы Никола предложил руку ее матери, — обычно этот тяжкий труд брал на себя Флоримон, но на сей раз вдова услала его куда-то с поручением. Ретиф уже был к тому времени известным писателем, он не хотел, чтобы его видели под руку с госпожой Лееман, и потому просто пошел с ней рядом. Вдова с досадой сказала дочери:

— Зачем молоденькой девушке опора, если даже я прекрасно без нее обхожусь!

Пришлось господину де Ла Монтетту отпустить руку Сары, что, впрочем, не прервало их весьма оживленной и даже нежной беседы. Прощаясь, господин де Ла Монтетт пригласил обеих дам на следующий день отобедать у него. Будучи человеком учтивым, он пригласил и Никола. Сердце писателя сжалось, теперь превосходство было на стороне соперника, недаром Сара потом говорила: «Господин Никола весь вечер был такой угрюмый!»

Назавтра господин де Ла Монтетт радушно принял всех в своем загородном доме; в беседе он показал себя человеком весьма неглупым; конечно, он не обладал богатым воображением, зато прекрасно знал свет. Его превосходство как человека состоятельного и вдобавок надленного тонким вкусом было очевидно; у Никола сердце кровью обливалось. К обеду прибыли еще несколько гостей, в основном судейские и банкиры. Сара сидела как на иголках: мать ее то и дело вставляла не слишком уместные замечания, поэтому девушка старалась больше говорить сама; по ее смелым и даже вольным остротам Никола заключил, что она отнюдь не так наивна, как он полагал. Когда все встали из-за стола, Никола отошел к окну и заплакал горячими слезами, повторяя: «Все кончено!» Проходя мимо, Сара тронула его за плечо и весело спросила:

— Что это вы здесь делаете? Разве вы не пойдете в сад? Он не обернулся, чтобы она не видела его искаженного лица.

— Ну и оставайтесь, — процедила Сара сквозь зубы. — Только тоску нагоняете!

Уязвленная гордость высушила слезы на лице несчастного. «Поделом тебе, — бранил он себя. — Вспомни о тех, кого ты сам совратил и погубил!» Немного успокоившись, он спустился в сад. Сара резвилась, как дитя, срывая розы для присутствующих дам. Господин де Ла Монтетт увлек Никола в одну из аллей и был с ним так любезен, словно и

не подозревал об их соперничестве. Они долго говорили о Саре; Никола не мог удержаться от самых восторженных похвал. В этом панегирике слились его литературное дарование и чувства, которые пылали в его сердце. Господин де Ла Монтетт с удивлением спросил:

— Так вы ее любите?

— Обожаю! — отвечал Никола.

— Однако мать ее уверяла меня, что вы испытываете к девушке лишь отеческие чувства... Я полагал, что нежная привязанность к госпоже Лееман, которая одних лет с вами и еще хороша собой...

— К госпоже Лееман! — вскричал Никола, оскорбленный до глубины души. И, глядя на креола, подумал: «Да ведь мы с ним почти ровесники. Неужели он считает, что если я старше его на какие-нибудь пять или шесть лет, то уже не могу понравиться молоденькой девушке?» Он не произнес этого вслух, но в голове его зазвучали ревность и уязвленное самолюбие; говоря о госпоже Лееман, он дал волю своему негодованию. Он рассказал о страсти молодого Деларбра, о господине де Весгоне и его двадцати тысячах, которые едва не были приняты... Он не умолчал и о собственной роли, о своих жертвах, о клятвах, свиданиях, письмах...

— Теперь, — закончил он, — я вижу, что был игрушкой в их руках, что меня обманывали... как обманут и вас!

— Меня? — переспросил господин де Ла Монтетт. — Ну нет! Я человек опытный и сразу все понял.

— Как! Вы готовы смириться с тем, что мать продает вам свою дочь?

— Что вы, дорогой мой, я не покупаю любовь.

— Значит, вы понимаете, что вам надо отступить от девушки?

— Отчего же? если я нравлюсь ей больше других!

Никола был ошеломлен таким ответом, но пока он собирался с силами, чтобы осадить соперника, из-за деревьев выглянуло свежее улыбающееся личико Сары. Беспечная резвушка, не подозревающая, о чем говорят мужчины, несла охапку роз, которую разделила на два букета: один для господина де Ла Монтетта, другой — для Никола. Уже стемнело, и Сара не заметила, как он удручен. А Никола, увидев возлюбленную, почувствовал, что гнев его проходит. Прощебав несколько учтивых слов, девушка убежала, чтобы не мешать мужчинам беседовать о серьезных вещах.

— Послушайте, — сказал де Ла Монтетт, — я уже вышел из возраста, когда человек склонен к восторгам, и

удивляюсь вам. Похоже, писатели дольше сохраняют свою восторженность... Раз вы так любите эту девушку, я готов отказаться от своих намерений... Однако вы рассказали о ней столько хорошего, что, если она вас не любит, я буду добиваться ее расположения еще упорнее.

Мгновение назад Никола хотел вызвать де Ла Монтетта на дуэль, — теперь он чувствовал себя смешным: хладнокровие соперника сломило его. Как всякий обманутый любовник, он больше всего боялся узнать правду и не стал испытывать судьбу: сославшись на неотложные дела, он в тот же вечер уехал в Париж. Все наперебой сожалели о его отъезде и вышли проводить его. Сара с прежней веселостью шла рядом с де Ла Монтеттом; креол сказал ей:

— Дайте же руку господину Никола.

Такое великодушие больнее всего ранило бедного влюбленного. Никола попытался скрыть досаду, но не смог и сказал Саре, что господину де Ла Монтетту теперь известны намерения госпожи Лееман, а также другие мало привлекательные подробности ее жизни. Сара пришла в ярость.

— По правде говоря, сударь, — заявила она, — я жалею, что узнала вас и была к вам добра. По какому праву вы вмешиваетесь в мои дела? По какому праву выдаете чужие тайны и порочите мою мать?.. И вообще, — продолжала она, возвышая голос, — не знаю, с какой стати мы с вами идем рядом. Быть может, вы хотите, чтобы все думали, будто нас что-то связывает! Только посмейте утверждать, сударь, что наши отношения не были совершенно невинными!

Никола не ответил. Красный от стыда, с болью в сердце, он не нашел в себе сил проявить великодушие и подтвердить ложь девушки. Он неловко откланялся и только по пути домой дал волю горю и гневу. Единственным его утешением была мысль о справедливости постигшей его кары.

ЖЕНИТЬБЫ НИКОЛА

Женитьбы Никола — грустная страница его биографии; это темная оборотная сторона ослепительно сияющей медали, на которой выбито столько прелестных профилей. Брачные узы стали для Никола расплатой за многочисленные победы, но он свято верил, что всякий грех неминуемо влечет за собой искупительную кару, а потому не роптал на судьбу и терпеливо нес свой крест до самой смерти. Мысль о том, что он терпит адские муки здесь, на земле, и после

смерти возвратится в лоно мировой души закаленным в горнине испытаний и очистившимся, приносила ему некоторое утешение. Учение это, подробно изложенное в «Морали» Ретифа, имеет тот недостаток, что позволяет человеку, презрев в миг упоения роковые последствия, творить зло. Никола близки были идеи, которые Сирано, ученик Гассенди, вложил в уста Сеяна; этот суеверный эпикуреец говорит:

Но грома никогда зимою не бывает:
Еще полгода я над небом посмеюсь,
А как придет пора, с богами примирюсь *.

Первый раз Никола женился в Париже при весьма любопытных обстоятельствах. Это было в ту пору, когда он еще не совсем оправился от болезни, вызванной смертью Зефиры. Однажды он сидел на скамье в Ботаническом саду. К нему подсели две англичанки: тетка и племянница. Тетушку звали миссис Макбелл, племянницу — мисс Генриетта Керчер; прелестное личико девушки обрамляли дивные золотистые локоны, ниспадающие из-под модной шляпки с полями. Завязалась беседа. Тетушка рассказала о тяжбе, где на карту поставлено все состояние молодой особы; дамы были уверены, что непременно проиграют процесс — ведь они иностранки. Единственное средство избежать этого несчастья — выйти замуж за француза, причем не позднее завтрашнего дня, ибо дело слушается послезавтра; но как за такое короткое время найти подходящую партию? Никола, человек увлекающийся и решительный, тотчас объяснился юной мисс в любви; Генриетте он тоже пришелся по душе, и на следующий же день в присутствии четырех свидетелей, служащих английского посольства, их обвенчали сначала в церкви того прихода, где жил Никола, а затем в англиканской церкви. Процесс был выигран. Никола стал жить с молодой женой, с каждым днем влюбляясь в нее все сильнее. Генриетта, казалось, тоже его обожала. Единственным другом дома был лорд Тааф. Он подолгу беседовал с тетушкой и осуждающе поглядывал на воркующих супругов.

И вот как-то утром Никола проснулся и увидел, что жены нет рядом; он позвал ее, потом встал с постели: в доме все было вверх дном, шкафы распахнуты и совершенно пусты — исчезло даже платье Никола. На столе лежала записка:

* Перевод М. Гринберга.

«Дорогой супруг, меня принуждают покинуть тебя и отдают лорду, которого ты видел... Но не сомневайся, что если мне удастся ускользнуть, я вернусь в твои объятия.

Твоя любящая супруга Генриетта».

Трудно передать стыд и отчаяние Никола. Вместе с беглянкой исчезла изрядная сумма денег, которую он успел скопить. Утешало его только то, что брак был признан действительным, ибо, будучи католиком, он не имел права взять в жены протестантку. В отместку первой жене он описал всю эту историю в комедии «Национальный пред-рассудок».

Женитьба на Аньес Лебег тоже не принесла ему счастья, он опять остался в дураках. На беду Никола союз этот просуществовал дольше. Не обольщаясь на счет характера и поведения жены, он все же какое-то время жил с ней в более или менее добром согласии, философски прощая ей некоторые слабости и ухаживая за ее подругами и за женами ее кавалеров. Ретиф пишет об этом с цинизмом, отличающим полную моральную распушенность. Один необыкновенный случай, происшедший в первые годы его супружеской жизни, подсказал, быть может, Гёте идею его романа «Избирательное родство», где две живущие в уединении несчастливые пары, словно в танце, обмениваются партнерами, дабы исправить ошибку, соединившую узами брака людей, не любящих друг друга. Впрочем, даже если Гёте и не читал Ретифа, любопытно, что великому певцу пантеизма пришел в голову тот же беспримерный парадокс, что и писателю, которому не достало лишь гения, дабы завершить систему, ни в чем не уступающую Гегелевой.

В заключение стоит рассказать о последней женитьбе Никола. История эта завершает длинный цикл трех- и пяти-актных пьес, который он озаглавил «Драма жизни». Писателю шестьдесят лет. Измученный страшными событиями, происходившими у него на глазах, он погожим осенним днем 1794 года возвращается из Парижа в Куржи — деревушку, где прошло его детство, где брат-кюре учил его латыни, где он был звонарем в церкви и влюбился в Жаннетту Руссо. Церковь пуста и разграблена, но это его не трогает; не разделяя образа мыслей республиканцев, он тем не менее позаимствовал у них ненависть к христианству — вернее, утвердился в ней. Он бродит по родным местам, с горечью вспоминая ушедшую молодость. Он думает о Жаннетте Руссо, единственной женщине, которой он так и не решился сказать о своей любви. «Быть может, это и было счастье?»

Жениться на Жаннетте, прожить всю жизнь в Куржи, пахать землю, не искать приключений и не писать романов — так жил мой отец, так мог бы жить и я... Но что случилось с Жаннеттой Руссо? за кого она вышла замуж? жива ли еще?»

Он расспрашивает местных жителей... Она жива; она так и не вышла замуж. В молодости она работала в поле, потом сделалась гувернанткой и воспитывала девочек в соседних замках, то в одном, то в другом; ей нравилась ее жизнь, поэтому она отказала нескольким женихам... Никола идет к дому нотариуса; его встречает пожилая женщина, это Жаннетта; сквозь сеть морщин проглядывает лицо черноокой Минервы; пусть годы немного согнули ее, но стан пленяет прежней гибкостью, а походка изяществом. Что до Никола, глаза его по-прежнему сияют нежностью на скуластом лице, губы, как в молодости, изящно очерчены и не утратили ни свежести, ни чувственности, — к такому мнению пришел, глядя на его портрет 1788 года, Лафатер; не изменился и нос с фамильной горбинкой Ретифов, за который в Париже его прозвали сычом; над темными дугами бровей возвышается большой костистый лоб, кажущийся еще больше благодаря лысине. Ретиф уже не «очаровательный малыш», как звали его любовницы, но время пощадило его, и выглядит он лет на десять моложе своих лет.

— Узнаете ли вы меня, мадемуазель?... — спрашивает он. — Теперь, когда мне шестьдесят?

— Сударь, — отвечает Жаннетта, — я догадываюсь, кто вы, но я бы вас не узнала, ведь вы были совсем ребенком, когда мне было девятнадцать лет, а сейчас мне шестьдесят три.

— Да, я Никола Ретиф, тот мальчик, что жил в Куржи у кюре.

И два старых человека обнимаются со слезами на глазах.

Встреча их была исполнена грусти. Воспоминания ожили в душе Никола, и он рассказал о своей слишком робкой любви, о своих детских слезах и о том, что, сколько бы он ни грешил, в душе его всегда жил нетленный образ, девственный и чистый, но — увы! — бессильный спасти его, вечно ускользающий, как Эвридика, которую злой рок вырывает из рук поэта-клятвопреступника... Судьба была ко мне справедлива, с горечью думал он, за то, что я променял чистую любовь на адюльтер, а первую возлюбленную — на престелстную и добродетельную госпожу Парангон, мне доста-

лась в жены Аньес Лебег, сорок лет портившая мне кровь. Как аукнется, так и откликнется — софист, проповедовавший этот принцип, сам весьма жестоко от него пострадал. Человеку, который прежде верил только в греческий Рок, пришлось поверить в Провидение!

— Что ж! лучше поздно, чем никогда, — продолжал Никола, — сейчас я свободен, и вы, насколько мне известно, тоже... Сама природа предназначала нас друг для друга, будьте моей женой.

В одном из замков, где Жаннетта служила гувернанткой, она прочла несколько произведений Ретифа; она знала, что он никогда не забывал ее. Сколько грустных мыслей пробудили в ней восторженные и горестные признания, которыми полна каждая его книга!

— Я думаю, — сказала она, помолчав, — что вы и вправду были моим суженым, потому я и не вышла ни за кого другого. Что ж, раз мы опоздали пожениться, чтобы счастливо жить, поженемся, чтобы вместе умереть*.

И если верить Ретифу (а он трижды в трех разных произведениях запечатлел свою встречу с первой возлюбленной), он обвенчался с Жаннеттой; время было тревожное, и обряд пришлось совершить в глубокой тайне; трудно сказать, согласился ли писатель на церковный брак в угоду супруге или под конец жизни вернулся в лоно христианства.

* «Драма жизни», том 5, стр. 1251 (По воле автора все тома этого издания имеют сквозную нумерацию).

Часть третья

ПЕРВЫЙ РОМАН РЕТИФА

Прелесть мемуаров, исповедей, автобиографий и даже путевых дневников заключается в том, что жизнь всякого человека отражается в них, словно в зеркале, позволяя ему лучше узнать себя и постичь хотя бы часть своих достоинств и недостатков. Себялюбие здесь вполне простительно, лишь бы автор предстал таким, каков он есть, а не рядился в плащ славы или лохмотья порока. Исповедь Блаженного Августина искренна. Она напоминает покаянные речи, которые древние христиане произносили на пороге церкви, чтобы братья во Христе отпустили им грехи, преграждающие путь в святой храм. В устах Лоренса Стерна исповедь превращается в доверительную беседу, благодушную и не лишенную иронии; автор как бы говорит читателю: «Ужели ты достойнее меня?» Руссо смешал эти столь различные качества и переплавил их в горниле страсти и гения; но хотя он и унизился до того, чтобы обнародовать признания, предназначенные только для божьего слуха, хотя, с другой стороны, он и облил ироническим презрением тех, кто считали себя лучше его, он, по крайней мере, хотел служить истине и верил, что бичует пороки; он не мог предвидеть, что люди будут ссылаться на него в оправдание своих дурных наклонностей, не утруждая себя при этом угрызениями совести, воздержанием, муками, которыми искупал свои прегрешения он. Главное же заключается в том, что, рисуя в своей «Исповеди» нескромные картины, Руссо никогда не имел намерения оскорбить нравы. Он писал в развращенную эпоху, для избранного общества, которому случай с барышнями Галле, эпизод с венецианской куртизанкой и связь с госпожой де Варанс казались весьма пресной пищей, почти лишенной пикантности. Лишь изредка он смачивал толикой цинизма края чаши, наполненной, как ему казалось, благороднейшим напитком. А что можно сказать в оправда-

ние Ретифа, его грубого, неотесанного соперника? В своих книгах он обращался не к прекрасным дамам и пресыщенным господам, не к банкирам, судейским и кокеткам, он обращался к буржуа, которые еще не совсем оторвались от народа, но все больше и больше отличались от него воспитанием и нескрываемым презрением к так называемым предрассудкам. Да, Руссо случалось воскликнуть: «Юноша, возьми и читай!», но при этом в начале произведения, которое ныне кажется вполне невинным, он писал: «Если девушка осмелится прочесть хотя бы одну страницу этой книги, значит, она — создание погибшее!» Нищета и гордость помешали Ретифу последовать примеру Руссо.

Его книги были обращены ко всем, кто умеет читать. Чтобы привлечь внимание толпы, он не пренебрегал ничем — ни броскими заглавиями, ни рисунками, притягательными в самой своей посредственности. Как бы ни изощрялись современные авторы, им не угнаться за Ретифом, в чьих романах видимо-невидимо гравюр, изображающих насилие, похищения, самоубийства, дуэли, ночные оргии, сцены, где смрадные испарения, поднимающиеся с парижского дна, смешиваются с пьянящим ароматом будуаров. Вот, к примеру, старинный Новый мост ночью; на заднем плане «Самаритянка»; под аркой прячутся воры, они боятся вступить в круг лунного света; на мосту остановился фиакр, женщина, вышедшая из него, бросается в черную воду, а вот двое мужчин: один перегибается через парапет, другой высккивает из фиакра. Кто не видел эту гравюру? Кто не задавался вопросом: «В чем же тут дело?» Что еще нужно для успеха? Романы Ретифа вошли в моду не только благодаря этим уловкам, которых, впрочем, не чуждались и многие его современники. Он вдохновенно — а порой изящно и остроумно — рисовал нравы буржуазии и народа. Свои скудные познания о свете он почерпнул из бесед с Бомарше, Ла Реньером и графиней де Богарне, а также из разговоров, которые ему случалось слышать в некоторых салонах, где бывало смешанное общество и куда его приглашали из любопытства; но в первую очередь его романы, повести и длинные циклы рассказов, известные под названием «Современницы», «Парижанки», «Провинциалки», — в провинции и за границей ими зачитывались и через много лет после того, как о них забыли в Париже, — рисуют нравы буржуазии и народа.

До сих пор мы говорили преимущественно о Ретифе-человеке, обходя молчанием Ретифа-писателя. Теперь нам

предстоит показать эту странную личность с другой стороны, рассказать о ее творческой жизни, неожиданные повороты которой отражают цинизм XVIII столетия и предвещают эксцентричность XIX. Впрочем, то, что мы знаем о Ретифе-человеке, поможет нам лучше оценить его как рассказчика. Читатели без труда убедятся, что все романы Ретифа — не что иное, как различные эпизоды его жизни, где он изменял лишь имена да кое-какие детали. Он утверждает, что все его героини были его любовницами; их так много, что он даже составил занимающий целый том календарь, куда включил триста шестьдесят пять заметок о главных дамах сердца. Какой же притягательной силой должен был обладать этот человек, считавший себя самой *наэлектризованной* натурой своего века! Похоже, что в последние годы жизни его одолело тщеславие и он чересчур увлекся исчислениями: с маниакальным упорством подсчитывая свои победы, он готов был чуть ли не в каждом встречном видеть своего отпрыска. Законные дети — две дочери — у него были только от Аньес Лебег, и он всю жизнь боролся за них: вначале с ней, а позже с мужем одной из дочерей, Оже, который, судя по всему, причинил писателю на старости лет самые большие огорчения.

«Мемуары господина Никола», «Драма жизни» и «Парижские ночи» дают полное представление о творческом пути Ретифа. Он сам говорит о том, что побудило его написать первый роман.

Брак Ретифа с Аньес Лебег, как мы знаем, не был счастливым. И все же после нескольких взаимных измен они решили по мере сил продолжать совместную жизнь. Ретиф поступил в Королевскую типографию, но кокетке, привыкшей сорить деньгами, не хватало жалованья простого рабочего. Ретиф пал духом и трудился спустя рукава, предпочитая читать украдкой модные романы, за что директор Аниссон Дюперрон иногда урезал его дневной заработок на двадцать пять су. Ретиф так обнищал и опустился, что, как он сам говорит, только боязнь опорочить доброе имя отца удержала его от какой-нибудь низости или подлости. В эти годы внутренней борьбы он снова и снова возвращался мыслями к добродетелям Эдма Ретифа, которого в родных местах прозвали «правильным человеком», и задумал книгу под названием «Жизнь отца моего» — она вышла несколькими годами позже и является, пожалуй, единственным сочинением Ретифа, не имеющим недостатков. Чтобы написать крупное произведение, требовалось больше упор-

ства и больше досуга, чем было в то время у Ретифа. 1764 год оказался сравнительно удачным; хлопотами одного из друзей его взяли мастером в типографию Гийо на улице Фуар. Ретиф получал 18 ливров в неделю и по одному экземпляру каждой отпечатанной книги, что составляло еще 300 ливров. Так прошло целых три года. Хорошее место вновь пробудило в Ретифе любовь к труду, а в свободное время он написал свою первую книгу, которую озаглавил «Добродетельное семейство». С прямотой, свойственной отнюдь не всем писателям, он признается, что никогда не мог ничего выдумать и что романы его всегда были, как он выражается, пересказом событий, которые случились с ним лично или о которых он слышал; он называл эти события основой своего повествования. Когда ему требовался сюжет или не хватало деталей для того или иного эпизода, он пускался в какое-нибудь романическое приключение, перипетии которого использовал в очередном произведении. Это крайняя степень реализма в литературе.

«Добродетельное семейство» появилось на свет при следующих обстоятельствах. Однажды в воскресенье на улице Контрэскарп Ретиф встречает даму с двумя дочерьми; они направляются в Пале-Руаяль. Красота одной из девушек пленяет его, он идет следом за дамами, всячески стараясь привлечь к себе их внимание, а на бульваре садится рядом с ними на скамью. На обратном пути Ретиф неотступно следует за ними; он выясняет, что дамы живут на улице Траверсьер и что глава семьи — торговец шелковыми тканями.

С этого дня Ретиф каждый вечер торопится к их лавке, чтобы увидеть через стеклянную витрину красавицу Розу Буржуа, как некогда спешил к магазину, где работала Зефира. Воспоминание о бедной девушке наводит его на мысль написать Розе письмо. Каждый вечер он просовывает в щель очередное любовное послание, после чего с безразличным видом удаляется; меж тем письма попадают в руки родителей, которые читают их вслух и поначалу принимают за розыгрыш, тем более что не знают, какой из дочерей они адресованы. Так проходит около двух недель; настойчивость анонимного воздыхателя начинает внушать опасения, однако поймать его никак не удается. Но вот однажды вечером соседи наконец ловят его с поличным и собираются вести в полицию. Улица полна народа. Чтобы избежать скандала, почтенный отец проводит Ретифа в комнату за лавкой.

— Пощадите его! — дружно просят сестры.
Отец запирает дверь.

— Это ваши письма? — спрашивает он. — Кому из девушек они предназначены?

— Старшей.

— Так бы и писали... А теперь отвечайте, по какому праву пытаетесь вы смутить сердце девушки, вернее сказать, двух девушек?

— Неведомое, но властное чувство...

Ретиф с жаром обороняется, отец сменяет гнев на милость и наконец говорит:

— В письмах ваших видна душа... Завоюйте себе имя, найдите применение вашим талантам — тогда посмотрим...

Ретиф не посмел признаться, что женат, а эффектную сцену вставил в роман, где добросовестно воспроизвел свои послания, описал невинное соперничество сестер, свою поимку, объяснение с отцом, которого он сделал англичанином — дань Ричардсону, бывшему тогда в большой моде; к этому он присовокупил несколько случаев из собственной жизни и в довершение всего ввел в роман иезуита, который выдает дочь замуж в Калифорнию — край, где, по словам автора, «жители так же глупы, как в Парагвае». Закончив рукопись, Ретиф пожелал услышать мнение знатока. Он выбрал некоего Прогре, романиста и критика, чьим самым значительным произведением была «Поэтика оперы-буфф». Прогре посоветовал ему сократить книгу вдвое. Теперь нужно было найти благожелательного цензора. Ретиф добился, чтобы роман прочел господин Альбаре, и тот дал лестный отзыв. «Отзыв э т о т, — пишет Р е т и ф, — ободрил меня». Он поспешил послать роман господину Буржуа, торговцу шелковыми тканями, прося разрешения посвятить его мадемуазель Розе; торговец отклонил эту честь вежливым письмом. «Как смел я надеяться, — восклицает автор «Мемуаров господина Никола», — что получу дозволение посвятить роман юной красавице, принадлежащей к классу граждан, которому подобает пребывать в почетной неизвестности!..» Ретиф продал роман вдове Дюшен и получил более семисот франков (по 15 франков за лист). Он никогда еще не держал в руках такой крупной суммы и потому весьма опрометчиво оставил свое место в типографии: отныне жизнь его переменилась.

Розу Буржуа он больше не видел, однако истории этой не хватало бы соли, если бы не вмешался случай и не добавил к тому, что создал Ретиф, последний романический штрих: сестры Буржуа оказались внучками некоей Розы Помблен, в которую был влюблен отец Ретифа. Теперь

предположите, что Эдм Ретиф не был так добродетелен, как на самом деле, и однажды согрешил — и перед вами развернется семейная драма, чреватая трагической развязкой... Пожалуй, даже сегодня никто не станет требовать от автора более причудливого сплетения событий.

ФИЛОСОФСКИЕ РОМАНЫ РЕТИФА

Полностью посвятить себя литературе Ретиф решил только в 1766 году. Мы видели, что юность его прошла в любовных похождениях и тяжелой работе в типографии. Переходя в «Мемуарах» к новому периоду своей жизни, он восклицает: «Здесь кончается постыдная эпоха моего существования, эпоха моей безвестности, нищеты и унижений». Неудачу «Добродетельного семейства» он приписывает смелой орфографии, полностью соответствующей произношению и подчиняющейся правилам, которые он с тех пор успел не раз изменить.

Роман «Люсиль, или Успехи добродетели», вышедший вскоре после «Добродетельного семейства», рассказывает о проделках мадемуазель Кадетты Фортер, дочери виноторговца и одной из самых очаровательных жительниц Осера. Он подписал книгу псевдонимом «Мушкетер» и хотел посвятить ее мадемуазель Гюс из Французской комедии, но актриса вежливо отказалась, чтобы легкомысленная книга не повредила ее репутации. Ретиф, вероятно, надеялся на приглашение к откупщику Буре, чей дом, остроумно описанный Дидро в «Племяннике Рамо», благодаря тонкому вкусу и доброму сердцу мадемуазель Гюс был открыт для литераторов. Но, увы, надежды его не оправдались.

Роман «Ножка Фаншетты» предвзывает занятное вступление: «Если бы единственной моей целью было нравиться, ткань этого произведения была бы иной. Фаншетта, ее горничная, дядюшка со своим сыном, да еще какой-нибудь лицемер — и роман готов. Первым возлюбленным Фаншетты стал бы ее кузен, ход событий был бы естественнее, а развязка неожиданнее; но я стремился говорить правду». Роман этот — история красавицы и влюбленного в нее старика, которого самая обольстительная ножка на свете толкает на самые непристойные безумства. Текст романа и примечания к нему изобличают маниакальное пристрастие Ретифа к женским ножкам и туфелькам. Стоило Ретифу завидеть на прогулке стройную ножку, как он спешил за

своим рисовальщиком Бине, чтобы тот сделал набросок. По его мнению, «женщины, которые носят туфли на низком каблуке, отвратительно *коровничают* и *медведствуют*; туфли же на высоком каблуке, напротив, утончают ножку и *сильфидируют* весь стан». Необычные, хотя и выразительные слова, уснащающие эту фразу, дают представление о причудливом языке Ретифа, который, вкупе со смелыми новшествами в орфографии, затрудняет чтение его первых произведений. Однако «Ножка Фаншетты» положила начало его известности. Роман этот не лишен своеобразия и даже вкуса, он имел успех, но именно по этой причине принес Ретифу очень мало денег — слишком много раз был он перепечатан другими издателями без его ведома и согласия.

За «Ножкой Фаншетты» последовал «Порнограф» — в него входят роман в письмах, призывающий к отмене некоторых полицейских предписаний, и проект нового законодательства с приложениями и пояснениями. Автор признает необходимость существования в больших городах особого разряда женщин, призванных охранять нравственность остальных представительниц слабого пола. В Индии эта роль отводилась женщинам низших каст, в Греции — рабыням. В новое время разряд падших женщин пополняют жертвы собственной пылкости или ужасных условий воспитания. Теория эта в чем-то предвосхищает учение Фурье; по мнению Ретифа, есть натуры, подобные мотылькам, перелетающим с цветка на цветок. Однако случается, что годы, нравоучительные проповеди или внезапно проснувшееся чувство облагораживают ум и душу и очищают эти опустившиеся создания. Желание женщины вернуться на путь истинный и вновь войти в порядочное общество должно всюду встречать поддержку и одобрение. С этой целью Ретиф задумал учредить специальные заведения, которые в подражание грекам назвал «партенионами». Ретиф считал, что даже самые порочные натуры окончательно опускаются только оттого, что прошлое их — незаконное рождение, одна-единственная ошибка, роковое стечение обстоятельств — навлекает на них всеобщее презрение. Главное достоинство своих предложений Ретиф видел в том, что они позволят уберечь молодых людей от подстерегающих на каждом шагу искушений, избавить семьи от лицемерия бесстыдного порока, кичащегося своим призрачным великолепием, наконец, помешать человеку, оступившемуся единожды, погрязнуть в скверне.

«Порнограф» наделал шума в Европе, а император Иосиф II, известный философическим складом ума, так увлекся идеями Ретифа, что осуществил в своих владениях проект, содержащийся во второй части книги *.

За «Порнографом» последовало еще несколько сочинений в том же духе — автор объединил их в цикл, получивший название «Оригинальные идеи». Второй том называется «Мимोगраф, или Театральная реформа». Ретиф призывает к абсолютной правде в театре и требует отказаться и в трагедии и в комедии от академической системы условностей, стеснявшей даже таких гениев, как Корнель и Мольер. Автор «Мимोगрафа» высказывает мысли, достойные Дидро и Бомарше, — впрочем, оба эти драматурга были удачливее либо ловчее Ретифа и сумели перенести свои теории на сцену, меж тем как его пьесы никто не ставил. Чтобы показать всю чрезмерность реализма в его понимании, достаточно сказать, что ради единства, нравучительности и наслаждения он предлагал занимать в любовных сценах женихов и невест накануне свадьбы.

До выхода «Совращенного поселянина» Ретиф жил почти единственно на свое жалованье; труд наборщика обеспечивал ему средства к существованию, как переписка нот — Жан-Жаку Руссо. Книгопродавцы редко платили по векселям, перепечатки без ведома и согласия автора сильно снижали барыши, а цензоры то накладывали арест на готовые книги, то заставляли заменять в них сомнительные страницы, на что уходила уйма денег. «18 августа 1790 года, — пишет Ретиф, — я был еще беднее, чем когда работал в типографии. Я быстро проел то, что принесло мне «Добродетельное семейство», «Школу юных» отвергли издатели, «Порнограф» не понравился цензору... Однако я не унывал. За пять дней я написал «Люсиль». Издатель заплатил мне всего три луидора, затем отпечатал полторы тысячи экземпляров вместо тысячи, а корректурные листы продал другим издателям, которые выпустили книгу, не заплатив мне ни гроша. Издатель этот, бывший также тайным осведомителем, разбогател, но смерть помешала ему насладиться богатством». Из приведенного отрывка видно, какие порядки царили тогда во Франции в книжном деле. «Порнограф» и «Мимोगраф» почти ничего не принесли Ретифу, поскольку

* Через несколько лет, приобретя еще большую известность, Ретиф получил от Иосифа II титул барона и грамоту в табакерке, украшенной портретом императора. Грамоту писатель отослал обратно, а портрет государя-философа сохранил.

он издавал их на паях с одним рабочим, ссудившим его деньгами и получившим большую часть прибыли. Не лучше обстояло дело и с «Побочной дочерью», и с «Письмами дочери к отцу», вышедшими у Леже. Издатель романа «Продувная бестия», написанного в подражание Кеведо, расплатился с Ретифом необеспеченными векселями. В этом романе писатель колеблется между несколькими модными иностранными течениями; собственный стиль он обрел лишь в «Совращенном поселянине».

Получив отцовское наследство, Ретиф смог издать «Поселянина», рукопись которого отверг издатель Делален, своими силами. Первое издание разошлось в полтора месяца, второе — в три недели. Третье продавалось медленнее из-за незаконных перепечаток, но за границей роман имел такой успех, что в одной лишь Англии вышло сорок два издания. Описание французских нравов всегда больше привлекало иностранцев, чем самих французов. Поначалу «Совращенного поселянина» приписали Дидро, что вызвало множество протестов. Затем роман обвинили в безнравственности и запретили продавать, однако Ретифу удалось задобрить цензора Демароля, и тот снял запрет с условием, что автор сделает замены в готовом тираже. Через три года после «Поселянина» появилась «Совращенная поселянка», а вскоре оба романа вышли под одной обложкой. В «Совращенных поселянине и поселянке» романические перипетии сплавлены с реформаторскими идеями, являющимися частью морально-философской системы, которую Ретиф изложил в более поздних книгах. Начало этой системе положили беседы с монахом-францисканцем Годэ д'Аррасом. Ученость Годэ дополняла безудержную фантазию молодого человека; таким образом, система Ретифа представляла собой, подобно древней химере, причудливое слияние двух разнородных натур.

Если мы вспомним все известное нам о Ретифе-человеке, то увидим что его философские построения, расцвеченные прихотливым воображением, весьма схоластичны. В поведении этого сторонника реформ, в отличие от его системы, логика отсутствует начисто, и он то и дело восклицает: «Ах, как я ошибся! Ах, как я был слаб! Ах, как я был труслив!» Напротив, для Годэ д'Арраса, ставшего одним из главных героев «Совращенного поселянина», не существует ни добродетели, ни порока, ни трусости, ни слабости. Все, что человек делает, хорошо, если приносит ему выгоду или удовольствие, не навлекая на него при этом ни судебного

преследования, ни людской мести. Во всех же дурных последствиях его поступков виновато общество, которое их не предусмотрело. Годэ д'Аррас не жесток, он даже ласков с теми, кого любит, ибо нуждается в компании; он сочувствует страданиям ближних, — чужие муки вызывают у него что-то вроде нервных припадков, но, будь он черствым, самовлюбленным, бесчувственным, он ничуть не упал бы в собственных глазах, так как счел бы эти особенности своего характера чистой случайностью или загадкой природы, пути которой неисповедимы: она создала грифа и голубку, волка и овцу, муху и паука. На свете нет ни добра ни зла; все имеет свое назначение. Гриф очищает землю от падали, волк истребляет заполняющих поля грызунов, паук уничтожает вредных насекомых, и так во всем: смрадный навоз служит удобрением, яды — лекарством... Человек — хозяин на земле и потому должен подчинять отношения людей и порядок вещей своей пользе и пользе рода человеческого. От этого, а не от религий и форм правления, зависит судьба будущих поколений. Хорошо организованному обществу добродетель не нужна; благотворительностью и сочувствием займутся чиновники; мудрая философия поможет людям изжить не только физические, но и моральные муки — плод религиозного воспитания и чтения романов.

Сегодня эта доктрина середины XVIII столетия, которая восходит непосредственно к знаменитым эпикурейцам века Людовика XIV и нашла свое полное выражение в «Системе природы», уже не поражает новизной. Мы упомянули о ней лишь затем, чтобы показать истоки философии автора «Порнографа». Надо сказать, что он соглашался с идеями Годэ д'Арраса крепя сердце. Абсолютный материализм претил ему, и он радовался, встретив в другом своем товарище, Луазо, чисто духовные интересы, полностью противоположные эпикурейству францисканца. Впрочем, Ретиф мечтал найти нечто среднее между Годэ и Луазо. Луазо при всей своей рассудочности верил в Бога, вознаграждающего добродетель, и даже в ангелов, или духов, «божьих пособников», чье существование знаменитый Дюпон де Немур обосновал позже вне какой бы то ни было религиозной традиции. Под влиянием Луазо исходный сухой натурализм получил в сознании Ретифа мистическую окраску, что сблизило его с такими мыслителями, как Пернетти, д'Аржан, Делиль де Саль, д'Эспремений и Сен-Мартен. Какими бы странными ни казались сегодня его философские метания, они в точности повторяют путь римской философии,

где на смену школе эпикурейцев и стоиков века Августа пришел александрийский неоплатонизм.

Философские идеи «Господина Никола» большой ценности не имеют, но обойти их молчанием невозможно, Ретиф из тех авторов, у кого всякая строка стихов и прозы, романа и драмы так или иначе связана с общей философской системой. Попытки анализировать характеры и критиковать нравы были уже в трех или четырех забытых романах, предшествовавших «Порнографу»; успех этой книги разжег реформаторский пыл писателя; он написал «Мимोगраф», за ним «Андрограф», призванный упорядочить жизнь мужчин, и «Гинограф», трактующий о положении женщин; потом «Тесмограф», предлагающий усовершенствования в области законодательства, и «Глоссограф», посвященный орфографии. «Андрограф» и «Гинограф» близки идеям Руссо. По примеру женеvского философа, Ретиф утверждает, что единственное средство против распущенности нравов — жизнь на лоне природы и землепашество, но он не считает источником всех бед театр и живопись. Какова же, однако, цена философии, если для того, чтобы оздоровить нравы общества, ей нужно разрушить города? Ужели необходимо уничтожить жемчужины ремесел, искусств и наук и свести жизнь человеческую к производству и потреблению плодов земли? Не лучше ли создать такую мораль, которая годилась бы для всех сословий и общественных положений?

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РЕТИФА

Романы с претензией на философичность соседствуют в творчестве Ретифа с другими, о которых мы уже говорили и которые представляют собой как бы главы одной исповеди: их можно назвать автобиографическими. К ним принадлежат «Мемуары господина Никола», где автор откровенно и без утайки повествует о своей необычной жизни, а также некоторые рассказы и очерки нравов из большого цикла под названием «Современницы».

«Мемуары господина Никола», то есть самого автора, имеют тот же сюжет, что и «Совращенный поселянин». Все, что можно сказать о романе, относится и к «Мемуарам». В «Поселянине» Ретиф изобразил себя под именем Эдмона; в первой части он рисует свою жизнь в Осере: писатель не утруждает свою фантазию; мастерство его про-

является прежде всего в выборе деталей и создании портретов. Особенно ярок образ Годэ д'Арраса, которого можно считать родоначальником всех мрачных, роковых героев, которые подчиняют себе действие и держат в руках все нити повествования. Впоследствии эти сатанинские героинасмешники буквально наводнили литературу, но Ретиф, в отличие от своих продолжателей, описал действительно существовавшего человека, с которым — на горе себе — был близко знаком. Романы Ретифа основаны на подлинных событиях, они напоминают скульптурные группы, где каждая фигура создана не с помощью опыта и воображения, а вылеплена с натуры. Верный этому принципу, писатель сначала вводит в повествование госпожу Парангон, а затем противопоставляет ей Зефиру. Мы не станем повторять их историю, отметим только, что в романе герой встречает госпожу Парангон и Годэ д'Арраса — своих доброго и злого гениев — в Париже. Это лучшая и самая сильная часть романа — без нее он остался бы просто книгой воспоминаний. Годэ д'Аррас становится роковым Ментором Эдмона; он приобщает юношу к порочной, беспутной, преступной парижской жизни, причем не из корысти или тайной злобы, но единственно из симпатии: желая оказать ему нечто вроде дружеской услуги. Он разглагольствует о том, что счастье есть всеведение, умение извлечь пользу из чего угодно и хладнокровно идти к цели, несмотря на все препоны, это, наконец, способность исподволь иссушать свое сердце, дабы прийти к созерцательному бесчувствию мудреца, каковое венчает жизнь и приготавливает человека к грядущей смерти, его истинной радости и единственной награде. Следуя этой системе, Эдмон прожигает жизнь, бесчестит свою благотельницу, предается всевозможным порокам и в конце концов женится на шестидесятилетней старухе, чтобы завладеть ее состоянием; через три месяца старуха умирает от яда, который подсыпал ей Годэ д'Аррас. За этот сверх-философский поступок его ждет плаха, но он предпочитает самоубийство, Эдмона приговаривают к каторжным работам. Долгие годы он страдает телесно и мучится угрызениями совести; наконец ему удается бежать и он возвращается на родину; он так переменялся, так исхудал, что никто не узнает его. Родители Эдмона умерли от горя; разыскивая на кладбище их могилы, он встречает своего брата Пьеро, который не уезжал из деревни и прожил жизнь тихо и с пользой, возделывая свое поле. Какая трогательная сцена и какой удивительный контраст двух судеб! Автор рискует

впасть в банальность, вновь сталкивая Эдмона с его благодетельницей, госпожой Парангон, которая прощает его, утешает и даже соглашается стать его женой, однако в день свадьбы герой гибнет под колесами кареты.

Мы видим, что, создавая образ Эдмона, писатель не пощадил себя. Конечно, для вящей выразительности он немного сгустил краски: самого себя он не считал достойным кары, которую уготовил «совращенному поселянину». Однако по существу в характерах Эдмона и «господина Никола» много общего: их роднит сочетание самонадеянности со слабостью, существенно умеряющей философические претензии ученика Годэ д'Арраса. Эдмон решительно не способен противостоять ни горю, ни злу; вынужденный то и дело признавать свою беспомощность, он взывает только к жалости или к тому чувству, которое заставляет его без конца твердить: «Я хотел изобразить естественный ход событий и оставить потомкам образец нравственного анализа»: он гордится, что имел смелость «все называть своими именами, разоблачать других, приносить их в жертву так же, как себя, вместе с собой, ради пользы общества». Жан-Жак Руссо, по его мнению, говорил правду, но был уж слишком *писателем*. Ретиф хвалит его прежде всего за то, что он спас от забвения госпожу де Варанс и подарил ей вечную жизнь; он обращает внимание на ее сходство с госпожой Парангон и радуется, что прославил свою возлюбленную под вымышленным именем, описав свои с ней отношения в «Совращенном поселянине», который вышел в свет в 1775 году, раньше «Исповеди» Руссо. «Не возмущайтесь мною, — добавляет он, — я человек и я слаб, но в том и состоит моя заслуга — ведь обладай я одними добродетелями, недорого стоили бы мои старания описать вам себя. У меня хватило мужества *оголиться* перед вами, открыть вам все свои слабости, все изъяны и пороки, чтобы вам было с кем себя сравнить... Есть люди, — продолжает он, — ищущие поучений в баснях; что ж, значит я великий баснописец, который наставляет на ум других ценой своего позора; я многоликое животное, я то хитер, как лиса, то бестолков, медлителен и упрям, как осел, то горд и храбр, как лев, то быстр и алчен, как волк...» Затем он — с большей или меньшей скромностью — уподобляет себя орлу, козлу и зайцу; но что это за странная философия, которая, прикрываясь всевластием природы, низводит человека до уровня животного, вернее, поднимает его до звания многоликого животного?

Мы подходим к «Современницам», одному из самых известных произведений Ретифа. Этот знаменитый цикл 1781—1785 годов состоит из сорока двух томов. «Современницы», иллюстрированные пятьюстами гравюрами, по большей части весьма удачными, заслуживают внимания как занятное, хотя и грешащее преувеличениями, описание костюмов и нравов конца XVIII столетия. Цикл имел большой успех, особенно в провинции и за границей. Именно эта гигантская компиляция, за которую Ретифу платили по сорок восемь ливров за лист, позволила ему заказать сто двадцать гравюр для издания «Совращенного поселянина» и «Совращенной поселянки» в одном томе. Подобно Дора, Ретиф разорялся на иллюстрациях к собственным произведениям. Успех «Современниц» побудил Ретифа написать продолжение: он выпустил циклы «Французенки», «Парижанки», «Провинциалки»; последний, весьма скабресный цикл носил название «Пале-Руаяль».

В эту пору Ретиф уже расстался с Аньес Лебег. Удалившись в деревню, супруга писателя посвятила себя воспитанию нескольких молодых особ. Одиночество Ретифа скрашивала Виргиния, дочь булочника, которая стоила писателю немалых денег, но приносила мало радости, ибо проматывала его доходы со студентами. Это не мешало ей считать Ретифа скрягой и в конце концов бросить его ради банковского служащего. Единственной мезью Ретифа был «Сорокалетний» — он решил описать свое невеселое приключение и тем хоть частично возместить убытки, понесенные по милости Виргинии. В сорок лет Ретиф уже не покорял с прежней легкостью женские сердца — подтверждение этому он получил пять лет спустя, когда на свое несчастье познакомился с Сарой. С горя он начал писать книгу «Сыч, или Ночной наблюдатель» — черные глаза и орлиный нос, некогда красивый, но постепенно ставший крючковатым, делали его похожим на эту птицу. «Сыч» — предтеча «Парижских ночей».

Когда Ретиф писал «Нового Абеяра», он был влюблен в хорошенькую колбасницу по имени мадемуазель Лондо, — ведь он мог рисовать только с натуры. В книге этой содержатся начатки его «Физики». Колбасница была невежественна, но любознательна и интересовалась астрономией не меньше, чем прекрасная маркиза, с которой вел ученые беседы Фонтенель. Отсюда целая космогония... для хорошеньких колбасниц. Размышления о межпланетных пространствах привели Ретифа к созданию «Летающего чело-

века» — остроумного похвального слова воздухоплаванию. Машина, которая переносит Викторена по воздуху, описана здесь во всех подробностях. Вероятно, Ретифа вдохновлял пример Сирано, который сумел предсказать изобретение Монгольфье.

Наконец вышло сочинение под названием «Жизнь отца моего»; оно не принесло Ретифу столько денег, сколько «Совращенный поселянин», зато снискало ему большую славу у серьезной публики. «Жизнь отца моего» — прелестный в своей простоте рассказ о мирной жизни и скромных добродетелях «правильного человека», которому, как писатель сам признает, ему следовало бы подражать. Эту книгу, где Ретиф вспоминает о былых добродетелях и об утраченной чистоте нравов, словно падший ангел о рае, украшают два портрета — отца автора Эдма Ретифа и его матери Барб Бертро.

За семейной идиллией последовало «Отцовское проклятие» — книга горькая и скорбная, полная ярости и отчаяния. В ее основу легло печальное воспоминание о семейной драме, а также о любви к Зефире, ставшей началом нравственного падения писателя. «Южное открытие» — философское произведение, где много места отведено утопии, — и «Андрограф» относятся к последнему этапу творческого пути Ретифа, когда он за шесть лет написал восемьдесят пять томов. В эту пору писателя постигло большое горе — он потерял друга; друг этот был цензором и содействовал выходу в свет его произведений, кроме того, он часто ссужал Ретифа деньгами. Человек этот (звали его Мэробер) тяготился жизнью. Он был так великодушен, что, решив покончить с собой, заранее подписал цензурные разрешения на несколько новых произведений Ретифа. Забирая разрешения, писатель посвятил Мэробера в свои семейные и денежные неурядицы. Он завидовал судьбе этого человека — молодого, богатого, влиятельного. «Сколько людей, — отвечал ему Мэробер, — слывут счастливыми, меж тем как они глубоко несчастны!» День спустя Ретиф узнал, что его покровитель перерезал себе вены в ванне, а затем прикончил себя выстрелом из пистолета. «Я остался совсем один! — восклицает Ретиф в «Драме Жизни», поведав об этой скорбной кончине. — О боже! злой рок преследует меня! Этот человек мог подарить мне жизнь... Теперь меня ждет небытие!»

Однако другой богатый друг, Бюльтель-Дюмон, заметил Ретифу Мэробера. Он ввел писателя в «смешанное»

общество — тут были и финансисты, и судейские, и литераторы, и кое-кто из знати. В этом обществе, жадном до книг, философии, парадоксов, острот и пикантных историй, блистали актеры, художники и сочинители, здесь бывали Роббе, Ривароль, Гольдони, Караччоли, герцог де Жевр, Преваль, Пеллетье де Мортefonтен. Салоны Дюмона, Превалья и Пеллетье по очереди открывали свои двери этому кружку. Самое глубокое впечатление на Ретифа, все еще чувствовавшего себя в свете новичком, произвела госпожа Монталамбер, отнесшаяся к нему с сочувствием. «Будь я на тридцать лет моложе!» — восклицал он; в «Парижских ночах» он вывел эту очаровательную женщину под именем маркизы, сделав ее добрым гением всех страдальцев, которых он встречал во время ночных прогулок.

Примерно в эту же пору Ретиф познакомился с Бомарше, который, ценя автора «Совращенного поселянина» за двойной талант писателя и наборщика, хотел поставить его во главе своей кельской типографии, где печаталось в ту пору полное собрание сочинений Вольтера. Ретиф отказался, но позже сожалел о своем отказе.

Известность Ретифа росла, и ему открыл свои двери еще один дом — дом Гримо де Ла Реньера-младшего, юноши остроумного и пылкого, но не совсем уравновешенного. У него собирался в те времена весь цвет литературы: Шенье, Трюдены, Мерсье, Фонтан, граф де Нарбонн, шевалье де Кастеллан, позже Ларив, Сен-При и другие. Странности хозяина неизменно проявлялись в распорядке празднеств. Два грандиозных философских пира в духе античности, устроенные Ла Реньером, прогремели на весь Париж. Современность была здесь представлена невероятным количеством кофе. К столу допускали только тех, кто давал слово выпить за обедом двадцать две чашечки. Вторая половина дня посвящалась опытам с электричеством. После этого гости шли в залу, освещенную тремястами шестьюдесятью шестью бумажными фонариками, садились за большой круглый стол, и начинался ужин. Его открывал герольд в костюме Баярда, с копьём в руках. Хозяин дома в черном фраке возглавлял шествие поваров и пажей, несших на серебряных блюдах четырнадцать перемен кушаний; красавицы-служанки в римских туниках подставляли гостям свои распущенные волосы, чтобы те могли вытирать руки.

РЕТИФ-КОММУНИСТ. ЕГО ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ

Того, что мы знаем о необычной жизни Ретифа де Ла Бретонна, вполне достаточно, чтобы без колебаний отнести его к числу тех писателей, которых англичане именуют чудаками. Многие особенности его внешности и нрава уже промелькнули в нашем рассказе, но кое-что стоит добавить. Ретиф был небольшого роста, коренаст и склонен к полноте. В последние годы жизни он сильно опустился и слыл нелюдимом. Как-то раз шевалье де Кюбьер, выйдя из Французской комедии, зашел в лавку вдовы Дюшен за какой-то модной пьесой. Посреди лавки стоял человек в большой шляпе с обвисшими полями, прикрывавшими половину лица. Одет он был в темное драповое пальто, доходившее до середины икр и перетянутое по ясам, — вероятно, чтобы скрыть полноту. Шевалье с любопытством разглядывал его. Незнакомец вынул из кармана маленькую свечку, зажег ее, вставил в фонарь и вышел, ни на кого не глядя и ни с кем не попрощавшись. «Кто этот оригинал?» — спросил Кюбьер. — «Как! вы не знаете? Это Ретиф де Ла Бретонн». Шевалье изумился, услышав известное имя, и на следующий день пришел снова в надежде завязать знакомство с писателем, чьи книги читал с большим удовольствием. Ретиф ничего не ответил на комплименты, которые расточал ему изысканный сочинитель, высоко чтимый в салонах того времени. Кюбьер не обиделся, напротив, его лишь позабавила такая неучтивость. Позже, встретив Ретифа у общих знакомых, он увидел перед собой совсем другого человека, остроумного и сердечного. Кюбьер напомнил Ретифу их первую встречу. — «Чего вы хотите? — сказал Ретиф. — Я человек настроения, в ту пору я писал «Сыча» и дал зарок ни с кем не разговаривать».

Конечно, во всем этом было немало позерства и желанья подражать Руссо. Угрюмость Ретифа возбуждала любопытство в свете, и знатные дамы наперебой старались приручить медведя. Тогда он опять становился любезным, но его вольные манеры и вновь проснувшаяся дерзость — память о тех временах, когда он играл роль Фоблаза из народа, — нередко пугали неосторожных представительниц слабого пола, чей слух внезапно оскорбляла какая-нибудь циничная шутка.

Однажды Ретиф получил приглашение на обед от Сенака де Мейяна, интенданта из Валансьенна; этому господину

и еще несколькими провинциальными буржуа очень хотелось увидеть своими глазами автора «Совращенного поселенца». Среди приглашенных были также академики из Амьена и редактор «Пикардийского листка». Ретифа посадили между некоей госпожой Дени, торговкой муслином, и скромно одетой женщиной, которую он принял за горничную из хорошего дома. Напротив сидел неуклюжий юный провинциал по имени Никодем, а рядом с ним глухой старик, который то и дело вставлял замечания, как на грех не имеющие ни малейшего отношения к предмету разговора. За столом был также маленький опрятный человек в кафтане из белого камлота, который очень важничал и насмехался над политическими и философскими идеями романиста. Некая госпожа Лаваль, торговка малинскими кружевами, наоборот, защищала его и находила, что у него глубокий ум. Дело происходило в 1789 году, и за обедом говорили об отмене привилегий знати, о церковной и законодательной реформах. Ретиф, видя перед собой доверчивых простаков, решил поразить их эксцентрическими идеями. Глухой совершенно невпопад перебивал его и нес чепуху, человек в белом кафтане вставлял то язвительные, то вполне серьезные замечания. В заключение, по обычаю тех времен, литераторы читали свои произведения. Мерсье прочел отрывок о политике, Легран д'Осси — рассуждение об овернских горах. Ретиф изложил свою физическую систему, которую считал более рациональной, чем Бюффонова, и более правдоподобной, чем Ньютонова. Слушатели пришли в восторг и от системы, и от ее автора. Два дня спустя аббат Фонтене, также присутствовавший на обеде, открыл Ретифу, что он стал жертвой мистификации, но, впрочем, выдержал испытание с честью. Торговка муслином оказалась герцогиней де Люин, торговка кружевами — графиней де Лаваль, горничная — герцогиней де Майи; роль Никодема исполнял Матье де Монморанси, глухого — епископ Отенский, а человек в белом кафтане был не кто иной, как аббат Сийес, который, дабы загладить резкость своих замечаний, прислал Ретифу собрание своих трудов. Эти аристократы ожидали увидеть Жан-Жака для бедных во всей его цинической разнузданности, но в зорам их предстал просто хороший рассказчик, подчас чересчур увлекшийся смелыми фантазиями, кавалер не слишком светский и не стесняющийся того, что ест устриц впервые в жизни, но галантный и уделяющий все свое внимание дамам. В самом деле, лишь одно может хотя отчасти оправдать многочисленные грехи писателя, его

немыслимый эгоизм и безрассудство, — он всегда любил женщин страстно, безумно, бескорыстно и преданно. В противном случае его книги было бы невозможно читать.

Мы дошли в нашем рассказе до Революции. Философ, надеявшийся затмить Ньютона, социалист, смелостью своей поражающий чопорного Сийеса, не был республиканцем. Ему, как всем утопистам от Фенелона и Сен-Пьера до Сен-Симона и Фурье, был совершенно безразличен политический строй государства. Он был уверен, что коммунизм, лежащий в основе его учения, возможен под властью монарха, а реформы, предложенные в «Порнографе» и «Гинографе», осуществимы под отеческим надзором доброго лейтенанта полиции. Для Ретифа, как для мусульман, монарх олицетворял всемогущее Государство. Громя *подлую собственность* (как называл он ее тысячу раз), Ретиф не был противником личного имущества и допускал передачу его по наследству на определенных условиях; он признавал и потомственное дворянство, но только в тех случаях, когда дети достойны своих отцов.

Во втором томе «Современниц» Ретиф предлагает проект ассоциации рабочих и торговцев без участия капитала — это самый настоящий обменный банк. Вот пример. Двадцать ремесленников, которые производят различные изделия и сами продают их, живут на одной улице в квартале Сен-Мартен. Из-за политических беспорядков в стране не хватает денег, и обитатели этой улицы, некогда столь процветавшей, принуждены пребывать в праздности. Один золотых дел мастер, побывавший в Германии, предлагает идею объединения жителей улицы по образцу немецких общин: никто ничего не продает и не покупает за деньги; все приобретается только в обмен; пусть булочник берет мясо у мясника, одевается у портного и обувается у сапожника; так же должны поступать и все остальные. Каждый волен брать и отдавать больше или меньше, но по смерти любого члена ассоциации все его имущество поступает в общий котел, и все дети имеют равные права на общее добро; детей воспитывают сообща и в одинаковых условиях; они наследуют профессию отца, имея, однако, возможность выбрать иное ремесло, если у них обнаруживаются иные склонности. Поскольку все члены ассоциации получают одинаковое воспитание, все они равны, включая тех, кто имеет свободные профессии. Браки, за редким исключением, совершаются между членами ассоциации. Община оплачивает судебные издержки; выигранные суммы,

а также деньги, вырученные от продажи товаров на сторону, идут на покупку различного сырья. Таков этот проект, на котором автор, впрочем, не настаивал, предлагая на выбор несколько различных видов ассоциаций и считая, что наиболее выгодный сам собой вытеснит остальные. Что касается старого общества, то его нет нужды упразднить, поскольку в предстоящей борьбе оно все равно обречено на поражение.

Меж тем писатель старел; денежные затруднения и семейные неурядицы угнетали его, и он становился все угрюмее. Единственное, что еще связывало его с миром, были вечерние посещения кафе Манури, где он иногда участвовал в жарких спорах о политике и философии. Несколько завсегдатаев этого кафе, расположенного на набережной Эколь, еще живы и помнят его старый синий плащ и грязное пальто, в которое он кутался в любое время года. Чаще всего он сидел в углу и играл в шахматы. Когда было одиннадцать, он, независимо от того, закончена партия или нет, молча вставал и уходил. Куда он шел? На этот вопрос дают ответ «Парижские ночи». В любую погоду Ретиф бродил вдоль набережных, отдавая предпочтение Сите и острову Сен-Луи; он блуждал по грязным улочкам многолюдных кварталов и возвращался домой, вдоволь наглядывшись на беспорядки и кровавые сцены. Часто он вмешивался в эти темные драмы и, как Дон Кихот, вступался за сирых и убогих. Иногда он действовал уговорами, иногда пользовался тем, что его принимали за переодетого полицейского.

Он выводывал у привратников и слуг, что происходит в том или ином доме, проникал в тайны супружеской жизни, ловил с поличным неверных жен, выпытывал нарождающиеся девичьи секреты, а затем, едва изменив имена и обстоятельства, разглашал все, что знал, в своих произведениях. Отсюда тяжбы и раздоры. Как-то раз некий Э., чью жену Ретиф вывел в «Современницах», чуть не убил его. Обычно Ретиф записывал свои ночные наблюдения по утрам. До обеда он успевал написать целый рассказ, а то и больше. В последние годы жизни ему не на что было купить дров, поэтому зимой он работал в постели, а чтобы уберечься от сквозняков, натягивал поверх колпака штаны. Были у него и другие странности, менявшиеся от произведения к произведению и совсем не походившие на изысканные причуды Гайдна и господина де Бюффона. Он то обрекал себя на молчание, как во времена встречи с Кюбьером, то отпускал бороду и говорил насмешникам:

— Я расстанусь с ней только после того, как допишу роман.

— А если в нем будет несколько томов?

— Их будет пятнадцать.

— Значит, вы сбросите бороду только через пятнадцать лет?

— Не беспокойтесь, юноша, я пишу полтома в день.

Какое громадное состояние нажил бы он в наши дни, ведь он писал быстрее самых неутомимых журнальных писак, кропающих один за другим бесконечные романы с продолжением и отважно спускающихся на самое дно общества. Даже почерк Ретифа — неровный, прыгающий, неразборчивый — говорит о беспорядочности его воображения: мысли теснятся, торопят перо и мешают ему аккуратно выводить букву за буквой. Недаром он терпеть не мог удвоенные согласные и длинные слоги и неизменно сокращал их. Чаще всего ему, как известно, приходилось самому набирать собственные рукописи. В конце концов он приобрел маленькую типографию, где печатал свои произведения с помощью одного-единственного подмастерья.

Революция ничем не могла понравиться Ретифу, ибо вывела на арену политических деятелей, которые не шли дальше подражания грекам и римлянам и были совершенно неспособны оценить его филантропические прожекты и планы переустройства общества. Только Бабеф мог бы осуществить эти мечты, но Ретиф, к тому времени уже разочаровавшийся в собственных идеях, не проявил ни малейшего сочувствия к партии коммунистического трибуна. С появлением ассигнаций все сбережения Ретифа (а у него было не меньше семидесяти четырех тысяч франков), пошли прахом, но народ не проявил такой щедрости, как придворные и вельможи, и не стал собирать для него деньги по подписке. Правда, Мерсье, с которым Ретиф по-прежнему дружил, добился для него премии в две тысячи франков за высоко нравственное произведение и даже предложил его кандидатуру во Французский институт, но услышал высокомерный ответ:

— Ретиф де Ла Бретонн не лишен таланта, но у него совсем нет вкуса.

— Но, господа, — парировал Мерсье, — кто из нас может похвастать талантом?

Многие страницы последних книг Ретифа посвящены революционным событиям. В пятом томе «Драмы жизни» есть несколько диалогов времен Революции. Жаль, что он

не всегда пользовался этим приемом. Ничто так не захватывает, как эти картинки с натуры. Вот, например, одна из сцен; дело происходит 12 июля перед кафе Манури:

«Мужчина, несколько женщин. Ламбеск! Ламбеск!.. В Тюильри убивают!

Торговка лотерейными билетами. Куда же вы бежите?

Бегущий человек. Уводим домой наших жен.

Торговка. Так пусть они бегут одни, а вы возвращайтесь.

Ее жених. Скорей, скорей, назад!»

И все. Но в этих пяти репликах звучит жестокая правда: драгуны Ламбеска свирепствуют, двери закрываются — картина мятежа, ставшая обычной для Парижа.

Далее Ретиф выводит на сцену Колло д'Эрбуа и поздравляет его с «Поселянином-судьей». Но Колло занят одной политикой.

«— Я стальякобинцем, — говорит он. — А вы почему не якобинец?

— Из-за трех очень тяжелых недугов...

— Это уважительная причина. Что до меня, то я всей душой предался общественной деятельности, и ни время мое, ни труды не пропадут даром. Я намерен примкнуть в Робеспьеру; это великий человек.

— Да, несомненно.»

Колло говорит:

«— Я умею произносить речи, я умею себя подать, я умею выражать свои мысли с изяществом. У меня есть потрясающая идея. Я только что закончил «Альманах отца Жерара» — замечательное название. Я постараюсь получить премию за просвещение крестьян, имя мое прогрезит по всем департаментам, какой-нибудь из них назовет меня своим представителем...»

Разве это не исчерпывающий портрет Колло д'Эрбуа? Но Ретиф не ограничивался лаконичными характеристиками; с беглыми набросками соседствуют в его сочинениях страницы, достойные войти в историю, — например, те, которые посвящены Мирабо и озарены светом этой незаурядной личности.

РЕТИФ У МИРАБО

Разговор Ретифа с Мирабо — одна из самых интересных глав в «Мемуарах господина Никола». Автор, страстный любитель псевдонимов, выступает здесь, как и в некоторых более ранних произведениях, под именем Пьера. «Войдя к Мирабо, — вспоминает он, — я увидел человека, который долго таил свои чувства и теперь рад излить душу». Ретиф сказал ему, что сомневается в праведности революции, начавшейся с убийств.

«Я тугодум, — добавил он, — и выказываю храбрость только по зрелом размышлении, отрубленные головы меня испугали... увидев, как две дюжины негодяев волокут тело Бертье, я содрогнулся и стал ощупывать себя, чтобы убедиться, что это тащат не меня... Однако при виде разрушенной Бастилии я испытал прилив радости... Эта ужасная Бастилия внушала мне страх!»

«Тут, — продолжает Ретиф, — Мирабо в восторге пожал мне руку. «Взгляни на меня, — сказал он, — у всех французов вместе взятых меньше жажды действия, чем было в этой голове, увы! теперь она уже не та!.. Это я отдал приказ взять Бастилию, убить де Лоне и Флесселя... Это по моему настоянию король 17 июля приехал в Париж, по моему распоряжению его охраняли, встречали, чествовали... это я, видя, что народ стал утрачивать энтузиазм, приказал одному из своих людей арестовать в Компьене Бертье и привезти в Париж, а накануне его приезда осудил на смерть его тестя, старого Фулона, заставив его искупить грехи министров-тиранов... это я приказал нести голову Фулона на вилах навстречу Бертье — не затем, чтобы отравить последние минуты несчастного, но затем, чтобы этой жестокостью *вдохнуть новые силы* в вялых и легкомысленных парижан... Ты знаешь, что благодаря мне д'Артуа, Конде и их присным — всем этим ничтожным царедворцам и бесстыдным куртизанкам — пришлось бежать, все это дело моих рук, и если революция в конце концов победит, то в один прекрасный день в мою честь воздвигнут храмы и алтари. Помни о том, что я сказал тебе сегодня... Задавай же свои вопросы, я отвечу на них, если сочту нужным.

— А Версаль 5 и 6 октября?

— Версаль! — вскричал Мирабо. Он помолчал, меряя комнату быстрыми шагами. — Версаль! это мой шедевр... Ну, что же ты?

— Я слушаю тебя, и клянусь в нерушимом молчании!

— Не знаю, что ты хочешь сказать, у тебя ведь своя терминология: ты нарушаешь не молчание, а грамматику!.. Знай, это я заставил переехать в Париж Национальное собрание, и короля, и двор. Герцог Орлеанский не имел к этому никакого отношения, хотя расплачиваться пришлось ему... Подумать только, какими смехотворными сведениями располагал подлый Шатле, назначенный мною для разбирательства преступлений против нации, — из него могло бы выйти что-нибудь путное, не будь судьи престарелыми болванами!.. Страшная, но поучительная казнь Фулона и Бертье (она-то и вызвала всеобщий ужас, Бастилия, де Лоне и Флессель испугали только двор) — эта казнь взорвала всю подлую олигархию священников, судейских крючков и даже духовных судей, во главе которой хотел встать мой брат: когда наши родители зачинали беднягу, мой отец мнил себя писателем, а мать пила горькую, поэтому и он не просыхает... Я давно предчувствовал, что, оставаясь в Версале, в окружении королевских и швейцарских гвардейцев, которые от любой улыбки, от ничтожной милости могут переметнуться на сторону двора, мы многого не достигнем; я уладил это дело недогнувшей рукой. Я не покушался ни на чью жизнь, я хотел, чтобы народ пресытился анархией, как во время пятидневного междуцарствия удранных персов, — тогда я вернул бы трон королю, а сам стал бы при нем временщиком... Но из-за мелюзги вроде распутниц с улицы Жан-Сен-Дени начались беспорядки. Я сумел пресечь их с помощью своих посланцев. Среди этих несчастных нашлись такие, которые вздумали угрожать королеве, узнав об этом, я приказал незаметно убрать их. Волнения захватили весь Париж, всех его обитателей, порядочных, непорядочных, малопорядочных, шлюх, замужних женщин и юных девушек, храбрецов и трусов, даже малыш Нугаре из Ла Рошели не захотел отставать от других и устремился вслед за егерем Жоссом, в недавнем прошлом книгопродавцем... Я хохотал от всего сердца, мне казалось, будто я вижу бой ослов перед входом в кабак, — прости мне мое гаерство, быть может, последнее в жизни, меня подвигло на него скопище дурных актеров... Камиль Демулен рядом с Дюрозуа, Руаю в роли портняжки, Жоффруа в роли сапожника, аббат Понселен — трубочист, Малле дю Пан — кладбищенский писарь, Дюсье и Сотеро — колбасники, аббат Ноэль и Ривароль — цирюльники...»

Перечисление продолжается, превращаясь в сатиру на авторов того времени; в нем появляется даже некая

авторица, которая, сидя верхом на пушке, кричит: «Моя роза первому герою!» — «У вас их миллион?» — осведомляется какой-то энтузиаст. Себя Мирабо сравнивает с Жаном-Зубодробителем, а после шутовского рассказа о своих подвигах он сетует на то, что враги подкупили его любовницу, молоденькую еврейку по имени Эстер Номит... «Но мне все известно, — добавляет он, — и я обманываю Далилу вместе с филистимлянами».

Затем разговор перекидывается на отмену привилегий знати и церковную реформу; беседа перемежается паузами и странными *a parte* *, как в «Племяннике Рамо». Мирабо пускается в долгие рассуждения; время от времени он останавливается, чтобы перевести дыхание, и говорит себе-седнику: «Ну что же ты, продолжай, я слушаю... я ведь знаю, ты любишь поболтать...» Но не успевает Ретиф раскрыть рот, как Мирабо уже кричит: «О глупец!.. Бедняга! когда-то ты был более красноречив!» Затем он принимается рассуждать об имуществе церкви и жалуется, что его противник аббат Мори не проявил в выступлении по этому вопросу должного таланта. «Вот что сказал бы на его месте я!» — восклицает он и, мечась по комнате, как лев по клетке, произносит речь от имени аббата Мори. Он настолько входит в роль, что время от времени замолкает, удивляясь, почему не слышно рукоплесканий. Он сам аплодирует себе, рыдает над придуманными им самим убедительными доводами противника, потом, когда волнение, в которое он сам себя привел, стихает, отирает пот со лба, взлохмачивает свою черную гриву и говорит: «А если бы у Мори хватило ума говорить так, я ответил бы ему вот что...» Новая речь длится час; заключительная ее часть начинается словами: «Итак, господа, буду краток...» В конце концов он замечает, что надрывал легкие ради одного-единственного слушателя, и раздражается смехом.

Беседа возвращается в прежнее русло; разговор заходит о Неккере:

«Он прославился, потому что ему случайно выпала славная роль... Впрочем, и в этой роли он выглядит ничтожнее, чем в обычной ж и з н и, — как всякая посредственность... Его призвание — быть старшим приказчиком, эта должность, возможно, оказалась бы ему по плечу, ибо он не был бы на виду. А ныне он имеет весьма жалкий вид — неспособный на решительные действия, он малодушно встает на

* Реплика в сторону (*ut.*).

сторону знати, которая его ненавидит и презирает. Он удивлен тем, что совершил, — вечный удел дураков и мелких негодяев... Сам посуди, какое презрение испытываю к подобного рода людишкам я — я, который мог бы пойти один против целого миллиона! Эх! Сколько в Национальном собрании людей, которые кажутся похожими на Мирабо, но, лишившись поддержки депутатов, сразу превратились бы в Неккеров!.. Нет, друг мой, среди них нет никого, кто мог бы совершить в одиночку столько, сколько совершил я. Когда судьба самовластных министров оказалась в моих жилистых руках, я схватил их за глотку, я сказал им: «Борьба не на жизнь, а на смерть! Или я, или вы!» Я был уже близок к победе... Но они подставили мне подножку...

— В самом деле, дорогой Рикетти, — отвечает Ретиф, — вы, я думаю, были бы великим министром!.. На этом посту вы могли бы обрести самую высокую славу: славу ревнителя народного блага!..

— Так, значит, и ты затвердил эти прописные истины, которые обожают наши горе-философы! Народ, народ! Народ существует ради достойных людей, которые являют собой мозг рода человеческого: он должен обрести счастье только нашими стараниями и ради нашего блага. Моисей был мозгом евреев, Магомет — мозгом арабов, Людовик XIV при всей своей ничтожности целых сорок лет был мозгом французов... А ныне мозг французов — это я.

Тут Ретиф спрашивает его, является ли свобода благом для отдельной личности.

— Свобода, — отвечает Мирабо, — не идет на пользу детям, дуракам, сумасшедшим... людям, которые не сошли с ума окончательно, но утратили способность здраво судить о вещах, — таковы все мерзавцы, придурки и злодеи, — а также людям слишком страстным, каким случалось бывать и мне, — игрокам, развратникам, пьяницам, одним словом, трем четвертям человечества!..

— *Республицизм!* — добавляет он, — как его понимают Робеспьер и некоторые другие, — это анархизм, утопия. Те, кто стоит во главе нашего Национального собрания, опираются на людей ничтожных. Камиль Демулен кричит, злословит, вечно бунтует, плохо говорит, хорошо пишет, Дантон, темная лошадка, — плут, эгоист, законченный негодяй, каким кое-кто считает меня. Бывший капуцин Шабо, который мечется, суетится, крутится как белка в колесе, — тоже интриган, Гранженев — человек порядочный, но чересчур экзальтированный... О! как мне жаль

нацию, которой будут править эти безумцы! Как мне жаль нацию, которая попадет во власть ничтожеств, заполонивших Национальное собрание! Толпа прокуроров и адвокатов, Шапелье, Сюмаков и прочая, и прочая отравляют Собрание своими кознями и ябедами... Друг мой, если меня не станет, сколько зла наделают эти торговцы пухом и пером!.. Попомните мои слова: если волею случая этот презренный болван Робеспьер победит своих соперников, он тут же даст волю своей чопорности, мстительности, жестокости... Только я один мог бы его остановить...»

Вскоре после этой встречи Мирабо умер. «Меня не допустили к нему, когда он был при смерти, — пишет Ретиф, — потому что я не был известен его друзьям во главе с господином Кабанисом... Ах! будь жив Преваль, Мирабо бы не умер!» Преваль был врач, не раз спасавший жизнь Ретифу.

Ретиф считал смерть Мирабо причиной окончательного падения монархии. Лишившись этой последней поддержки и, — поддержки, конечно, корыстной, поскольку Мирабо рассчитывал стать своего рода *временщиком*, — Людовик XVI и Мария Антуанетта решились бежать за границу... «Этот человек, — говорит Ретиф в другом месте, — был последней надеждой родины, его пороки могли спасти ее... а добродетели глупцов вроде Шамийера и д'Ормессона ее погубили». И, возвращаясь к собственным невзгодам — потере семидесяти тысяч франков из-за обесценения ассигнаций, — Ретиф с горечью вспоминает слова Мирабо: «Я бы засек хлыстом из бычьих жил всякого, кто торгует деньгами, и сжег заживо или растолок в ступе всякого, кто обесценивает ассигнации».

СТАРОСТЬ РОМАНИСТА

В эту эпоху Ретиф часто бывал в Пале-Руаяле; там обривалась своего рода биржа, где можно было узнать курс ассигнаций. Состояние писателя таяло на глазах и вместе с ним таяли надежды на благоприятный исход событий; последние тома «Парижских ночей» полны проклятий по адресу биржевых игроков, которые взвинчивают цены на золото, лишая какой бы то ни было цены республиканские ассигнации. Из Пале-Руаяля Ретиф обыкновенно шел в «Погребок» — средства уже не позволяли ему посещать кафе Манури. Изредка ассигнации вдруг поднимались в

цене — тогда он приглашал нескольких дам сомнительной репутации на ужин во «Фламандский грот», где еще можно было устроить шумное пиршество задешево. Из-за жизненных невзгод разум его порой мутился, и тогда он готов был во всякой красотке со стройными ножками в изящных туфельках видеть плод одной из многочисленных побед своей юности. Вероятно, красотки нередко злоупотребляли этой навязчивой идеей, чтобы добиться от новоявленного папаша подарков и приглашений на ужин.

Неразговорчивый и очень осторожный в беседах на политические темы, Ретиф благополучно пережил эпоху Террора. Он знал цену людям и презирал партийные распри. Происходившее на его глазах ни в коей мере не отвечало его чаяниям. О коммунизме не было и речи; самое большее, на что отважились якобинцы — на идею о перераспределении имущества, то есть об иной форме собственности — собственности раздробленной, общедоступной. Что касается пантеизма, то кто думал о нем, кроме горстки ясновидцев?.. Кругом были одни безбожники. Устроенное Робеспьером празднество Верховного существа показалось Ретифу весьма слабой попыткой философического обновления, и все же он испытал некоторое сожаление, когда Робеспьера свергли люди, которые были *еще хуже*. С этого времени кумиром Ретифа стал Бонапарт. В мистических творениях последних лет писатель называет его духом согласия, явившимся с планеты Сириус, дабы спасти Францию. Понять это странное утверждение можно, лишь имея представление о последней книге Ретифа «Письма из могилы», вышедшей под именем Казота.

В основу двух первых томов этого произведения, которые, как утверждает Ретиф в «Мемуарах», были частично написаны Казотом, положена замечательная идея графини де Богарне. Молодой человек по имени Фонтлет влюблен в жену судьи; судья очень стар, и жена, жертва брака по расчету, намеревается после его смерти выйти замуж за Фонтлета. Молодой человек томится в ожидании; в приливе отчаяния он решает покончить с собой и принимает опиум. Тут-то и приходит известие о смерти судьи. Вне себя от горя юноша бежит к врачу, и тот дает ему противоядие. Фонтлет радуется, что спасен; вскоре он женится на любимой, но через несколько дней после свадьбы его охватывает непонятная слабость. Он обращается к врачам. Оказывается, яд продолжает свою разрушительную работу и жить больному осталось не больше года. Его не так страшит смерть,

как мысль о расставании с молодой женой; конечно, она порядочная женщина, но что помешает ей снова выйти замуж? Тогда ему приходит в голову диковинная мысль — удалиться от жены и постараться, чтобы она не знала о его смерти. Несчастный просит министра послать его в Италию и отправляется во Флоренцию, якобы по делу государственной важности. Под разными предлогами он продлевает свое пребывание там, и все это время сочиняет письма к жене, делая вид, что написаны они из разных мест и в разное время, как если бы его постоянно посылали из страны в страну, не давая возможности вернуться домой. Верные друзья в самом деле несколько лет шлют эти письма бедной вдове, не ведающей о своем вдовстве. Загробный корреспондент хотел доказать жене, увлеченной модными материалистическими идеями, лишь одно: душа переживает тело и в иных сферах вновь встречается с любимыми существами. Таков сюжет романа, который был бы очень хорош, если бы Ретиф, язычник-спиритуалист, не черпал большую часть своих доводов в учениях индусов и египтян. Душа у него то переселяется через тысячу лет в другое тело, как у древних, то поднимается к светилам и находит там бесчисленные круги рая, как у Сведенборга, то растворяется в эфире, а затем превращается в крылатого ангела, как у Дюпона де Немура; но ни одну из этих гипотез Ретиф не разделяет полностью, у него есть собственная система — целая космогония, в которой немало сходного с системой Фурье. Персонаж по имени Мультиплиандр обрел чудесную способность, освободив душу от телесной оболочки, посещать другие планеты и звезды, а при желании вновь возвращаться в человеческое *рублице*. Он обосновался в гроте, затерянном среди альпийских снегов; натеревшись особыми мазями, он влезает в крепкий ларь, где его не тронут медведи, и приводит себя в состояние экстаза и бесчувственности, в каком некоторые индийские дервиши, по слухам, пребывают месяцами. Далее следует описание планет, солнц и комето-планет, не уступающее в смелости нынешним головокружительным гипотезам. Описание это весьма курьезно; хотя автор несомненно знаком с научными теориями, Луна у него лишена атмосферы, на Марсе обитают рыбы с хоботами, а на Солнце живут люди такого гигантского роста, что путешественник не находит иного собеседника, кроме клеща, который разглагольствует по одежде солнечного жителя: это насекомое имеет всего одно лье в высоту, а умом хотя и превосходит людей, но все же ушло от них не слишком далеко. Клещ объясняет

Мультиплиандру, что Верховное существо — не что иное, как огромное главное солнце, мозг мира, дающий жизнь остальным солнцам; каждое из них живет, мыслит и порождает комето-планеты, то есть выталкивает их в пространство, почти как астра в наших садах роняет свои семена. Комето-планеты похожи на то, что сегодня называют туманностями, — они плавают в эфире, как рыбы в воде, совокупаются и производят на свет мелкие астероиды. Умирая, они останавливают свой бег и превращаются в спутники или планеты. В этом состоянии они пребывают несколько миллиардов лет; растения, животные и люди — суть продукты их разложения. По мере того, как гниение усиливается, виды приходят в упадок; постепенно планета окончательно разлагается или усыхает и рано или поздно становится добычей какого-либо солнца, которое ее пожирает, дабы возродить ее элементы в новой форме. Этим познания солнечного клеща исчерпываются, но и то, что он рассказал, решительно выходит за грани человеческого разума. В конце романа Мультиплиандр выводит породу крылатых людей, которыми намеревается населить землю. Впрочем, большая часть гипотез, изложенных в этой книге, уже была осмеяна в «Микромегасе» и «Гулливере»; только благодаря этому ее можно читать.

Пожалуй, ни один из сочинителей не обладал таким мощным воображением, как Ретиф. И тем не менее ему всю жизнь приходилось бороться с безразличием публики. Горячее сердце, живое перо, железная воля — всего этого недостаточно, чтобы стать хорошим писателем. Энергии Ретифа хватило бы на нескольких людей; терпения и решительности — на нескольких авторов. Дидро был сдержаннее, Бомарше искуснее, но посещало ли их то пылкое и трепетное вдохновение, которое не всегда порождает шедевры, но без которого шедевры не появляются на свет? Всякому знаком стиль Ретифа, ибо всякому случалось раскрыть хотя один из его романов, хотя в этом и не принято сознаваться. Слово Энниего жемчужное зерно среди навоза, в книгах его нет-нет да и сверкнет фраза, достойная классиков. Одну из таких фраз мы уже приводили: «Добронравие как ожерелье; стоит развязать нитку — и оно рассыплется». Ретифу ничего не стоит создать портрет одним росчерком пера: «Мирабо служил патриотам, как Сантей хвалил святых, — скрепя сердце». Когда ему не хватает слова, он его придумывает, порой удачно. Так, под его пером рождаются *цитерическая улыбка*, *малоточность*

женщин... «Я химерствовал, — пишет он, — в ожидании счастья».

Ища истоки творчества Ретифа де Ла Бретонна, скажем, что экстравагантность его гипотез восходит к Сирано де Бержераку, склонность морализировать, прибегая к грубоватым шуткам и каламбурам, роднит его с Фюретьером, а дерзкая галльская безнравственность сближает с д'Обинье; однако, в отличие от предшественников, он совершенно не знал меры и то грешил манерностью и жеманством, то называл своими именами вещи, о которых было бы лучше умолчать. Как Вольтер, к чьей школе он себя с гордостью причислял, он терпеть не мог критиков, газетных писак, и часто нападал на них, не стесняясь в выражениях. Он называет их то *бесчестными плутами*, то *бессердечными развратниками*; Лагарп у него — *глухое животное*, которому место в *сточной канаве*, Фрерон — *болван*, Жоффруа — *педант*. Де Марси, издатель «Альманаха муз», которого оставил равнодушным «Совращенный поселянин», — просто *скотина*. Конечно, всем этим кличкам далеко до тех «любезностей», на которые был щедр Фернейский старец, но Ретиф не мог позволить себе такие резкие высказывания. Однако он нападал даже на тех критиков, которые отнеслись к нему вполне благосклонно, так что в конце концов его окружил заговор молчания. Пришлось ему самолично сообщать о выходе своих книг, самолично издавать и продавать их. Книготорговцы его недолюбливали, потому что стоило ввести его в дом, как он начинал разглашать секреты их жен, волокаться за их дочерьми, рисовать их портреты и рассказывать об их любовных похождениях. Анаграммы, к которым он охотно прибегал, были слишком прозрачны и отнюдь не всегда могли сбить любопытных с толку. Меригот у него превращался в Торигема, Венте — в Этнева, Костард — в Дратсока и т. д. Поэтому ничего удивительного, что на его последних книгах стоит простое указание: «Напечатано в собственной типографии автора и продается у Марион Ретиф, улица Бюшери, 27». Все сказанное отчасти объясняет, почему его последние произведения не имели успеха и почему он решил издать самое замечательное из них, «Письма из могилы», под именем Казота, которому, впрочем, принадлежит частично замысел этого произведения, насквозь проникнутого мистицизмом.

Ходили слухи, будто Ретиф умер в нищете. Это неверно. В самом деле, когда ассигнации резко упали в цене, он потерял свои сбережения; во время Революции он выручал от

продажи своих книг сущие пустяки, да и те уходили на содержание семьи. Однако несколько друзей: Мерсье, Карно и госпожа де Богарне — поддерживали его в самые трудные минуты, а когда положение в стране стало более спокойным, друзья выхлопотали ему доходное место, и до самой смерти (он умер в 1806 году) он получал четыре тысячи франков в год.

В 1811 году Кюбьер-Пальмезо опубликовал произведение Ретифа под названием «История подруг Марии». В первом томе напечатана принадлежащая его перу биография Ретифа, остроумная и во многом справедливая. Кюбьер приводит один штрих, доказывающий, что, будучи коммунистом, Ретиф не был врагом монархии. Один из его старых друзей стал членом Конвента. В день суда над Людовиком XVI Ретиф ждал своего друга у выхода из залы Национального собрания:

— Вы голосовали за смерть короля?

— Нет.

— Ваше счастье, а то бы я размозжил вам голову.

Полное собрание сочинений Ретифа де Ла Бретонна занимает более двухсот томов. В нашем повествовании мы не упомянули о нескольких романах-памфлетах, например, о «Неверной жене» и «Простушке Саксанкур»; первый из них направлен против жены писателя Аньес Лебег, второй — против его зятя Оже. Под конец жизни неудержимое стремление выносить на суд публики свои семейные распри превратилось у романиста в настоящую болезнь из тех, что медики относят к разновидностям ипохондрии. Понятно, что от человека в таком расположении духа нечего ждать справедливости. Это поняла даже его жена: в письме к Кюбьеру, который спрашивал ее о характере Ретифа, она только и говорит, что о его доброте и любви к человечеству, хотя у него, как почти у всех утопистов, чувства эти отнюдь не всегда распространялись на друзей и близких.

Мы рассказали, быть может, даже слишком подробно, об одном из тех людей, чья жизнь помогает понять нравственные причины, приведшие нас к Революции. Катаклизмы выбрасывают на поверхность неведомые материи, таинственные субстраты, уродливые создания, которые насыщают любопытство, порождают смелые гипотезы, изумляют ум, видящий в них семена нового мира. Однако эта плесень, следствие болезни, продукт разложения, бессмысленная смесь разнородных субстанций — шаткая опора для грядущих поколений; было бы безумием верить в нее. Разум

человеческий уподобился бы в этом случае блуждающим огням — кажется, будто они мерцают среди обширных лугов, а между тем под этим роскошным травяным покровом таится смрадная трясина. Подлинный гений твердо стоит на земле и если на мгновение вглядывается в туман, то лишь для того, чтобы озарить его своим светом и рассеять своими мощными лучами.

Еще не родился человек высшего ума и сердца, который, постигнув истинную меру вещей, примирил бы враждующие силы и вернул покой потрясенным душам. Мы по-прежнему являемся жертвами бездарных софистов, которые в тысяче форм развивают идеи, даже не являющиеся их собственным изобретением. С ними заодно и расплодившиеся в последнее время наблюдатели и аналитики средней руки, которые изучают дух человеческий только в его ничтожных или болезненных проявлениях и, с удовольствием углубляясь в изучение всякой патологии, взирают на уродливые аномалии, следствия разложения и болезни, с такой любовью и восхищением, с какой естествоиспытатель созерцает самые прелестные разновидности нормальных существ.

Пример частной жизни и литературной деятельности Ретифа де Ла Бретонна доказывает, что нет подлинного характера без нравственности, как нет гения без вкуса. Искренность его раскаяния и несчастья, которыми он заплатился за свои дурные поступки, искупают, как нам кажется, нескромность иных его признаний. Жизнь Ретифа поучительна именно в ее целокупности: излишняя сдержанность повредила бы ее нравственному действию.

**А. де ВИНЬИ
СТЕЛЛО,
или СИНИЕ ДЕМОНЫ**

«Анализ — это лот. Заброшенный в глубь Океана, он устрашает и повергает в смятение Слабого, зато ободряет и ведет вперед Сильного, который держит его твердой рукой»

(Черный Доктор)

1. Характер больного

Стелло родился на свет счастливым под покровительством самой благоприятной из небесных звезд. Говорят, удача сопутствовала ему с детства. Все великие мировые события неизменно завершались так, что содействовали устройству и чудесному разрешению событий его частной жизни, как бы смутны и противоречивы эти последние ни оказывались; поему он никогда не тревожится, если нить его существования вдруг запутывается, перекручивается и покрывается узлами в руках Судьбы: он не сомневается, что Судьба сама позаботится расправить эту нить наилучшим образом и пустит в ход всю ловкость своих пальцев при свете благодетельной и неусыпно хранящей его звезды. Говорят, звезда эта не изменяет ему и в мелочах и даже готова порой влиять ради него на причуды самих времен года. Солнце и тучи появляются в небе сообразно с его надобностью. Бывают такие люди.

Однако случаются в году дни, когда его охватывает неизъяснимая мучительная скорбь: вызвать ее может малейшее душевное огорчение, и приближение ее он угадывает за несколько дней. Тогда, подобно всем живым тварям, предчувствующим опасность, он пускается в неутомимую и хлопотливую деятельность, стремясь отворотить беду. В это время он ко всем без исключения расположен, со всеми любезен и ни на кого ни за что не сердится. Злоумышлять против него, тиранить его, преследовать, возводить на него клевету значит поистине благодетельствовать его; известие о причиненном ему зле он встречает с неизменной своей улыбкой, исполненной снисходительности и всепрощения. В этот миг он счастлив, как бывают счастливы слепые, когда с ними заговорят; ибо, если глухого мы постоянно видим хмурым, то лишь потому, что он лишен звуков человеческой речи; слепой же, напротив, всегда выглядит радостным и

улыбающимся, ибо мы видим его в тот момент, когда человеческий голос дарит ему утешение. Подобным счастьем счастлив и Стелло: в преддверии приступа уныния и тоски внешняя жизнь со всеми ее тяготами и горестями, со всеми ударами, которые наносит она душе и телу, милее ему, нежели одиночество, пронизанное опасением, что любой пустяковый сердечный укол может повлечь за собой один из роковых припадков. Одиночество отравлено для него, как воздух Лациума. Он понимает это и тем не менее предается ему, ясно сознавая, что оно сулит лишь холодное отчаяние, которое есть сама безнадежность. Ах, лишь бы та неизвестная нам женщина, что им любима, не покидала его в эту пору мрачной тревоги!

Вчера утром Стелло за час изменился сильнее, чем за двадцать дней болезни: взгляд его сделался неподвижным, губы бледными; голова склонилась к груди, сокрушенная угрюмым натиском неизбывной печали.

В этом состоянии, неумолимо предшествующем нервным головным болям, в которые не верят обыкновенно люди здоровые и краснощекие, какими во множестве полны улицы, он одетый лежал на диване; вдруг дверь к великой его радости отворилась, и вошел Черный Доктор.

2. Симптомы

— Ах! Слава милосердному Богу! — воскликнул Стелло, взглянув на вошедшего, — я вижу перед собой живое существо! И это не кто-нибудь, а вы, вы, врачеватель душ, тогда как другие умеют в лучшем случае врачевать только тело; вы, прозревающий самую суть там, где прочим видна лишь оболочка да форма! Вы не порождение фантазии, дорогой Доктор, вы совершенно реальны, вы человек, который живет от скуки и от скуки когда-нибудь умрет. Черт побери, Доктор, что я люблю в вас, так это то, что вы так же мрачны в обществе людей, как я в одиночестве. Не потому ли и называют вас «Черным» в этом прекраснейшем квартале Парижа? Или, быть может, причиной тому — ваш черный кафтан и черный жилет? Мне это неведомо, однако, Доктор, я хочу поскорее поведать вам о своих страданиях и послушать, что вы о них думаете, ибо для всякого больного истинное наслаждение — поговорить о себе и заставить это делать других: наше выздоровление наполовину зависит от этого.

Так вот, должен сказать вам без околичностей, сегодня с утра меня мучает сплин, причем сплин тяжелейший, и с той минуты, как меня оставили одного, все, на что бы ни упал мой взор, вызывает у меня глубокое отвращение. Мне ненавистно солнце и отвратителен дождь. Солнце слишком помпезно для усталых очей больного и кажется просто бесстыдным выскочкой. А дождь! — ах, из всех бичей, которыми наказывает нас небо, это, по моему мнению, наихудший. Пожалуй, на него-то я сегодня и взвалю вину за свои мучения. В какой бы символической форме представить вам эту ужасающую пытку? Ах, кажется, я вижу тут некую возможность, благодаря одному покойному ученому. Честь и хвала славному доктору Галлю (мне этот бедный череп был знаком)! Он так замечательно пронумеровал все участки человеческого мозга, что по его карте можно ориентироваться, как по карте департамента: теперь, получив удар по голове, мы достоверно знаем, какой именно из способностей нашего рассудка рискуем лишиться.

Так вот, друг мой, да будет вам известно, что в этот час, когда душа моя жестоко истерзана тайным томлением, все дьяволы мигрени собрались вокруг моей головы, и я чувствую, как они трудятся над черепом, всячески стараясь расколоть его. Их действия подобны действиям Ганнибала в Альпах. Вы-то не можете их увидеть: ах, если бы и меня доктора умели избавить от этого удовольствия! Есть там один маленький бесенок, ростом не больше мошки, щупленький и совершенно черный: он орудует непомерной длины пилой и уже более чем до середины вогнал ее в мой лоб. Он ведет ее, следуя направлению кривой линии, которая тянется от бугорка Идеалов № 19 до выпуклости Мелодий № 32, что возле левого глаза, а там, в изгибе брови, под шишкой Порядка, копошатся, словно маленькие пиявки, пятеро дьяволят: они висят, цепляясь друг за дружку, на кончике пилы, чтобы она поглубже вонзилась в голову, двое из них к тому же имеют обязанность постоянно вливать в незримую брешь, которую проделывает зазубренное острие, кипящее масло, пылающее, как пунш, и весьма мало похожее по своему действию на целительный бальзам. Прodelки еще одного крохотного разъяренного демона, наверно, заставили бы меня кричать, если бы не известная вам привычка, несносная, но непобедимая, вести себя благопристойно. Этот бес избрал своей обителью огромный бугор Доброжелательства, на самой верхушке черепа, где и воцарился полновластно. Усевшись поудобнее — ибо он

знал, что работа предстоит долгая, — и держа в своих маленьких ручках бурав, он вкручивает его мне в мозг с таким поразительным проворством, что вы скоро увидите, как тот выйдет у меня из подбородка. Имеются также два крошечных гнома, неразличимых никаким глазом, будь то даже под микроскопом, которым орудовал бы, к примеру, сырный клещ. Эти двое — мои самые ярые и самые грозные враги, они установили железный клин прямо посередине так называемой выпуклости Чудесного: один держит клин в вертикальном положении и, налегая изо всех сил плечом, руками и головой, старается всадить его поглубже, второй, вооружившись исполинским молотом, бьет по ужасному клину, как по наковальне; широко расставив ноги и даже приседая от усилия, он стучит без передышки и всякий раз, ударив, с хохотом откидывается назад, каждый из этих ударов производит в моем мозгу грохот, равный грохоту пятисот девяноста четырех пушек, палящих разом по пятистам девяноста четырем тысячам солдат, наступающих стремительным маршем под раскаты ружейных выстрелов, барабанов и тамтамов. При каждом ударе глаза мои сами собой закрываются, в ушах стоит звон, и холодеют ноги. Увы, увы! мой Бог, почему ты позволил этим маленьким чудовищам напасть на выпуклость Чудесного? Это была самая большая выпуклость моего черепа, я обязан ей несколькими стихотворениями, возносившими мою душу в неведомую высь, и всеми моими дорогими и тайными безумствами. Если они разрушат ее, то что же останется мне в нашем сумрачном мире? Эта божественная выпуклость дарила мне дивные утешения. Она — словно маленький купол, под который взмывает моя душа, дабы себя созерцать и, если возможно, познать, там она предается сетованиям и молитвам и упивается образами, чистыми, как картины Рафаэля, нареченного небесным именем, и яркими, как творения Рубенса, чье имя рдеет рубиновым пламенем (о чудесное сочетание!). Там умиротворенной душе моей являлись тысячи поэтических иллюзий, воспоминания о них я в меру сил старался запечатлеть на бумаге, и вот — на это убежище безжалостно набросились незримые адские силы! Страшные детища уныния, что сделал я вам? Оставьте же меня, о холодные неутомимые демоны, вы, что снуете сейчас по каждому моему нерву, леденя его своими прикосновениями и скользя по этим натянутым канатам, словно ловкие танцоры! Ах, друг мой, если бы вы только могли видеть этих свирепых дьяволов, вы были бы поражены, что я еще в силах

переносить жизнь. Вот, пожалуйста, теперь они все набросились на шишку Надежды. Как давно взялись они подкапывать и перепахивать этот холм, бросая на ветер все, что им удастся от него оторвать! Увы, мой друг, они превратили его в долину, такую глубокую и плоскую, что там может расположиться ваша ладонь.

Произнеся последние слова, Стелло опустил голову и обхватил ее обеими руками. Он тяжело вздохнул и умолк.

Доктор оставался холоден, как статуя Царя в Санкт-Петербурге зимой.

— Вас мучают Синие демоны, — сказал он, — болезнь, которая по-английски называется Blue devils.

3. Следствие болезни

Стелло тихим голосом продолжал:

— Мне необходимо услышать от вас кое-какие серьезные советы, о самый холодный из докторов! Я сейчас вопрошаю вас, как еще вчера вопрошал собственную голову, ибо предполагал таковой. Однако ныне она отказывается мне служить, и у меня не остается ничего, что охранило бы меня от неистовых порывов сердца, оно ранено, оно удручено и совершенно готово от отчаяния посвятить себя служению какой-нибудь политической идее и начать диктовать мне сочинения во славу прекраснейшей из форм правления, которую я сейчас подробно вам опишу...

— О силы небесные! — воскликнул Черный Доктор, стремительно вставая, — подумать только, до какого умопомрачения отчаяние и Синие демоны могут довести Поэта!

Он снова сел и, поставив трость между колен, принялся с глубокой сосредоточенностью водить ею по линиям паркета, словно вымеряя площадь квадратиков и ромбов. На самом же деле у него и в мыслях не было ничего подобного, он просто ждал, чтобы Стелло заговорил снова. Прождав минут пять, Доктор заметил, что его пациент впал в полную протрацию, из которой он его немедленно вывел, произнеся следующее:

— Я хочу рассказать вам...

Стелло резко подскочил на диване.

— Вы напугали меня, — сказал он, — я думал, что я один.

— Я хочу рассказать вам, — продолжал Доктор, — три небольших истории, которые послужат вам превосходным

лекарством против посетившего вас странного искушения посвятить свои писания преходящим надобностям политики.

— Увы, увy! — вздохнул Стелло, неужели мы что-нибудь выиграем, подавив это прекрасное движение моего сердца?

— Оно еще глубже ввергнет вас во мрак.

— Оно может лишь вывести меня из него, возразил Стелло, ибо я серьезно боюсь в один прекрасный день задохнуться от презрения.

— Презирайте, но не задыхайтесь, — невозмутимо отвечал Доктор. Если верно, что можно исцелить подобное подобным, превратив яд в противоядие, то я вылечу вас, усугубив для начала ваш недуг. Слушайте же.

— Погодите! — воскликнул Стелло. — Давайте прежде условимся о предмете вашего повествования и о манере изложения, которую вы намерены избрать. Хочу сразу же предупредить вас, что мне надоело слушать о вечной войне между Собственностью и Способностью: первая, подобно неподвижному изваянию бога Терма, чьи ноги и туловище слиты с межевым камнем, снисходительно взирает на свою соперницу с крыльями на голове и на ногах, которая порхает вокруг на привязи, то и дело давая крылом пощечину надменному и холодному врагу. Какому философу под силу решить, кто из них заносчивее? Я, со своей стороны, готов поклясться, что первая — глупей, а вторая — вздорней. Как видите, наше общество колеблется между двумя смертными грехами: Гордыней, породившей всякого рода аристократии, и Завистью, матерью всевозможных демократий!

Так что, прошу вас, избавьте меня от этого сюжета, а что же до манеры, то, ради всего святого, если возможно, сделайте так, чтобы я ее не заметил, ибо меня давно утомляют ее ужимки. Ради господ бога, выберите какую-нибудь манеру совсем простенькую и расскажите мне — если ваши рассказы и вправду излечивают от всех болезней, — расскажите мне какую-нибудь умиротворяющую историю, без надрыва, не слишком обжигающую, но и не холодную: что-нибудь незамысловатое, обстоятельное и приторное, вроде «Книдского храма», пусть это будет какая-нибудь картина в розовых и серых тонах с гирляндами дурного вкуса — главное, чтобы были гирлянды, о, побольше гирлянд, умоляю вас, друг мой! И нимфы, заклиною! нимфы с округлыми руками, которые подрезают крылья Амурам, выпархивающим из маленькой клетки! Пусть будут

клетки! клетки, луки, колчаны, о! маленькие прелестные колчанчики! Не скупитесь на виньетки, пламенные сердца и храмы с колоннами из благоуханного дерева! Да, и мускус! пожалуйста, не жалейте мускуса старых добрых времен! О, добрые времена! прошу вас, подарите мне их, пусть ненадолго, насыпьте в песочные часы на пятнадцать минут или хотя бы на десять, на пять, коли невозможно больше! Если когда-то и в самом деле были добрые времена, то подарите мне от них хоть несколько песчинок, ибо я бесконечно устал от всего, что вокруг говорят, пишут и делают, и от всего, что я сам говорю, пишу и делаю, и, главное, от таких вот раблезианских перечислений, как то, которое вы сейчас от меня услышали.

— Все это нисколько не противоречит тому, что я намерен вам рассказать, — отвечал Доктор, скользя глазами по потолку, словно следя за полетом мухи.

— Горе мне! воскликнул Стелло. Мне ли не знать, как легко вы миритесь со скукой, которую нагоняете на других.

И он повернулся лицом к стене.

Не обращая внимания на эти речи и на позу, принятую его пациентом, Доктор с завидной уверенностью начал свое повествование.

4. История про бешеную блоху

Это было в Трианоне; мадемуазель де Куланж возлежала после обеда на покрытой гобеленом софе, ногами к окну, головой к камину; король Людовик XV возлежал в точности напротив на другой софе, ногами к камину, спиной к окну; оба в полном парадном одеянии: он при шелковых чулках и красных каблуках, она в туфлях на каблуках и в чулках, вышитых золотой ниткой; он в кафтане небесно-голубого бархата, она в розовом камчатном платье с фижмами; он завитой и напудренный и она завитая и напудренная; он с книгой в руках спал, она с книгой в руках зевала.

(Тут Стелло сделалось стыдно лежать, и он сел.)

Солнце заливало покои со всех сторон, ибо было всего три часа пополудни, и его широкие лучи казались голубыми, так как проникали сквозь шелковые занавеси голубого цвета. Окна были очень высокие, а лучи очень длинные — четыре окна и четыре луча; каждый из этих лучей представлял собою нечто вроде лестницы Иакова, где, словно мираи-

ды небесных духов, клубились золотистые пылинки, снуя вверх и вниз с невероятной быстротой, между тем ни малейшего сквозняка в помещении не чувствовалось, ибо оно было обито без единой щели самыми пушистыми и мягкими коврами, какие только существуют на свете. Своими верхушками голубые лестницы касались бахромы занавесей, а широкими основаниями упирались в камин. В камине горело высокое пламя, разведенное на массивных подставках позолоченной меди, изображавших Пигмалиона и Ганимеда, и все это — Пигмалион и Ганимед, массивные подставки и высокое пламя — искрилось и переливалось ослепительно алым цветом в небесном окружении прекрасных голубых лучей.

Мадемуазель де Куланж была самой хорошенькой, самой слабой, самой нежной и наименее известной среди сердечных подруг короля. Это было поистине восхитительное тело. Что мадемуазель де Куланж обладала душой, утверждать не стану, ибо не заметил ничего, что привело бы меня к подобному заключению; как раз за это она и была любима своим государем. Зачем, скажите на милость, в Трианоне душа? Чтобы вам толковали об угрызениях совести, о строгости воспитания, о религии, о самопожертвовании, о семейных переживаниях, о страхе перед будущим, ненависти к свету, презрению к себе и так далее, и так далее? В литаниях праведниц из прелестного павильона Парк-о-Серф каждый следующий версет давно был известен наперед счастливому монарху, и ответ готов заранее. Все начинали с одного и того же, и ему это в конце концов надоело, ибо он знал, что результат будет одинаков. Подумайте, какой скучный диалог:

— Ах, Сир! Верите ли вы, что Господь когда-нибудь меня простит? — Без сомнения, прелесть моя, ведь он так добр! — Но разве смогу я сама себя простить? — Ну это уж мы как-нибудь уладим, дитя мое, ведь вы так добры! — Какой жалкий итог всего, чему меня учили в Сен-Сире! — Все ваши предшественницы, любезный друг мой, сделали блестящие партии. — Ах, моя бедная матушка, она этого не переживет! — Ваша матушка хочет быть маркизой — она будет герцогиней с правом сидеть в присутствии короля. — О, Сир, сколь вы великодушны! Но как же небо? — Небо? Да такого ясного утра не было с самого конца весны.

Поистине невыносимая канитель. С мадемуазель де Куланж — ничего подобного: одна лишь беспредельная кротость... Это была самая наивная и самая невинная из

грешниц; с неподражаемой безмятежностью и невозмутимым покоем она приняла хвое счастье, которое казалось ей ни больше ни меньше, как величайшим счастьем в мире. Ни разу за целый день не случилось ей задуматься о том, что будет завтра, она никогда не расспрашивала о своих предшественницах, не выказывала ни тени ревности или грусти, встречала короля, когда бы он ни пришел, а в остальное время предоставляла горничной пудрить себя, завивать, закалывать и укладывать свои длинные локоны; она смотрелась в зеркало, напомаживалась, строила сама себе гримасы, показывала язык, улыбалась, поджимала губы, колола горничную булавками, обжигала ее щипцами для завивки волос, размалевывала ей румянами нос и совала мушки в глаза; бегала взад и вперед по комнате, кружилась, и, когда юбки ее надувались, словно воздушный шар, садилась посередине, хохоча до упаду. Иногда (в дни занятий) она в платье с фижмами и длинным шлейфом упражнялась в искусстве танцевать менуэт так, чтобы не поворачиваться спиной к королевскому креслу, — в ее жизни это было самой серьезной работой мысли, самым сложным расчетом; когда терпение у нее лопалось, она рвала на себе длинное муаровое платье, в котором так трудно было ничего не задеть. Чтобы вознаградить себя за тяжкий труд, она позировала для портретов пастелью в шелковом наряде, голубом или розовом, с помпончиками на каждой завязке корсета, с крыльями за плечами, колчаном на спине и бабочкой, утопающей в пудре прически; это называлось Психея или Диана-охотница и было очень модно.

В такие минуты покоя или истомы глаза мадемуазель де Куланж бывали несравненно нежны! И оба в равной мере прекрасны — что бы там ни говорил аббат де Вуазенон в дошедших до меня неизданных «Мемуарах»: господин аббат не постыдился утверждать, будто правый глаз мадемуазель де Куланж чуть выше левого, и даже сочинил на эту тему два весьма язвительных мадригала, на которые со всей суровостью обрушился господин первый президент. Однако в наш честный и справедливый век настало наконец время открыть истину во всей ее чистоте и исправить зло, содеянное низкой завистью. Да, у мадемуазель де Куланж было два глаза, причем оба одинаково нежных. Они имели миндалевидную форму, и окружали их очень длинные светлые ресницы, от которых на щеки ложилась легкая тень; щеки были розовыми без румян, губы — алыми без помады; шея — голубовато-белой без белил и голубой пудры; ее

осиную талию легко обхватила бы пальцами двенадцатилетняя девочка, при том что фигуру почти не стягивал корсет, ибо там оставалось еще место для большого букета, державшегося строго вертикально. О, мой бог, какие белые, какие пухленькие были у нее пальчики! О небеса! как округлы были ее руки до локтей! На эти маленькие локотки венчиками ниспадали кружева, а плечи туго стягивали короткие облегающие рукава. Ах, до чего же все в ней было обворожительно! И тем не менее король спал.

Оба прекрасных глаза мадемуазель де Куланж были открыты, но постепенно и они начинали медленно закрываться над книгой (это были «Самнийские браки» Мармонтеля, творение, переведенное, как утверждает автор, на все языки). Итак, оба прекрасных глаза медленно-медленно, один за другим закрывались, потом томно приоткрывались, и взор их устремлялся на нежный голубой свет, заливавший комнату; веки были слегка припухшими и едва-едва розоватыми — то ли от дремоты, то ли от утомления вследствие того, что их обладательница прочла по меньшей мере три страницы подряд; во всяком случае, не от слез, ибо, как известно, мадемуазель де Куланж за всю жизнь уронила одну единственную слезу, когда ее кошечку Зульме пнул сапогом этот грубиян Дора де Кюбьер, настоящий солдафон, который даже мушку на щеку никогда не ставил, такой он был воинственный, и вечно задевал мебель стальной шпагой, вместо того, чтобы носить эскюз с клинком из китового уса.

5. Реплика

— О несчастье! — горестно воскликнул Стелло, — откуда у вас, Доктор, этот слог? Вы отталкиваетесь от последних слов фразы и карабкаетесь на следующую, как инвалид с деревянными ногами взбирается по лестнице.

— Ну, во-первых, безвкусица самой эпохи Людовика XV помимо моей воли утяжеляет язык, кроме того, я люблю упражняться в красотах стиля, чтобы лучше проникнуть в психологию некоторых ваших собратьев по перу.

— Не рассчитывайте на э т о , — вздохнув, ответил Стелло , — ибо среди них есть один, причем далеко не самый глупый, который сказал однажды: «Я отнюдь не всегда разделяю собственное мнение». Так что говорите просто, о мрачнейший из докторов! и тогда, может статься, мне будет не так скучно.

И Доктор продолжал:

6. Продолжение истории, рассказанной Черным Доктором

Внезапно ротик мадемуазель де Куланж приоткрылся, и из ее прелестной груди вырвался тонкий, пронзительный крик, нарушивший сон Людовика XV Возлюбленного.

— О божество мое! Что с вами? — воскликнул он, простирая к ней обе руки и оба кружевных манжета.

Две прелестные ножки лучшей из любовниц соскользнули с софы и устремились в противоположный угол опочивальни со скоростью поистине удивительной, если принять во внимание, какие каблукы служили тому помехой.

Монарх с достоинством поднялся, возложил руку на узорную гарду своей шпаги и, оглядываясь в поисках врага, выдвинул ее из ножен. Прелестная головка мадемуазель де Куланж упала на королевское жабо, и белокурые волосы рассыпались по нему в легком облаке ароматной пудры.

— Я, кажется, видела... — пролепетала она нежным голоском.

— Ах, я знаю, знаю, любовь моя, — молвил король со слезами на глазах и в то же время умильно улыбаясь и поигрывая локонами безжизненно лежащей на его плече благоухающей головки, — я знаю, что вы хотите сказать. Вы просто маленькая глупышка.

— Нет, нет, я и в самом деле видела, — отвечала она. — Ваш врач прекрасно знает, что среди этих животных попадают бешеные.

— Его сию минуту вызовут, — сказал король. — Но даже если это и так, дитя мое, — добавил он, потрепав ее по щеке, словно девочку, — даже если это и так, неужели вы полагаете, будто у них достаточно большой рот, чтобы вас укусить?

— Да, да, да, полагаю, и смертельно боюсь, — произнесли розовые губки мадемуазель де Куланж.

И ее прекрасные очи подобающим образом обратились к небу и уронили две слезы. По одной с каждой стороны: правая быстро вытекла из уголка глаза, где возникла, подобно Венере, поднявшейся из лазури морских вод; эта прелестная капля скатилась до подбородка и там, как будто желая дать всем собой полюбоваться, остановилась в маленькой ямочке, неподвижно застыв, словно жемчужина в розовой раковине. Пленительная левая слезка повела себя иначе: она показалась на свет очень робко, совсем крохотная и чуть продолговатая, потом мгновенно выросла, но так и не

двинулась с места, запутавшись в светлых ресницах, самых мягких, самых длинных и самых шелковистых, какие только можно встретить. Возлюбленный монарх немедленно выпил их обе.

Между тем, грудь мадемуазель де Куланж часто вздымалась и, казалось, вот-вот разорвется от усилия, с которым она выговорила:

— Я подцепила одну... я подцепила одну позавчера, и она наверняка была бешеная, какая жара стоит в этом году!

— Успокойтесь! успокойтесь, моя королева, я скорее выгоню вон всех своих придворных и министров, чем допущу, чтобы вам попало еще одно из этих чудовищ в королевских покоех.

Безмятежные щеки мадемуазель де Куланж вдруг побледнели, ее прекрасный лоб страшно сморщился, пухлые пальчики схватили нечто коричневое, величиной с булавочную головку, алый ротик сделался синеватым, и из него вырвался крик:

— Взгляните же, что это, как не самая настоящая блоха!

— О счастье! — воскликнул король с едва уловимой насмешкой, — это же табачная крошка! Да будет угодно богам, чтобы она не была бешеной!

Белые руки мадемуазель де Куланж обвилились вокруг шеи короля. Король, утомленный этой бурной сценой, снова лег на софу. Мадемуазель де Куланж улеглась на свою, как ручная домашняя кошечка, и сказала:

— Ах, Сир, прошу вас, велите вызвать доктора, первого врача Вашего Величества.

И меня вызвали.

7. Кредо

— Где вы были в тот момент? — спросил Стелло, с трудом поворачивая голову.

И вновь тяжело уронил ее на подушку.

— У постели умирающего Поэта, — ответил Доктор с леденящим душу бесстрашием. — Но, прежде чем продолжать, я должен задать вам один вопрос. Поэт ли вы? Загляните внимательно в себя и скажите, чувствуете ли вы себя Поэтом?

Стелло тяжело вздохнул и после нескольких минут сосредоточенного раздумья однозвучным тоном вечерней

молитвы отвечал, прижимаясь лбом к подушке, словно хотел спрятать в нее голову:

— Я верю в себя, ибо ощущаю в глубине своего сердца скрытую силу, незримую и не имеющую названия, подобную предчувствию будущего или прозрению таинственных первопричин настоящего. Я верю в себя, ибо не случилось еще так, чтобы красота, величие или гармония, где бы я их ни встретил в природе, не возбудили бы во мне пророческого трепета, не породили бы глубокого волнения в недрах моего существа и не наполнили бы глаза мои слезами, божественными и необъяснимыми. Я твердо верю в данное мне сокровенное призвание, верю, благодаря безграничной жалости, которую внушают мне люди, мои собраты по горькому жизненному уделу, благодаря преисполняющему меня желанию протянуть им руку и непрестанно возвышать их души словами сострадания и любви. Как лампада горит зыбким, неверным светом, когда оскудевает в ней живительный ток масла, но едва ее вновь наполнят, устремляет к сводам храма яркое сияние, лучи и блики, — так и я чувствую, как угасают во мне молнии вдохновения и блеск мысли, едва любовь, та потаенная сила, что поддерживает во мне жизнь, перестает наполнять меня своим всемогущим теплом; когда же оно струится во мне, вся душа моя озаряется, и я, кажется, разом постигаю Вечность, Пространство, сущность Творения, живых существ и Судьбы; вот тогда-то Иллюзия, эта птица феникс в золотом оперении, опускается на мои уста и поет.

Но, сдается мне, когда дар укреплять слабых иссякнет в сердце Поэта, иссякнет и его жизнь, ибо, если Поэт больше не годится для всех, он вообще больше не годится для мира.

Я верю в вечную борьбу нашей внутренней жизни, животворной и зовущей вперед, против жизни внешней, иссушающей и отбрасывающей назад, я ищу вдохновения в мысли горней, которая одна способна собрать и зажечь поэтические силы моей жизни: Самопожертвование и Жалость.

— Все это говорит лишь о добрых наклонностях вашей натуры, — сказал Черный Доктор. — Однако не исключено, что вы и в самом деле Поэт, так что я буду продолжать.

И он продолжал:

8. Полубезумие

Да, я был у постели весьма необычного молодого человека. Архиепископ Парижский господин де Бомон прислал слугу просить меня приехать в его дворец, ибо этот незнакомец явился прямо к нему, один, в рединготе и сорочке, и торжественно попросил причастить его. Я спешно отправился к архиепископу и обнаружил там юношу лет двадцати двух с серьезным и нежным лицом, одетого и впрямь более чем легко; он сидел в большом плюшевом кресле, куда усадил его добрый старый архиепископ. Его высокопреосвященство был в фиолетовых чулках и в полном парадном облачении, так как в тот день ему предстояло служить праздничную обедню по случаю дня Святого Людовика; все прочие дела он по доброте своей отложил, чтобы не покидать этого странного посетителя, который живо его заинтересовал.

Когда я вошел в спальню архиепископа, он сидел возле этого бедного юноши, сжимая его руку в своих морщинистых, чуть дрожащих ладонях. Он смотрел на него с опасением, сетуя на то, что больной (ибо юноша был болен) отказывается прикоснуться к прекрасному завтраку, который поставили перед ним двое слуг. Едва заметив меня, господин де Бомон взволнованно заговорил:

— Идите скорее! Подойдите же сюда, добрый Доктор! Перед вами бедное дитя, пришедшее броситься в мои объятия. *Venite ad me!* Он появился, как птица, упорхнувшая из клетки и застигнутая на крышах холодами, птица, которая бьется в первое попавшееся окно. Бедный мальчик! Я велел доставить ему одежду. Во всяком случае, он человек благомыслящий, ибо пришел просить меня его причастить; но прежде я должен выслушать его исповедь. Вам это условие наверняка известно, Доктор, однако он отказывается говорить. Он ставит меня в очень затруднительное положение. Да, да! чрезвычайно затруднительное. Мне ничего неизвестно о состоянии его души. Его бедный рассудок серьезно ослаблен. Дорогое дитя, только что он так плакал! У меня руки еще влажны от его слез. Вот, взгляните!

Руки доброго старца и вправду были мокрыми, как желтый пергамент, который не впитывает влагу. Старый лакей, похожий на монаха, принес одеяние семинариста и надел на больного с помощью слуг, которые приподняли и поддержали его, после чего нас оставили одних. Незнакомец не противился переодеванию. Глаза его, хотя и оста-

вались открытыми, были затуманены и наполовину затенены светлыми ресницами; яркая краснота век и неподвижность зрачков показали мне дурным симптомом. Пощупав пульс, я непроизвольно покачал головой.

Уловив мое движение, господин де Бомон сказал:

— Дайте мне стакан воды, мне тяжело, мне ведь уже восемьдесят лет.

— По-видимому, страшного ничего нет, монсеньор, — сказал я, — однако есть в его пульсе нечто, что не назовешь ни здоровьем, ни болезненной лихорадкой... Это безумие, — добавил я еле слышно.

— Как вас зовут? — спросил я юношу.

Никакого ответа... глаза его оставались неподвижны и тусклы...

— Не мучайте его, Доктор, — сказал господин де Бомон, — он уже трижды успел сообщить мне, что его зовут Никола Жозеф Лоран.

— Но это лишь имена, данные при крещении, — заметил я.

— Неважно, неважно, — нетерпеливо возразил добрый архиепископ, — для церкви этого довольно: крестные имена суть имена души. По этим именам узнают нас святые. Этот мальчик поистине добрый христианин.

Я часто замечал, что между взглядом и мыслью существует связь прямая и непосредственная, они воздействуют друг на друга с равной силой. Если правда, что мысль может остановить взгляд, то и взгляд, отклоняясь в сторону, может изменить направление мысли. Я не раз проверял это на душевнобольных.

Я провел рукой по остановившимся глазам юноши и закрыл их. Тотчас же рассудок вернулся к нему, и он заговорил.

— Ах, монсеньор, — сказала она, — причастите меня. Ах, поскорее, пожалуйста, пока глаза мои вновь не раскрылись для света, ибо только причастие может освободить меня от владеющего мною врага, а враг этот — не что иное, как одна мысль, и сейчас она вернется снова.

— Мой метод, однако, неплох, — промолвил я с улыбкой.

Больной продолжал:

— Ах, монсеньор, присутствие Господа в облатке несомненно... Я никогда не думал, что мысль может превратиться в мозг в раскаленное железо... Присутствие Господа в облатке несомненно, и если вы мне дадите ее, монси-

ньюр, то облатка изгонит мысль, как Господь изгонит философов...

— Вы видите, он размышляет здраво, — прошептал добрый архиепископ. Дадим ему договорить, чтобы во всем до конца разобраться.

Несчастный юноша продолжал:

— Если что-то может изгнать умствование, то это только вера, слепая вера. Если что и может дать веру, то это облатка. О, дайте мне облатку, раз она принесла веру Паскалю. Я излечусь, если вы дадите мне ее, монсиньор, пока у меня закрыты глаза. Поспешите же, дайте скорее.

— Знаете ли вы «Confiteor» *? спросил архиепископ.

Но тот не услышал и продолжал:

— О, кто мне объяснит, что есть Смирение Разума? — последние два слова он произнес громовым голосом. Блаженный Августин сказал: «Разум никогда не смирился бы, если бы сам не пришел к заключению, что ему должно смириться. Значит, справедливо, что он смиряется, когда считает, что смириться должно». А я, Никола Жозеф Лоран, рожденный в Фонтенуа-ле-Шато от неимущих родителей, добавляю, что раз он смиряется, следуя своему собственному решению, значит, он смиряется перед самим собой, а раз он смиряется лишь перед самим собой, значит, не смиряется вовсе и продолжает царить... Порочный круг Софизм святого! Схоластика, от которой может спятить сам дьявол! Ах, Д'Аламбер, изощренный педант, как ты мучаешь меня!

Говоря это, он почесывал плечо. Я не уследил за одним его глазом, и он начал приоткрываться. Я снова закрыл его левой рукой.

— У в ы , — сказал о н , — монсиньор, сделайте же, чтобы я воскликнул, как Паскаль:

Радость!

Уверенность, радость, уверенность, чувство, прозренье.

Радость, и радость, и радость и слезы от радости!
Господь наш Иисус Христос... Забвение всего,
кроме Бога.

* «Исповедуюсь» (лат.) — начало католической покаянной молитвы.

В тот день, в понедельник, 25 ноября 1654 года он видел Господа нашего Иисуса Христа с половины одиннадцатого вечера до половины первого ночи, поэтому он и был так спокоен и уверен в своей правоте. Ну и счастливчик этот Паскаль!.. Ай-ай-ай! Лагарп хватает меня за ноги.. Чего тебе от меня надо? Лагарпа сбросили в суфлерскую яму вместе с его «Бармакидами» Ты ведь умер!

В эту минуту я отнял руку, и он открыл глаза.

— Крыса!.. — закричал он. — Кролик!.. Клянусь на Евангелии, это кролик... А, да, это же Вольтер! Вольт-а-тер! * Какая замечательная игра слов, не правда ли?.. Ну, согласитесь же, милостивый государь, что мой каламбур очень мил... Ни один издатель не хочет платить мне ни гроша.. Я вчера не обедал, позавчера тоже... Но мне плевать, я ни когда не хочу есть... Мой отец думает только о своем плуге и рук его лучше не касаться, они у него распухшие и жесткие, как кора. Вдобавок этот деревенщина не умеет говорить как следует по-французски. Я вечно краснею за него, когда кто-нибудь приходит. Куда прикажете повести его выпить вина? В кабаре, вы ответите? А что скажет господин де Бюффон в своих манжетах и жабо?.. Кошка... У вас кошка под ногами, аббат...

Господин де Бомон, несмотря на беспредельную доброту, несколько раз не смог удержаться от улыбки, хотя в глазах у него стояли слезы. Тут он отпрянул, слегка испуганный, и откатился назад в кресле.

Я обхватил руками голову юноши, легонько встряхнул ее, как встряхивают мешочек с фишками лото, и задержал пальцы на закрытых веках. Результат не замедлил сказаться. Молодой человек глубоко вздохнул и произнес настолько же безмятежно, насколько секунду назад был возбужден:

— Трижды горе безумцу, который захочет высказать то, что думает, не обеспечив себя хлебом насущным до конца дней! О лицемерие, ты само благоразумие! С твоей помощью мы никого не задеваем, а бедняк нуждается в покровительстве всех... Святое притворство! ты есть высший общественный закон для родившихся без наследства. Каждый, у кого есть клочок земли или кошелек, им господин, хозяин и покровитель. Зачем проникло в мое сердце чувство справедливости и добра? Сердце мое непомерно переполнилось, потоки ненависти хлынули из него и прорвались наружу, как лава. Злые люди испугались, подняли

* Vol-à-terre (фр.) — полет на землю.

крик, ополчились все против меня. Как, по-вашему, могу ли я один противостоять всем, я, который в этом мире никто, и все, что у меня есть — это бедное мое перо, да и то страдающее порою от нехватки чернил?

Тут добрый архиепископ не выдержал. В последнюю четверть часа он весь дрожал и протягивал руки к тому, кого уже называл своим сыном; теперь он с трудом поднялся и прижал его к груди. Я до сих пор крепко держал пальцы на глазах юноши, но тут вынужден был их убрать, ибо почувствовал, будто что-то их отталкивает, словно веки вдруг набухли. Стоило мне чуть ослабить руку, как обильные слезы пробилась между моими пальцами и залили бледные щеки. Сердце его колотилось от рыданий, жилы на шее посинели и вздулись, а из груди вырывались короткие всхлипывания, как у ребенка, плачущего в объятиях матери.

— Проклятье! Оставьте его, монсеньор, — сказал я. — Дело плохо. Видите, как он покраснел, а теперь так же быстро бледнеет, у него пропадает пульс... Так, он теряет сознание... Это обморок... Прошу покорно...

Добрый прелат, глубоко огорченный, всячески пытался мне помочь, но только мешал. Я употребил все свои жалкие средства, чтобы привести больного в чувство, и был уже близок к успеху, когда за мной пришли и сообщили, что меня ожидает почтовая карета из Версаля, присланная королем. Я оставил предписания и вышел.

— Разрази меня гром! — воскликнул я. — Я поговорю там об этом молодом человеке.

— Вы этим осчастливите нас, дорогой доктор, — промолвил господин де Бомон, — ибо наша благотворительная касса пуста. Поезжайте же скорее, а я оставлю пока нашего бедного найденыша у себя.

И я увидел, как он благословляет его, дрожа и плача.

Я вскочил в карету.

9. Продолжение истории про бешеную блоху

Когда я отбыл в Версаль, стояла глубокая ночь. Я ехал так называемым королевским ходом: форейтор на пристяжной — галопом, а коренная — крупной рысью. Через два часа я был в Трианоне. Все подъездные аллеи были освещены, и множество экипажей двигалось в ту и в другую сторону. Я решил, что найду в малых покоях весь двор; однако всех этих господ ожидала закрытая дверь, и они возвращались

несолоно хлебавши в Париж. Толпа была только в парке, в опочивальне же, кроме короля, я обнаружил лишь мадемуазель де Куланж.

— Ах, вот и вы наконец! — воскликнула она, протянув мне руку для поцелуя.

Король, милейший человек в мире, прохаживался по комнате, отхлебывая кофе из маленькой чашечки голубого фарфора.

Увидев меня, он от души расхохотался.

— О господи, Доктор, — проговорил он, — в ваших услугах уже нет нужды. Мы тут пережили ужасное волнение, но опасность миновала. Мадам отделалась легким испугом. Вы же знаете нашу маленькую причуду, — добавил он, опершись о мое плечо и изображая, будто говорит мне на у х о , — мы боимся бешенства, оно чудится нам везде! Хотел бы я знать, черт побери, что было бы, появись во дворце собака! Интересно, дозволено ли мне будет теперь охотиться?

— И т а к , — спросил я, подходя к огню, пылавшему в камине, несмотря на лето (заметим в скобках, прекрасный деревенский о б ы ч а й) , — чем я могу служить королю?

— Мадам утверждает, — сказал король, переступая с одного красного каблука на д р у г о й , — будто бы существуют животные, размером, ей-богу, право, не больше чем э т о , — и он щелчком сбросил табачную крошку, приставшую к кружевам е г о м а н ж е т ы , — будто бы существуют животные, которые... Извольте же, мадам, рассказать сами.

Мадемуазель де Куланж прикорнула, как кошечка, на своей софе и прикрыла лоб одной из тех легких шелковых накидок, которыми прикрывали в те времена спинки диванов и кресел, дабы охранить их от пудры причесок. Она поглядывала на меня лукаво, словно девочка, стянувшая лакомство и очень довольная, что про это узнали. Она была прелестна, как все Амуры Буше и головки Греза, взятые вместе.

— А х , С и р , — нежно проворковала о н а , — вы так хорошо рассказываете...

— Но, право же, мадам, я не умею выразить ваши медицинские представления...

— А х , С и р , вы так прекрасно умеете говорить обо всем!

— Ну, Доктор, помогите же ей исповедаться! Как видите, одной ей не справиться.

По правде говоря, я и сам был в большом затруднении, ибо не знал, что он имеет в виду, и узнал лишь спустя много времени, в девяностом году.

— Ну так в чем же дело? — сказал я, подходя к возлюбленной короля. — Что же случилось, мадам? Что у нас не ладится, мадемуазель?.. Нас мучают разные маленькие страхи, маленькие фантазии, не так ли, мадам?.. Женские фантазии? — Да, да, фантазии юной женщины, Сир!.. Нам это знакомо! — Итак, что же это такое? Как называются эти животные?.. Ну, мадам!.. Неужели же мы хотим чувствовать себя плохо?..

Ну, и прочее, и прочее — все, что можно сказать любезного и приятного молодым дамам.

Вдруг мадемуазель де Куланж взглянула на короля и на меня, я взглянул на короля и на нее, король взглянул на свою любовницу и на меня, и мы все втроем залились смехом. Мы смеялись так долго, как никто и никогда не смеялся при мне за всю мою жизнь. Мадемуазель де Куланж задыхалась не на шутку и указывала на меня пальцем, а король пролил кофе на расшитый золотом камзол.

Насмеявшись вволю, он сказал, взяв меня за локоть и усаживая на свою софу:

— Ну, будет, поговорим теперь с вами серьезно, а эта глупышка пусть насмехается над нами, сколько ее душе угодно. Мы такие же дети, как она. Расскажите же мне, доктор, как живут на этой неделе парижане?

Поскольку он был в хорошем расположении духа, я ответил так:

— Пожалуй, я лучше расскажу Вашему Величеству, как они умирают. По правде говоря, довольно скверно, если это умирает Поэт.

— Поэт! — сказал король, и я заметил, как он, нахмурившись, вскинул голову и раздраженно положил ногу на ногу.

— Поэт! — повторила мадемуазель де Куланж, и я заметил, что ее нижняя губка приняла форму разрезанной пополам вишни, как на женских портретах времен Людовика XIV.

— Ну в о т , — сказал я с е б е , — так я и знал. Чтобы навлечь на себя в свете насмешки или ненависть, достаточно произнести слово Поэт.

— Черт в о з ь м и , — проговорил король, — что это должно означать? Неужели Лагарп умер? Или заболел?..

— Речь не о нем, С и р , — ответил я, — а совсем о другом, скромном поэте, совсем-совсем скромном, который тяжело болен, и я даже не уверен, что мне удастся его спасти, ибо всякий раз, когда он выздоравливает,

приступ возмущения вновь повергает его в тяжелое состояние.

Я умолк, но никто не спросил меня: «Что с ним?»

Я хладнокровно продолжал:

— Возмущение производит ужасные приливы крови и желчи, которые так переполняют честного человека, что можно только содрогнуться.

Глубокое молчание. Никто не содрогнулся.

— А поскольку король, — продолжал я, — столь добр, что жалуется своим вниманием даже самых незаметных писателей, вдруг он знает и того, которого я только что покинул?

Долгое молчание. И никто не спросил: «Кто же он?» Это было достойно сожаления, ибо я знал его имя, синоним отчаяния и горькой судьбы сатирика, скорбное имя, оставившее по себе мрачную память... Пока не спрашивайте его у меня... Слушайте.

Я продолжал с беззаботным видом, дабы не впасть в просительный тон:

— Если бы я не боялся злоупотребить добротой короля, я, право, отважился бы просить у него помощи, какой-нибудь совсем небольшой помощи для...

— Обременены, обременены, мы обременены сверх всякой меры, сударь, — отвечал мне Людовик XV, — подобными просьбами за наглецов, использующих милостыню, которую мы им подаем, чтобы нас же бесславить.

Потом, наклонясь ко мне, он прибавил:

— Между прочим, я, право, удивлен, как при вашем знании света вам до сих пор неизвестно, что когда мы молчим, это означает, что мы не хотим отвечать... Вы загнали меня в угол. Что ж, я готов побеседовать с вами о ваших поэтах и вот что я вам скажу: я не вижу необходимости разоряться ради того, чтобы содержать этих людишек, которые завтра станут упражняться в остроумии за наш счет. Как только у них в кармане заводятся несколько су, они принимают нас поучать и делают все, чтобы очутиться в Бастилии. Можно поиграть в Ришелье, не так ли! Больше ничего и не надо этим умникам, которых я со своей стороны нахожу весьма глупыми. Ей-богу! Мне надоело служить посмешищем для ничтожеств. Они наделают довольно вреда и без моей помощи... Я уже не молод и могу сказать, что сумел выпутаться, не знаю уж, как будет выпутываться мой преемник, впрочем, это его дело... Знаете ли вы, Доктор, что при всей моей внешней беспечности я вполне

трезво смотрю на вещи и прекрасно вижу, куда нас хотят завести?

Тут король поднялся и быстро зашагал взад и вперед по комнате, так что жабо запрыгало у него на груди. Как вы догадываетесь, мне было не по себе, и я тоже встал.

— Может быть, моему драгоценному брату королю прусскому принесло добрые плоды гостеприимство, оказанное вашим Поэтам? Он-то думал поднести мне пилюлю, приняв у себя Вольтера, на самом же деле только осчастливил меня тем, что избавил от него, а в награду получил одни только дерзости, которые вынудили его в конце концов поколотить этого субъекта палкой. Они, право, полагают, будто за то, что они в философии и политике занимаются словесной игрой, облекая ее в риторические фигуры, им позволено, едва вставши из-за парты, залезать на кафедру и читать нам проповеди!

Тут он на минуту остановился и продолжал уже веселее:

— Ничего нет хуже проповедей, Доктор, и вне стен моей дворцовой часовни я предпочитаю слышать их как можно реже. Что вы хотите, чтобы я сделал для вашего подопечного? Назначил ему пенсию? И что же произойдет? Завтра он назовет меня Марсом за Фонтенуа, и Минервой — очаровательную малышку де Куланж, которая нисколько на это не претендует.

(Я думал, она рассердится. Однако она и бровью не повела. И, как ни в чем не бывало, поигрывала веером.)

— Послезавтра он примется строить из себя государственного деятеля и рассуждать об английском образе правления, дабы получить высокую должность, он ее не получит, и правильно. А через три дня он осмеет моего отца, деда и всех моих предков, включая Святого Людовика. Он назовет Сократом короля Пруссии с его пажамы, а меня — Сарданапалом из-за дам, которые навещают меня в Трианоне. Ему будет отправлен указ об изгнании, и он будет в восторге: он мученик философии!

— Ах, С и р , — воскликнул я , — тот, о котором я говорю, мученик не философии, а философам...

— Это одно и то ж е , — перебил меня король . — Жан-Жак не сделался моим другом оттого, что был их врагом. Прославиться любой ценой — вот к чему они стремятся. Все они одним миром мазаны, каждый хочет нагулять жирок, отгрызая своими мелкими зубками по кусочку от пирога монархии, и поскольку я им его предоставляю,

он им дешево достается. Ваши служители прекрасного суть наши естественные враги, среди них хороши только музыканты да танцоры: эти никого не задевают, и в их театрах не танцуют и не поют про политику. Потому-то я их и люблю, а о других слышать ничего не желаю.

Я собирался было возразить и уже открыл рот для ответа, но он мягко взял меня за локоть и с полушутливым-полусерьезным видом, покачивая по своему обыкновению бедрами, двинулся вместе со мной к выходу. Мне оставалось только подчиниться.

— Вы, как видно, любитель стихов, Доктор? Что ж, я могу вам их почитать не хуже самих сочинителей. Вот, пожалуйста:

И каждый из троих несчастных этих ж д е т , —
Раз напечатан он и втиснут в переплет, —
Что будет возведен он в важную персону,
Что сможет он пером решать судьбу короны,
Что на малейший шум вокруг их новых книг
К ним пенсии должны слетаться в тот же миг...
Вселенная на них взирает непрерывно,
И имя каждого увито славой дивной;
В науке, ясно, он светило из светил:
Он знает, кто о чем когда-то говорил;
Он хлопал тридцать лет глазами и ушами;
Он девять тысяч раз просиживал ночами,
Латынь и греческий стараясь в мозг впихнуть
И погрузив свой ум в ученейшую муть
Всей ветхой чепухи, что лишь вмещают книги;
Он знаньем пьян своим во все часы и миги.
То люди без заслуг; все, в болтовне пустой,
Негодны ни к чему, и чужд им смысл простой,
И людям всем на смех, а также на доuku,
Кричат они везде про разум и науку. *

— Как видите, двор, в сущности, не так г л у п , — добавил он, когда мы дошли до д в е р и . — Они глупее нас, ваши любезные поэты, ибо сами дают нам в руки розги, чтобы их сечь...

С этими словами король отворил передо мной двери; я поклонился и вышел. Он отпустил мою руку и повернул

* Мольер Ж. Б. Ученые женщины. Акт IV явл. 3. Пер. М. Тумповской.

в замке ключ... Я услышал громкий взрыв смеха мадемуазель де Куланж.

Я так и не понял, должно ли это называться «быть выставленным за дверь».

10. Улучшение

Стелло оторвал голову от подушки. Он встал, воздел руки к небу и, внезапно покраснев, в негодовании вскричал:

— Но кто дал вам право подобным образом попрошайничать за него? Разве он вас об этом просил? Разве не сносил он молча все страдания, пока безумие не зазвенело своими бубенцами в его бедной голове? Если и вправду всю юность он хранил суровое достоинство, если лет двадцать кряду из самолюбия, не желая просить, разыгрывал из себя богача, человека, ни в чем не нуждающегося, вы за какой-то час могли погубить гордость всей его жизни. Это дурной поступок, Доктор, даже под угрозой смерти я бы не согласился совершить ничего подобного. Я ставлю его в ряд самых дурных среди тех (а таких достаточно много), которые не караются законом, как, например, не исполнить последнюю волю выдающегося человека и продать или сжечь его воспоминания, которые он ласкал последним взглядом как часть самого себя, остающуюся после него на земле, и которые последний его вздох благословил и освятил. Вы предали этого юношу, когда стали выпрашивать для него подачки у вашего беспечного короля. Бедное дитя! Когда у него случались проблески разума, когда глаза его были закрыты (как говорит ваш опыт), он мог, предчувствуя близость смерти, гордиться целомудрием своей бедности, радоваться тому, что ни одному человеку не дал право сказать: «Он унизился» — и в это время вы отдавали на поругание достоинство его души! Да, это поистине дурной поступок, Доктор!

Черный Доктор улыбнулся с абсолютной невозмутимостью.

— Сядьте, — промолвил он, — я нахожу, что вам уже лучше, вы понемногу выходите из созерцания своего недуга. Это малодушная привычка, свойственная многим и обыкновенно удваивающая силу хвори. Почему, собственно, вы не хотите допустить, что и я однажды в жизни поддался чрезвычайно распространенной болезни: мании кровительства? Однако вернемся к моему отъезду из Трианона.

Я был настолько обескуражен, что не поехал больше к архиепископу и постарался забыть поскорее о больном, которого видел в его дворце. Мне потребовалось всего несколько минут, чтобы отогнать воспоминание о нем, благодаря многолетней привычке укрощать свою чувствительность.

— Жалкая победа! — сердито отвечал Стелло.

— Прошло время, я уже полагал, что избавился навсегда от этого помешанного, как вдруг в один прекрасный вечер меня вызвали на какой-то чердак, куда провела меня старая глухая привратница.

— Чем я, по-вашему, могу ему помочь? — спросил я, входя. — Это же покойник.

Не ответив, она вышла и оставила меня наедине с больным, в котором я с трудом узнал того самого юношу.

11. Убогое ложе

Я увидел несчастного на походной брезентовой кровати посреди пустой комнаты. В комнате царил мрак, и освещала ее одна-единственная свечка, установленная на большом каменном камине, в чернильнице, заменявшей подсвечник. Юноша сидел на своем смертном одре, покрытом тонким, продавленным тюфяком, прямой, с рваным шерстяным одеялом на ногах, простоволосый и взлохмаченный, с открытой грудью, сотрясаемой мучительными конвульсиями агонии. Я присел на край постели, ибо стульев в комнате не было, и уперся ногами в маленький чемоданчик черной кожи, на который поставил стакан и две склянки с микстурой: спасти его она не могла, зато могла облегчить его страдания. Лицо его было благородно и прекрасно; он пристально смотрел на меня, и над его щеками, между глазами и носом, пробегала нервная судорога, которую нельзя спутать ни с каким спазмом, отнести на счет какого-то одного недуга и которая говорит врачу. «Уходи!», ибо это своего рода знамя, водружаемое Смертью над завоеванной ею крепостью. В одной руке он сжимал перо, свое последнее, свое бедное перо, все перепачканное чернилами, облезлое и клочковатое, в другой — черствую корку своего последнего ломтя хлеба. Ноги его стучали друг о друга и дрожали так, что менее крепкая кровать могла бы обрушиться. Я внимательно вслушался в затрудненное дыхание больного и услышал хрип, глухие, рокошующие звуки, по которым я узнал

смерть, подобно тому, как опытный моряк узнаёт бурю по легкому свисту ветерка.

— Неужели ты вечно будешь являться ко всем одинаково? — спросил я у Смерти тихо, так, чтобы в ушах умирающего мои слова слились в невнятный гул. — Я узнаю тебя всюду по твоему глухому голосу, который ты вкладываешь в грудь и молодому, и старому. Ах, как давно я знаком с тобой, с тобой и с твоими ужасами, которые больше не страшат меня. Я чувствую, как разносится в воздухе прах, осыпающийся с твоих крыльев, вдыхаю их тошнотворный запах и вижу, как летит с них бледный пепел, невидимый взору других людей. Да, да, это ты, Неминуемая, ты здесь! Ты пришла спасти этого человека от страдания, возьми же его на руки, как ребенка, и унеси. Спаси его, я тебе его отдаю: спаси его от неутолимого страдания, постоянно сопутствующего нам на земле, пока мы не обречем в тебе покой, о благодетельная подруга!

Это, конечно, была она, я не ошибся, ибо муки больного внезапно прекратились, и ему был дарован божественный миг успокоения, который предшествует вечной неподвижности тела; глаза его широко раскрылись и удивились, губы разжались и улыбнулись; он дважды провел по ним языком, словно хотел вобрать из невидимой чаши последнюю каплю бальзама жизни, и произнес тем хриплым голосом умирающих, который доносится из недр нашего существования и звучит так, будто исходит из самых ступней:

— На жизненном пиру я обойденный гость...

— Так это был Жильбер! — воскликнул Стелло, всплеснув руками.

— Это уже не был Жильбер, — отвечал Черный Доктор, скривив в усмешке уголок рта, — ибо продолжать он не смог: голова его упала на грудь, и в обеих руках одновременно сломались корка хлеба и перо Поэта. Я долго еще держал его руку в своей, тщетно ища пульс, потом взял перо и поднес к губам умирающего: легкое дуновение всколыхнуло его, словно душа, отлетая, его поцеловала. Больше перо не шевелилось. Тогда я закрыл покойнику глаза и взялся за шляпу...

12. Постороннее рассуждение

— Какой страшный конец, — сказал Стелло, отнимая лоб от подушки и глядя на Доктора взволнованно. Где же были его родные?

— Они пахали свое поле, и я был этому очень рад. У постели умирающих родственники всегда несносны.

— Почему же? — спросил Стелло.

— Когда болезнь затягивается, родственники играют самую неприглядную роль, какую только можно наблюдать. В первую неделю, чувствуя приближение смерти, они рыдают и заламывают руки, на вторую неделю свыкаются с этой мыслью, взвешивают последствия и строят на ней свои расчеты, на третью неделю они уже шепчут друг другу на ухо: «Бессонные ночи убивают нас, мы только продлеваем его страдания, было бы лучше для всех, чтобы все поскорее кончилось». А если и после этого он протянет несколько дней, то они уже просто начинают посматривать на меня косо. Ей-богу, я предпочитаю сиделок: пусть они щупают укладкой постельное белье, зато молчат.

— О, вы поистине черный Доктор, — вздохнул Стелло, — всегда неумолимо правдивый!..

— К тому же Жильбер проклял, и вполне справедливо, своих родителей, во-первых, за то, что они произвели его на свет, во-вторых, за то, что научили читать.

— Увы, да! — подтвердил Стелло. — У него есть такие строки:

Проклятьем тем, кто дал мне жизнь!
О мать жестокая! Отец слепой и дикий!

Зачем, о Голь, дитя на свет произвели,
Кому лишь мрак нужды назначен был в наследство?
И хоть бы неучем растили с малолетства!
Тогда б пахал в тиши я свой клочок земли...

Но нет, вы гений мой затеплили, как пламя...

— Вот это стихи, достойные здравомыслящего человека, — сказал Доктор.

— Рифмы плохие, — отметил Стелло по привычке.

— Я имею в виду, что он был прав, сетуя на умение читать, ибо с того дня, как он выучился грамоте, он сделался поэтом и примкнул к племени, извечно проклятому сильными мира сего... Что же до меня, то как уже имел честь вам сообщить, я взялся за шляпу и собрался уходить, но столкнулся в дверях с владельцами кровати, которые сокрушались о пропаже какого-то ключа... Я знал, где он находится.

— О безжалостный человек, — воскликнул Стелло, — какую муку вы мне причиняете! Не продолжайте, я знаю эту историю.

— Как вам будет угодно, — смиренно промолвил Доктор, — я не любитель хирургических подробностей и не в них надеюсь найти истоки вашего излечения. Скажу вам просто, что я вернулся к бедному Жильберу, сделал вскрытие, извлек из пищевода ключ и отдал владельцам.

13. Одна идея другой стоит

Когда неумолимый Доктор окончил свой рассказ, Стелло долго еще оставался нем и удручен. Он знал, как знали все, о печальном конце Жильбера, но был охвачен тем ужасом, какой может вызвать лишь непосредственный рассказ очевидца. Он видел глаза, которые видели Жильбера, касался руки, которая его касалась, и чем меньше волнения выказывал бесстрастный рассказчик, тем сильнее содрогался Стелло. Он уже начал испытывать влияние этого сурового врачевателя душ, который с помощью своей неукоснительной логики и осторожных подсказок всякий раз подводил его к неизбежным выводам. Мысли теснились в голове Стелло, но как они ни метались, им уже не удавалось вырваться из ужасного круга, в который, словно чародей, замкнул их Черный Доктор. История такого таланта и такого пренебрежения им возмущала Стелло, но он не осмеливался дать волю своему возмущению, ибо заранее знал, что будет сокрушен железными доводами собеседника. Веки его отяжелели от слез, но он сдерживал их, хмуря брови. Братское сострадание переполняло его сердце. В конце концов он поступил так, как часто поступают люди светские: заговорил о другом.

— С чего вы взяли, что я собирался идти на жертвы ради монархии абсолютной и наследственной? И вообще, зачем приводить в пример именно этого, всеми забытого сочинителя? Сколько можно назвать писателей той же эпохи, которых поощряли, осыпали милостями, обласкивали и лелеяли!

— При условии, что они продавали свой талант, — отвечал Доктор. — А о Жильбере я рассказал затем, чтобы иметь повод раскрыть перед вами сокровенный ход монаршей мысли относительно господ Поэтов, коими мы условимся именовать всех, кто служит Музе, или Искусству, если

вам так больше нравится. Эти тайные соображения я узнал, как вы только что слышали, из первых уст и правдиво и точно вам изложил. Могу, с вашего позволения, присовокупить к своему первому рассказу историю Китти Белл — на случай, если ваше политическое рвение изготовилось служить изощреннейшему обману, известному под названием «конституционная монархия». Я был свидетелем событий, о которых пойдет речь, в 1770 году, то есть ровно за десять лет до кончины Жильбера.

— О боже! — воскликнул Стелло, — неужели вы родились без сердца? Неужели вас не охватывает беспредельная скорбь при мысли, что ежегодно во Франции десять тысяч молодых людей, жаждущих получить образование, покидают родительский стол и отправляются к столу само-му высокому просить хлеба, в котором им отказывают?

— Ах, за кого вы меня принимаете? Всю жизнь я искал плотника, достаточно искусного, чтобы сколотить стол, где нашлось бы место для всех! Но за время поисков я видел, какие крохи падают со стола монархии: вы только что их отведали. Видел я и те, что падают со стола Конституции, о них-то я и намерен вам сейчас поведать. Только не вообразайте, будто в моей истории вы найдете хоть малейшее подобие театральной драмы или сложного романического сюжета, когда интересы персонажей переплетаются и затягиваются в узел, который подобающим образом развяжет последняя глава или пятый акт: такого вы можете насочинять сколько угодно и без меня. Я расскажу вам простую историю наивной англичанки Китти Белл. Вот эта история, как она произошла в действительности, на моих глазах.

Некоторое время Доктор вертел в руке большую табакерку, крышку которой украшал узор из чьих-то волос, выложенных ромбами, и начал так:

14. История Китти Белл

Китти Белл была молодой женщиной, каких в Англии много даже среди простого народа. Высокая, стройная, с нежным лицом, бледным и продолговатым, с большими ступнями и какой-то робостью и угловатостью в движениях, казавшимися мне полными очарования. По ее благородной изящной осанке, орлиному носу и большим голубым глазам вы скорее приняли бы ее за одну из прекрасных возлюбленных Людовика XIV, чьи портреты на эмали вы так любите,

нежели за ту, кем она являлась на самом деле, а именно за хозяйку кондитерской. Ее лавочка находилась неподалеку от здания Парламента, и члены обеих палат нередко останавливали лошадей у ее двери и заходили после заседания съесть buns * или mince-pies **, не прерывая споров о билле. Это стало своего рода традицией, благодаря которой лавочка с каждым годом расширялась и процветала под охраной двух маленьких сыновей Китти. Одному было восемь лет, другому десять, у них были свежие розовые личики, светлые волосы, и с голеных плеч свешивались большие белые фартуки, ниспадавшие спереди и сзади, словно ризы.

Муж Китти, master Bell, один из лучших шорников Лондона, был преисполнен столь ревностного отношения к изготовлению и отделке стремян и уздечек, что почти никогда не навещивался днем в лавку своей очаровательной жены. Она была серьезна и благо нравна; он это знал, на это полагался и, думаю, обманут не был.

Увидев Китти, вы сравнили бы ее со статуей Покоя. Она являла собой воплощение безмятежности и порядка, и каждый ее жест служил неоспоримым тому подтверждением. Она сидела, облокотясь на стойку, кротко склонив голову набок, и следила за своими красивыми детьми. Скрестив руки, она с ангельским терпением ждала посетителей, почтительно вставала, встречая их, коротко и точно отвечала на вопросы, делала знак мальчикам, когда требовалось что-то подать, скромно заворачивала в бумагу сдачу, — и так проходил почти весь ее день.

Я всякий раз восхищался прекрасным лицом Китти и ее длинными светлыми волосами, тем более, что в 1770 году англичанки покрывали прическу лишь легким облачком пудры, сам же я в 1770 году был весьма чувствителен к красоте женских волос, уложенных сзади в широкий шиньон, а спереди обрамлявших шею длинными локонами. У меня, надо сказать, имелось множество приятных сравнений для этой очаровательной особы. По-английски я изъяснялся смехотворно, как это свойственно всем нам, и обыкновенно, устроившись у стойки, ел пирожки Китти и сравнивал ее.

Я сравнивал ее с Памелой, потом с Клариссой, в какой-то миг с Офелией, несколько часов спустя — с Мирандой.

* Кексы (англ.).

** Пироги с изюмом и миндалем (англ.).

Она наливала мне *soda-water* * и улыбалась кротко и предупредительно, словно постоянно ожидая какой-нибудь необычайно остроумной шутки со стороны француза; она даже смеялась, когда усмехался я. Так продолжалось час или два, после чего она говорила, что просит извинения, так как не понимает по-немецки. Это не мешало мне приходиться снова, ибо ее лицо действовало на меня успокаивающе. Я всегда обращался к ней одинаково доверительно, а она слушала меня одинаково покорно. Кстати, и дети ее любили меня за мою трость *à la Троншен*, на которой они вырезали ножичком свои узоры, а, между прочим, трость была из лучшего тростника!

Иногда я просто сидел в углу и читал газету, совершенно позабытый и ею самой, и всеми ее покупателями, едоками, болтунами и спорщиками; в эти минуты я предавался своему любимому занятию — наблюдению. И вот что я заметил. Каждый день, в пору, когда туман достаточно густ, чтобы скрыть тусклый светильник, который англичане принимают за солнце и который есть лишь карикатура солнца нашего, подобно тому, как наше есть лишь пародия на солнце Египта, — в эту пору, нередко наступающую в Лондоне в два часа пополудни, словом, в пору между дневным светом и свечами, на тротуаре появлялась тень и проскальзывала перед окнами лавочки; Китти Белл тотчас же вставала из-за стойки, старший сын ее отворял дверь, она что-то давала ему в руки, он бегом относил это на улицу, тень исчезала, и мать возвращалась на свое место.

«Ах, Китти, Китти! — говорил я про себя, — ведь это тень совсем молодого человека, безбородого подростка! Что вы сделали, Китти Белл? Что вы делаете, Китти Белл? Китти Белл, что вы станете делать дальше? Эта тень стройна, и у нее легкая походка. Она закутана в черный плащ, который не в состоянии огрубить ее фигуру. Эта тень носит треугольную шляпу, надвинутую до самых глаз, но из-под широких полей сверкают два огня, два пламени, подобных тому, что Прометей вырвал у солнца».

Впервые увидев этот маневр, я ушел, тяжело вздыхая, ибо он искажал образ моей кроткой и добродетельной Китти; к тому же, как вам известно, ни один мужчина не в силах без отвращения видеть — или воображать, будто видит, — счастье другого мужчины с женщиной, на которую сам он, быть может, и не имеет никаких притязаний... Во

* Зельтерская вода (англ.).

второй раз я вышел, улыбаясь; я был доволен своей проницательностью, позволившей мне обо всем догадаться, в то время как толстые лорды и долговязые леди выходили, ничего не заметив. На третий раз я заинтересовался и почувствовал такое желание быть посвященным в эту маленькую очаровательную тайну, что, кажется, согласился бы стать сообщником всех преступлений семейства Агамемнона, лишь бы только услышать от Китти: «Да, сударь, вы не ошиблись, все так и есть, как вы полагаете».

Но нет, Китти Белл ничего мне не говорила. Всегда безмятежная, всегда невозмутимо спокойная, как будто только что из исповедальни, она даже не удостоивала меня смущенным взглядом, в котором читалось бы: «Я уверена, что вы слишком хорошо воспитаны и слишком деликатны, чтобы дать понять, что вы что-то заметили; я предпочла бы, чтобы вы не заметили ничего; нехорошо с вашей стороны каждый день так поздно засиживаться у нас». Не бросала она па меня и срдито-повелительных взглядов, словно желая сказать: «Продолжайте читать газету, вас это не касается». Раздосадованная француженка, как вы понимаете не преминула бы послать мне такой взгляд, но Китти была для этого слишком горда, или слишком в себе уверена, или слишком глубоко презирала меня; она возвращалась за стойку с такой чистой, такой спокойной и праведной улыбкой, словно ровно ничего не произошло. Я делал тщетные попытки привлечь ее внимание. Напрасно я поджимал губы, метал проницательные взгляды, покашливал многозначительно и важно, словно аббат, размышляющий над исповедью восемнадцатилетней девушки, или судья, только что допросивший фальшивомонетчика; напрасно я усмехался сквозь зубы, быстро шагая из угла в угол и потирая руки словно мошенник, с удовольствием вспоминая свои проделки и некие особые уловки, которыми гордится, как знаток; напрасно я неожиданно застывал перед ней, устремлял взор к небу и с подавленным видом ронял руки, словно человек, который видит, как молодая женщина бросается с моста в реку, напрасно резко отшвыривал газету и комкал ее, как носовой платок, жестом отчаявшегося филантропа, отказавшегося от надежды привести людей к счастью через добродетель; напрасно с величественным видом проходил мимо стойки, стуча каблуками и с достоинством потупляя очи, подобно монарху, оскорбленному чересчур легкомысленным поведением, которое позволили себе в его присутствии фрейлина и паж, напрасно бросался к застекленной

двери секунду спустя после исчезновения тени и замирал там, как замирает на берегу бурного потока путешественник-парижанин, вздохмативший предварительно свои редкие волосы, чтобы казалось, будто они развеваются по ветру, и рассуждающий о неизмеримости человеческих страстей, хотя на самом деле его интересуют лишь вполне измеримые деловые выгоды; напрасно вдруг смирился и шел к ней, как трус, который, изображая храбреца, устремляется на противника, но, подойдя вплотную, застывает, разом утратив способность мыслить, говорить и действовать. Все мои grimасы, долженствующие изображать раздумье, прозорливость, смятение, подавленность, чопорную сдержанность, смирение перед неизбежностью, самоотречение, изнеможение, решительность, самооправдание, чувство собственного превосходства, — словом, вся моя пантомима была бессильна перед кротким мраморным лицом, чья неизменная улыбка и искренний, радующий душу взгляд не позволяли мне сказать вслух хоть одно внятное слово.

Так все и продолжалось бы по сей день (ибо я решил не отступаться, а я всегда был чертовски упрям), да, да, сударь, так все и продолжалось бы, клянусь вам чем угодно, например вашим Пантеоном, дважды деканонизированным канонирами, откуда дважды выбрасывали на улицу святую Женевьеву... (О галантный Аттила, что ты на это скажешь?), клянусь, что так все и продолжалось бы по сей день, если бы не событие, пролившее для меня свет на загадочную юную тень, как оно, надеюсь, прольет свет для вас на тень политическую, которую вы преследуете в течение последнего часа.

15. Письмо на английском языке

Никогда еще почтенный город Лондон не выставлял напоказ с такой готовностью красоты своих естественных и искусственных туманов и не разбрасывал так щедро их сероватые и желтоватые клубы, смешанные с черноватыми клубами угольного дыма; само солнце никогда не было таким тусклым и плоским, как в тот день, когда я оказался а кондитерской раньше обычного. Открыв окованную медью входную дверь, я увидел обоих прелестных сыновей Китти. Они не играли, а чинно прохаживались, заложив руки за спину, подражая отцу с очаровательной серьезностью на невинных розовых личиках, еще почти младенческих и пах-

нувших молоком. Войдя, я с минуту любовался ими, потом перевел взор на мать. Клянусь, я отпрянул. Передо мной было то же лицо, те же правильные спокойные черты, но это была не Китти Белл, а чрезвычайно похожее на нее каменное изваяние. Да, да, даже мраморная статуя не могла бы выглядеть бледнее; под ее белой кожей, можете мне поверить, не было ни единой капли крови; губы были почти так же белы, как все лицо, и огонь жизни озарял лишь огромные глаза. Две лампы освещали ее, оспаривая друг у друга честь слегка оживлять лавку красками в туманном свете угасающего дня. Эти лампы, стоявшие по обе стороны от склоненной головы Китти, придавали ей сходство с покойницей, и это меня потрясло. Я молча сел перед стойкой; она улыбнулась.

Какое бы ни сложилось у вас на мой счет мнение, порожденное жесткостью моих умозаключений и беспощадностью анализа, которому я подвергаю увиденное, уверяю вас, что я очень добрый человек, только никому об этом не говорю. В 1770 году я еще этого не скрывал, за что мне пришлось поплатиться, и я стал умнее.

Итак, я подошел к стойке и по-дружески взял Китти за руку. Она пожала мою очень сердечно, и я почувствовал, что между нашими ладонями перекачивается мягкий, скотканый листок бумаги: это было письмо, которое она мне вдруг показала, в отчаянии вытянув вперед руку, словно указывая на распростертое на полу тело одного из своих сыновей.

Она спросила меня по-английски, сумею ли я его прочесть.

— Письменный английский я понимаю, — ответил я, осторожно касаясь письма, но не смея взять его и начать читать без ее позволения.

Она поняла причину моей нерешительности и поблагодарила меня улыбкой, полной невыразимой доброты и смертельной печали, как бы говоря: «Читайте, мой друг, я разрешаю вам, мне это безразлично».

Врачи играют теперь в обществе ту же роль, что в средние века священники. Они выслушивают признания расстроенных семейств, родственников, потрясенных преступлениями и страстями своих близких. Аббат уступил у изголовья место врачу, как будто общество, сделавшись материалистическим, сочло, что забота о душе должна отныне включаться в заботу о теле.

Поскольку я лечил уши и животы детей, я имел неоспо-

римое право знать тайные горести матери. Эта мысль придала мне уверенности, и я прочел письмо. Я захватил его с собой, ибо это лучшее лекарство, какое я мог бы вам прописать против болезненного направления мыслей. Слушайте же.

Доктор неторопливо извлек из бумажника пожелтевший до темноты листок, уголки и складки которого истрепались, словно сгибы старой географической карты, и с видом человека, полного безжалостной решимости огласить все от первого до последнего слова, прочел нижеследующее:

My dear madam,
I will only confide to you...

— О небо! — воскликнул Стелло, — у вас непереносимо тяжеловесный французский акцент. Переведите это письмо, Доктор, на язык наших отцов и постарайтесь, чтобы я как можно меньше ощущал свойственные переводчикам заминки, неуверенность и косноязычие, из-за которых кажется, будто тебя заставляют ковылять по перепаханному полю, преследуя зайца и волоча на гетрах по десять ливров налипшей грязи.

— Приложу все усилия, чтобы чувство не растерялось по дороге, — сказал Черный Доктор, казавшийся сейчас чернее, чем всегда, — и если вы заметите, что оно в опасности, кричите, звоните или топайте ногами, дабы меня оповестить.

И он продолжал:

Милостивая государыня!

Только вам одной могу я довериться, вам, сударыня, вам, Китти, вам, прекрасная и кроткая молчальница, единственная, кто устремляет на меня невыразимо сладостный взгляд, исполненный сострадания. Я решил навсегда оставить ваш дом, и у меня есть верный способ отблагодарить вас. Но прежде я хочу открыть вам тайну моих несчастий, моей печали, моего молчания и моего упорного затворничества. Я слишком мрачный постоялец для вас, пора положить этому конец. Выслушайте же меня внимательно.

Сегодня мне восемнадцать лет. Если, как я убежден, душа оперяется и расправляет крылья лишь после того, как глаза наши созерцали свет солнца в течение четырнадцати лет, если, как я испытал это на себе, память только после четырнадцати лет открывает свои скрижали и начинает вести свои вечно неполные летописи, если это так, то могу

сказать, что моей душе всего четыре года — четыре года с тех пор, как она осознала себя, вырвалась на простор и взлетела. С того дня, как она впервые рассекла воздух челом и крылами, она ни разу не спускалась на землю, и если она падет на нее, то лишь затем, чтобы умереть, я это знаю доподлинно. Никогда ночной сон не прерывал движение моей мысли; я чувствовал лишь, что она мечется и сбивается с пути, продвигаясь сквозь сновидение вслепую, но всегда с расправленными крыльями и вытянутой шеей, всегда с раскрытыми глазами, глядящими во тьму, всегда устремленная к цели, к которой влечет ее таинственный зов. Сегодня усталость отягощает мою душу, я подобен тем, о которых в Писании сказано: «Душа убиваемых вопиет» *.

Зачем я был создан таким, какой я есть? Я сделал то, что должен был сделать, но люди оттолкнули меня, словно врага. Если в их толпе для меня нет места, я уйду.

Вот что мне нужно сообщить вам:

В моей комнате, у изголовья кровати, вы найдете в большом беспорядке бумаги и пергаменты. Они имеют вид старинных рукописей, но они молоды: пыль, которая покрывает их, ненастоящая; я — Поэт, написавший эти строки; монах Раули — это я. Ядохнул на его прах, воссоздал его скелет, облек в плоть, оживил, одел в монашеское платье; он сложил руки и запел.

Он пел, как Оссиан. Пел «Битву при Гастингсе», трагедию «Аэлла», «Балладу о милосердии», которой вы ублаживали своих сыновей, балладу о сэре Уильяме Кэнинге, которая вам так нравилась, трагедию «Годдвин», «Турнир» и старинные эклоги времен Генриха II.

Труд, потраченный мною за эти четыре года на то, чтобы научиться говорить языком пятнадцатого столетия, языком монаха Раули, который якобы перевел поэмы монаха Тургота, написанные еще на пять веков раньше, этот труд занял бы все восемьдесят лет жизни моего никогда не существовавшего автора. Я превратил свою комнату в монастырскую келью; я благословил и возвел в святыню свою жизнь и свою мысль; я сделал глаза свои близорукими и погасил для них свет нашего времени; я сделал сердце свое простым и омыл его в купели католической веры; я обучился детскому говору минувших веков, писал, как король Гарольд герцогу Вильгельму, на смеси саксонского и старофранцуз-

* Книга Иова. Гл. 24, ст. 12.

ского, и поместил свою благочестивую Музу в раку, словно святую.

Из тех, кто видел ее, некоторые перед ней помолились и прошли мимо, многие смеялись, большинство поносило меня, и все топтали меня ногами. Я надеялся, что призрачный флер вымышленного имени послужит мне лишь покровом, но я чувствую, что он стал моим саваном.

О друг мой, моя прекрасная, нежная, мудрая покровительница, давшая мне приют! Можете ли вы поверить, что мне не удалось ниспровергнуть призрак Раули, который я создал собственными руками? Эта каменная статуя упала на меня и меня придавила; знаете ли вы, как это случилось?

О нежная и наивная Китти Белл! Знаете ли вы, что существует на свете племя людей с черствым сердцем и крохотными глазками, вооруженных клешнями и когтями? Этот муравейник без разбора нападает, наваливается, набрасывается на любую, даже самую незаметную книгу и принимается ее грызть, точить, рвать, буравить быстрее и глубже, чем червь-книготочец. Никакое волнение неведомо этому вечному племени, никакое вдохновение его никогда не охватывает, никакой свет не радует и не согревает; представители этой несокрушимой породы сокрушителей, чья кровь холодна, как кровь гадюк и жаб, ясно видят три пятна на солнце, но не замечают его лучей; они устремляются прямо к изъязмам; они кишат в ранах, которые сами наносят, в крови и слезах, которые проливаются из-за них; всегда язвящие, но никогда не уязвленные, они защищены от ударов собственной ничтожностью, низостью, изворотливостью и коварными ухищрениями; все живое они ранят в самое сердце, словно те зеленые насекомые, которые тучами рассыпают на своем пути азиатская чума; все, что ими поражено, засыхает, плод гниет изнутри и при первой же непогоде падает наземь от дуновения ветра или от легчайшего прикосновения.

Напуганные тем, что люди с возвышенным умом передавали друг другу пергаменты с моими ночными сочинениями, тем, что монах Раули был уподоблен Гомеру такими прославленными мужами, как лорд Четхем, лорд Норт, сэр Уильям Дрейпер, судья Блекстоун и некоторые другие, они поспешили поверить в реальность моего воображаемого Поэта; я думал сначала, что мне легко будет заставить себя признать. Я создал за одно утро несколько старинных поэм, казавшихся еще более древними, чем первые. Их отвергли, не воздав мне должное за предыдущее. Впрочем,

на сей раз пренебрегли сразу всем: Поэт, живой, точно так же, как и мертвый, был отвергнут могущественными людьми, по чьему слову или знаку решается судьба Великобритании; остальные не стали читать. Его вновь извлекут из забвения, когда меня уже не будет, этот миг не заставит себя ждать; я окончил свое дело:

«Othello's occupation's gone» *

Они сказали, что я наделен прилежанием и фантазией, и сочли, что из двух этих факелов один можно задуть, а второй оставить горсть. «Ynne Heav'n Godd's mercie synge», — повторю я вслед за Раули. Да простит им Господь их прегрешения! Они задули оба! Я пытался последовать их совету, ибо у меня больше не оставалось хлеба, и нечего было послать в Бристоль матери: она очень стара, но я умру раньше нее. Я взялся за предложенную ими работу, требующую точности, и не смог с ней справиться; я был подобен человеку, который после яркого света очутился в темной пещере: каждый мой шаг оказывался слишком широк, и я падал. Они сочли, что я вообще не умею ходить. Они объявили меня неспособным ни к какой полезной деятельности; я сказал им: «Вы правы» и удалился.

Сегодня я вышел из своего жилища (я должен был бы сказать — из вашего) раньше обыкновенного: я намеревался встретиться у дверей г-на Бекфорда, о котором говорят, что он делает много добра, и который известил меня о своем посещении; но у меня не хватает мужества взглянуть в лицо благодетелю. Если мужество вернется ко мне, я приду назад. Все утро я бродил по набережным Темзы. Сейчас ноябрь, время густых туманов; вот и сегодня туман стелется за окнами, словно белая простыня. Десять раз я проходил мимо вашей двери, смотрел на вас, сам оставаясь незамеченным, и стоял, словно нищий, прислонившись лбом к оконному стеклу. Я чувствовал, как меня одолевает холод и растекается по рукам и ногам; я надеялся в ту минуту, что смерть возьмет меня, как брала других бедняков на моих глазах, но в моем слабом теле обитает неодолимая жизненная сила. Я пристально глядел на вас в последний раз, не желая заговорить с вами, ибо боялся увидеть слезы в ваших прекрасных глазах; я еще имею слабость думать, что отступился бы от своего решения, увидев, что вы плачете.

* «Конец всему. Отелло отслужил». Шекспир У. Отелло. Акт III, сцена 3. Пер. Б. Пастернака.

Я оставляю вам все мои книги, пергаменты и бумаги и прошу у вас взамен пропитания для моей матери — вам не долго придется ей отсылать его.

Вот первая страница, которую мне довелось написать спокойно. Люди не знают, какой внутренний покой дарован тому, кто решился обрести мир навечно. Говорят, Вечность предчувствуешь заранее, она подобна тем прекрасным краям Востока, чей благоуханный воздух мы вдыхаем задолго до того, как вступаем на их землю.

Томас Чаттертон.

16. Где драма, к неудовольствию некоторых достойных читателей, прерывается учеными разговорами

Дочитав это длинное письмо, оказавшееся весьма не-легким и для чтения, и для понимания из-за мелкого почерка и множества «у» и непроизносимых «е», которыми испещрил его Чаттертон, привыкший писать на средневековом английском, я вернул листок хранившей серьезность Китти. Она сидела все в той же позе, облокотясь о стойку; ее мечтательная головка на длинной гибкой шее склонялась к плечу и отражалась в белом мраморе вместе с опирающимися на него локтями. Она была похожа на маленькую гравюру с изображением Софи Вестерн, терпеливой возлюбленной Тома Джонса, виденную мною некогда в Дувре...

— А, вы опять принялись ее сравнивать, — перебил Стелло. — Зачем мне нужно, чтобы вы создавали портреты в миниатюре всех ваших персонажей? Для того, у кого есть хоть капля воображения, поверьте, довольно и наброска, один штрих, Доктор, если он точен, больше скажет мне, чем бездна деталей, вы же, если вас не остановить, готовы сообщить, на какой мануфактуре был соткан шелк для розеток на ее туфлях, ужасная манера вести рассказ, опасно распространившаяся в последнее время.

— Ах, вот как! — вскричал Черный Доктор со всем возмущением, какое только сумел изобразить на своем бесстрастном лице. Стоит мне расчувствоваться, как вы немедленно меня обрываете, ей-богу, будь что будет! да здравствует Демокрит! Обыкновенно я держусь мнения, что следует не смеяться и не плакать, а смотреть на жизнь холодно, как на партию в шахматы, но если уж выбирать кому подрывать — Гераклиту или Демокриту в манере говорить

людям о них самих, то я предпочитаю последнего: он более презрителен. Право, плакать над жизнью — значит слишком высоко ценить ее: и «плакальщики», и «ненавистники» принимают ее чересчур близко к сердцу. Что делаете и вы, и это меня весьма огорчает. Род человеческий, неспособный ни на добро, ни на зло, должен был бы меньше волновать вас однообразным зрелищем своего существования. Позвольте же мне вести рассказ, как мне нравится.

— И довести меня до отчаяния, — вздохнув, проговорил Стелло тоном жертвы.

Доктор продолжал, нимало не смущаясь:

— Китти Белл взяла письмо, печально повернулась к окну, покачала головой и сказала: «He is gone».

— Довольно! довольно! Бедняжка! — воскликнул Стелло. — Довольно! Ничего не добавляйте. Я вижу ее всю в одном этом: «Он ушел!» Ах, молчаливая англичанка, больше ты и не могла ничего сказать! Да, я понимаю, ты приютила его и ни разу не дала ему почувствовать, что это не его дом, ты благоговейно читала его стихи и никогда не позволяла себе чересчур смелого комплимента, ты показала ему, сколь они прекрасны в твоих глазах, лишь обучив им своих детей наравне с вечерней молитвой. Быть может, ты осмеливалась иногда оставить робкую карандашную пометку на полях против тех строк, где Берта прощается со своим возлюбленным, какой-нибудь едва заметный крестик, который легко стереть, над стихом, описывающим могилу короля Гарольда, и, если одна из твоих слез размывала букву в драгоценной рукописи, ты искренне считала, что испортила страницу, и пыталась свести пятно. А он ушел! Бедная Китти! Неблагодарный, he is gone!

— Хорошо! очень хорошо! — сказал Доктор, — остается предоставить вам продолжать рассказ, вы избавляете меня от необходимости произносить массу лишних слов и угадываете очень верно. Но зачем я докучал вам ненужными сведениями о Чаттертоне! Вы не хуже меня знаете его писания.

— Таково в некотором смысле мое правило, — небрежно отвечал Стелло, — смиренно выслушивать урок о вещах, которые мне прекрасно известны, чтобы выяснить, знает ли их мой собеседник на один лад со мной, ибо знать можно на разные лады.

— Вы совершенно правы, — сказал Доктор, — и если бы вы развили эту мысль вместо того, чтобы позволить ей

улетучиться, словно парам из откупоренного флакона, вы пришли бы к выводу, что это прелюбопытное развлечение — разглядывать и сопоставлять крохи Знания, содержащегося в каждом мозгу: один удержал от Знания только ступню и никогда не замечал всего тела, другой хранит обломок руки, для третьего Знание — предмет поклонения, он оберегает его, вертит так и сяк, показывает то той стороной, то этой, с гордостью демонстрируя его торс — без головы, без рук, без ног, — так что, как бы ни было это бедное Знание достойно восхищения, оно лишено цели, способности к действию и к движению. Но самые многочисленные — те, кто взяли от Знания лишь его кожу, поверхность кожи, тончайшую оболочку и выдают себя при этом за обладателей Знания во всей его полноте. Эти мнят о себе больше всех. Что же до тех, кто Знанием вещей, о которых ведет речь, владеет целиком — и оболочкой, и существом, и телом, и душой, и совокупностью, и частями — и все это держит в голове всегда наготове, дабы сразу пустить в ход в нужный момент, как рабочий свои инструменты, то, когда такие люди встретятся вам, сделайте одолжение, дайте мне их визитную карточку, дабы я мог зайти засвидетельствовать им свое глубочайшее почтение. С тех пор, как я странствую и наблюдаю интеллектуальную элиту разных стран, мне не попадались еще представители вида, который я только что описал.

Я и сам, сударь, признаюсь вам, весьма далек от столь полного знания всего, о чем приходится говорить, однако я все равно знаю больше, чем в состоянии понять и даже просто выслушать мои собеседники. И, заметьте, у бедного человечества есть одно превосходное свойство, состоящее в том, что посредственность масс делает их весьма нетребовательными к посредственностям высшего порядка, которым они охотно, и даже с удовольствием, позволяют себя наставлять.

Итак, сударь, мы рассуждали о Чаттертоне, я самонадеянно намеревался прочесть вам научную лекцию о средневековом английском языке, о смеси саксонского и нормандского, о немых «е», об «у», о богатстве его рифм на «аie» и на «yunge». Я намеревался пуститься в сетования, серьезные, многозначительные и обстоятельные, о непоправимой утрате старинных слов, таких наивных и в то же время таких выразительных, как, например, «emburled» вместо «armed», «deslavatie» вместо «unfaithfulness», «acrool» вместо «faintly», и таких благозвучных, как «myndbruche» вместо «firmness

of mind», «mysterk» вместо «mystic», «ystorven» вместо «dead» *. Ручаюсь вам, что не найдется кафедры, сколоченной из еловых досок и заляпанной чернилами, с которой я, переводя с такой легкостью английский тысяча четыреста сорок девятого года на английский тысяча восемьсот тридцать второго, не произвел бы эффектного впечатления. Даже сидя в этом кресле, хотя оно и не заляпано ничем, я готовился повергнуть вас в то состояние приятного удивления, когда человек думает: «О, это поистине кладезь премудрости», но вдруг весьма кстати обнаружил, что вам прекрасно известны сочинения Чаттертона, — факт, несчастный для Лондона (города, где еще попадаетея много англичан, как сказал мне один весьма уважаемый в Париже путешественник). Вот я и очутился опять в несносном положении человека, вынужденного беседовать вместо того, чтобы поучать. Более того, вынужденного слушать! Слушать! О, что может быть докучливее и непривычнее для врача!

Стелло улыбнулся впервые за много часов.

— Меня не так уж обременительно слушать, — медленно проговорил он. — Я быстро утомляюсь и не могу говорить долго...

— Невыгодное свойство для доброго города Парижа, — перебил Доктор, — где красноречивым называется тот, кто, стоя спиной к камину или опершись о загородку кафедры, сыплет в течение полутора часов звучными слогами, при условии, однако, что они не означают ничего такого, что не было бы уже где-то читано или слышано.

— Да, — продолжал Стелло, устремив взор в потолок, как человек, который силится что-то припомнить, и его воспоминание проясняется и делается отчетливее с каждым мгновением. — Да, я чувствую трепет, вызывая в памяти эти наивные и мощные творения, созданные неповторимым и непризнанным гением *поэта Чаттертона, погибшего в семнадцать лет*. Это имя должно слиться в одно слово, как Шарлемань, настолько это звучит прекрасно, странно, необыкновенно и величественно.

О печальный, о скорбный, исполненный глубины Черный Доктор! если можно чем-нибудь тронуть вас, то не этим ли простым и дышащим стариной началом «Битвы при Гастингсе»? Сколько лишений для современного человека!

* Вооруженный, вероломство, слабо, твердость духа, мистический, мертвый.

Сделаться по собственной воле монахом десятого века! монахом чрезвычайно благочестивым и нелюдимым, старым англосаксом, не желающим покориться нормандскому владычеству и признающим лишь две власти на свете — Христа и Море. К ним он и обращается в своей поэме:

«О Христос, что за мука вести рассказ о том, сколько графов знатнейших и рыцарей доблестных пали, храбро сражаясь на равнине под Гастингсом за короля Гарольда!»

О Море! Море благодетельное и животворящее! Почему, обладая всесильным разумом, не обрушило ты свои волны на войско Вильгельма?» *

— Да, сильно им врезался в память этот герцог Вильгельм! — перебил его Доктор. — Сен-Валери — прелестный маленький морской порт, грязный и утопающий в тине, я видел там живописные зеленые рощи, достойные пастишков с берегов Линьона, видел маленькие белые домишки, но нигде не видел плиты, на которой было бы высечено: «Отсюда Вильгельм отправился в Гастингс».

— «На войско Вильгельма, — продолжал Стелло декламировать с большим пафосом, — чьи подлые стрелы сразили великое множество графов и щедро оросили поля кровавым дождем».

— Почти как у Гомера, — пробормотал Доктор, *Πολλάς δ'ἰφθίμους ψυχὰς Ἴδι προΐαψεν* **.

Иначе говоря: «The souls of many chiefs untimely slain» ***.

— Как прекрасен юный Гарольд в своей силе и беспощадности! — продолжал Стелло, в котором говорил Энтузиазм. — «Kunge Harold he in ayre majestic raysd» **** Вильгельм видит его и устремляется вперед, распевая песню о Роланде.

— Какая точность! Какая историческая точность! — глухо пробормотал Доктор, в котором говорило Знание. — Ибо Вильям Мальмсберийский положительно утверждает что Вильгельм начал наступление с песни о Роланде:

* Стелло приводит прозаический (и неточный) перевод поэмы Чаттертона «Битва при Гастингсе», написанной рифмованными стихами.

** «...Много сильных душ героев пославший к Аиду». Илиада. (1, 3) Пер. В. Вересаева.

*** Он (Вильгельм) «души многих вождей преждевременно жизни лишил». Чаттертон Т. Битва при Гастингсе.

**** «Величественно возвышается король Гарольд» (Битва при Гастингсе).

«Tunc cantilena Rolandi inchoata, ut martium viri exemplum pugnatōres accenderet» *.

А Уортон в своих «Рассуждениях» говорит, что гунны шли в атаку с криками «Иу! Иу!». Таков был обычай варваров.

И разве Робер Вас, которого называли и Гас, и Гап, и Юсташ, и Вистас, не написал о Тальфере Нормандце:

Тальфер, что чудно петь умел,
Вперед пред герцогом летел
И о высоком пел примере,
О Карле, о Роланде-пэре,
Об Оливье и о вассалах,
Что пали в Ронсевальских скалах.

— И два народа сразились, — пылко говорил Стелло, пока Доктор неторопливо смаковал свои цитаты. — Нормандские стрелы бьются о саксонские кольчуги. Вот сир де Шатильон атакует эрла Алдгельма, сир де Торси убивает Генгиста. Франция пленяет старый саксонский остров, облик острова обновляется, язык меняется, и только где-то в старых монастырях остается несколько старых монахов, таких, как Тургот и впоследствии — Раули, которые льют слезы и молятся перед каменными изваяниями святых саксонских королей, держащих в руке маленькую церковь.

— А какая эрудиция! — воскликнул Доктор. — Знание саксонских преданий он подкрепил чтением французских историков. И сколько их — от Ю де Лонгвиля до сира де Сен-Валери! Видам Патэ, сеньор Пиккиньи, Гийом де Мулен, которого Стау называет Мулинус, а воображаемый Раули величает дю Мулин, и добрый сир де Сансо, и доблестный сенешаль де Торси, и сир де Танкарвиль, и все наши старые авторы хроник и историй, кое-как зарифмованных под баллады и поэмы! Это все мир Айвенго!

— Ах! — вздохнул Стелло, — как редко случается, чтобы один и тот же английский поэт оказался автором такого простого и великолепного произведения, как «Битва при Гастингсе», и написанных вслед за ней элегических песен. Кто из англичан создал нечто равное этой балладе о милосердии, так наивно названной «Сиятельная баллада о

* «Тогда зазвучала песнь о Роланде, и пример высоких военных деяний воспламенил воинов» (лат.).

милосердии», подобно тому, как почтенный Франциско де Леефдаль напечатал «la famosa comedia de Lope de Vega Carpio» *, что может сравниться по безыскусности с разговором аббата монастыря Святого Годвина с бедняком, какое простое и прекрасное начало! как я люблю эту бурю, застающую спокойное море врасплох! какие ясные, чистые краски! какое широкое полотно! Англия не имеет подобных ему в своих поэтических галереях!

Послушайте только:

«Стоял месяц Девы. Сверкало полуденное солнце, небо синело, воздух был спокоен и неподвижен. Вдруг показалось множество черных туч, они надвигались устрашающим строем и вот уже накатились на леса, заслонив сияющий лик солнца. Черная буря стремительно нарастала и ширилась...»

И, конечно, вы не откажетесь (да и кто отказался бы на вашем месте?) наполнить слух дикой гармонией этих старинных стихов.

The sun was glemeing in the midde of daie,
Deadde still the aire, and eke the welken blue
When from the sea arist in drear arraie
A hepe of cloudes of sable sullen hue,
The which full fast unto the woodlande drewe
Hiltring attenes the sunnis fetyve face,
And the blacke tempeste swolne and gathered up apace.

Доктор не слушал.

— Я сильно подозреваю, — сказала она, — что этот аббат есть не кто иной, как сэр Ральф де Белломон, ярый сторонник Ланкастеров, тогда как сам Раули, — без сомнения, сторонник Йорков.

— О проклятый комментатор! вы заставили меня проснуться! — вскричал Стелло, вырванный из своей упоительной поэтической грезы.

— Именно этого я и добивался, — сказал Черный Доктор, — дабы мне было наконец дозволено перейти от книги к ее автору и оставить перечисление его писаний ради событий, пускай незамысловатых, но которые стоят того, чтобы дать мне закончить рассказ о них.

— Ну так рассказывайте же, — промолвил Стелло с досадой.

* «Славную комедию Лопе де Вега Карпио» (исп.).

И он закрыл глаза обеими руками, словно принял твердое решение думать о другом, — решение, исполнить которое ему не удалось, как убедится читатель, если даст себе труд прочесть следующую главу.

17. Продолжение истории Китти Белл. Благодетель

— Итак, я остановился на том, — заговорил самый холодный из докторов, — что Китти посмотрела на меня печально. Этот горестный взгляд так ясно передавал состояние ее души, что я удовольствовался его небесным выражением взамен полного и подробного объяснения тех таинственных обстоятельств, которые я так стремился разгадать. Этот взгляд сделался еще красноречивее мгновение спустя, ибо, пока я трудился над своим лицом, растягивая его вверх и вниз, дабы придать ему выражение чувствительного сострадания, какое каждый любит встречать в себе подобных...

— Он считает себя подобным прекрасной Китти! — пробормотал Отелло вполголоса.

— Так вот, пока я старался придать жалостливое выражение своему лицу, мы услышали, как с грохотом подкатила тяжелая золоченая карета и остановилась перед застекленной стеной лавочки, где навечно была заключена Китти, словно экзотический фрукт в оранжерее. Лакеи держали факелы впереди и позади экипажа — необходимая мера предосторожности, ибо часы на соборе Святого Павла показывали уже два часа пополудни.

— The Lord-Mayor! Lord-Mayor! * — вскричала вдруг Китти, захлопав в ладоши; щеки ее от радости запылали, глаза засияли тысячью нежных огней, и, повинувшись необъяснимому материнскому инстинкту, она бросилась целовать своих сыновей, — она, чье счастье в тот миг было счастьем любовницы! У женщин случаются иногда необъяснимые порывы!

Это и вправду была карета лорда-мэра, почтенного г-на Бекфорда, «короля Лондона», избранного шестьюдесятью двумя корпорациями торговцев и ремесленников, во главе которых стоят двенадцать цехов ювелиров, торговцев рыбой, кожевников и т. д., и т. д., коих он есть верховный глава. Вы знаете, что когда-то лорд-мэр был настолько

* Лорд-мэр, лорд-мэр! (англ.).

могуществен, что его побаивались сами короли; он возглавлял все революции, как утверждает Фруассар, повествуя о «лондонцах» или «вилланах города Лондона». Господин Бекфорд в 1770 году отнюдь не был революционером, и его нисколько не боялся король; это был достойный джентльмен, отправляющий свои обязанности степенно и корректно, владевший собственным дворцом, где давались великолепные обеды, на которые бывал зван и король и на которых лорд-мэр фантастически много пил, не теряя при этом ни на мгновение своего поразительного самообладания. Каждый вечер около восьми часов он первым вставал из-за стола, сам распахивал широкие двери столовой перед окончившими обед женщинами, затем снова возвращался к столу и, оставшись в обществе мужчин, пил без перерыва до полуночи. Все вина планеты совершали путешествие вокруг его стола и передавались из рук в руки, заполняя на мгновение бокалы всевозможных размеров, которые господин Бекфорд опустошал первым и всегда с одинаковой невозмутимостью. Он говорил о государственных делах со старым лордом Четхемом, герцогом Графтоном, графом Мэнсфилдом после тридцатой бутылки столь же непринужденно, как после первой, и ум его, строгий, здравый, жесткий, сухой и тяжеловесный, ни разу не изменял ему за весь вечер. Он защищался, толково и не распаяясь, от сатирических обвинений Юниуса, этого грозного инкогнито, который имел мужество или слабость оставить навеки анонимной одну из самых острых из написанных по-английски сатир, подобно тому, как осталось анонимным второе Евангелие «Подражание Иисусу Христу».

— Какое значение имеют три или четыре слога, составляющие имя? — вздохнул Стелло. — Лаокоон и Венера Милосская существуют без авторства, а между тем их создатели, стуча молотками по мрамору, надеялись обессмертить свои имена. Имя Гомера, этого полубога, недавно оказалось перечеркнуто, как несуществующее, неким греческим господином! О, слава, призрачная мечта! сказал Пиндар, если, конечно, он существовал, ведь теперь ни в ком нельзя быть уверенным.

— Я вполне уверен в существовании господина Бекфорда, — отвечал Доктор, — ибо, повторяю, в тот день, который мне никогда не забыть, видел этого толстого красного субъекта собственными глазами. Сей достойный муж был высок ростом и обладал толстым красным носом, свешившимся на толстый красный подбородок. Он-то точно су-

ществовал! ни один человек в мире не существовал так явственно и ощутимо, как он! Его ленивое, высокомерное и прожорливое брюхо было облечено в обширный камзол из золотой парчи, надменные, самодовольные, необъятные отечески-покровительственные щеки широко наплывали на галстук, толстые, массивные, подагрические ноги чинно несли его тело, ступая осторожной, но твердой и величественной походкой, забранная в большой кошелек напудренная коса спускалась на круглые, могучие плечи, достойные возложенного на них тяжкого бремени должности лорда-мэра.

Вся эта туша медленно и с трудом вылезла из экипажа.

Пока господин Бекфорд вылезал, Китти Белл объяснила мне в восьми словах, что отчаяние господина Чаттертона было вызвано тем, что этот человек, его последняя надежда, до сих пор не приходил, несмотря на свое обещание.

— И все это в восьми словах! — сказал Стелло. — Как прекрасен турецкий язык! *

— И добавила к этому в четырех словах (именно в четырех, а не в п я т и), — продолжал Доктор, — что, без сомнения, господин Чаттертон вернется вслед за лордом-мэром.

И действительно, когда, пройдя между двумя лакеями, которые держали по обе стороны дверцы по толстому смолянному факелу, добавляя к прелестям тумана прелести черного дыма и отвратительного зловония, господин Бекфорд вошел в лавку, знакомая тень, бледная тень с темными глазами скользнула вдоль витрины и вошла вслед за ним. Я принялся жадно разглядывать Чаттертона.

Да, восемнадцать лет, самое большее восемнадцать! Темные падающие на уши волосы без пудры, профиль юного спартанца, высокий и широкий лоб, очень большие черные глаза, впалые, пристальные и пронзительные, выступающий вперед подбородок и полные губы, на которых невозможно вообразить улыбку. Он шел спокойным шагом, держа шляпу под мышкой и устремив пылающие глаза на Китти, спрятавшую свое прекрасное лицо в ладони. Чаттертон был одет с ног до головы во все черное; его кафтан, плотно прилегающий и застегнутый на все пуговицы до самого галстука, придавал ему сходство одновременно и с военным, и со священником. Он был высок ростом, превосходно сложен.

* Неточная цитата из пьесы Ж. Б. Мольера «Мещанин во дворянстве».

Оба малыша, явно привыкшие к его доброте, тут же повисли у него на руках и ногах. Чаттертон прошел вперед, ероша им волосы, но не глядя на них. Он почтительно поклонился господину Бекфорду, который пожал ему руку, так сильно тряхнув ее, что было удивительно, как она не оторвалась вместе с лопаткой. Они с удивлением оглядели друг друга.

Китти Белл робко сказала из-за стойки Чаттертону, что уже не надеялась вновь увидеть его. Он не ответил — то ли не услышал, то ли не захотел услышать.

Несколько посетителей, мужчин и женщин, находившихся в лавке, ели и беседовали, не обращая внимания на происходящее. Однако когда господин Бекфорд открыл рот и заговорил — оглушительным басом благодетеля, с грубым выговором, свойственным толстым красным мужчинам, все подошли ближе и столпились вокруг. Голоса постепенно смолкли, и, как принято выражаться у вас, поэтов, казалось, даже стихи замерли, прислушиваясь, и повсюду заплясали ослепительные отблески огня, пылавшего в лампах, которые на радостях зажгла Китти Белл, счастливая до слез, оттого что впервые на ее глазах могущественный человек подал руку Чаттертону. Слышалось лишь, как работают челюсти закутаных в меха англичанок, робко вынимавших руку из муфты, чтобы взять со стойки миндальное пирожное, *cracknels* * или *plumbuns* **, и с хрустом их поевавших.

Господин Бекфорд сказал примерно следующее:

— Я не зря называюсь лордом-мэром, дитя мое, мне хорошо известно, что такое бедные молодые люди. Вчера, мой мальчик, вы принесли мне свои стихи, и сегодня я вам их возвращаю, сын мой: вот они. Я не заставил вас долго ждать, не так ли? Я приехал, чтобы взглянуть своими глазами, как вы живете, и сделать вам одно предложение, которое не будет вам неприятно. Прежде всего, заберите у меня это.

Почтенный господин Бекфорд взял у одного из лакеев стопку рукописей Чаттертона и вручил их ему, после чего тяжело плюхнулся на стул и развалился без всякого стеснения. Чаттертон с достоинством принял пергаменты и бумаги и зажал их под мышкой, не сводя с толстого лорда-мэра горящих глаз.

— Не найдется, — продолжал великодушный господин Бекфорд, — ни одного человека, которому не случилось, как

* Хрустящее печенье (англ.).

** Булочка с изюмом (англ.).

вам, в юности пописывать стишки. Ну что ж, это нравится хорошеньким женщинам. Это свойственно вашему возрасту, милый юноша. Young Ladies * это любят. Не правда ли, красotka?..

И он протянул через стойку руку, чтобы потрепать по подбородку Китти Белл. Китти отпрянула всем телом и посмотрела на Чаттертона с ужасом, словно опасаясь с его стороны взрыва, ибо вам известно, что писалось о характере этого юноши: «He was violent and impetuous to a strange degree» **.

— Я помню свою весну: я тоже пописывал тогда, как и вы, — гордостью сообщил толстый господин Бекфорд, — и никакой Литтлтон, никакой Свифт или Уилкс не слагали для прекрасных дам стихов более галантных и игривых, чем я. Однако даже в ваши годы я был достаточно разумен, чтобы уделять Музам лишь время досуга, и не успела моя весна смениться летом, как я уже был целиком поглощен делами: пришла осень, они вызрели в моих руках, и теперь моя зима скрашена их вкусными плодами.

Красноречивый господин Бекфорд не мог удержаться от искушения оглядеться, дабы прочесть в глазах присутствующих восхищение непринужденностью своего слога и свежестью сравнений.

Дела, вызревшие в его руках осенью жизни, произвели, судя по всему, на двух министров, одного черного квакера и одного краснолицего лорда такое же глубокое впечатление, какое сегодня, в 1832 году, производят на нас речи старых симпатичных генеральчиков del signor Буонапарте ***, когда они взывают к нам фразами из школьного курса латыни и греческого, прося отдать им наших сыновей и внуков, дабы составить из них армейские корпуса и показать нам, что, прозанимавшись семнадцать лет виноторговлей и ведением бухгалтерских книг, они еще не утратили способность проиграть свою симпатичную маленькую битвочку, как проигрывали некогда в отсутствие великого мастера.

Достопочтенный господин Бекфорд, очаровав, таким образом, публику сочетанием добродушия и достоинства с изысканностью выражения, продолжал уже серьезнее:

— Я говорил о вас, друг мой, и хочу помочь вам вы-

* Молодые дамы (англ.).

** «Он был в необычайной степени горяч и необуздан». (англ.).

*** Синьора Буонапарте (итал.).

браться из вашего положения. Никто за целый год не обращался к лорду-мэру напрасно. Я знаю, что вы ничего не умеете делать, кроме как сочинять ваши окаянные стихи на тарабарском языке, которые — если даже предположить, что их кто-нибудь поймет, — не очень-то хороши. Я, как видите, человек прямой и говорю с вами, как отец: а даже будь они очень хороши — кому они нужны? Я вас спрашиваю: кому они нужны?

Чаттертон застыл, словно статуя. Молчание семи или восьми стоявших рядом зрителей было глубоким и деликатным, но во взглядах читалось явное одобрение вывода, сделанного лордом-мэром, и улыбка их говорила: «В самом деле, кому они нужны?»

— Добрый англичанин, который хочет быть полезен своей стране, — продолжал благодетель, — должен избрать поприще, на котором его деятельность будет честной и прибыльной. Ну, скажите мне, дитя мое: как понимаете вы свой долг?

И он с видом наставника откинулся на спинку стула.

Тут я услышал мягкий и глуховатый голос Чаттертона; отрывисто произнося слова и делая паузу после каждой фразы, он дал следующий оригинальный ответ:

— Англия — это судно, недаром наш остров напоминает его формой: носом оно обращено к северу и стоит на якоре в открытом море, словно охраняя континент. Из его лона непрерывно выходят другие суда, созданные по его подобию: они отправляются представлять его во всех гаванях мира. А мы все несем свою вахту на борту большого, главного Судна. Король, Лорды и Палата Общин — у флага, у руля, у компаса, мы же, прочие, должны заботиться о снастях, карабкаться на мачты, натягивать паруса, заряжать пушки, мы все — члены экипажа, и в плавании нашего славного судна бесполезных нет.

Слова эти произвели впечатление оглушительное. Слушатели приблизились, не вполне понимая смысл сказанного и не зная, следует им насмехаться или рукоплескать, — положение, вполне обычное для черни.

— Well, very well! — закричал толстый Бекфорд. — Великолепно, дитя мое! Вы прекрасно изобразили нашу благословенную родину! Rule Britannia! * — запел он. — Но, мальчик мой, я люблю вас на слове. Какого черта делать в плавании поэту?

* «Правь, Британия...» (англ.) — английская национальная песня.

Чаттертон по-прежнему оставался неподвижен: то была неподвижность человека, поглощенного внутренней работой, которая никогда не прекращается и населяет тенями мир перед его взором. Он устремил глаза к потолку и сказал:

— Поэт ищет по звездам путь, который указывает нам перст Господень.

Я встал и невольно бросился пожать ему руку. Мне нравилась эта юная горячая голова, пылкая и вечно воодушевленная, как ваша.

Бекфорд, казалось, был раздражен.

— Фантазии! — бросил он.

— «Фантазии! О, откровенья Неба!» могли бы вы ответить, — сказал Стелло.

— Я знаю «Полиевкта» не хуже в а с , — заметил Доктор , — но в ту минуту думал о нем меньше всего.

— Фантазии! — сказал господин Бекфорд , — всегда одни фантазии вместо здравого смысла и рассудительности! Чтобы быть поэтом лирическим и одержимым, как вы, надо жить под небом Греции, ходить в хламидах и сандалиях, с голыми коленями, и заставлять камни танцевать под свою кифару. Но если вы носите грязные сапоги, треугольную шляпу, жилет и кафтан, мало надежды, что за вами покатится по улице хоть один камешек или что вы окажетесь в роли пусть даже самого захудалого жреца и сумеете оказать хотя бы самое небольшое моральное влияние на своих сограждан.

Поэзия, на наш взгляд, есть упражнение в стиле, весьма любопытное для публики и исполняемое порой остроумными людьми, но кто же принимает ее всерьез? Разве что глупцы! Кроме того, из чтения Бена Джонсона я вынес одну истину, каковую полагаю бесспорной, а именно: ни одна, даже самая прекрасная на свете Муза, не в состоянии прокормить своего служителя, а потому этих барышень можно брать в любовницы, но никак не в жены. Вы испробовали все, что ваша Муза могла вам предложить, покиньте ее, мальчик мой, поверьте мне, мой юный друг. С другой стороны, мы испробовали вас в финансовом и канцелярском деле, к которому вы оказались совершенно непригодны. Прочтите вот это, примите мое предложение, и вы не пожалеете, вас будут окружать добрые товарищи. Прочтите и трезво обдумайте, дело стоящее.

С этими словами, вручив нашему диковатому подростку крохотную записку, лорд-мэр величественно поднялся.

— Речь идет, — сказал он, удаляясь среди поклонов и знаков почтения, — о ста фунтах стерлингов в год.

Китти Белл встала и поклонилась так, словно готова была на коленях целовать ему руку. Присутствующие проводили до двери достойного лорда-мэра, который улыбался и оглядывался, задерживаясь на пороге с благодушным видом епископа, идущего на конфирмацию девочек. Он ждал, что Чаттертон последует за ним, но успел заметить лишь отчаянный порыв облагодетельствованного юноши. Чаттертон бросил взгляд в записку; внезапно он схватил свои рукописи, швырнул в топившийся углем камин, где огонь полыхал, словно в огромном горне, и исчез из лавки.

Господин Бекфорд удовлетворенно усмехнулся и, помавав из окна кареты рукой, крикнул: «Я с удовольствием вижу, что образумил его: он отказывается от поэзии». И лошади тронулись.

«Это от жизни он отказывается», — сказал я себе. Вдруг я почувствовал, как кто-то с необыкновенной силой стиснул мне руку. Это была Китти: не подымая глаз и делая вид, будто просто идет мимо, она тянула меня к маленькой застекленной дверце в глубине лавки, — дверце, которую оставил распахнутой Чаттертон. В лавке шумно говорили о доброте лорда-мэра; кто-то входил, выходил. Никто ничего не заметил. Я последовал за ней.

18. Лестница

«Святой Сократ, молитесь за нас!» — говорил ученый Эразм. Тысячу раз в своей жизни повторяя эту молитву, — продолжал Доктор, — но никогда, можете мне поверить, не твердил ее так горячо, как в ту минуту, когда оказался наедине с молодой женщиной, язык которой я едва понимал и которая вовсе не понимала моего и чьи жизненные обстоятельства были для моих глаз не более ясны, чем ее речь для моего слуха.

Она быстро прикрыла за нами дверцу, и мы очутились перед длинной лестницей, ведущей наверх; тут она внезапно остановилась, словно ноги отказались ей повиноваться. Она схватилась за перила, мгновение простояла так, потом без сил опустилась на ступеньки и, отведя мою руку, которую я протянул, чтобы поддержать ее, сделала мне знак подняться одному.

«Скорей! скорей! идите!» — сказала она, к моему величайшему изумлению, по-французски; я понял, что лишь боязнь говорить плохо останавливала до сих пор это застенчивое создание.

Она оцепенела от страха; жилки на лбу у нее набухли, глаза непомерно расширились, она дрожала всем телом и тщетно пыталась встать, колени ее дрожали. Страх открыл мне в ней совсем другую женщину. Запрокинув свою прекрасную голову, она прислушивалась к происходящему наверху, всецело пребывая во власти тайного ужаса, который приковал ее к месту. Он передался и мне; оставив ее, я быстро начал подниматься. Я не знал толком, куда иду, и все-таки шел, словно мяч, с силой посланный в цель.

«Увы, — говорил я себе, поднимаясь наугад по узкой лестнице. — Увы, где тот ангел-разоблачитель, который соблаговолил бы спуститься к нам с неба, дабы открыть мудрецам, по каким признакам можно догадаться об истинных чувствах женщины к мужчине, который тайно владеет над нею? Мы сразу же безошибочно чувствуем, что за сила тяготеет над ее душой, но кто угадает, до какой степени она одержима? Кто отважится истолковать ее поступки, кому дано с первого взгляда знать, какой помощи требуют ее страдания? Дорогая Китти! — говорил я про себя (ибо в тот миг испытывал к ней любовь, какую чувствовала к Федре ее кормилица, ее замечательная кормилица, чья грудь содрогалась от неутолимых страстей молочной дочери), — дорогая Китти! — думал я, — почему вы не сказали мне: «Он мой любовник!» Я мог бы завязать с ним благотворную, дарующую успокоение дружбу, быть может, сумел бы проникнуть в тайные раны его сердца; я мог бы... Но разве мне неизвестно, что все софизмы и все аргументы бессильны там, где потерпел поражение взгляд любимой женщины? Но как она его любит? Не принадлежит ли она ему в большей степени, нежели он ей? А может быть, наоборот? К чему же я в итоге пришел? Стоило бы, впрочем, спросить себя, куда я пришел?»

Я находился на верхней площадке лестницы, весьма скудно освещенной, и раздумывал, в какую сторону повернуть, как вдруг одна из дверей неожиданно распахнулась. Я увидел маленькую комнату, в которой паркет был сплошь усыпан клочками исписанной бумаги. Клочки были так малы, а количество их так велико, они возвещали уничтожение такого колоссального труда, что, признаюсь, я долго не мог отвести глаз от этого зрелища и лишь спустя несколь-

ко секунд заметил Чаттертона, открывшего передо мной дверь.

Едва взглянув на него, я быстро подхватил его за талию, причем весьма своевременно, ибо он уже готов был упасть и покачивался, словно мачта, подпиленная у основания. Он стоял перед дверью; я прислонил его к косяку, как мумию. Вас ужаснуло бы это лицо. Безмятежное выражение сна было разлито в его чертах, но то был сон в тысячу лет, сон без сновидений, когда сердце больше не бьется, сон, наступивший от чрезмерных страданий. Глаза еще оставались приоткрытыми, но взор блуждал, не в силах остановиться на каком-то одном предмете; рот был открыт, и сильное, ровное, медленное дыхание вздымало грудь, как во время ночного кошмара.

Он помотал головой и чуть заметно улыбнулся, словно хотел дать мне понять, чтобы я не тратил на него времени попусту. Поскольку я по-прежнему крепко держал его за плечи, он поддел ногой маленькую склянку, которая покати-лась по лестнице и докатилась, видимо, до нижних ступенек, где сидела Китти, ибо я услышал, как она вскрикнула и начала подниматься. Чаттертон угадал ее приближение. Он сделал мне знак удалить ее и заснул стоя, уронив голову мне на плечо, как пьяный.

Не отпуская его, я наклонился над перилами. Меня охватил ужас, от которого волосы на голове встали дыбом. У меня был вид убийцы.

Китти карабкалась по ступенькам, цепляясь за перила так, словно силы у нее остались только в руках. К счастью, она должна была преодолеть еще два этажа, прежде чем увидеть его.

Я сделал попытку перенести в комнату свою страшную ношу. Чаттертон опять наполовину проснулся — этот юноша обладал, по всей вероятности, поразительным здоровьем, ибо принял шестьдесят гранов опиума. Он опять наполовину проснулся и употребил — поверите ли вы? — последние силы на то, чтобы сказать мне:

— Сударь... you *... врач... купите мое тело и заплатите мой долг.

Я сжал обе его руки, выражая согласие. И тут он поддался неистовому порыву. Последнему. Оттолкнув меня, он бросился к лестнице, упал на колени, протягивая руки к

* Вы (англ.).

Китти, и, издав протяжный крик, рухнул за смертью лицом вперед.

Я приподнял его голову. «Помочь ему уже невозможно, — сказал я себе. — Скорее к ней!».

Я успел остановить бедную Китти, но она все видела. Я взял ее за локоть и насильно усадил на ступеньки. Она подчинилась и осталась сидеть, скрючившись и поджав ноги, с широко раскрытыми глазами, словно помешанная. Ее била дрожь.

Не знаю, сударь, владеете ли вы даром находить слова в подобных случаях, но я, я, которому всю жизнь приходится видеть сцены г о р я, — перед ними нем.

Пока Китти пристально, без слез, смотрела в пустоту, я вертел в руках склянку, которую она принесла; Китти искоса взглянула на нее, словно хотела сказать, как Джульетта:

«О жадный! Выпил все и не оставил
Ни капли милосердной мне на помощь!» *

Так мы сидели рядом в оцепенении; я — глубоко потрясенный, она — сраженная насмерть; ни один из нас не решался да и не мог бы промолвить ни слова.

Внезапно громкий мужской голос, грубый и раскатыстый, закричал снизу:

«Come, mistress Bell!» **

Услышав этот зов, Китти вскочила, словно ее подбросило пружиной; то был голос ее мужа. Гром небесный, наверно, не оглушил бы ее так и не ударил электрическим разрядом такой силы. Кровь бросилась ей в лицо; она опустила глаза и секунду стояла неподвижно, стараясь овладеть собой.

«Come, mistress Bell», — повторил ужасный голос.

Этот второй удар заставил ее сдвинуться с места, как первый заставил встать. Она начала очень медленно спускаться, прямая, покорная, словно призрак, лишенный способности видеть, слышать и чувствовать. Я помог ей дойти донизу; она вернулась в лавку, села, не подымая глаз, за стойку, вынула из кармана маленькую Библию, раскрыла ее, стала читать и лишилась чувств.

* Шекспир У. Ромео и Джульетта. Акт V, сцена 3. Пер. Т. Щепкиной-Куперник.

** Идите сюда, миссис Белл! (англ.).

Муж принялся браниться, женщины хлопотать, дети кричать, собаки лаять.

— А вы? — горестно воскликнул Стелло.

— Я? Я вручил господину Беллу три гинеи, которые тот как ни в чем не бывало принял и хорошенько пересчитал. «Вот, — сказал я ему, — плата за комнату господина Чаттертона, который только что скончался». «О», — отозвался тот удовлетворенно. «Тело принадлежит мне, — продолжал я. — Я за ним пришлю».

И оно действительно принадлежало мне, ибо у этого удивительного юноши хватило хладнокровия оставить на столе записку, примерно такого содержания:

«Я продаю свое тело доктору (для имени оставлено место) при условии, что он внесет г-ну Беллу плату за мою комнату за шесть месяцев, составляющую три гинеи. Да не поставит он в упрек своим детям то, что они ежедневно приносили мне пирожки, которые в последний месяц были единственным пропитанием, поддерживавшим во мне жизнь».

С этими словами Доктор откинулся в глубоком кресле, так что спина его и даже плечи утонули в нем.

— Вот так! — сказал он с видимым удовлетворением и облегчением, как человек, окончивший рассказ.

— А Китти Белл? Китти? Что случилось с ней? — спросил Стелло, пытаясь прочесть ответ в холодных глазах Черного Доктора.

— Право, — ответил тот, — если виновато не горе, то, значит, на ее здоровье пагубно сказалась ртутная вода английских врачей... Поскольку меня не вызывали, я сам спустя несколько дней зашел съесть пирожок в ее кондитерскую. Ее хорошенькие сыновья играли и пели, одетые в черное. Я ушел, хлопнув дверью так, что она чуть не разбилась.

— А тело Поэта?

— Саван и гроб приняли его в неприкосновенности. Не беспокойтесь.

— А его стихи?

— Потребовалось полтора года терпения, чтобы собрать, склеить и перевести обрывки рукописей, которые он в неистовстве разорвал. Что же до страниц, сгоревших в камине, то это был конец «Битвы при Гастингсе», от которой сохранилось всего две песни.

— Вы сокрушили мне сердце этой историей, — сказал Стелло, вновь тяжело падая на софу.

Так они сидели друг против друга в течение трех часов сорока четырех минут, молчаливые и печальные, как Иов с друзьями. Наконец Стелло воскликнул, словно разговор и не прерывался:

— Но что же предлагал ему господин Бекфорд в своей записке?

— Ах, да... — сказал Черный Доктор, как бы внезапно очнувшись. — Должность старшего лакея при своей персоне.

19. Печаль и жалость

За время долгих рассказов Черного Доктора и еще более долгих пауз наступила ночь. Высокая лампа освещала часть комнаты Стелло: ни углов, ни потолка свет не достигал, ибо это была очень большая комната. Длинные тяжелые занавеси, старинная мебель, оружие, разбросанное среди книг, огромный, до полу покрытый ковровой скатертью стол, на котором стояли две чашки чая, — все это было погружено в полумрак и то озарялось красными бликами пылавшего в камине огня, то едва угадывалось в желтоватых отсветах лампы. Лучи ее отсветно падали на бесстрастное лицо Черного Доктора и на широкий лоб Стелло, блестящий, словно череп из полированной слоновой кости. Доктор не сводил с этого лба пристального взгляда, и веки его ни разу не опустились. Казалось, он молча проследивает движение своих идей за этим челом, где им приходится бороться против идей его пациента, подобно тому, как созерцает с холма генерал атаку своих воинов, врывающихся в пролом в крепостной стене и ведущих битву против гарнизона уже наполовину покоренного форта.

Вдруг Стелло резко встал и принялся быстро шагать из угла в угол. Он прижал руку к сердцу, словно хотел усмирить его или вырвать из груди. Слышался лишь глухой стук его каблуков, ступавших по ковру, да однозвучное пение серебряного чайника — неистощимого источника кипятка и наслаждения для обоих ночных собеседников. Шагая без остановки, Стелло то горестно восклицал что-то, то жалобно стонал, бормотал сдавленные ругательства, извергал проклятия — в той форме, разумеется, в какой это вообще может позволить себе человек, для которого вращение в высшем свете сделало самообладание второй натурой.

Внезапно он остановился и обеими руками сжал руки Доктора.

— Значит, вы и его тоже видели? — воскликнул он. — Видели и держали в объятьях несчастного юношу, который сказал себе: «Отчайся и умри!» * — те самые слова, что часто кричу по ночам я, как вам не раз доводилось слышать! Но я устыдился бы своих жалоб, устыдился бы своих страданий, если бы не та истина, что муки, в коих повинны наши собственные страсти, ничуть не менее жестоки, чем те, которые причиняют нам невзгоды, обрушивающиеся на нас извне. Да-да, все именно так и должно было происходить, как вы рассказываете, я что ни день встречаю людей, подобных этому Бекфорду, которые непостижимым образом в каждую эпоху воплощаются заново в безликом образе представителей общественных интересов.

О, мастера церемонных комплиментов! сочинители витиеватых фраз для банальных нравоучений! Легковесные создатели тяжелой, бесконечно разрастающейся цепи, торжественно именуемой Кодексом, для которой вы куете бессчетное число звеньев, сцепляющихся, как придется, без всякой последовательности, обыкновенно неравных, как четки, и никогда не восходящих к нетленному золотому звену божественного принципа! О, рахитичные члены политических организмов, не пригодных для политики! дряблые фибры Ассамблей, чья мысль, вялая, нерешительная, изменчивая, заблуждающаяся, продажная, растерянная, холерическая, скованная, безответственная, суетливая и вечно и неизменно пошлая и вульгарная, — чья мысль, говорю я, по связности и убедительности доводов не стоит одной-единственной простой и серьезной мысли какого-нибудь феллаха, который судит в пустыне свой род по велению сердца! Неужели вам мало того, что вы играете почетную роль тюков, навьюченных на бедного осла хозяином, которого он откровенно именует своим врагом? Неужели вы вдобавок унаследовали от монархии ее спесь, минус ее врожденная утонченность, плюс ваша выборная неотесанность?

Да, о черный и неукоснительно правдивый Доктор! да, они таковы. Все, что поэту нужно, говорит один, это триста франков и чердак! Нищета — вот его Муза, говорит другой. Bravo! Смелей! У этого соловушки дивный голос! Выколите ему глаза, он запоет еще лучше, проверено опытом! Они правы, да простит их Бог!

* Шекспир У. Ричард III. Акт V, сцена 3. Пер. А. Радловой.

О Господь, единый в трех лицах! чем прогневили тебя поэты, которых создал ты среди людей первыми, чтобы позволить последним из людей их презирать и отвергать?

Примерно так говорил Стелло, шагая по комнате. Доктор вертел под подбородком набалдашник своей трости и улыбался.

— Куда подевались ваши Синие демоны? — спросил он.

Больной остановился. Он закрыл глаза и тоже улыбнулся, но не ответил, словно не пожелал доставить Доктору удовольствие, признав свою болезнь побежденной.

Париж был погружен в безмолвие сна, и с улицы доносился лишь ржавый звон часов, тяжело бьющих три четверти позднего ночного часа. Стелло вдруг застыл посередине комнаты, вслушиваясь в этот бой, который, судя по всему, был ему приятен; он запустил пальцы в волосы, словно благословляя самого себя и успокаивая свои мысли. При внимательном взгляде на него можно было заключить, что он уже вновь держит в узде свою душу, и воля его достаточно окрепла, чтобы справиться с буйством отчаявшихся чувств. Глаза его снова открылись, пристально взглянули в глаза Доктора, и он заговорил, печально, но твердо:

— Бой часов по ночам всякий раз звучит для меня словно ласковые голоса нежных подруг, которые окликают меня одна за другой и спрашивают по очереди: «Что с тобой? Что с тобой?»

Никогда не внимаю я им равнодушно, сидя в одиночестве там, где сидите сейчас вы, в этом жестком кресле. Это время Духов, легких Духов, которые поддерживают на своих прозрачных крыльях наши мысли и помогают им заиграть живым сиянием. Жизнь легка для меня в отмеренные ими мгновения: они говорят, что все, что я люблю, сейчас спит, и не может случиться беды с теми, за кого я тревожусь. В эти мгновения мне кажется, что на меня одного возложен долг бодрствовать и что мне дозволено добавить к своей жизни все, что я захочу отнять у сна. Эта часть жизни принадлежит мне, я радостно и жадно наслаждаюсь ею и не уступлю ее тьме сомкнутых глаз. Ночные часы для меня благотворны. Редко случается, чтобы эти милые подруги не принесли мне с небес, как подарок, какое-нибудь чувство или мысль. Быть может, время, невидимое, как воздух, и имеющее ту же меру и вес, что и он, доносит, подобно ему, до людей далекие веяния. Есть часы разрушительные. Таков сырой час рассвета, столь многими воспетый, но для

меня исполненный лишь тоски и уныния, ибо в этот час пробуждается толпа, и крики ее не смолкают весь непомерно длинный день, конец которого я теряю надежду увидеть. Сейчас, перед вами, жизнь возрождается в моих глазах, возрождается в виде слез. И все-таки это жизнь, и вернула мне ее обожаемая мною тишина ночных часов.

Ах! Я чувствую в душе своей несказанную жалость к этим великим нищим, при чьей агонии вы присутствовали, и ничто не сдерживает моей нежности к этим дорогим мне покойникам.

Я вижу, увы! и других, таких же несчастных, по-разному встречающих свою горькую участь. Есть такие, у которых печаль принимает форму шутовства и грубого веселья. На этих тяжелее всего смотреть. Есть и такие, у которых отчаяние перебрасывается на сердце. И сердце ожесточается. Но разве они в этом повинны?

В самом деле, по моему убеждению, человек редко бывает виновен, а общественный порядок — всегда. Если с кем-то обходится, как с Жильбером или с Чаттертоном, то пусть он бьет, бьет куда придется. Я испытываю к нему (даже если он обрушит свои удары на меня) такую же нежность, какую испытывает мать к своему ребенку, без вины пораженному в колыбели мучительным и неизлечимым недугом.

«Бей меня, сын мой, — говорит она, — кусай меня, бедное невинное дитя! ты не сделал ничего дурного и не заслужил таких страданий! Кусай мою грудь, тебе станет легче. Кусай, дитя, это облегчает страдание!»

Доктор улыбнулся с глубоким спокойствием, однако глаза его с каждой минутой делались все темнее и суровее, и он с бесчувственностью мрамора отвечал:

— Какое мне дело, скажите на милость, до того, что в вашем сердце бьют неиссякаемые источники милосердия и снисхождения и что ваш ум, приходя на помощь сердцу, не устает наделять всякого рода преступников трогательными чертами, как Годвин — убийцу Фолкленда? Какое мне дело до инстинкта ангельской любви, которому вы даете волю не раздумывая и по любому поводу? Разве я женщина, чтобы чувство могло смутить мою мысль?

Возьмите себя в руки, сударь, слезы туманят зрение.

Стелло порывисто сел, опустил глаза, потом снова поднял их и искоса взглянул на собеседника.

— Теперь проследите, — сказал Доктор, — ход мысли, которая привела нас к тому, к чему мы только что пришли. Проследите ее развитие, как прослеживают течение реки во

всех ее изгибах. Вы увидите, что путь, проделанный нами до сих пор, это только начало пути. Мы видели по берегам Монархию и выборное правительство, в обоих случаях имелся свой исторически существовавший Поэт, жертва пренебрежения, обреченная на нищету и на смерть. От меня не ускользнуло, что вы надеялись, когда мы перешли ко второй форме правления, найти при ней Властителей настоящего более прозорливыми и лучше понимающими Властителей будущего. Вы были разочарованы, но не настолько, чтобы не возметь в тот же миг смутную надежду на то, что Власть еще более демократическая может оказаться по самой природе своей способной искоренить зло, творимое двумя предыдущими. Я видел, как в ваших глазах прокатилась вся история Республик с их высотами прекраснодушия из школьных учебников. Избавьте меня, прошу вас, от необходимости цитировать, ибо в моем представлении античность, вся целиком, стоит для философии вне закона по причине столь любимого этой эпохой Рабства, и поскольку я сегодня, вопреки обыкновению, выступаю в роли рассказчика, то позвольте мне рассказать вам третью и последнюю историю, которая гнетет мое сердце с того самого времени, как я стал ее свидетелем. Не вздыхайте так глубоко, словно даже грудь ваша стремится вытолкнуть воздух, колеблемый моим голосом. Вы прекрасно знаете, что от голоса моего вам никуда не деться. Разве вы еще не притерпелись к его звукам? Раз Господь поставил нам голову выше сердца, значит, ей и властвовать над ним.

Стелло склонил чело с обреченным видом подсудимого, которому читают приговор.

— Неужели все это, — воскликнул он, — только за то, что однажды, в день Синих демонов, у меня шевельнулась мысль впутаться в политику? Как будто эта идея, брошенная в разговоре просто так, походя, среди тысяч других порожденных смятением слов, которые исторгает у нас болезнь, стоит того, чтобы ее так рьяно опровергать! Как будто это не просто мимолетный отчаянный взгляд, каким тонуший матрос оглядывает каждый выступ берега, как будто...

— Поэзия, поэзия! Дело обстоит совершенно иначе, — перебил его Доктор, тяжело ударив по полу тростью, словно это была не трость, а молот. — Вы пытаетесь обмануть самого себя. Вы высказали эту мысль не случайно, она занимает вас давно, эта мысль дорога вам, вы созерцаете ее с тайным пристрастием. Она без вашего ведома глубоко выросла в вас, так что вы даже не чувствуете ее корней, как мы

не чувствуем корней зуба. Гордость и притязание на всестолонность ума породили и вскормили ее в вас, как и во многих других, кого я так и не излечил. Только вы не осмеливались себе в этом признаться и хотели испытать ее на мне, как бы обронив ее вскользь, случайно, между прочим.

О, пагубное стремление, живущее в каждом из нас, отклониться от своего пути, уйти от своего удела! Отчего это происходит, как не от знакомого любому ребенку желания поиграть в чужую игру, причем без тени сомнения в собственных силах и возможностях? Отчего, как не от внутреннего сопротивления, мешающего даже самым свободным душам полностью отрешиться от всего, что так любо грубой черни? Отчего, как не от минутной слабости, когда наш ум устает от самосозерцания и от углубления в себя, устает жить и питаться только самим собой, ни от кого не завися в гордом своем одиночестве? Он поддается притягательности внешнего мира, уходит от себя, перестает быть себе хозяином и вверяется грубым ветрам общественных событий.

Я непременно должен вывести вас из подобного упадка духа, но сделать это можно лишь постепенно, принуждая вас следовать, несмотря на все тяготы, грязным путем реальной политической жизни — путем, на который сегодня вечером мы вынуждены были ступить.

Стелло, преисполненный на сей раз мрачной решимости выслушать все до конца, подобно человеку, который набирается мужества, готовясь вонзить себе в грудь кинжал, воскликнул:

— Говорите, сударь!

И Черный Доктор в тиши холодной грозной ночи начал рассказ.

20. История времен Террора

На часах восемнадцатого столетия бил девяносто четвертый год. Девяносто четвертый, каждая минута которого была пылающей и кровавой. Год Террора бил мерно и страшно по воле земли и неба, в безмолвии внимавших ударам. Казалось, какая-то незримая сила призраком бродит среди людей — щеки их были бледны, взор устремлен в пустоту, голова втянута в поднятые плечи, словно так ее надеялись спрятать и уберечь. В то же время на всех этих лицах, в том числе и на детских, лежала какая-то грозная печать величия и мрачной значительности: она напоминала

торжественную маску, проступающую в наших чертах после смерти. Люди сторонились друг друга или, наоборот, порывисто друг к другу бросались, словно солдаты в бою. Их поклоны походили на внезапное нападение, их приветствия — на оскорбление, улыбка — на судорогу, одежда — на рубище оборванца, шляпы — на пропитанное кровью отрепье, собрания — на мятеж, дом — на логово злых, недоверчивых зверей, красноречие — на выкрики рыночных торговцев, любовь — на цыганские оргии, публичные церемонии — на скверную провинциальную постановку старой римской трагедии, войны — на кочевье диких и нищих племен, названия месяцев — на пародию уличных пересмешников.

И, однако, во всем этом было величие, ибо в республиканской толпе, сколько бы ни играла она во власть, каждый ставил на кон свою голову.

Поэтому я стану говорить о людях той поры более высоким слогом. Если в моей первой истории стиль был блестящим и изысканным, как шпага и пудра, если во второй он был напыщенным и вычурным, как парик и коса олдремена, то теперь я чувствую, что речь моя должна стать сильной и отрывистой, как удары топора, дымящегося от крови отрубленной головы.

Во времена, о которых пойдет речь, царила Демократия. Децемвиры, первым среди которых был Робеспьер, приближались к концу своего трехмесячного царствования. Они истребили вокруг себя все воззрения, противоречащие идее Террора. На эшафоте, где казнили жирондистов, они покончили с «чистой любовью к свободе»; с эбертистами пал «культ разума» в соединении с монтаньярской и «республиканской» грубостью; вместе с головой Дантона было отсечено последнее воспоминание об «умеренности». Остался только ТЕРРОР. Он дал имя эпохе.

Комитет общественного спасения свободно продвигался по главной дороге, неустанно расчищая ее с помощью гильотины. Повозку катили Робеспьер и Сен-Жюст: один тянул ее, другой подталкивал сзади, один изображал великого жреца, другой апокалиптического пророка.

Как Смерть, дочь Сатаны, приводит в трепет его самого, так Террор, дитя Робеспьера и Сен-Жюста, грозной тенью надвинулся на этих двоих и приставил к их груди свой нож. Не было ночи, чтобы их не терзал страх, обращавший в кошмар каждый следующий день.

Сейчас, сударь, я возьму вас за руку, и вы спуститесь

вместе со мною во мрак их сердец; я буду держать перед вами факел, свет которого нестерпим для слабых глаз — беспощадный факел Макиавелли; вы увидите ясно и отчетливо, как в смятенных сердцах этих людей рождаются и умирают ужаснейшие чувства, вызванные, как мне представляется, скорее их ролью в событиях и ущербной душевной организацией, нежели врожденной склонностью ко злу, ставшему синонимом их имен, навеки покрытых позором.

Стелло взглянул на Черного Доктора с глубочайшим изумлением. Тот продолжал:

— Я придерживаюсь убеждения, сударь, что нет ни героев, ни чудовищ. Эти слова позволительно употреблять лишь говоря с малыми детьми. Вы удивлены, что, наконец, мы с вами хоть в чем-то согласны, но я пришел к этому выводу путем трезвого размышления, тогда как вас привело слепое чувство. Вам сердце внушает по отношению к тем, кого люди называют чудовищами, живейшее сострадание, мне же разум диктует глубокое презрение к ним. Это презрение ледяное, подобное презрению прохожего, давящего ногой слизняка. Да, чудовищ не существует, разве что в анатомических кабинетах, зато существуют жалкие создания, которыми жестоко и безраздельно правят темные, низменные инстинкты; это люди, гонимые ветром собственной глупости и глупости окружающих, они настолько одурманены, заморочены и отуплены ошибочной уверенностью в своей значительности и своих правах, неизвестно на чем основанных, что у меня не найдется для них ни насмешки, ни слез, а лишь одно отвращение, какое вызывает в нас неудача природы.

Властиители эпохи Террора принадлежали именно к этой категории: ее представители обыкновенно вызывают у меня желание отвернуться; однако сегодня я обращаю на них взор ради вас, и ничто не заставит меня отвести его, пока мы не исследуем досконально их трупы и не рассмотрим внимательно и терпеливо все, вплоть до скелета.

Не было года, за который родилось бы столько теорий на их счет, сколько рождается за день в нашем тысяча восемьсот тридцать втором, ибо не было еще эпохи, когда такое количество людей мечтало бы и имело бы столько возможностей на них походить и им подражать.

Ведь и вправду для посредственностей революция — очень удобная вещь. Времена, когда зычный голос важнее прозрачности мысли, когда высокий рост ценится дороже,

нежели величие характера, когда воззвание с уличной тумбы заставляет смолкнуть красноречие трибуны, когда брань площадных листков затуманивает вечную мудрость книг, когда каждый уличный скандал может принести кому-то маленькую славу и маленькое имя, когда старики-честолюбцы, метя в кумиры, с притворным вниманием слушают разглагольствования школяров; когда мальчишка встает на цыпочки и поучает мужей, когда великие имена сбрасываются ворохом в мешки для мусора и извлекаются потом на ярмарочных лотереях рукой пасквильянтов, когда старый семейный позор становится гордостью, украшением родословной, которой кичатся многие известные дарования, когда пятна пролитой крови превращаются в ореол вокруг ч е л а , — о, это поистине хорошие времена!

Какая посредственность в эту пору не сумеет урвать из грозди власти блестящую ягоду, налитую богатством и славой? Какое сборище побоится назваться клубом? какой клуб — ассамблеей? ассамблея — комициями? комиции — сенатом? А какой сенат не может править? Но реально ли это без того, чтобы им правил один человек? И что от этого человека требуется? — Посметь! — Ах, какое прекрасное слово! Неужели и впрямь больше ничего не нужно? — Нет, больше ничего. Так говорят те, кому это удал о с ь . — Смелее же, пустые головы, кричите и бегите! — И они кричат и бегут.

Со школьной скамьи люди усвоили искусство синтеза. У них находится теория для всего, ее впрягают во все — у сонета тоже есть теория. Чтобы заставить служить себе мертвых, достаточно приписать им свою систему — это каждый сумеет, плохо ли, хорошо ли; главное оседлать лошадку, а впору ли седло — неважно! — неважно! — безразмерное. Вам вздумалось прокатиться на Комитете общественного спасения? Наденем же седло и на него!

Членов этого свирепого Комитета многие считали глупо преданными интересам народа и готовыми пожертвовать ради общественного прогресса всем, вплоть до способности к состраданию, вплоть до грядущей судьбы своего имени, которое они сознательно отдавали на по но ш е н и е , — прекрасная теория на потребу дня.

Другие объявляли их чуть ли не душевнобольными. Говорили, будто они поставили себе цель стереть с лица земли всех, чьи глаза видели монархию, и вообще встали у власти исключительно ради удовольствия душегубствовать а т ь , — теория отставших от жизни паникеров.

Им приписывали благое намерение смягчить со временем свою диктатуру, наделяли верой в царство добродетели и нравственную оправданность своих преступлений — теория честных наивных детей, для которых существует только черное и белое, ангелы и демоны, и которые не ведают, сколько лицемерных масок самых разнообразных форм, оттенков и размеров скрывают подлинное лицо людей, вышедших из возраста альтруистических страстей и безудержно предавшихся страстям эгоистическим.

Натуры более сильные оказывают этим несчастным честь, полагая, что у них были какие-то философско-религиозные воззрения. Они говорят: если эти люди были атеистами и материалистами, то беспокоиться им было не о чем, ибо убийство означало для них лишь уничтожение движущегося предмета и не предполагало возмездия; если они были пантеистами, то у них опять же не было причин волноваться, так как в их представлении смерть есть всего-навсего переход из одного состояния в другое; если же (что весьма сомнительно) они были искренними христианами, то тогда они заведомо обрекали себя на вечное проклятие, а своим жертвам обеспечивали прощение и спасение. То есть опять получается, что они жертвовали собой и даже оказывали благодеяние своим врагам.

О Парадоксы! Обожаю смотреть, как ими перебрасываются, словно обручем серсо!

— А вы, вы что скажете? — взволнованно перебил Стелло, слушавший затаив дыхание.

— Попытаюсь проследить для вас шаг за шагом ход общественной мысли в отношении этих людей.

Смерть — самое захватывающее зрелище для человека, ибо она есть самая страшная на свете тайна. Кровавой развязки довольно, чтобы прославить любую посредственную драму, сгладить ее недостатки и заставить превозносить малейшие ее удачи; жестокость и кровопролитие настолько завораживают обывателя, что если правление государственного деятеля изобилует казнями, то имя его начинает внушать толпе какое-то трусливое благоговение. Всем его бесчеловечным преступлениям находят оправдание в некоем сверхъестественном праве, которое ему якобы дано. Оттого, что он сумел повергнуть в страх столько народу, возникает мысль о его особой смелости, в то время как в большинстве случаев им движет трусость и только трусость. С той минуты, как он становится в глазах народа сказочным Людоедом, люди готовы благодарить его за каждый

жест или слово, в которых не сквозят повадки палача. Если мы вдруг узнаем, что он однажды улыбнулся ребенку или надел шелковые чулки, нам уже видится в этом признак доброты или изысканности. Вообще, парадоксы нам очень по вкусу. Парадокс опрокидывает устоявшиеся представления, — что может успешнее привлечь интерес к оратору или писателю? Отсюда и парадоксальные апологии великих убийц. Под действием Страха, этого бессмертного властителя масс, образ таких людей разрастается до невероятных размеров, и малейшие их поступки оказываются столь заметны, что было бы просто досадно не высмотреть, как среди них сверкнет хоть один человеческий. Бывает, что это какая-нибудь лицемерная защитительная речь, или проект конституции — и то, и другое создает ложный образ оратора или государственного преобразователя, хотя это всего-навсего, как правило, неудобочитаемые сочинения, где сухость и резкость стиля, порожденные запалом борьбы, являют собой жалкую пародию на лаконизм и бестрепетность гения. Все эти люди, объевшиеся властью и опьяневшие от крови на чудовищной политической оргии, были посредственны и ограничены в своих взглядах, посредственны и лживы в своих сочинениях, посредственны и подлы в поступках. Редкими мгновениями величия и блеска они обязаны внутренней лихорадочной оживленности, бешеному напряжению нервов, вызванному страхом — страхом эквилибристов на проволоке — и, главное, чувством, которое как бы заняло в них место души, — я имею в виду непрерывное возбуждение от убийств.

Это возбуждение, сударь, — продолжал Доктор уже спокойнее, закинув ногу на ногу и взяв понюшку табаку, — замешено одновременно на ярости, страхе и неудовлетворенности. Если самоубийце, которому не удалось однажды покончить с собой, не связать руки, он опять возьмется за свое (каждый врач это знает). То же происходит и с убийцей: ему кажется, будто второе убийство избавит его от мстителя за первое, третье — от мстителя за второе, — и так всю жизнь, если он сохранит власть (божественную и навеки священную, какой она рисуется его близорукому взгляду!). Он оперирует нацию, словно тело, которое считает пораженным гангреной: режет, кромсает, рубит. Он хочет иссечь черное пятно, но пятно это — его собственная тень, презрение и ненависть, встречаемые им повсюду. И вот, в горе и в бешенстве, он тщится наполнить кровью дырявую бочку, и это его ад.

Такова болезнь, терзавшая этих людей, в остальном, впрочем, весьма приятных.

Я знал их, как мне кажется, довольно хорошо, — вы сейчас в этом убедитесь, — и не пренебрегал беседой с ними; они высказывали мысли оригинальные, порою толковые, но, главное, любопытные. Человек должен всего понемногу повидать, чтобы к концу жизни узнать, что она такое, — это знание весьма полезно, когда наступает пора уходить.

Так или иначе, я видел их часто и пристально разглядывал: у них не было ни копыт, ни тигриной, ни волчьей морды, ни головы гиены, как утверждали некоторые известные писатели: они причесывались, брились, одевались, завтракали. Кое о ком дамы даже говорили: «Какой мужчина!» Однако о большинстве из них никто бы ничего не говорил, не будь они тем, чем были; что же касается самых безобразных, то всегда найдутся какие-нибудь почтенные грамматисты или лощеные дипломаты, которые значительно превосходят их свирепостью гримас, и о которых говорят, что они «одухотворенно уродливы». Вздор! пустой вздор все эти звериные морды! Книжные выдумки! Люди всегда и повсюду лишь обыкновенные слабые существа, которых треплет и уродует жизнь. Только самые сильные или самые лучшие восстают против капризов судьбы и лепят ее по собственному усмотрению, не желая играть роль послушной глины в ее руках.

Вершители Террора просто-напросто позволили взять над собой власть абсурдному инстинкту жестокости и отвратительным законам своего положения. Причина этого, как я уже говорил, в их посредственности.

Заметьте, в мировой истории всякий правитель, которому не хватало врожденного величия, оказывался вынужден восполнить этот недостаток, поместив по правую руку палача, словно ангела-хранителя. Несчастные наши триумвиры в глубине души сознавали свое нравственное падение. Каждый из них в свое время поскользнулся на иной, лучшей дороге и являл собою нечто несостоявшееся: один был адвокатом, заурядным и скверным, другой — врачом-невеждой, третий — полуфилософом, четвертый — безногим калекой, преисполненным зависти к каждому здоровому, полноценному человеку.

Зная за собой невеликие умственные способности и убожество души и тела, они не могли не догадываться об общественном презрении к ним: эти стыдящиеся самих

себя короли не выдерживали людских взглядов и сверкали топором, чтобы вынудить их опуститься.

До того дня, когда триумвиры и децемвиры установили свою власть, они непрерывно кого-нибудь критиковали: эта критика, клеветническая, лицемерная и неукротимо яростная, всегда была направлена против предшественников по власти или влиянию. Доносчики, разоблачители, неутомимые ниспровергатели, они обрушили Гору на Болото, натравили дантонистов на эбертистов, Демулена на Верньо, непрерывно пугая властвующую толпу Медузой заговоров, которых всякая толпа страшится, ибо верит, будто они притаились в ней самой, внедрились в ее кровь и плоть. Как сказал один из них, они гнали из тела общества обильный пот, кровавый пот; но когда потребовалось вновь поставить это тело на ноги и заставить идти, у них ничего не вышло. Беспомощные организаторы, внезапно ошеломленные, парализованные одиночеством, в котором они очутились, они не нашли ничего лучше, как возобновить драку внутри своего маленького облаченного верховной властью стада; запыхавшись от борьбы, они попытались намарать на скорую руку начатки законодательства, для которого сами не видели никакого возможного применения, потом снова вернулись к занятию более легкому — затеянной ими чудовищной резне. Три месяца безраздельного владычества прошли для них как тяжелый болезненный сон. Они оказались не в силах остановиться и задуматься. Впрочем, Мысль, Мысль спокойная, благословенная, сильная и глубокая, не могла посетить их, ибо они были ее недостойны. Она не нисходит на тех, кто внушает отвращение самому себе.

Что же касается мыслей, имевшихся у них для высказывания в разговоре, то их вы скоро узнаете, как узнал в свое время я. Однако сейчас меня занимает не столько их жизнь и возможные суждения о ней потомков, сколько исходная тема нашего разговора — их отношение к Поэтам и прочим людям искусства. Это будет последний пример, который я вам приведу, пример замечательно типичный, ибо перед нами последняя форма республиканско-демократического правления из всех нам известных.

Я могу лишь сокрушаться вместе с искренними и честными республиканцами о том ущербе, который нанесли эти люди прекрасному латинскому слову, означающему «общественную вещь» *: я понимаю их ненависть к этим стра-

* *res publica* (лат.).

дальцам (душам, не знавшим ни часа покоя), за то, что они опорочили в глазах народов их любимую форму правления. Но, если немного подумать, то так ли уж невозможно сохранить «вещь», но с другим определением? Язык гибок. Мне бесконечно жаль, но я был бессилён что-либо изменить, клянусь вам. Я умываю руки. Отмойте же дорогие для вас слова

21. Славный канонир

Мне отчетливо вспоминается, как 5 термидора во II год Республики — или, говоря иначе, в 1794 году, что для меня совершенно одно и то же, — я сидел около восьми часов утра в полном одиночестве у своего окна, выходящего на площадь Революции, и вертел в руках вот эту табакерку, когда в дверь мою громко позвонили.

Я держал тогда в услужении здоровенного детину чрезвычайно кроткого и мирного нрава, который в течение десяти лет был грозным канониром, но оказался вынужден оставить военную службу из-за ранения в ногу. Поскольку я не услышал звука отпираемой двери, я встал и отправился в переднюю взглянуть, чем занят мой солдат. Он спал, положив ноги на печку.

Непомерная длина его тощих ног никогда прежде так не поражала меня, как в тот день. Я знал, что рост его, когда он стоит, никак не меньше пяти футов девяти дюймов, однако я приписывал это главным образом размеру его позвоночника, а никак не фантастически огромным ногам, вытянувшимся сейчас во всю длину от печки до соломенного стула, где возвышалось туловище, которое вместе с продолговатой головой свешивалось вперед, к скрещенным рукам, образуя нечто вроде колеса. Я совершенно забыл о звонке, заглядевшись на это бесхитростное и счастливое создание в привычной для него позе, да-да, привычной, ибо с тех пор, как лакеи спят в передней, — а тянется это со дня сотворения передних и лакеев, — никто из них не засыпал с такой безмятежностью, не спал так глубоко, без малейшего подобия сновидений и не бывал так невозмутим при пробуждении, как мой Блеро. Он всегда восхищал меня, и благородная природа его сна была для меня объектом любопытнейших наблюдений. Этот достойный человек засыпал в течение десяти лет где придется, и никогда одно ложе не казалось ему лучше или хуже другого. Лишь изредка, летом, ему

делалось жарко в своей комнате; тогда он спускался во двор, клал под голову булыжник и спал. Он ни разу не подхватил насморка и не проснулся от дождя. Стоя он имел вид клонящегося к земле тополя. Блеро был сутул, костляв и долговяз. Лицо его, желтое и лоснящееся, напоминало пергамент. Никаких перемен в этом лице ни при каких обстоятельствах не происходило, если не считать появлявшейся время от времени крестьянской улыбки, глуповатой и в то же время лукавой и доброй. За десять лет он сжег немало пороху в парижских заварухах, но никогда не терзала его сверх меры мысль о том, куда падает выпущенное им ядро. Он владел пушкой, как истинный художник своего дела, и, невзирая на смену властей, в которой ничего не понимал, без конца повторял поговорку бывалых солдат своего полка: «Кто умеет зарядить пушку, тому сам король не брат». Блеро был отличным наводчиком и дослужился до звания старшего по орудию, но несколько месяцев спустя оказался в отставке из-за глубокой раны в ноге, полученной при случайном взрыве зарядного ящика на Марсовом поле. Ничто не могло огорчить его сильнее, чем эта отставка, и товарищи, которые очень его любили и часто нуждались в его опыте, то и дело призывали его на помощь и советовались с ним в важных случаях. Его служба в артиллерии вполне увязывалась со службой у меня, ибо, поскольку я редко бывал дома, мне редко требовались его услуги; впрочем, когда и требовались, я зачастую делал все сам, не желая его будить. Таким образом, гражданин Блеро приобрел за два года обыкновение отлучаться из дому, не испросив моего согласия, однако никогда не позволял себе отсутствовать, как он выражался, «на вечерней поверке», то есть, когда я возвращался домой, будь то в полночь или в два часа ночи. В это время я неизменно находил его на месте, спящим у огня. Иногда он выручал меня, если случался смотр войск, уличная перестрелка или революция в Революции. Как человек любознательный, я прогуливался по городу пешком, одетый в черное, как и сейчас, с тростью в руках, как вы привыкли меня видеть. Я издали высматривал канониров (они всегда требуются в том или ином количестве во время революций), и когда находил их, то мог не сомневаться, что замечу над их головными уборами и помпонами вытянутую физиономию моего невозмутимого Блеро, одетого в форменный мундир и сонными глазами ищущего меня среди прохожих. Завидев меня, он улыбался и просил, чтобы пропустили гражданина его друга. Он брал меня под руку, показы-

вал все, что было интересного, называл имена тех, кто, как тогда выражались, «выиграл в лотерею святой Гильотины», однако вечером мы об этом никогда не вспоминали: таков был наш молчаливый уговор. В конце месяца он принимал из моих рук жалование, а от жалования парижского канонира отказывался. Мне он служил ради собственного благоденствия, а нации — ради славы. За оружие он брался исключительно на рыцарских условиях: его это устраивало, меня тоже.

Пока я созерцал своего слугу... (здесь я должен сделать паузу и пояснить: я говорю слово «слуга», чтобы вы могли меня понять, но в год II это называлось «помощник»), так вот, пока я созерцал своего слугу, звонок продолжал звонить с необычайной силой. Блеро, казалось, от этих звуков только крепче спал. Я решил сам отворить дверь.

— Вы, быть может, в глубине души добрейший человек, — сказал Стелло.

— Всякий хозяин хорош, когда он не хозяин, — отвечал Черный Доктор. — Я открыл дверь.

22. О почтенном старце

Я увидел двух непохожих друг на друга посыльных: старика и ребенка. Старик был весьма тщательно напудрен, в ливрее, еще хранившей следы галунов. Он с глубоким почтением снял передо мною шляпу, но при этом настороженно озирался и заглядывал мне за спину — не вышел ли кто-нибудь следом; не переступая порога, он посторонился, как бы давая дорогу мальчишке, который все еще дергал шнурок звонка. Он звонил в ритме «Марсельезы», одновременно насвистывая ее (полагаю в наши дни мелодия вам еще известна); он свистел и звонил, нагло уставившись мне в глаза, пока не дошел до последнего такта. Я терпеливо подождал, пока он кончит, дал ему два су и сказал:

— Исполни, пожалуйста, эту музыку еще разок, дитя мое.

Нисколько не смутившись, он начал сначала; он прекрасно понял двусмысленность подарка, но ему хотелось показать, что он меня не боится. У него было прехорошенькое личико, на голове красовался сдвинутый набекрень красный колпак, абсолютно новенький, в отличие от прочей одежды, являвшей собою тошнотворные лохмотья; босой,

с голыми до самых плеч руками, он вполне оправдывал прозвище «санкюлот».

— Гражданин Робеспьер заболел, — заявил он мне звонко и властно, хмуря маленькие светлые брови. — В два часа вам надлежит быть у него.

Сказав это, он со всего размаху швырнул мою монету в одно из окон, которое разбилось вдребезги, и спустился с лестницы прыгая на одной ноге и насвистывая «Ça ira!»

— Что угодно? — обратился я к старому слуге, но, увидев, что он нуждается в ободрении, взял его за локоть и провел в переднюю.

Старик с большими предосторожностями затворил за собой дверь, еще раз огляделся, прошел вперед, прижимаясь к стене, и пролепетал:

— Дело в том... сударь, что госпоже герцогине сегодня нездоровится...

— Какой герцогине? — спросил я. — Ну же, говори быстрее и громче. Мы ведь не встречались прежде.

Беднягу явно напугала моя резкость; я невольно усилил смятение, в которое привел его мальчишка: старческие бледные щеки покраснели, колени задрожали, и он принужден был сесть.

— Госпоже де Сент-Эньян, — сказал он робко и едва слышно.

— Ну-ну, не робей, — сказал я ему. — Герцогиня — моя давняя пациентка. Сегодня же утром я навещу ее в тюрьме Сен-Лазар, будь спокоен. Не улучшилось ли обращение с нею?

— Нет, все по-прежнему, — отвечал он, вздыхая. — Там есть один человек, который придает ей мужества, но у меня имеются серьезные основания опасаться за него: если с ним что-нибудь случится, госпожа этого не перенесет. Да-да, я ее знаю, она не перенесет, это убьет ее.

— Ну, ну, полно, любезнейший, женщины, которые легко впадают в отчаяние, утешаются быстро. Я умею находить слова, чтобы поддержать слабых. Нынче же утром я с ней поговорю.

Старик явно хотел сказать мне еще что-то, но я взял его за руку и промолвил: «Ну вот, друг мой, а теперь разбуди-ка моего слугу, если сумеешь, и скажи ему, чтобы приготовил мне шляпу».

Я оставил его в передней и, не обращая больше на него внимания, двинулся было к себе в кабинет, как вдруг, открывая дверь, заметил, что он идет следом и входит

вместе со мной. Входя, он бросил полный ужаса взгляд на Блери, который и не подумал проснуться.

— В чем дело? — спросил я. — Ты, верно, сумасшедший?

— Нет, сударь, я — «подозрительный», — отвечал он.

— А, это дело другое. Ваше положение печально, но достойно уважения, — сказал я. — Я должен был бы сам догадаться по вашей общей страсти рядиться в лакеев. Это род навязчивой идеи. Что ж, сударь, у меня есть большой пустой шкаф, быть может, вам угодно войти в него?

И я, поклонившись, распахнул перед ним дверцы шкафа, словно показывал гостю отведенную для него комнату.

— Боюсь, вам будет не очень удобно, — добавил я, — однако здесь в разное время нашли приют шесть человек.

И это была правда.

Оставшись со мною наедине, мой старик преобразился. Он почувствовал себя непринужденно и словно вырос: я увидел перед собой красивого пожилого мужчину, уже не такого согбенного, куда более представительного, но столь же бледного. После моих заверений, что он ничем не рискует и может говорить свободно, он решился наконец сесть и перевести дух.

— Сударь, — сказал он, опуская глаза, чтобы овладеть собой и вновь обрести подобающее его званию достоинство. — Я хочу тотчас же уведомить вас о том, кто я такой и какова цель моего визита. Мое имя де Шенье. У меня два сына, которые, к несчастью, вступили на дурной путь: они оба ударились в революцию. Младший сейчас представитель народа — до самой смерти не перестану я из-за этого страдать — из двоих он худший. Старший в тюрьме — это лучший. Теперь для него, кажется, наступило отрезвление, но, по правде сказать, я не знаю, так же, как и мой бедный мальчик, за что они засадили его за решетку, он ведь писал очень революционные вещи, они должны были бы нравиться всем этим кровопийцам...

— Сударь, — сказал я ему, — позвольте вам напомнить, что один из этих кровопийц сегодня ждет меня ко второму завтраку!

— Я знаю, сударь, но я полагал, что вы идете только в качестве врача, — питаю глубочайшее уважение к вашей профессии, после врачей души, коими являются священники и вообще духовные лица, включая, разумеется, монахов всех орденов, врачи тела...

— ...должны являться вовремя, дабы успеть его спасти, — перебил я его во второй раз, тряхнув за плечо, чтобы он очнулся, ибо он начал заговариваться, и его самого уже стало клонить в сон. — Я знаю ваших сыновей...

— Одним словом, сударь, единственное мое утешение — это то, что старший, офицер, тот, который в тюрьме, — хотя бы не поэт, как младший, сочинитель «Карла IX», и, следовательно, когда я вызволю его — с вашей помощью, если вы соблаговолите мне ее оказать, — он не привлечет к себе внимание литературной известностью.

— Справедливая мысль, — сказал я, решив не спорить и выслушать его до конца.

— Не правда ли? — продолжал этот добрейший человек. — К тому же Андре умен, это он составил письмо Людовика XVI к Конвенту. Кстати, весь свой маскарад я устроил исключительно ради вас, ибо вы знаете со всеми этими мерзавцами, а я не хотел вас скомпрометировать.

— Независимый характер и бескорыстие не могут быть скомпрометированы, — заметил я вскользь, — однако, продолжайте.

— Черт побери, сударь, — воскликнул он с запальчивостью старого военного. — Да понимаете ли вы, как было бы ужасно скомпрометировать такого любезного человека, как вы, к которому приходишь просить об услуге.

— Я уже имел честь вам предложить... — сказал я, учтиво указывая на шкаф.

— Я имел в виду не это, — отвечал он, — я вовсе не намерен скрываться, я собираюсь, напротив, бывать на людях чаще, чем прежде. Мы живем в такую пору, когда необходимо предпринимать шаги — в любом возрасте, — и я не боюсь за свою старую голову. Меня беспокоит, сударь, судьба моего бедного Андре, я не могу более переносить, что он находится в этой ужасной тюрьме Сен-Лазар.

— Пусть там и остается, — ответила жестко, — лучшего места для него сейчас не найти.

— Я пойду...

— Не вздумайте никуда ходить.

— Я поговорю...

— Не вздумайте ни с кем говорить.

Бедный старик вдруг смолк и сжал руки между коленями со скорбным смирением, способным разжалобить самого бесчувственного человека. Он смотрел на меня, как преступник на следственного судью во время допроса в какую-нибудь благословенную Органическую Эпоху. На его старче-

ский лоб набежали морщины, как на спокойное море набегают волны: они прокатились сначала снизу вверх — от удивления, а потом сверху вниз — от огорчения.

— Я прекрасно в и жу , — сказал о н , — что госпожа де Сент-Эньян ошиблась. Но я не осуждаю вас, ибо в наше тяжелое время каждый выбирает свой путь, я лишь прошу сохранить этот разговор в тайне и больше не стану вам докучать, гражданин.

Это последнее слово тронуло меня больше, нежели все предыдущие, ибо стоило старику невероятных усилий. Казалось, рот его извергает проклятие: никогда, наверно, со дня своего появления слово «гражданин» не звучало таким образом. Первый слог долго шипел, а два последних раздалась коротко и невнятно, словно кваканье лягушки, барахтающейся в трясине. Столько было в его тоне презрения, перехватывающего горло страдания и подлинного отчаяния, что вы наверняка содрогнулись бы, особенно, если бы видели, как этот славный старик с трудом пытается встать с кресла, опираясь о колени обеими руками с набухшими синими венами. Я остановил его в тот момент, когда ему уже почти удалось выпрямиться, и осторожно усадил назад, на мягкое сиденье.

— Госпожа де Сент-Эньян не обманула в а с , — сказал я. — Перед вами действительно человек вполне надежный. Я никогда не предавал тех, чьи страдания мне были доверены, а я принял немало людских вздохов, в том числе и последних, особенно в недавнее время...

От моей беспощадности дрожь пробежала по его телу.

— Я лучше вас знаю положение узников, и в частности того, который обязан вам жизнью и которого вы можете ее лишить, если станете «предпринимать шаги», как вы изволили выразиться. Вспомните, что во время землетрясения следует оставаться на месте и не двигаться.

Он отвечал лишь легким поклоном, полным покорности и вежливой сдержанности, и я почувствовал, что из-за своей суровости утратил его доверие. Глаза его были опущены, почти закрыты, в продолжение всего времени, пока я убеждал его в необходимости оставаться безгласным и неприметным. Я говорил ему (кстати, со всей учтивостью, на какую только способен), что всем возрастам свойственны свои страсти, всем страстям — ослепление, а отцовская любовь есть почти страсть.

Он должен понять, сказал я, не требуя от меня разъяснений, что я никогда не позволил бы себе такого резкого

тона при столь серьезных обстоятельствах, если бы не был уверен в том, что малейшая попытка что-либо предпринять повлечет за собой неотвратимую беду; я не вправе сейчас открыть ему причину этого, но он может мне верить; ни один человек не был в большей степени, чем я, облечен доверием нынешних властителей, и я не раз пользовался благоприятным моментом, чтобы вырвать из их когтей одну-две человеческие головы; но тем не менее в этом случае, одном из самых для меня важных, — ибо речь идет о его старшем сыне, близком друге женщины, которую я знаю с рождения и к которой отношусь как к дочери, — я решительно настаиваю на том, что нужно молчать и предоставить действовать Судьбе, как порою кормчий, лишенный компаса и помощи звезд, полагается на волю ветра. Но нет! Известно, что всегда были и будут натуры, настолько вылощенные, истощенные, взвинченные и надорванные цивилизацией, что они закрываются, задетые словом, точно мимоза. Мое прикосновение бывает порою шершавым. Я мог говорить теперь что угодно, — он принимал все мои советы, соглашался со мною во всем, но я чувствовал, что его вежливость — лишь гладь на поверхности моря, а в глубине под нею — скала. То было старческое упрямство, неуправляемая близорукая вздорность, которая подымается в нас, подобно сломанной мачте над затонувшим кораблем, когда способности разума поглотило время.

23. Об иероглифах славного канонира

Я так же быстро перехожу от одной мысли к другой, как глаз от света к тени. Как только я заметил, что мои увещания не имеют смысла, я замолчал. Господин Шенье встал, и я молча проводил его до двери. Тут я не смог удержаться, взял его за руку и сердечно ее пожал. Бедный старик! Это его взволновало. Он оглянулся и мягко (но что может быть неподатливее, чем мягкость?) добавил:

— Мне жаль, что я отнял у вас столько времени.

— А мне жаль, что вы, как я вижу, не хотите меня понять и принимаете добрый совет за отказ. Надеюсь, вы еще все хорошенько обдумаете.

Он почтительно поклонился и вышел. Пожав плечами, я вернулся, чтобы переодеться для визитов. Громоздкое тело загородило мне путь в кабинет: это был мой канонир, мой Блеро, проснувшийся настолько, насколько было в его

силах. Вы, быть может, полагаете, будто он встал, чтобы прислуживать мне? — ничуть не бывало; открыть дверь? — ни в малейшей степени; извиниться? — подавно нет. Он спустил один рукав мундира и с глубокой серьезностью выдавливал с помощью иглы правой рукой символический рисунок на левой. Он колот себя до крови, сыпал порох в места уколов, поджигал его и оказывался, таким образом, «татуированным» навеки. Это старый солдатский обычай, известный вам не хуже, чем мне. Я не мог удержаться и потерял еще минуты три на созерцание этого чудака. Я взял его за руку: он предоставил ее в мое распоряжение охотно и даже с тайным удовольствием. Сам он глядел на свою руку с нежностью и самодовольством.

— Ого, парень! — воскликнул я, — да тут целый придворный альманах и республиканский календарь одновременно.

Лукаво посмеиваясь, он потер подбородок своим любимым жестом и далеко сплюнул, из вежливости прикрыв рот рукой. Это было армейской привычкой, артиллерийской модой и заменяло ему все никчемные речи, будучи знаком согласия и замешательства, раздумия и смятения. Я беспрепятственно созерцал его героическую и сентиментальную руку. Последнее, что он на ней изобразил, был фригийский колпак, надетый на сердце, а вокруг надпись: «Единство или смерть».

— Как я в и ж у, — сказал я, — ты, в отличие от жирондистов, не федералист.

Он почесал в затылке.

— Нет, н е т, — ответил он. — И гражданка Роза тоже.

И он лукаво указал мне на маленькую розу, тщательно вырисованную рядом с сердцем, под колпаком.

— Ах, вот оно что! Теперь я понимаю, почему ты так долго хромаешь. Но ты не беспокойся, я не донесу на тебя командиру.

— Что ж, разве канониру нельзя иметь сердце? — воскликнул он. — Мать Розы, между прочим, «вязальщица», а отец — тюремщик в Сен-Лазаре. Знатная должность! — добавил он с гордостью.

Я притворился, будто пропустил мимо ушей это сообщение, которое было мне чрезвычайно полезно; у него тоже был такой вид, будто он проболтался случайно. Мы с ним прекрасно понимали друг друга, никогда не нарушая нашего молчаливого уговора.

Я продолжал рассматривать солдатские иероглифы со

вниманием художника-миниатюриста. Прямо над влюбленным республиканским сердцем можно было увидеть большую голубую саблю, которую держит маленький барсук, стоящий на задних лапках, — выражаясь языком геральдики, гербовая фигура, — а сверху крупными буквами было написано: «Слава Блеро *, грозе черепов!»

Я быстро поднял взгляд, словно желая сличить портрет с оригиналом.

— А это ты себя изобразил, если не ошибаюсь? И, как я вижу, не ради политики, а ради славы?

Легкая усмешка сморщила длинное желтое лицо моего канонира, и он преспокойно ответил:

— Да-да, себя. А черепа — это шесть фехтмейстеров, которые с моей помощью сыграли в ящик.

— То есть, ты убил их?

— У нас это так называется, — ответил он по-прежнему с самым невинным видом.

Этот дикарь, сам не ведающий, подобно героям Отаити, насколько он искусен, и впрямь запечатлел на своей желтой коже, у самого острия сабли, шесть поверженных рапир, которые ему как бы поклоняются.

Я хотел было продолжить осмотр и изучить то, что выше локтя, но заметил, что он не слишком охотно засучивает рукав.

— А это... — сказал он, — это у меня с той поры, когда я был новобранцем: теперь это уже не в счет.

Я понял причину его целомудрия, увидев огромную королевскую лилию и сверху слова: «Да здравствуют Бурбоны и Святая Варвара! Мадлен, я твой до гроба!»

— Всегда носи длинные рукава, дитя мое, если хочешь сохранить голову, — посоветовала ему. — И не рекомендую тебе раскрывать объятия гражданке Розе, не прикрыв как следует руки.

— Ну уж! — сказал он с нарочито простоватым видом. — Лишь бы ее папаша иногда открывал мне засовы между часами проверок, вот и все, что нужно для...

Я перебил его, чтобы не пришлось задавать вопросов.

— Ладно, — сказал я, похлопывая его по плечу, — ты парень осмотрительный. Ты не сделал ничего плохого с тех пор, как я взял тебя сюда, а значит, не сделаешь и впредь. Пойдем со мной, может случиться, что ты сегодня утром мне понадобишься. Ты будешь следовать за мной издали и

* Blaireau — барсук (фр.).

входить в дома, только если захочешь. Но на улице ты должен быть на месте!

Он оделся, зевая во весь рот, протер глаза и пропустил меня вперед, приготовившись идти следом в надвинутой на ухо треуголке, с белой тростью, такой же длинной, как он сам.

24. Тюрьма Сен-Лазар

Сен-Лазар — старое сооружение цвета грязи. Некогда здесь было приорство. Думаю, я ошибусь ненамного, если скажу, что его кончили строить в 1465 году на месте бывшего монастыря Святого Лаврентия, о котором, как вы прекрасно помните, говорит Григорий Турский в своей «Истории», (книга шестая, глава девятая). Французские короли останавливались здесь по меньшей мере два раза в жизни: въезжая в Париж, они здесь отдыхали, а покидая его, покоились какое-то время по пути на кладбище Сен-Дени. Напротив церкви имелась маленькая резиденция, от которой теперь не осталось камня на камне и которая называлась «Королевская квартира». Монастырь служил потом поочередно казармой, государственной тюрьмой и исправительным домом для монахов, солдат, «заговорщиков» и проституток; это грязное здание постепенно расширяли, укрепляли, обносили стенами и снабжали засовами; все в нем было серым, неприветливым и нездоровым. Путь от моего дома на площади Революции до улицы Фобур-Сен-Дени, где расположена эта тюрьма, был недалек. Я узнал тюрьму издали по жухлой красно-голубой тряпке, мокрой от дождя, болтавшейся на большой черной палке над входом. На черном мраморе большими белыми буквами была выведена надпись, красовавшаяся тогда на всех зданиях, — надпись, которая казалась мне эпитафией французской нации:

«Единство, Неделимость Республики,
Равенство, Братство или Смерть».

Перед дверью вонючей караульни на дубовых скамьях сидели санколоты: они точили пики о край сточной канавы, играли в карты, распевали «Карманьолу», кто-то снимал фонарь со столба, чтобы повесить на его место человека, которого уже волокли с окраины предместья торговки, вопя «Ça ira!».

Меня здесь знали, во мне нуждались: я вошел. Я постучал в желтую дверь справа под сводом. Дверь приоткрылась

словно сама собой, и поскольку я мешкал, ожидая, чтобы она отворилась до конца, голос тюремщика крикнул: «Эй, там, входи поживее!» Едва я переступил порог, как дверь, задев меня по ногам, резко, словно навсегда, захлопнулась грохнув всей тяжестью массивных досок, толстых гвоздей, железных обшивок и засовов.

Тюремщик ухмыльнулся, обнажив три оставшиеся во рту зуба. Этот старый мерзавец сидел, скрючившись, в большом черном кресле из тех, что называют универсальными: с каждой стороны у них имеются железные крючки, которые поддерживают откидную спинку и регулируют ее наклон, превращая кресло в кровать. Тут спал и бодрствовал, никогда не вставая, неподвижный привратник. Его морщинистое лицо, желтое и ехидное, торчало над самыми коленями и опиралось на них подбородком. Ноги были перекинуты через подлокотники кресла, чтобы отдохнуть от долгого сидения в одной позе; в правой руке он держал ключи, в левой — замок двери. Он открывал и закрывал ее, как заведенный, никогда не уставая. Позади его кресла стояла девушка, пряча руки в карманах небольшого передника. Она была кругленькая, полненькая и свежая, с маленьким вздернутым носом, детскими губами, широкими бедрами, белыми руками и выглядела на удивление опрятной среди грязи этого заведения. На ней было платье из красной материи со сборками на карманах и белый чепец, украшенный большой трехцветной кокардой. Я и раньше замечал ее мимоходом, но никогда к ней не приглядывался. На сей раз, после полупризнаний моего канонира, я узнал в ней его подружку Розу с помощью того безошибочного внутреннего чутья, которое позволяет с уверенностью сказать об известном нам по чужим рассказам незнакомце: это он.

Красота этой девушки, исполненной доброты и достоинства, безжалостно подчеркивала уныние, царившее в этих стенах, для которых она не была создана. От Розы столь ощутимо веяло вольным деревенским воздухом, тмином и чабрецом, что вид ее, несомненно, исторгал тяжкий вздох у каждого узника, напоминая ему о зеленых долинах и зреющих хлебах.

— Как жестоко, — сказал я, останавливаясь, — поистине жестоко показывать это прелестное дитя заключенным!

Девушка поняла меня не лучше, чем если бы я заговорил по-китайски. Она широко раскрыла глаза. И, показав самые красивые в мире зубы, приоткрыла без улыбки рот,

внезапно округлившись, словно гвоздика, на которую нажали пальцем.

Отец заворчал. Но он страдал подагрой и ничего мне не сказал. Я двинулся по коридорам, ощупывая перед собой тростью каменный пол, ибо в те времена длинные и сырые тюремные переходы были темными и даже днем освещались лишь красными смердящими горелками.

Сегодня, когда в тюрьмах наведены чистота и глянец, если вы вздумаете посетить Сен-Лазар, то увидите новые аккуратные камеры, прекрасный лазарет, побеленные стены, мытые полы, словом, царство света, воздуха и порядка. Тюремщики, придверники, ключники теперь называются директорами, надзирателями, смотрителями, носят голубую униформу с серебряными пуговицами, разговаривают приятным голосом и знают лишь по преданиям свои прежние названия, которые находят «смехотворными».

Но в 1794 году черный «дом Сен-Лазар» напоминал большую клетку для диких зверей. Тогда существовало только старое здание, огромное, серое, четырехугольное, которое можно видеть и сегодня. Четыре этажа узников стонали и плакали один над другим. Снаружи в окнах были решетки: они состояли из торчащих вверх железных пик, переплетенных поперек толстыми цепями, причем переплетенных так плотно, что сквозь них едва проникал воздух. Внутри, на всех этажах, было три тускло освещенных коридора по сорок дверей в каждом; двери вели в камеры, пригодные для содержания разве что волков, — тесные клетки, где нередко стоял тяжелый запах звериного логова; выходы из коридоров преграждали массивные железные решетки, черные и тяжелые, а на дверях камер были сделаны маленькие зарешеченные квадратные окошки, называемые «форточками», которые тюремщики могли открывать снаружи в любое время дня и ночи, чтобы наблюдать за узниками.

Входя, я пересек большой пустой двор, где обычно стояли ужасные повозки, предназначенные для обреченных. Я поднялся на полуразрушенное крыльцо, с которого эти несчастные спускались, чтобы сесть в свой последний экипаж. Затем прошел отвратительное помещение, сырое и зловещее, с вытоптаным столькими ногами полом, с выщербленными стенами в пятнах и вмятинах, словно тут каждый день происходила какая-то борьба. Нечто вроде корыта со скверно пахнувшей водой составляло всю его мебель. Я не знаю, что там делали, но это помещение называлось, да и сейчас называется, Мордобойка.

Я попал во внутренний двор, представляющий собою широкую уродливую площадку, обнесенную высокими стенами; изредка солнце бросало туда из-за крыш печальный луч. Посредине — огромный каменный фонтан, вокруг четыре ряда деревьев. Дальше, в самой глубине — большой белый Христос на красном, как кровь, кресте. Возле него я увидел двух женщин: совсем юную девушку и глубокую старуху. Молодая со склоненной головой стояла на коленях и молилась, сжимая руки и заливаясь слезами; она так была похожа на красавицу принцессу де Ламбаль, что я невольно отвернулся. Это воспоминание было для меня нестерпимо.

Та, что постарше, поливала два виноградных куста, которые росли у подножья распятия. Они растут там и по сей день. Сколько воды и слез орошало их гроздья, красные и белые, как кровь и слезы!

Какой-то придверник, распевая песни, стирал в фонтане белье. Я вошел в коридор и у двенадцатой камеры первого этажа остановился. Подошел ключник, смерил меня взглядом, узнал, взялся за дверной засов, показавшийся мне в сравнении с его грубым лицом чудом изысканности, и отпер его. Я был у герцогини де Сент-Эн्यान.

25. Молодая мать

Ключник распахнул дверь без предупреждения, я услышал легкий женский вскрик и увидел, что госпожа де Сент-Эн्यान застигнута врасплох и смущена этим. Я тоже был поражен, но лишь тем, что поражало меня всегда: ее безукоризненной грацией и благородством осанки, спокойствием, кротостью, ангельским терпением и каким-то застенчивым величием. Она умела, не подымая глаз, заставить людей повиноваться силой загадочной власти, свойственной среди всех, кого я знал, только ей одной. Наше появление привело ее в замешательство, однако она прекрасно овладела собой.

Ее тесная накаленная камера выходила на юг, а Термидор, уверяю вас, был ничуть не менее жарким, чем июль... Госпожа де Сент-Эн्यान не имела иного способа укрыться от солнца, чьи лучи нещадно палили в ее убогую каморку, кроме как завесить окно широкой шалью, единственной, полагаю, которую ей оставили. Платье ее, совсем простое, было с глубоким декольте, плечи и руки обнажены, как

в бальном наряде, не более того. Для меня это было ничтожно мало, зато для нее слишком много. Она встала, воскликнув: «Ах, боже мой!», и скрестила на груди руки, словно испуганная купальщица. Краска залила ее от лба до кончиков пальцев, и глаза на мгновение увлажнились.

Но ее смятение было минутным. Увидев, что я один, она быстро успокоилась, набросила на плечи вместо шали белый пеньюар, присела на край постели и предложила мне набитый соломой стул, единственный предмет обстановки в ее темнице. Тут только я заметил, что одна из ее ножек была разута, а в руке она держала маленький черный ажурный чулок.

— Боже мой! — воскликнул я. — Если бы вы только дали мне знать...

— Покойная королева поступала так же! — живо отвечала она, улыбнувшись очаровательной улыбкой, полной достоинства и уверенности, и подняла на меня свои большие глаза; вскоре улыбка исчезла, и я заметил в ее благородном лице глубокое и новое для меня волнение, добавившееся к ее обычной задумчивой грусти.

— Садитесь, садитесь! — быстро и прерывисто проговорила она взволнованным голосом. — С тех пор, как благодаря вам о моей беременности стало известно, я у вас в долгу...

— Ну, полно, полно, — в свою очередь прервал ее я из отвращения к высоким фразам.

— Я получила отсрочку, — продолжала она, — но, говорят, сегодня опять приедут повозки, и они не отправятся пустыми в революционный трибунал.

Тут глаза ее обратились к окну, и мне показалось, что в них появилась какая-то одержимость.

— Повозки! Эти ужасные повозки! — воскликнула она. Они сотрясают стены Сен-Лазара! Стук их колес отдается в каждом нерве узников. Как они громыхают, как быстро катятся под сводами порожняком и как медленно и тяжело потом уезжают, увозя свой груз! Они сегодня будут здесь снова и снова уедут, нагруженные мужчинами, женщинами, детьми. Я слышала, как это сказала Роза под моим окном, она что-то пела во дворе. Голос нашей доброй Розы скрашивает нам часы заточения. Бедная девочка!

Она слегка успокоилась, умолкла на секунду, провела рукой по глазам. Взгляд ее смягчился.

— Я хотела спросить вас, — доверительно продолжала она, слегка касаясь кончиками пальцев черного рукава моего

одеяния, — нет ли какого-нибудь средства, чтобы охранить ребенка, которого я ношу во чреве, от моих горестей и мук. Я боюсь за него...

Она покраснела, но продолжала, поборов стыдливость, ибо ей нужно было многое мне сказать.

Она говорила, постепенно воодушевляясь:

— Вы, мужчины, и даже вы, доктор, не знаете, что такое эта гордость и этот страх, которые испытывает женщина в моем состоянии. Однако, пожалуй, ни одной из известных мне женщин не приходилось страшиться так сильно, как мне.

Она возвела глаза к небу.

— О, господи! какой дивный страх! какое прекрасное, не притупляющееся чувство удивления! Ощущать, как еще одно сердце бьется в моем сердце, как чья-то ангельская душа зарождается, оживает в моей смятенной душе и начинает жить там неведомой для нас жизнью, не существующей ни для кого, кроме меня, ибо я одна ее разделяю! И знать, что мое волнение может обернуться для этого невидимого живого создания мукой, моя тревога — страданием, мое страдание — ужасом, мой ужас — смертью! Когда я думаю об этом, я не смею больше ни вздохнуть, ни пошевелиться. Я боюсь своих мыслей, запрещаю себе любить и ненавидеть, чтобы не прийти в волнение. Я боготворю себя и страшусь себя, словно я с в я т а я, — вот что такое мое состояние.

Она говорила, прижимая скрещенные руки к талии, слегка расширившейся за последние два месяца, и лицо ее напоминало мне ангела.

— Подарите мне какую-нибудь мысль, чтобы она постоянно присутствовала в моем сознании и не позволяла мне причинять вред моему сыну.

Как и все будущие матери, каких я встречал, она заранее говорила «мой сын» в силу какого-то необъяснимого желания и бессознательного предпочтения. Я невольно улыбнулся.

— Вы жалеете м е н я, — сказала о н а, — я прекрасно это вижу, не возражайте! Вы знаете, что нет средства сделать наше сердце неуязвимым, помешать ему подпрыгивать, рожать трепет во всем нашем существе и оставлять отметины на челе наших детей от каждого нашего желания. И тем не м е н е, — продолжала она, бессильно роняя на грудь свою прекрасную голову, — мой долг — беречь это дитя до дня его рождения, который станет кануном моей смерти. Только

ради этого меня и оставили на земле, я годна только на это, я всего лишь хрупкая скорлупка, которая его защищает и которая будет разбита, едва он появится на свет. Вот и все, что я собой представляю, вот и все, сударь! Как вы думаете... (тут она взяла меня за руку), как вы думаете, оставят они мне хоть несколько часов счастья, чтобы на него наглядеться, когда он родится? Если они убьют меня сразу, это ведь будет очень жестоко, не правда ли? Ах, если только они подарят мне достаточно времени, чтобы услышать, как он закричит, и один день, чтобы целовать его, я, кажется, прощу им все, так я желаю этой минуты.

Все, что я мог, это сжимать ее руки; я поцеловал их с религиозным почтением, молча, чтобы не перебивать ее.

Она улыбнулась со всем очарованием своих двадцати четырех лет, и слезы ее на мгновение сделались слезами радости.

— Мне вечно кажется, будто вы знаете все. Будто стоит лишь спросить у вас: почему? и вы ответите. Ну почему, скажите мне, женщина вдруг начинает так остро чувствовать себя матерью и уже не может быть в полной мере ничем другим? Ни подругой, ни дочерью, ни женой, ни самодовольной, ни чуткой, и даже теряет, быть может, способность мыслить как прежде. Почему дитя, которого еще нет, внезапно становится всем? А те, кто уже живут, значат меньше чем он? Это несправедливо, но это так. Почему так? Я чувствую себя виноватой.

— Успокойтесь! Успокойтесь! — сказал я. — Вас слегка лихорадит, вы говорите быстро и громко. Успокойтесь!

— О, боже мой! — воскликнула она. — И это дитя мне не доведется кормить!

Она внезапно отвернулась, бросилась лицом на свою узкую постель и заплакала, нисколько не сдерживаясь передо мной: сердце ее разрывалось.

Я смотрел на это горе, такое искреннее, которое она и не пыталась скрыть, и восхищался полным ее безразличием к утрате всего своего достояния, положения в обществе, утонченных удовольствий. В те годы я не раз имел случай убедиться, что меньше всех жалуются люди, больше всех потерявшие.

Привычка к большому свету и постоянной жизни в довольстве поднимает дух над роскошью, ибо люди видят ее каждый день, и для них перестать ее видеть почти не есть лишение. Утонченное воспитание прививает презрение к физическим неудобствам, учит облагораживать мягкой сми-

ренной улыбкой мелкие и ничтожные жизненные заботы, а важными считать лишь страдания души; оно учит спокойно встречать падение, глубина которого известна заранее благодаря образованию, религиозным размышлениям и даже просто семейным беседам, и, главное, учит ставить себя выше могущества событий, давая нам сознание того, чего мы стоим.

Когда госпожа де Сент-Эньян прятала лицо в шерстяное одеяло своей тюремной кровати, достоинства в ней было не меньше, уверяю вас, чем когда она склоняла чело к шелковой обивке дорогой мебели. Достоинство с течением времени проникает в кровь человека, облагораживая каждое его движение. Никому не пришло бы на ум счесть смешным вид прелестной босой ножки, оказавшейся так близко от меня: она была перекинута через другую, затянутую в черный шелковый чулок. Я говорю об этом сейчас потому, что во всех картинах моей жизни есть характерные штрихи, которые никогда не изглаживаются из памяти. Я невольно вспоминаю герцогиню именно такой. Я бы написал ее портрет в этой позе.

Поскольку невозможно лить слезы целый день не переставая, я решил подождать и поглядел на часы: одни мои часы показывали половину одиннадцатого, другие — одиннадцать ровно; я выбрал среднее и счел, что сейчас должно быть без четверти одиннадцать. Времени у меня еще оставалось достаточно, я принялся разглядывать камеру, и в частности предоставленный мне стул.

26. Тюремный стул

Я сидел боком, облокотясь на его спинку, и взгляд мой не мог не упасть на нее. Это была широкая доска, ставшая черной и блестящей, но не оттого, что ее покрасили или отполировали, а от множества рук, которые на нее опускались и в отчаянии сжимали ее; от обилия увлажнявших дерево слез и даже слюны узников, впивавшихся в стул зубами. Глубокие зарубки, маленькие нарезки, следы ногтей испещряли ее. Имена, кресты, черточки, знаки, цифры были вырезаны большими ножами, перочинными ножичками, гвоздями, стеклом, пружинами от часов, иголками, шпильками.

Признаюсь, я так был поглощен рассматриванием этих надписей, что почти забыл о моей бедной юной узнице. Она

по-прежнему плакала; мне же сказать ей было нечего, кроме разве что: «Вам есть о чем плакать!» Ибо доказывать ей, что она плачет напрасно, было выше моих сил, расчувствоваться же вместе с нею означало бы рыдать куда горше. Нет уж, избави бог!

Поэтому я предоставил ей лить слезы, а сам занялся изучением стула.

На нем стояли имена, порой прелестные, порой причудливые, редко — вульгарные, и все они сопровождались выражением какого-нибудь чувства или мысли. Ни один из тех, кто оставил здесь надпись, не уберег своей головы. Эта спинка была настоящим «альбомом»! Все путешественники, в нем расписавшиеся, пребывали теперь в той единственной гавани, куда каждый из нас рано или поздно неизбежно прибудет, и все они говорили о предстоящем плавании с презрением, без особых сожалений и без надежды на лучшую жизнь, или хотя бы на жизнь новую, или просто другую, в которой человек сознавал бы себя живым. Казалось, их это мало заботит. В их надписях не было веры, но не было и безбожия; одни только порывы страстей, скрытых, тайных, глубоких, туманные признания вчерашнего узника узнику завтрашнему, последний завет идущему на смерть от уже умершего.

Когда в сердце состарившейся нации умирает вера, ее кладбища (а этот стул, безусловно, можно сравнить с таким) становятся похожи на собрание языческих украшений. Таково наше кладбище Пер-Лашез. Приведите туда индуса из Калькутты и спросите его: «Что это за народ, разбивающий над прахом своих мертвецов садика с маленькими урнами, колоннами дорического или коринфского ордера и крохотными вычурными аркадами, вполне пригодными для того, чтобы ставить их на камин, словно забавные часы? Чье это кладбище, где все так вызолочено, украшено, отлакировано, одето в мрамор, обнесено оградами, похожими на клетки для канареек и попугаев, а на камнях высечены фразы на языке, отдаленно напоминающем французский, приторно сентиментальные à la Риккони, извлеченные из романов, над которыми рыдают привратницы и замирает сердце у вышивальщиц?»

Индус оказался бы в затруднении: он не увидел бы ни пагод, ни Брахмы, ни трехглавых изваяний Вишну со скрещенными ногами и семью руками; он принялся бы искать Лингу и не нашел бы; стал бы высматривать мусульманский тюрбан, но напрасно; статую Юоны — напрасно; наконец,

крест — и тоже безрезультатно или с трудом разглядел бы в каких-нибудь закоулках аллеи стыдливое, как фиалка, запрятанное в густые заросли распятие, и заключил бы, что христиане составляют исключение среди этого многочисленного народа; он почесал бы в голове, покачал бы ею, поиграл бы серьгами, вертя их с огромной быстротой, словно фокусник. Потом, увидев, как мещанская свадьба бежит, смеясь, по посыпанным песком дорожкам и танцует среди цветов, принадлежащих мертвецам; заметив урну, венчающую какую-нибудь гробницу, и обнаружив, что надписи «молитесь за него, молитесь за его душу» встречаются крайне редко, ответил бы вам: «Этот народ, несомненно, сжигает своих покойников и заключает их прах в эти урны. Люди здесь считают, что после смерти тела для человека все кончено. У них существует обычай радоваться смерти отцов и веселиться над их трупами, то ли потому, что они наконец наследуют их добро, то ли потому, что празднуют вместе с ними их освобождение от труда и страданий.

Да избавит меня Шива с золотыми серьгами и с синей шеей, боготворимый всеми читающими Веды, от жизни среди этого народа, двуликого, как цветок ду-руи!»

Да, спинка стула, которая занимала меня тогда и занимает по сей день, была точной копией наших кладбищ. Одна религиозная мысль на тысячу прочих, один крест среди тысячи урн.

Я прочел:

«Умереть? — Уснуть».

(Ружо де Монкриф, телохранитель).

«Это половина мысли Гамлета, — сказал я себе. — Сознание не умирает».

«Frailty, thy name is woman!» *

(Ж.-Ф. Готье)

«О какой женщине думал он? — спрашивал я себя. — Ничего не скажешь, подходящий момент сетовать на ее вероломство!»

«А впрочем, почему бы и нет?» — подумал я минутой позже, прочитав в списке узников на стене: «Бывший паж тирана, 26 лет». Бедный, юный паж! Муки ревности преследовали его даже в тюрьме Сен-Лазар! Это, быть может, самый счастливый из побывавших здесь пленников. Он не ду-

* «О женщины, вам имя — вероломство!» (англ.). Шекспир У. Гамлет. Акт I, сцена 2. Пер. Б. Пастернака.

мал о себе! О, прекрасный возраст, когда под топором грезят о любви!

Ниже, в обрамлении гирлянд и узоров, красовалось имя дурака:

«Здесь стenal в цепях Агрикола Адорабль Франковиль из секции Брута; честный патриот, враг Негоциантизма, бывший судебный пристав, друг санкюлотов. Он сойдет в небытие незапятнанным республиканцем».

Я на мгновение отвлекся, чтобы взглянуть, не оправи-лась ли моя прекрасная узница от своих переживаний, но, услышав, что она по-прежнему плачет, смотреть на это не пожелал, так как решил не расспрашивать ее, опасаясь нового приступа; к тому же мне показалось, что она забыла о моем присутствии, и я продолжал чтение.

Мелким женским почерком, очень изящным и тонким, было написано:

«Да сохранит Господь короля Людовика XVII и моих бедных родителей.

Мари де Сен-Шаман, 15 лет».

Бедное дитя! Вчера я нашел ее имя в списке с пометка-ми Робеспьера, я покажу его вам. Рядом с ее именем на полях значитса:

«Ярая фанатичка и противница свободы, хотя и очень молода».

«Хотя и очень молода!» Он все-таки на миг устыдился, благородный человек!

В раздумьи я оглянулся. Госпожа де Сент-Эньян по-прежнему плакала, всецело предавшись горю. Правда, как вы сами понимаете, прошло не более трех минут, ибо чтобы прочесть, даже вполне неторопливо, все, о чем я только что говорил, понадобилось гораздо меньше времени, чем для того, чтобы все это вспомнить и переска-зать вам.

Тем не менее я усмотрел некоторую нарочитость или, быть может, робость в том, чтобы так долго оставаться в одной и той же позе. Порой человек не знает, как вернуться к нормальному разговору после бурного взрыва горя, осо-бенно в присутствии людей с сильным и сдержанным харак-тером, из тех, кого называют холодными за то, что они носят в себе мысли и чувства незаурядные, которые не укладываются в рамки обыкновенной беседы. Случается и так, что человек не желает успокоиться, пока собеседник не задаст какой-нибудь сочувственный вопрос. Меня это приводит в замешательство. Поэтому я снова отвернулся,

чтобы продолжать изучение истории моего стула и тех, кто проводил на нем ночи, плакал, богохульствовал, молился или спал.

27. Женщина всегда ребенок

Я успел прочесть следующие строки, которые заставят ваше сердце забиться быстрее:

«Страдай, гневись душа, отмщения взыскаю!

Плачь, доблесть, если я умру!» *

Без подписи. И ниже:

«Я видел взор ее, слезами увлажненный

От нежности к тому, чей взгляд так весел был,

И видел, как другой с улыбкою влюбленной

Мед губ нежнейших пил» **.

Я приблизил глаза к надписи, внимательно всматриваясь в нее, и даже протянул к ней руку, как вдруг почувствовал на своем плече легкое прикосновение.

Я оглянулся; это была моя прелестная узница, с лицом еще мокрым от слез, с увлажненными губами, но уже не плачущая. Она приблизилась ко мне, и я почувствовал по каким-то мне самому непонятым признакам, что она хочет вырвать из своего сердца трудное признание, а я не желал ей помочь.

В ее взглядах, и ее склоненной головке было что-то умоляющее, что-то, казалось, беззвучно говорившее: «Ну, спросите же меня!»

— В чем дело? — сказал я громко, подняв глаза, но не убирая руки.

— Не стирайте эту надпись, — отвечала она нежным, певучим голосом, низко склоняясь над моим плечом. — Его держали в этой камере, потом перевели в другую часть тюрьмы. Господин де Шенье — наш друг, я рада, что могу сохранить эту память о нем на то время, которое мне отпущено.

Я взглянул на нее и увидел подобие улыбки, коснувшейся серьезной складки ее губ.

— Что могут означать эти последние строки? — продолжала она. — Право, непонятно, кого он так ревнует.

* Шенье А. Ямбы. Пер. Г. Русакова.

** Шенье А. Вторая ода к Фанни.

— Может быть, они написаны до того, как вас разлучили с герцогом де Сент-Эньяном? — спросил я с равнодушным видом.

В самом деле, за месяц до того ее мужа перевели в другое отделение тюрьмы, самое далекое от ее камеры.

Она улыбнулась, не покраснев.

— А может быть, — продолжал я, будто не замечая этого, — они обращены к мадемуазель де Куаньи?

На сей раз она покраснела, не улыбнувшись, и с некоторой досадой убрала руки с моего плеча. Она прошлась по камере.

— Кто мог, — промолвила она, — подать вам такую мысль? Эта малышка действительно очень кокетлива, но она еще ребенок. И я не понимаю, как возможно предположить, — продолжала она надменно, — будто человек такого ума, как господин де Шенье, способен серьезно заинтересоваться ею.

«Ах, женщина, — думал я, слушая ее, — я прекрасно знаю, чего тебе хочется: но я подожду, сделай еще один шаг ко мне».

Видя мою холодность, она приняла гордый вид и прилизалась ко мне поступью королевы.

— Я очень высокого мнения о вас, сударь, — сказала она, — и хочу это доказать, доверив вам шкатулку, где хранится дорогой для меня портрет. Дело в том, что, как говорят, тюрьмы опять будут обыскивать. Обыскивать нас означает нас грабить. Будьте так добры сохранить это у себя до тех пор, пока не минует угроза обыска. Я попрошу ее у вас назад, когда буду считать себя в безопасности — во всем, кроме жизни, разумеется.

— Разумеется, — отозвался я.

— Вы по крайней мере откровенны, — сказала она, смеясь, хотя и была слегка рассержена. — Но вы правильно понимаете, с кем говорите, и я польщена тем, что вы считаете меня достаточно мужественной, чтобы весело болтать со мной о моей смерти.

Она достала из-под подушки маленькую шкатулку фиолетового сафьяна, крышка на пружине слегка приоткрылась, и я заметил внутри портрет. Я взял шкатулку и, нажав на крышку большим пальцем, захлопнул ее, после чего опустил глаза, выпятил губы и принялся качать головой на манер председателя суда; словом, я имел вид многозначительный и отрешенный, как человек, который из деликатности не хочет даже знать, что он принимает на сохранение. Я выжидал.

— Боже мой! — воскликнула она, — почему вы не открываете шкатулку? Я позволяю вам.

— О, герцогиня, — сказал я, — поверьте, что бы ни представлял собою предмет, взятый мною от вас на хранение, это не может повлиять ни на мою скромность, ни на мою преданность вам. Я не хочу знать, что заключено в этой шкатулке.

Она заговорила другим тоном, слегка отрывистым, повелительным и пылким.

— Ах, вот как! Но я вовсе не хочу, чтобы вы подумали, будто тут какая-то тайна: все очень просто. Как вам известно, господину де Сент-Эньяну двадцать семь лет, он примерно одного возраста с господином де Шенье. Вы, наверно, заметили, что они очень привязаны друг к другу. В шкатулке портрет господина де Шенье: он взял с нас обещание, что мы сохраним его подарок на память, если переживем его. Это, разумеется, потеря, но мы все-таки обещали, и я решила беречь портрет у себя: на нем изображен человек, который, несомненно, был бы признан великим, если бы обнародовали то, что он читал мне.

— Что же он вам читал? — спросил я удивленно.

Мое удивление доставило ей удовольствие, настал ее черед изображать хранительницу чужой тайны.

— Только я, я и никто на свете, посвящена в его мысли, — сказала она, — и я дала слово никому ничего не открывать, даже вам. Это вещи очень возвышенные. Он любит беседовать со мною о них.

— Какая еще женщина могла бы понять его? — воскликнул я, как истинно светский человек, ибо мне уже давно другая женщина и господин де Панж давали кое-какие его сочинения.

Она протянула мне руку: она получила все, чего добивалась. Я поцеловал кончики ее белых пальцев, и губы мои против воли шепнули, касаясь ее руки:

— Ах, сударыня, не глядите свысока на мадемуазель де Куаньи, ибо женщина всегда ребенок.

28. Столовая

Меня, по тюремным правилам, заперли с прелестной узницей; когда я еще держал ее руку в своей, засовы открылись, и тюремщик прокричал: «Беранже, женщина Эньян! Ну-ка! живо! в столовую! Эй! Ну!»

— Вот, — кротко сказала она мне с лукавой улыбкой, — так мои люди докладывают мне, что кушать подано.

Я предложил ей руку; то и дело наклоня голову, мы прошли через череду низких дверей и вступили в большую залу на первом этаже.

Я увидел длинный широкий стол без скатерти, на нем свинцовые приборы, оловянные стаканы, глиняные кувшины, голубые фаянсовые тарелки, корзины с круглыми лепешками; вокруг стояли старые, затертые до блеска черные дубовые скамьи, пахнущие смолой; грубо вытесанные столбы вдоль стен упирались массивным подножием в потрескавшиеся плиты и поддерживали бесформенными верхушками закопченный потолок; стены, ошетилившиеся негодными пиками и ржавыми ружьями, были покрыты сажой; освещалось все это четырьмя огромными плашками, от которых валил черный дым; воздух был пропитан сыростью подземелья, немедленно вызывавшей кашель.

Я на мгновение закрыл глаза, чтобы привыкнуть к полумраку. Моя смиренная спутница поступила так же. Открыв их вновь, мы увидели кружок из нескольких человек, уединенно беседовавших в сторонке. Их приятные голоса и учтивая манера говорить выдавали людей благовоспитанных. Они приветствовали меня со своих мест и встали, когда заметили герцогиню де Сент-Энъян. Мы прошли вглубь залы.

У другого конца стола собралась еще одна группа, более многочисленная, более молодая, более оживленная, подвижная, шумная и смеющаяся: казалось, все эти люди вчера еще танцевали в королевском дворце кадрили и только что поднялись с постели после бала. Тут были юные девушки, сидевшие вокруг своей двоюродной тетки; молодые люди, которые шептались, говорили что-то друг другу на ухо и указывали друг на друга пальцем с насмешкой или завистью; слышались смешки, песенки, танцевальные мелодии, топот ног, исполнявших то тут, то там танцевальные па, шелканье пальцев, заменявшее кастаньеты и триангли; все стояли в кружок и смотрели на что-то, происходившее в центре. Сначала был миг ожидания и молчания, затем следовал громкий взрыв издевательского смеха или восторга, шум рукоплесканий или ропот осуждения, как после удачной или провалившейся сцены. Неожиданно над толпой выросла чья-нибудь голова и так же неожиданно исчезала.

— Это, верно, какая-нибудь невинная и г р а , — сказала я, медленно обходя длинный четырехугольный стол.

Госпожа де Сент-Эньян остановилась, оперлась о стол и, высвободив руку, только что покоившуюся на моей, прижала ее к талии, что уже стало ее привычным жестом.

— О боже милостивый, не надо подходить к ним близко! Они опять затеяли свою чудовищную игру! — воскликнула она. — Я так просила их никогда больше в нее не играть! Разве это мыслимо? Какая-то неслыханная бесчувственность! Пойдите, взгляните, если угодно, а я побуду здесь.

Я усадил ее на скамью, а сам направился к ним. То, что я увидел, не вызвало у меня такого возмущения, как у моей спутницы. Напротив, я даже был восхищен этой тюремной игрой, напоминавшей упражнения гладиаторов. Да-да, сударь, хотя французы смотрят на жизнь не так глубоко-мысленно и серьезно, как древние, они порой не уступают им в мудрости. Все мы, из поколения в поколение, в первой своей юности — латинисты, почитатели Рима; мы и по сей день благоговейно преклоняем колени перед теми же образами, что и наши отцы. Все мы школьниками восторгались тем, как учились искусству «умирать красиво» рабы. Так вот, сударь, я увидел, как этим же самым занимались в тюрьме Сен-Лазар рабы народа-повелителя, без всякой торжественности, запросто, со смехом и шутками, подзадоривая друг друга колкостями и насмешками.

— Ваша очередь, госпожа де Перигор, — сказал молодой человек в голубом кафтане в белую полоску, — посмотрим, как вы подниметесь.

— И что у нас поднимется.

— Штраф! — закричало несколько голосов. — Чересчур вольно сказано, дурной тон.

— Быть может, это и дурной тон, — ответил обвиняемый, — но в чем же весь смысл игры, как не в том, чтобы посмотреть, кто из этих дам поднимется наиболее благопристойно.

— Какое ребячество! — воскликнула очаровательная женщина лет тридцати. — Я не стану подниматься, если стул не поставят получше.

— О, как неловко, госпожа де Перигор, — сказала одна из женщин, — в списке наших имен перед вами идет Сабина Веривиль: поднимитесь же за нее, как будто вы — это она.

— Где же мне взять подходящий наряд? У меня, слава богу, ничего похожего нет. Но куда же ставить ногу? — спросила г-жа де Перигор в замешательстве.

Все засмеялись. Каждый подошел, наклонился, все жестикулировали, показывали, давали советы:

— Здесь есть перекладина! — Нет, там. — Высота три фута. — Данет, всего два. — Не выше стула. — Ни же. — Вы ошибаетесь. — Поживем, увидим. — Наоборот, умрем, увидим.

Снова взрыв смеха.

— Вы же портите игру! — воскликнул не на шутку взволнованный серьезный мужчина, лорнировавший ножки молодой женщины.

— Полно! Давайте уточним условия, — сказала госпожа де Перигор из центра круга. — Нужно взойти на машину.

— На сцену, — перебил ее кто-то из дам.

— Неважно на что, — продолжала госпожа де Перигор, — главное — это чтобы юбка приподнялась не больше, чем на два дюйма от щиколотки. Пожалуйста!

И правда, она уже вспорхнула на стул и стояла там.

Все заплодировали.

— А дальше что? — спросила она весело.

— Дальше? Это уже не ваша забота, — ответил кто-то.

— Дальше вверх тормашками! — захохотал толстый надсмотрщик.

— Только не вздумайте взывать к народу, — сказала восьмидесятилетняя канонисса. — Это на редкость дурной вкус.

— И к тому же бесполезно, — добавил я.

Господин де Луазероль предложил госпоже де Перигор руку, чтобы сойти со стула; маркиз д'Юссон, господин де Мико, советник парламента города Дижона, оба молодых Трюдена, добрый господин де Вержен, которому стукнуло шестьдесят шесть, тоже бросились ей помогать. Она не приняла ничьей руки и спрыгнула сама, так, словно вышла из кареты, столь же благопристойно, столь же грациозно, столь же просто.

— О, сейчас будет интересно, поглядим! — послышалось со всех сторон.

Совсем юная девушка с осанкой дочери Афин подошла к середине круга; она шла пританцовывая, как дети, но, вдруг осознав это, сделала усилие, чтобы идти спокойно; и все-таки она продолжала танцевать и приподниматься на пальцы, словно птица, которая чувствует за спиной крылья. Ее гладко причесанные черные волосы, уложенные сзади венком с вплетенной в них золотой цепочкой, придавали ей

сходство с самой юной из Муз: греческая мода уже начала тогда вытеснять пудру. Талия ее была такова, что, я думаю, браслеты многих женщин пришлось бы ей впору вместо пояса. Небольшая головка, грациозно склоненная вперед на манер лебедей и газелей, зарождающаяся грудь и чуть опущенные плечи, как это бывает у молодых девушек, которые еще растут, тонкие длинные руки — все это делало ее изящной и интересной одновременно. В ее правильном профиле, серьезном рте, совершенно черных глазах, строгих бровях, изогнутых, как у черкешенок, было нечто смелое и необычное, что поражало и пленяло. Это была мадемуазель де Куаньи, ее-то я и видел молящейся в тюремном дворе.

Казалось, она с удовольствием думает обо всем, что делает, и ее нисколько не занимают те, кто на нее смотрят. Она шла к стулу, глаза ее искрились радостью. Я очень люблю это выражение лица у девушек шестнадцати—семнадцати лет; трудно представить себе невинность более очаровательную. Эта радость, если можно так выразиться, врожденная, зажигала утомленные взгляды арестантов. Передо мной была и впрямь та молодая узница, которая не хочет умирать.

Весь ее облик говорил:

«И здесь у всех привет встречаю я в очах...»

или

«Надежда светлая и в доле роковой
Тревожит грудь мою пленительной мечтой» *.

Она уже готовилась подняться, как вдруг от толпы отделился молодой человек в сером кафтане, которого я до сих пор не замечал.

— О, не вы! только не вы! — воскликнул он. — Не поднимайтесь! Прошу вас!

Она остановилась, слегка пожав плечами, как девочка, когда она дуется, и растерянно приложила пальцы к губам. Она жалела, что ей не позволили влезть на стул, и глядела в сторону.

Вдруг кто-то сказал:

— Здесь госпожа де Сент-Эньян!

* Шенье А. Молодая узница. Пер. А. Козлова.

И тотчас же, не растерявшись, с удивительной чуткостью и готовностью они убрали стул, кружок распался и сложился в небольшой контрданс, чтобы скрыть от герцогини эту необыкновенную репетицию драмы на площади Революции.

Женщины подошли поприветствовать ее и окружили так, чтобы заслонить от нее игру, которую она ненавидела и которая могла опасно взволновать ее. Это были знаки почтения и внимания, какие молодая герцогиня получила бы в Версале. Хороший тон не забывается. Закрыв глаза, можно было почувствовать себя в светском салоне: ничто не изменилось.

Я заметил в толпе бледное лицо, изнуренное, пылкое и печальное, того юноши в сером: теперь он молча ходил взад и вперед по зале, низко склонив голову и скрестив на груди руки. Внезапно покинув мадемуазель де Куаньи, он шагал большими шагами вокруг столбов, бросая на стены и железные решетки взгляды томящегося в клетке льва. Серый военного покроя кафтан, черный галстук и двубортный жилет подчеркивали офицерскую выправку. Лицо, наряд, черные гладкие волосы, черные глаза — все было очень похоже. Его портрет лежал у меня в кармане, это был Андре де Шенье. Я видел его впервые.

Госпожа де Сент-Эньян представила нас друг другу. Она подозвала его, он подошел, сел рядом, порывисто взял ее руку, молча поцеловал и принялся вновь лихорадочно оглядываться по сторонам. Она тоже перестала участвовать в разговоре и с беспокойством следила за его взглядом.

Госпожу де Сент-Эньян окружала небольшая группа; рядом, под негромкий гул голосов прогуливалась толпа. Постепенно от нас начали отходить, и я заметил, что мадемуазель де Куаньи нас избегает. Оставшись втроем, мы сидели на дубовой скамье, прислонясь спиной к столу. Госпожа де Сент-Эньян, сидевшая посредине, откинулась назад, как бы желая дать нам побеседовать, ибо не хотела заговаривать первой. Андре де Шенье, который тоже не намеревался заводить с ней ничего не значащую болтовню, наклонился через нее ко мне. Я понял, что окажу ему услугу, начав разговор.

— Такая встреча в столовой, насколько я понимаю, неожиданное послабление для арестантов?

— Как видите, она радует всех, кроме м е н я , — сказал он печально. — Меня она настораживает. Мне чудится здесь

что-то зловещее, это похоже на последнюю трапезу мучеников.

Я опустил голову. Я был согласен с ним, но не хотел говорить этого вслух.

— Ну, будет, не пугайте м е н я , — сказала госпожа де Сент-Эньян, — у меня и так довольно причин для горя и тревоги. Прошу вас, не позволяйте себе неосторожных слов.

И склоняясь к моему уху, она добавила вполголоса:

— Здесь всюду шпионы, не давайте ему себя компрометировать, я ничего не в силах поделать, своими приступами гнева он заставляет меня что ни день дрожать за него.

Я невольно поднял глаза к небу и ничего не ответил. На мгновение мы все трое умолкли. «Бедная женщина! — думал я. — Как же прекрасны и радостны золотые иллюзии, которыми окружает нас молодость, если ты сохраняешь их даже в этой мрачной тюрьме, откуда каждый день увозят очередную «партию» несчастных».

Андре Шенье (ибо таким сохранил это имя народ, а воля его непререкаема) взглянул на меня и склонил голову набок, исполненный нежности и сострадания. Я понял, что это означает, и он увидел, что я понял. Между людьми, которые умеют чувствовать, слова излишни. Я уверен, что он подписался бы под переводом, который я мысленно дал его движению.

«Бедняжка! — хотел он сказать, — она полагает, что я еще могу чем-то себя скомпрометировать!»

Я не желал резко прерывать разговор, ибо это было бы большой неловкостью в присутствии такой умной дамы, как госпожа де Сент-Эньян, и я решил, не отклоняясь от хода беседы, вывести ее в более общий план.

— Я с давних морубежден, — сказала Андре Ш е н ь е , — что у поэтов бывают минуты прозрения.

На миг взор его блеснул и потеплел, но то была лишь мгновенная вспышка; потом он взглянул на меня недоверчиво.

— Действительно ли вы думаете то, что говорите? — спросил о н . — Я никогда не знаю, когда светские люди говорят всерьез, а когда нет, ибо национальная болезнь французов — осмеяние всего подряд.

— Но я не только светский человек, — отвечал я, — и всегда говорю серьезно.

— Ну что ж, — сказал о н , — тогда я простосердечно признаюсь вам, что согласен с вами. Редко случается, чтобы

первое впечатление, первый взгляд, первое предчувствие меня обманули.

— Вы хотите сказать, — перебила госпожа де Сент-Эньян, сияясь улыбнуться и желая изменить направление разговора, — что имели предчувствие, что мадемуазель де Куаньи ушибет ногу, влезая на стул?

Даже я был поражен зоркостью женского взгляда, умеющего проникнуть сквозь стены, если его подстегивает ревность.

Настоящий светский салон с его соперничеством, маленькими кружками, чтением вслух, разговорами о пустяках, с его жеманством, прелестями и пороками, возвышенностью и мелочностью, увлечениями и предрассудками образовался в этой тюрьме, как образуется порою на болоте с зеленоватой стоячей водой крохотный островок цветов, который может потопить малейшее дуновение ветра.

Андре Шенье, как мне показалось, был единственным, кто чувствовал зыбкость этого островка, нисколько не беспокоившую других арестантов. Большинство людей привыкает к опасности, забывает о ней и осваивается со своим положением, как обитатели Везувия в хижинах из лавы. Наши узники предпочитали заблуждаться относительно участи своих товарищей по несчастью, увезенных отсюда каждый в свой срок: может быть, их освободили, может быть, перевели в Консьержери, в лучшие условия; они обращали смерть в шутку, сначала из бравады, потом по привычке, и, наконец, забывали о ней, принимались думать о другом, и снова начинали жить, жить своей утонченной жизнью с ее языком, со свойственными ей недостатками и преимуществами.

— А х , — воскликнул Андре Шенье серьезно, сжав обеими руками руку госпожи де Сент-Эньян, — я так надеялся, что нам удастся скрыть от вас эту жестокую игру. Я боялся, как бы она не затянулась, в этом и крылась причина моего беспокойства. А это прекрасное дитя...

— Быть может, это и д и т я , — сказала герцогиня, резко отнимая р у к у , — но она имеет больше влияния на ваши мысли, чем вы сами полагаете, она толкает вас своим легкомыслием на неосторожные речи, к тому же кокетство ее, без сомнения, ужаснуло бы ее бедную мать, если бы она могла все это видеть. Вот, пожалуйста, вы только взгляните на нее в окружении всех этих мужчин.

В самом деле, мадемуазель де Куаньи как раз беззаботно проходила мимо нас между двумя мужчинами, которые

держали ее под руки и смеялись тому, что она говорила, другие шли следом, кто-то впереди, пятясь, чтобы не поворачиваться к ней спиной. Она шла, скользая, как в танце, и, глядя на свои ноги, шла ритмично, словно и впрямь собиралась танцевать, и, поравнявшись с нами, сказала господину де Трюдену, как бы продолжая разговор:

— Теперь только женщины умеют убивать прежде, чем умереть, поэтому я и не удивляюсь, когда мужчины умирают покорно и безропотно, как умрете все вы в один из ближайших дней...

Андре Шенье продолжал что-то говорить, но по тому, как он покраснел и закусил губу, я понял, что он услышал, и что молодая узница сумела-таки отомстить ему за беседу, которая, по ее мнению, была чересчур интимной.

Между тем госпожа де Сент-Эньян со свойственной ей женской проницательностью старалась отвечать очень громко, боясь, как бы он не услышал, не принял упрек на свой счет и, почувствовав себя уязвленным, не дал бы воли безрассудным слонам.

Я заметил, что к нам приближаются подозрительные личности, шнырявшие между столбов, и решил поскорее положить конец всем этим мелким интригам, неуместность которых крайне раздражала меня, пришедшего сюда извне и понимавшего лучше, чем они все, их истинное положение.

— Сегодня утром я видел вашего батюшку, — сказал я Шенье.

Он отпрянул.

— Я тоже видел его сегодня в десять часов, — отвечал он удивленно.

— Значит он пришел к вам прямо от меня, — воскликнул я. — Что он вам сказал?

— Как? — сказал Андре Шенье, вставая, — вы тот самый господин, который...

Остальное он договорил на ухо своей прекрасной соседке.

Я понял, какое предубеждение вселил в сына против меня этот бедный старик.

Внезапно Андре встал, быстро зашагал от нас прочь, вернулся и, встав перед госпожой де Сент-Эньян и мной, скрестил руки на груди и заговорил резко и страстно:

— Поскольку вы знаете с этими презренными негодьями, которые нас истребляют, то не считите за труд, гражданин, повторить им от моего имени все то, за что меня арестовали и бросили сюда, все, что я написал в «Журналь де

Пари» и что я кричал прямо в лицо тем оборванным молодчикам, которые явились к моему другу арестовывать его. Можете сказать им все, что я здесь написал... вот... вот...

— Во имя неба! не продолжайте! — воскликнула герцогиня, стискивая его локоть. Но, несмотря на все ее попытки удержать его, он вытащил из кармана газету и развернул, барабанив по ней пальцами.

— ...Что они «палачи — кропатели законов», и хотя «судьбой предначертано, что в моей руке никогда не блеснет меч», у меня остается перо, самое «дорогое мое сокровище», и если я проживу еще хотя бы день, то употреблю время на то, чтобы «оплевать их имена», «воспеть их казнь», уже совсем близкую, и «ускорить удар треххвостого бича», уже занесенного над триумвирами, и добавьте, что говорил я это среди тысячи других «баранов», которые «подобно мне... подвешены на кровавых крючьях народной бойни» и «будут скоро поданы к столу народу-самодержцу». *

Услышав раскаты его голоса, арестанты столпились вокруг, как толпятся бараны, с которыми он их сравнил, вокруг своего вожака. Невероятная перемена произошла в нем. Мне показалось, что он вдруг сделался выше ростом, глаза его стали больше и сверкали от негодования, он был прекрасен.

Я повернулся к господину де Лагарду, офицеру французской гвардии:

— В жилах этой семьи течет слишком горячая кровь. Как видно, мне не удастся помешать ей пролиться.

Сказав это, я встал и, пожав плечами, отошел в сторону.

Слово «удастся», видимо, произвело на Андре впечатление, ибо он тут же умолк и прислонился к столбу, кусая губы. Госпожа де Сент-Эньян все это время смотрела на него так, как люди смотрят на извержение Этны: ни слова не говоря и не пытаясь остановить.

Один из его друзей, господин де Роклор, полковник Босского полка, похлопал его по плечу.

— Ну, ну, — сказал он, — ты опять сердился на этот царствующий сброд. Не лучше ли освистывать их, как скверных актеров, пока занавес не упадет, сначала над нами, потом над ними?

Он сделал пируэт и сел к столу, напевая вполголоса «Жизнь — это странствие».

* Цитаты из «Ямбов» А. Шенье.

Оглушительная трещотка возвестила о начале завтрака. Какое-то вульгарное создание, которое называли, кажется, женщина Семэ, расположилось в центре стола, чтобы потчевать гостей: то была самка животного, именуемого тюремщиком и сидевшего в скрюченном положении у входа.

Узники сели за стол, их было около пятидесяти. Сен-Лазар насчитывал всего семьсот. Едва они сели, как тон их переменился. Они переглянулись и погрустнели. По их лицам, освещенным четырьмя красными коптящими плашками, пробегали зловещие отблески, как по лицам рудокопов в подземелье или разбойников в притоне. Красный цвет казался черным, бледность — огненной, свежесть — синеватой, глаза пылали, как угли. Разговор перестал быть общим и возникал лишь между соседями, вполголоса.

Позади сотрапезников выстроились тюремщики, ключники, полицейские и санкюлоты с улицы, пришедшие поглазеть на такое зрелище. Несколько получивших особое позволение рыночных торговек явились, таща за собой детей, присутствовать на этом празднестве в чисто демократическом вкусе. Об их появлении возвестил запах рыбы, распространившийся по залу и немедленно отбивший аппетит нескольким дамам, которые не смогли есть в присутствии цариц уличной грязи.

Эти изысканные зрители глядели с ненавистью и в то же время с удивлением: казалось, они ожидали увидеть что-то иное, а не спокойные разговоры, тихие и благопристойные, какие ведут за столом воспитанные люди везде и во все времена. Пришедшим никто не грозил кулаком, и они не знали, как себя вести. Они тупо молчали, а некоторые попрятались, узнав за столом господ, которых некогда обкрадывали, поставляя на их кухню свой товар.

Мадемуазель де Куаньи окружила себя стеной из пяти или шести молодых людей, обступивших ее плотным кольцом, чтобы заслонить от дыхания селедочниц; она ела бульон стоя, как могла бы есть на балу, и насмеялась над галеркой с обычной своею беспечностью и высокомерием.

Госпожа де Сент-Эньян не ела, она выговаривала Андре Шенье и, как я заметил, несколько раз указала на меня, словно укоряя его за то, что он учинил неуместную выходку против человека, который является ее другом. Он сидел нахмурясь, опустил голову, страдающий и готовый повиноваться. Она сделала мне знак приблизиться; я подошел.

— Господин де Шенье утверждает, — сказала она, обращаясь ко мне, — что смирное поведение и молчание всех этих якобинцев — скверный признак. Удержите же его от очередной вспышки гнева.

Взгляд ее был умоляющим; я видел, что она пытается нас примирить. Андре Шенье деликатно помог ей, первым заговорив со мной шутивным тоном:

— Вы бывали в Англии, сударь. Если вы когда-нибудь окажетесь там вновь и встретите Эдмунда Берка, можете заверить его, что я чрезвычайно сожалею о той статье, где критиковал его, ибо он был совершенно прав, предсказав нам царство разносчиков. Это поручение, надеюсь, вам будет менее неприятно, чем предыдущее. Что вы хотите, тюрьма не улучшает характер!

Он протянул мне руку и по тому, как я ее пожал, он понял, что я ему друг.

В этот момент раздался гулкий тяжелый грохот, от которого задрожали тарелки и стаканы, задрожали стекла, задрожали женщины. Все смолкло. Это был грохот повозок. Его знали, как знают звук грома все, кто слышал его хоть раз; это не был стук обычных колес, он напоминал язг ржавых цепей и стук комьев земли по гробу. От этого звука у меня похолодели ноги.

— Эй, ешьте, ешьте, гражданки! — раздался грубый голос женщины Семэ.

Ни шороха, ни ответа. Наши руки застыли в том положении, в каком застал их этот роковой стук. Мы были подобны жертвам Помпеи и Геркуланума, найденным в тех позах, в каких застигла их смерть.

Напрасно женщина Семэ с удвоенным рвением гремела тарелками, вилками и ножами, никто не шелохнулся, так парализовала всех эта жестокость. Заключенным позволили собраться наконец вместе за столом, позволили обнять друг друга и дать волю чувствам, забыть тоску и муки одиночного заключения, вкушать откровенного дружеского общения, насладиться товариществом, умной беседой и даже немного любовью, — затем, чтобы все увидели смерть каждого! О, это было чересчур бесчеловечно! Это поистине могло быть лишь забавой голодных гиен или оголтелых якобинцев.

Широкие двери столовой с грохотом распахнулись и выплюнули трех комиссаров в длинных засаленных кафтанях, в сапогах с отворотами и в красных перевязях; за ними ворвалась новая орава вооруженных пиками голово-

резов в красных колпаках. Они ввалились с возгласами радости, хлопая в ладоши, словно на премьеру грандиозного представления. То, что они увидели, заставило их замереть — жертвы в очередной раз привели убийц в замешательство своим самообладанием, ибо их потрясение длилось лишь один короткий миг, а затем бесконечное презрение придало им всем новую силу. Узники почувствовали себя настолько выше своих врагов, что почти развеселились, и взгляды их с решимостью и даже любопытством устремились на одного из комиссаров, который вышел вперед с бумагой в руке, намереваясь начать читать. Это был поименный список арестантов. Как только какое-нибудь имя было произнесено, два человека устремлялись к названному и выволакивали его из зала. На улице его передавали конным жандармам и сажали в повозку. Первое обвинение состояло в организации в тюрьме заговора против народа и подготовке покушения на представителей народа и членов Комитета общественного спасения. Обвиняемой оказалась восьмидесятилетняя аббатиса Монмартрского аббатства госпожа де Монморанси: она с трудом поднялась и спокойной улыбкой приветствовала всех сидящих за столом. Те, что были к ней ближе, поцеловали ей руку. Никто не плакал, ибо в ту пору на кровь привыкли смотреть сухими глазами. Она вышла со словами: «Господи, прости их, ибо не ведают, что творят». В зале воцарилось молчание.

Снаружи раздался кровожадный рев, возвещавший, что она появилась перед толпой, и в окна и стены со стуком полетели камни, которыми целились, несомненно, в нее. Среди этого шума я различил даже выстрел. В таких случаях жандармам порой приходилось принимать меры, чтобы сохранить арестантам последние двадцать четыре часа жизни.

Чтение списка продолжалось. Вторым был назван юноша двадцати трех лет, господин де Коатрель, если я правильно помню, который обвинялся в том, что имеет сына-эмигранта, поднявшего оружие против родины. Обвиняемый даже не был женат. Он расхохотался, услышав обвинение, пожал руку друзьям и вышел. Те же крики встретили его во дворе.

Безмолвие царило за роковым столом, из-за которого одного за другим вырывали сотрапезников; остальные ждали, не покидая своих мест, как солдаты на посту ждут ядра. Когда очередной обвиняемый уходил, убирали его прибор, и оставшиеся придвигались к новым соседям с горькой усмешкой.

Андре Шенье по-прежнему стоял возле госпожи де Сент-Эньян, и я стоял рядом с ними. Как на корабле, которому угрожает крушение, команда инстинктивно льнет к самому умелому и самому мужественному, так узники, не сговариваясь, столпились вокруг этого человека. Он стоял, скрестив руки и устремив взор к небу, словно вопрошая, возможно ли, чтобы небо терпело все это, если только оно не пустое.

Мадемуазель де Куаньи, которая с каждым новым именем теряла очередного защитника, постепенно оказалась почти в полном одиночестве на другом конце залы. Тогда она двинулась в нашу сторону, опираясь о стол, за которым уже почти никого не осталось, дошла до нас и опустилась рядом на скамью, ища защиты, как бедный покинутый ребенок, каковым она, в сущности, и была. Ее благородное лицо сохраняло гордое выражение, но силы были на исходе; слабые руки ее дрожали, ноги подгибались. Добрая госпожа де Сент-Эньян протянула ей руку. Та бросилась в ее объятия и против воли разрыдалась.

Грубый и беспощадный голос комиссара продолжал звучать. Этот человек продлевал пытку, произнося каждое слово нарочито медленно, делая долгие паузы перед именами и выговаривая их по слогам, а потом внезапно обрушивал фамилию, словно удар топора.

Он провожал каждого выходящего узника проклятием, дававшим начало долгому реву снаружи. Он был весь багровый от вина и, по-моему, нетвердо держался на ногах.

Я заметил пробиравшуюся сквозь толпу женщину. Она проскользнула почти у него под мышкой, а высоко над нею маячило вытянутое лицо мужчины, который без труда читал через плечо комиссара. Это были Роза и мой канонир Блеро. Роза показалась мне любопытной и развеселой, как все эти кумушки с рынка, державшие ее под руки. Я возненавидел ее. Что же до Блеро, то он выглядел по обыкновению заспанным; его мундир, по-моему, вызывал большое почтение у людей в колпаках и с пиками, толпившихся вокруг. Список комиссара состоял из нескольких листков, испещренных ужасными каракулями, которые этот достойный служитель правосудия читал ничуть не лучше, чем они были написаны. Блеро услужливо подвинулся к нему, словно желая помочь и почтительно взял у него из рук мешавшую ему шляпу. Мне почудилось, что Роза подняла с пола какую-то бумагу, но в той части столовой было темно, да и про-

изошло все так быстро, что я не был уверен, видел я это на самом деле или нет.

Чтение продолжалось. Мужчины, женщины, дети вставали и выходили, как тени. Стол был уже почти пуст и казался огромным и зловещим. Тридцать пять человек ушли; те пятнадцать, что оставались, сидели по одному — по двое, так что между ними зияло восемь—десять пустых мест; они напоминали деревья, случайно уцелевшие при вырубке леса. Внезапно комиссар умолк. Он дошел до конца списка, все перевели дух. Я вздохнул с облегчением.

Андре Шенье воскликнул:

— Продолжайте же, ведь я еще здесь!

Комиссар ошалело взглянул на него. Он шарил в своей шляпе, в карманах, за поясом и, не найдя ничего, сказал, чтобы позвали судебного пристава из Революционного трибунала. Пристав явился. Мы затаили дыхание. Пристав оказался бледным и унылым, точно кучер катафалка.

— Я пересчитаю наше стадо, — объявил он комиссару, — и если ты собрал не всю «партию», берегись.

— А - а , — отозвался комиссар растерянно, — есть еще Бовилье Сент-Эньян, бывший герцог, двадцати семи лет...

Он уже собирался огласить обвинение, но пристав перебил его, сказав, что тот ошибся отделением и вообще пьян. Действительно, в этой перекличке теней комиссар перепутал второе строение с первым, где герцогиня уже с месяц пребывала в одиночестве. Затем они удалились, один угрожая, другой пошатываясь. Рыночная толпа последовала за ними. Снаружи воздух огласился криками ликования, и посыпались камни и удары палками.

Когда двери закрылись, я оглядел опустевший зал и увидел, что госпожа де Сент-Эньян сидит в той же позе, в какой слушала конец списка: опершись локтями о стол и уронив голову на руки. Мадемуазель де Куаньи выпрямилась и открыла влажные глаза, как прекрасная нимфа, выходящая из воды. Андре Шенье сказал мне шепотом, указывая на герцогиню:

— Надеюсь, она не слышала имени мужа, не надо говорить с ней, пусть спокойно поплачет.

— Вот видите, — сказал я ему, — ваш брат, которого обвиняют в равнодушии, ведет себя правильно, не предпринимая никаких шагов. Вас схватили без ордера на арест, он это знает и молчит. Он избрал верный путь, так как ваше имя не числится ни в каких списках. Назвать его вслух озна-

чает внести в список. Нужно выждать время, и ваш брат это понимает.

— О, мой брат! — промолвил он. И долго качал опущенной головой, недоверчиво и печально. Это был единственный миг, когда я увидел в его глазах слезу; она блеснула меж ресницами и тут же исчезла.

Он быстро овладел собой.

— Мой отец не так благоразумен, — сказал он с иронией. — Он-то не боится подставить себя под удар. Не далее как сегодня утром он ходил к Робеспьеру просить за меня.

— О, боже милостивый! — вскричал я, всплеснув руками, — этого-то я и опасался.

Я быстро схватился за шляпу. Он удержал меня за руку.

— Не уходите! — воскликнул он. — Герцогиня в обмороке.

Госпожа де Сент-Эньян в самом деле была без сознания.

Мадемуазель де Куаньи поспешила на помощь. Еще две женщины, оставшиеся за столом, тоже захлопотали вокруг. Даже тюремщица приняла участие, получив от меня люидор. Герцогиня начала приходить в себя. Надо было спешить. Я ушел, ни с кем не простившись и оставив всех недовольными мною, как это случается со мной повсюду и всегда. Последнее, что я услышал, были слова мадемуазель де Куаньи, которая говорила с нарочитым и слегка коварным состраданием маленькой баронессе де Суакур:

— Бедный господин де Шенье! как мне жаль его! Быть всецело преданным женщине, которая так глубоко привязана к мужу и превыше всего почитает семейный долг!

29. Артиллерийская повозка

Я шел, я бежал по улице Фобур-Сен-Дени, подгоняемый страхом опоздать, а также отчасти уклоном улицы, которая вела под гору. Я снова и снова воскрешал в памяти картины, только что виденные мною. Мне нужно было заключить их в свою душу, я старался выбрать главное, рассматривал каждую мелочь, словно под увеличительным стеклом. Во мне уже началась работа философского зрения, суду которого я подвергаю все, что встречаю в жизни. Я шел быстро, наклонив голову и выставив вперед трость. Слу-

чившееся представало передо мной в разных ракурсах. Моя система взглядов принимала в себя новые образы, и я искал им место, не допуская ни малейшего беспорядка. Я уже мысленно выстроил замечательную теорию о путях Провидения: оно сохранило поэта для лучших времен, пожелав, чтобы его миссия на земле была исполнена до конца и чтобы сердце его не оказалось разбито смертью одной из двух этих хрупких женщин, опьяненных его поэзией, озаренных его светом, живущих его дыханием, замирающих от его голоса и покорных его взгляду, из которых одна любима, а другая, быть может, будет любима со временем. Я признавал, что выиграть один день в пору убийств значит выиграть немало, и прикидывал шансы на свержение Триумvirата и Комитета общественного спасения. По моим предположениям, им оставалось царствовать всего несколько дней, и я был почти уверен, что сумею помочь троим дорогим мне узникам продержаться дольше, чем властвующая банда. Что для этого требовалось? Чтобы о них забыли. Дело происходило пятого Термидора. В моих силах было отвлечь от них внимание моего второго сегодняшнего пациента, Робеспьера, внушив ему, что здоровье его ухудшилось, и заняв его мысли им самим. Необходимо было только поспеть вовремя.

Напрасно я высматривал экипаж. В те дни они были редкостью на улицах Парижа. Горе тому, кто осмелился бы ехать в экипаже по накаленным мостовым II года Республики! Однако я вдруг услышал за спиной стук колес и цоканье копыт: колес было четыре, лошадей две; они нагоняли меня и, наконец, остановились. Я оглянулся и увидел высоко над головой благодушную физиономию Блеро.

— О сонное лицо, длинное лицо, лицо глупое, желтое и праздное! чего хочешь ты от меня? — вскричал я.

— Прошу прощения, если помешал, — сказал он, улыбаясь, — но у меня есть для вас одна бумажонка. Гражданка Роза случайно нашла ее на полу.

Говоря это, он ковырял в сточной канаве носком огромного башмака.

Я с раздражением взял бумагу, но прочел ее с радостью и с ужасом перед минувшей опасностью.

«Продолжение:

С.-Л.-С. Суакур, 30 лет, рожденная в Париже, бывшая баронесса, вдова Инисдала с улицы Пти-Вожира.

Ф.-С.-Л. Майе, 17 лет, сын бывшего виконта.

Андре Шенье, 31 год, рожденный в Константинополе, литератор с улицы Клери.

Креки де Монморанси, 60 лет, рожденный в Хицламберте, в Германии, бывший дворянин.

М. Беранже, 24 года, в замужестве Бовилье Сент-Эньян, с улицы Гренель-Сен-Жермен.

Л.-Ж. Дервильи, 43 года, бакалейщик с улицы Муфтар.

Ф. Куаньи, 16 лет 8 месяцев, дочь бывшего дворянина той же фамилии, с улицы Университэ.

С.-Ж. Дориваль, бывший монах-отшельник».

И еще двадцать четыре фамилии. Я не стал читать дальше: это был конец списка, тот самый потерянный листок, который болван-комиссар спьяну искал в своей шляпе.

Я его скомкал, смял, разорвал на тысячу клочков, разжевал и съел. Потом взглянул на своего канонира и пожал ему руку, глубоко... да, право, не побоюсь этого слова... глубоко растроганный.

— Да ну! — сказал Стелло, протирая глаза.

— Да, да, глубоко растроганный.

А он почесал в затылке с дурацким видом и сказал, потягиваясь, будто только что проснулся:

— Забавно! похоже, судебный пристав, этот бледнющий верзила, очень рассердился на комиссара, краснорожего брюхана, и сунул его в повозку вместо тех, кого он не досчитался. Смех и только!

— Еще одна смерть! что ж, справедливо, — заметил я. — Ты куда едешь?

— Я-то? Везу зарядный ящик на Марсово поле.

— Подбросишь меня на улицу Сент-Оноре?

— Ах, боже мой! Садитесь! Разве мне трудно? Мне сегодня сам король...

Должна была последовать его любимая поговорка, но он не договорил и прикусил губу.

Второй солдат терпеливо ждал товарища. Блеро, хромая, вернулся к повозке, смахнул рукавом пыль с артиллерийского ящика, забрался первым и, усевшись на него верхом, протянул мне руку; я сел позади него, и мы понеслись галопом.

Через десять минут я был на улице Сент-Оноре, перед домом Робеспьера; до сих пор не понимаю, как меня не разорвало на куски по дороге.

30. Дом господина де Робеспьера, адвоката парламента

Ничто в облике серого дома, куда я собирался войти, принадлежавшего, если мне не изменяет память, столяру по имени Дюпле, дома очень простого с виду, который бывший адвокат парламента занимал уже давно и который можно видеть и поныне, — ничто, повторяю, не позволяло угадать в этом строении пристанище временного хозяина Франции, кроме, пожалуй, кажущегося запустения. Все ставни сверху донизу были закрыты. Ворота заперты, жалюзи во всех этажах опущены. Ни один звук человеческого голоса не доносился оттуда. Дом выглядел слепым и немым.

Женщины, беседовавшие группами у порогов своих жилищ, как это обычно бывает в Париже во времена беспорядков, указывали издали на этот дом и шептались. Время от времени дверь открывалась, выпуская жандарма, санкюлота или шпиона (часто женского пола). Тогда группы рассеивались, и соседки быстро расходились по домам. Экипажи проезжали мимо дверей шагом, описывая полукруг. На мостовой перед домом была набросана солома. Впечатление создавалось такое, будто в доме чума.

Не успел я взяться за молоток, как дверь сама собой отворилась, и на меня выскочил перепуганный портье, боясь, как бы молоток не стукнул чересчур громко. Я сразу же спросил его, не заходил ли сегодня старик такого-то и такого-то вида, обрисовав со всей тщательностью, на которую был способен, портрет господина де Шенье. Привратник, как опытный актер, мгновенно сделал каменное лицо. Он отрицательно покачал головой.

— Не видал, — сказал он.

Я настаивал:

— вспомните хорошенько всех, кто приходил сегодня утром.

Я его убеждал, допрашивал, допытывался.

— Не видал.

Вот и все, что я сумел из него вытянуть. Маленький оборванец прятался за его спиной и забавы ради швырял камни в мои шелковые чулки. По шкодливому выражению лица я узнал мальчишку-посыльного, который приходил ко мне утром. К Неподкупному вела плохо освещенная лестница; я поднялся. Во всех дверях торчали ключи, я переходил из комнаты в комнату, нигде никого не встречая. Только в четвертой сидели два арапа да два секретаря и что-то

бесконечно писали, не поднимая головы. Я мимоходом бросил взгляд на их столы. Там лежало колоссальное количество именных списков. У меня опять похолодели ноги, как от вида крови и грохота повозок.

Я молча прошел по потертому ковру, заглушавшему шаги, и передо мной без слов распахнули дверь.

В комнате, куда я вступил, царил унылый и тусклый дневной свет. Она выходила окнами во двор; большие темно-зеленые портьеры затеняли и без того скудное освещение, поглощали шумы, увеличивали толщу стен. Солнце попадало сюда, лишь отражаясь от стены напротив. В зеленом кожаном кресле перед большим столом красного дерева сидел мой второй сегодняшний пациент; в одной руке он держал английскую газету, в другой маленькую серебряную ложечку, помешивая ею сахар в отваре ромашки.

Вы легко можете представить себе Робеспьера. Существует немало конторских служащих, весьма на него похожих; в его лице не было ни одной выдающейся черты, ничего, что рождало бы волнение. Ему было тридцать пять лет, лицо его было сплюснуто между лбом и подбородком, словно кому-то вздумалось насильно свести их воедино поверх носа. Лицо это было бледное, как бумага, тусклое и словно покрытое штукатуркой. Оспа оставила на нем глубокие следы. Ни кровь, ни желчь не заявляли в нем о себе. Глаза, маленькие, угрюмые, потухшие, никогда не смотрели прямо; от постоянного неприятного моргания они казались еще меньше в тех редких случаях, когда зеленые очки не скрывали их полностью. Его поджатые губы искажало подобие судорожного смеха, от которого вокруг разбежались мелкие морщины, за что Мирабо и сравнил его с «кошкой, глотнувшей уксуса». Прическу он носил изысканную, пышную и претенциозную. Его пальцы, плечи и шея то и дело непроизвольно вздрагивали, передергивались, корчились от приступов коротких нервных судорог. Он неизменно бывал одет с раннего утра, я ни разу не заставал его в халате. В тот день желтый шелковый кафтан в белую полоску, жилет в цветочек, жабо, белые шелковые чулки, туфли с пряжками придавали ему щегольской вид.

Он поднялся со свойственной ему учтивостью, снял зеленые очки, степенно положил их на стол и сделал два шага мне навстречу. Он поклонился мне, как благовоспитанный человек, затем снова сел и протянул мне руку.

Я взял ее не как руку друга, а как руку больного и, приподняв манжету, нащупал пульс.

— Небольшой жар, — заметил я.

— Вполне возможно, — отвечал он, поджимая губы. Внезапно он вскочил, дважды прошелся по комнате твердым, решительным шагом, потирая руки, потом сказал: «Ну и ну!» — и снова сел.

— Садитесь сюда, гражданин, и послушайте. Ну разве это не странно?

При каждом слове он бросал на меня взгляд поверх очков.

— Разве не поразительно? Как вы считаете? Этот мальчишка герцог Йоркский оскорбляет меня в своих газетах.

И он постучал по длинным столбцам английской газеты.

«Негодование притворное, — подумала я. — Осторожно!»

— Тираны, — продолжал он крикливым пронзительным голосом, — не в состоянии допустить мысль, что где-то на земле может царить свобода. Это унижительно для рода человеческого. Полюбуйтесь на выражение, которое повторяется на каждой странице. Какая нарочитость!

И он бросил газету передо мной.

— Взгляните, — продолжал он, тыча пальцем в слова, о которых шла речь, — взгляните: «Robespierre's Army, Robespierre's troops!» * Как будто это моя армия! как будто я король! как будто Франция — это Робеспьер! как будто все исходит от меня и ко мне возвращается! Войска Робеспьера! Какая несправедливость! Какая клевета! Что вы скажете?

Он снова взял чашку с ромашкой и, приподняв очки, поглядел на меня:

— Надеюсь, у нас эти немыслимые выражения не в ходу? Вам ведь не приходилось слышать ничего подобного, не правда ли? Разве так говорят на улицах? Нет! Эти оскорбительные для меня взгляды распространяются по наущению Питта! Кто во Франции называет меня диктатором? Контрреволюционеры, дантониисты, эбертисты, еще остающиеся в Конвенте, проходимцы вроде л'Эрмина, которого я намерен обличить с трибуны, прихвостни Георга Английского, заговорщики, мечтающие, чтобы народ меня возненавидел — ибо они знают, что в исполнении гражданского долга я безусловно чист и ежедневно разоблачаю публично их пороки — всякие Верресы и Катилины, вроде Демулена, Ронсена и Шометта, беспрестанно нападающие на респуб-

* Армия Робеспьера, войска Робеспьера (англ.).

ликанское правительство. Со стороны гнусных тварей, именуемых королями, это вопиющая наглость — вздумать водрузить мне на голову корону! Не для того ли, чтобы она свалилась в один прекрасный день, как и их собственные? Ужасно, что у нас во Франции находятся лжереспубликанцы, мошенники, обращающие мои добродетели в преступления. Я болен, как вы хорошо знаете, и уже шесть недель не появляюсь в Комитете общественного спасения. Где же моя диктатура? Им все равно! Коалиция, которая меня преследует, видит ее повсюду: я слишком несговорчивый и неподкупный блюститель общественных интересов. Эта коалиция возникла одновременно с нашим правительством. Она объединяет всех мошенников и негодяев. Она осмелилась трубить на всех перекрестках, будто я арестован. Убит — пожалуйста! Но арестован? Я никогда не буду арестован. Они несли всякие нелепости, будто Сен-Жюст хочет спасти аристократию, ибо по рождению он дворянин. Да не все ли равно, кто он по рождению, если он живет и идет на смерть с верными убеждениями? Разве это не он предложил и провел в Конвенте декрет об изгнании бывших дворян, коих он объявил непримиримыми врагами революции? Коалиция пыталась высмеять праздник Верховного Существа и историю Катрин Тео. Коалиция называет меня, меня одного виновником всех казней, она продолжает происки бриссотинцев, и все-таки то, что я сказал в день праздника, стоит куда больше, чем все теории Шометта и Фуше, не правда ли?

Я кивнул; он продолжал:

— Например, я предлагаю убрать с надгробий свято-татственное изречение будто смерть есть сон, и высечь вместо него: «Смерть есть начало бессмертия».

Я догадался, что слышу прелюдию будущей речи. Он испытывал на мне ее аккорды, как это делали многие знакомые мне любители публичных выступлений.

Он самодовольно усмехнулся и допил свой отвар. Потом жестом оратора на трибуне поставил чашку на стол и, поскольку я ничего не сказал о его предложении, вернулся к нему с другой стороны, ибо ему необходим был отклик и лесть.

— Я знаю, что вы согласны со мной, гражданин, хотя вы еще полны пережитков прошлого. Но вы чисты, и это немало. Я, по крайней мере, уверен хотя бы в том, что вы, как и я, не желаете военной диктатуры, а если меня не станут слушаться, она наступит, она захватит бразды правле-

ния Революции, если я выпущу их из рук, и свергнет ослабевшее народное представительство.

— Совершенно справедливо, гражданин, — ответил я. Его слова и впрямь были справедливы, и они оказались пророческими.

Он снова улыбнулся кошачьей улыбкой.

— Вы даже, наверно, предпочли бы мой деспотизм, не так ли?

Я отвечал, состроив многозначительную гримасу: «Э! ну...» со всей неопределенностью, какую только можно вложить в эти уклончивые слова.

— Это было бы, — продолжал он, — единовластие гражданина, человека, равного вам, который пришел к власти путем добродетели, и всегда опасался лишь одного — быть запятнанным соседством людей порочных, которые всегда проникают в среду искренних друзей человечества.

Он ласкал языком и губами эту красивую длинную фразу, как сладчайший мед.

— Но у вас теперь соседей стало намного меньше, не правда ли? — промолвил я. — С вами рядом почти никого нет.

Он поджал губы и надвинул зеленые очки прямо на глаза, пряча взгляд.

— Это потому, что я живу уединенно в последнее время, — сказал он. — Но клеветают на меня ничуть не меньше.

Не переставая говорить, он взял карандаш и нацарапал что-то на листке бумаги. Спустя пять дней я узнал, что этот листок был списком отправляемых на гильотину, а это что-то... моим именем.

Он улыбнулся и откинулся на спинку кресла.

— Увы, да! Клеветают, — продолжал он. — Ибо, если говорить серьезно, я люблю, как вам известно, только равенство, и это особенно хорошо должно быть видно по тому негодованию, которое вызывают у меня эти газеты, появившиеся на свет из арсеналов тирании.

Он скомкал и растоптал с трагическим видом большие газетные листы; однако я отметил про себя, что он не стал их рвать.

«Ах, Максимилиан, — подумал я, — ты еще не раз перечесть их, когда останешься один, и будешь пылко целовать эти чарующие, волшебюно звучащие для тебя слова: „Войска Робеспьера!“»

После своей — да и моей — наспех разыгранной комедии он встал и снова зашагал по комнате, судорожно подергивая пальцами, плечами и шеей.

Я тоже встал и зашагал рядом с ним.

— Прежде чем заводить разговор о здоровье, я хотел бы дать вам прочесть вот э т о , — сказал о н . — Вы знаете о моей дружбе с автором. Это проект законодательства, составленный Сен-Жюстом. Полистайте. Я жду его сегодня утром, мы побеседуем об этом. Наверно, он уже прибыл в П а р и ж , — добавил он, вынимая ч а с ы , — пойду узнаю. Садитесь и читайте. Я скоро вернусь.

Он дал мне толстую тетрадь, исписанную быстрым решительным почерком, и стремительно вышел, словно убежал. Я держал в руках тетрадь, а сам смотрел на дверь и размышлял. Я знал Робеспьера давно. Сегодня он показался мне необычайно беспокоящим. Он намеревался что-то предпринять или, наоборот, опасался враждебного выпада. Я заметил в комнате, куда он прошел, тайных агентов, которых знал в лицо, ибо они не раз следили за мной; в доме не затихал топот, словно какие-то люди непрерывно сновали по лестнице вверх и вниз. За стеной говорили вполголоса. Я попытался разобрать слова, но мне не удалось, и я перестал прислушиваться. Признаюсь, обстановка скорее располагала меня к опасениям, нежели к доверию. Я сделал попытку выйти из комнаты через ту дверь, в которую вошел, но то ли по недоразумению, то ли из предосторожности ее за мной заперли: я оказался пленником.

Когда не в моих силах изменить положение вещей, я перестаю об этом думать. Я сел и пробежал глазами рукопись, оставленную мне Робеспьером.

31. Законодатель

Это были ни больше ни меньше как законы, незыблемые и непреложные, предназначенные для введения во Францию и без труда сочиненные для нее гражданином Сен-Жюстом, двадцати шести лет от роду.

Сначала я читал рассеянно, но постепенно идеи автора дошли до моего сознания и ошеломили меня.

— О наивный убийца! о простодушный палач! — невольно воскликнул я. — Какое же ты прелестное дитя! Откуда ты явился к нам, прекрасный пастушок? Уж не из Аркадии ли? С каких гор спустились твои козочки, о Алексис?

Приговаривая так, я читал следующее:

«Дети должны быть предоставлены Природе.

В любое время года дети носят полотняную одежду.

Они питаются сообща, и пища их состоит из кореньев, фруктов, овощей и молочных продуктов.

Мужчины, прожившие свою жизнь безупречно, в шестьдесят лет получают право носить белую перевязь.

Мужчина и женщина, которые любят друг друга, являются супругами.

Если у них нет детей, они могут хранить свой союз в тайне.

Каждый мужчина, достигший двадцати одного года, обязан объявить в храме имени своих друзей.

Друзья носят траур в случае смерти одного из них.

Друзья роют могилу умершему другу.

Друзей ставят рядом в сражениях.

Тот, кто заявляет, что не верит в дружбу, или у кого нет друзей, подлежит изгнанию.

Человек, уличенный в неблагодарности, подлежит изгнанию».

— Сколько же народу придется изгнать! — пробормотал я.

«Если человек совершает преступление, его друзья подлежат изгнанию».

Убийцы должны пожизненно носить черную одежду, а если они ослушаются, их предают смерти».

— О нежная и невинная душа! — воскликнул я, — какая неблагодарность с нашей стороны обвинять тебя! Твои помыслы чисты, как капли росы на розовом лепестке, а мы ругаем тебя из-за каких-то повозок с людьми, которых ты каждый день в один и тот же час отправляешь под нож! А ведь ты их даже не видишь, не прикасаешься к ним, добрый юноша! Ты только пишешь их имена на бумаге! Да нет, и того меньше: ты читаешь список и подписываешь! Впрочем, и это не так: ты подписываешь, не читая!

Затем я долго и весело смеялся столь хорошо знакомым вам смехом, просматривая дальше так называемые «республиканские» установления; вы можете и сами прочесть, когда вам вздумается, эти законы золотого века, которым юный прекраснодушный палач хотел насильно подчинить наш бронзовый век. Втиснуть в детское платье большую старую нацию. И для этого отсечь ей руки и голову.

Прочтите их, вы сможете сделать это в куда более непринужденной обстановке, чем я, читавший их в кабинете Робеспьера, и если вы, с вашей обычной склонностью к состраданию, думаете, что этого юношу следует пожалеть, то на сей раз я, право, с вами соглашусь, ибо безумие есть величайшее из несчастий.

Увы! бывает безумие темное и глубокое, когда человек не произносит бессвязных речей, говорит и ведет себя, как другие, и видит ясно, отчетливо и свободно все, кроме одной-единственной точки, темной и роковой. Это безумие холодное, уравновешенное и сосредоточенное. Оно копирует здравый смысл до мельчайших черт, оно ужасает и внушает почтение; его трудно распознать, ибо маска его почти непроницаема, но оно существует.

Чем оно может быть вызвано? Пустяком, мелким случайным сдвигом во взгляде на мир слишком рано повзрослевшего мечтателя.

Выберите наугад в любом коллеже какого-нибудь долговязого юнца лет восемнадцати-девятнадцати, который всецело поглощен своими спартанцами и римлянами, тонущими в потоках старомодных фраз; он начинен до отказа античным правом и правом современным, знает из сегодняшнего мира и его нравов лишь своих соучеников и их образ жизни, выходит из себя оттого, что мимо катят экипажи, в которых разъезжает не он, презирает женщин, так как знает из них лишь самых недостойных, и путает любовь нежную и возвышенную с гнусным уличным распутством; он судит обо всем теле по одному из его членов, обо всем женском поле — по единственной его представительнице и силится придумать некую исчерпывающую философскую систему, которая сделала бы его мудрецом на всю ж и з н ь , — выберите такого, подарите ему маленькую гильотину и скажите:

— Мой юный друг, вот инструмент, с помощью которого ты заставишь повиноваться тебе всю страну, нужно только дернуть за это и нажать на то. Нет ничего проще.

Немного поразмыслив, он возьмет в одну руку свою школьную тетрадь, в другую — игрушку и, увидев, что люди его и в самом деле боятся, будет дергать и нажимать до тех пор, пока его не уничтожат вместе с его машиной.

И при этом он вовсе не обязательно будет дурным человеком. Напротив, он даже может оказаться человеком добродетельным. Но ему слишком часто попадались в прекрасных книгах слова «оправданная жестокость», «спасительное

уничтожение», «кровопролитие благое совершили» *, «пусть лучше погибнет целый мир, чем принцип» и, главное, «искупительная цена крови!» Вот поистине идея чудовищная, порожденная страхом, но, готов поклясться, он верит во все это и, твердя самому себе: «*Justum et tenacem propositi vigum*» **, становится безучастным к чужим страданиям, принимает эту безучастность за твердость и величие души, и... казнит.

Вся беда в повороте колеса Фортуны, которая вознесла его на большую высоту и слишком рано вручила смертоносный дар: **в л а с т ь .**

32. Об очищении через искупительные жертвы

Черный Доктор прервал свою речь, пораженный внезапно какой-то мыслью, потом, после недолгого раздумья, продолжал:

— Одно из слов, слетевших с моих губ, сударь, заставило меня остановиться, ибо я с ужасом увидел, как две крайние идеи соприкоснулись и слились передо мной воедино.

В ту эпоху, о которой я говорю, в эпоху добродетельного Сен-Жюста (ибо жизнь его была, как говорят, без пороков, хотя и не без преступлений), жил и писал еще один добродетельный человек, непримиримый противник Революции. Этот мрачный Дух, Дух, вводящий в заблуждение — я не говорю «заблуждающийся», ибо он знал, где правда, — Дух упрямый, беспощадный, дерзкий и изощренный, вооруженный, как Сфинкс, до зубов загадочными метафизическими софизмами, закованный в броню железных догм, увенчанный плюмажем прорицаний, туманных и грозных, носился вокруг Франции, рокоча, словно буря, пророческая и зловещая. Имя его Жозеф де Местр.

Во множестве книг о будущем Франции, угаданном им до мелочей, о провиденциальной роли светской власти, о порождающем принципе человеческих учреждений, о папе, о сроках божественного правосудия и об инквизиции, стремясь показать, исследовать, обнажить страшную основу,

* Расин Ж. «Гофолия». Акт IV, сцена 3 (пер. Ю. Б. Корнеева).

** Гораций. Оды, III, III, 1: «Кто прав и к цели твердо идет» (пер. Н. Гинцбурга).

на которой, по его убеждению, зиждется власть человека над человеком (вечная проблема!), вот, примерно, что он писал:

«Плоть проклята и враждебна Богу. Кровь — это живой флюид. Небо можно убоготворить только кровью. Невинный может заплатить за виновного. Древние верили, что боги являются туда, где на жертвенник льется кровь; отцы Церкви верили, что ангелы являются всюду, где проливается кровь истинно невинной жертвы. Пролитие крови есть искупление. Эти истины не требуют доказательств. Крест воплощает спасение через кровь.

Ориген говорил, что есть два вида Искупления: то, которое подарил человечеству Христос, и Искупления малые, когда кровью искупается грех одной нации. Это принесение в жертву горстки людей будет существовать до конца света. И народы смогут вечно очищаться от грехов искупительными страданиями невинных».

Так человек, наделенный едва ли не самым дерзким и дурманящим философским воображением, какому когда-либо случалось зачаровывать Европу, привязал к подножью Креста первое звено чудовищной и не имеющей конца цепи софизмов, кощунственных и высокопарных, которым он, судя по всему, добросовестно поклонялся и которые, быть может, начал в конце концов принимать в глубине сердца за лучи святой правды. Он восклицал — надо полагать, стоя на коленях и бия себя в грудь:

«Земля, вечно орошаемая кровью, есть не что иное, как большой жертвенник, где все живое должно бесконечно отдаваться на заклание ради пресечения зла! Палач — стержневая фигура общества: его миссия священна. Инквизиция — наша добрая и благодетельная хранительница.

Булла «In соена Domini» имеет божественное происхождение, она отлучает еретиков и тех, кто призывает к новым вселенским соборам. И впрямь, зачем соборы, Боже праведный, когда вполне достаточно позорного столба?

Чувство ужаса перед разгневанной властью было всегда.

Война от Бога: она должна царить вечно, чтобы расчищать место на земле. Дикие народы принесены в жертву и преданы анафеме. Я не знаю их вины, Господи! но раз они несчастны и неразумны, значит, они преступны и справедливо наказаны за какое-нибудь прегрешение древнего вождя. Европейцы эпохи Колумба были правы, от-

казавшись причислить их к роду человеческому и счесть себе подобными.

Земля — это жертвенник, который надлежит постоянно орошать кровью».

О Благочестивый Нечестивец, что ты наделал!

До сих пор идея очищения греховного народа ограничивалась Голгофой. Там сам Бог, принесенный в жертву Богом, воскликнул: «Все отпущено».

Разве не довольно было божественной крови для спасения человеческой плоти?

Нет. Людская гордыня до скончания времен будет терзаться желанием найти для самодержавной светской власти неоспоримую основу, и судьбой определено, что софисты неизменно будут роиться вокруг этого вечного вопроса и опалять крылья. Да простится им всем, кроме тех, кто осмелился посягнуть на жизнь, на самую жизнь, на божественный огонь, трижды священный, который один лишь Творец имеет право отнять! Страшное право смертной казни я не признаю даже за Правосудием.

Нет. Не ведающий милосердия лжеумствователь вздумал, подобно терпеливому алхимику, подуть на пыль первых христианских книг, на прах отцов церкви, на пепел индийских костров и каннибальских пиршеств, чтобы добыть запальную искру для своей роковой идеи. Он отыскал и вывел крупными буквами слова Оригена, ставшего добровольным Абельяром (первая жертва и первый софизм, основа которого, как он считал, заключена в Евангелии), того самого загадочного Оригена, любителя парадоксов, схоласта 190 года от Рождества Христова, чьи «Принципы» превозносились после его смерти шестью святыми (в числе которых святой Афанасий и Иоанн Златоуст) и осуждались тремя святыми, одним императором и одним папой (среди них — святой Иероним и Юстиниан). Один из последних католиков разворошил останки одного из первых христиан и извлек из его черепа роковую теорию замещения и спасения кровью. И все это ради того, чтобы подправить разрушенное здание римской церкви и распавшуюся средневековую иерархию. Причем в то самое время, когда бесполезность кровопролития для создания новых систем и правительств ежедневно доказывалась на главной площади Парижа! Когда с этими самыми «не требующими доказательств» истинами на устах «горстка негодяев», как он сам писал, «свергала другую горстку негодяев», твердя: Всевышний, Добродетель, Террор!

Вооружите одинаковыми ножами оба «правительства» и ответьте, кто из них обильнее оросит «жертвенник» кровью?

Предвидел ли наш пророк-ортодокс, что уже в его эпоху порожденные им чудовищные софизмы начнут плодиться и размножаться, и среди детенышей этого тигриного семейства окажутся, например, такие:

«Если справедливо очищение от грехов через искупительные страдания других, то надо признать, что для спасения народов недостаточно единичных случаев самопожертвования и добровольных искупительных страданий. Невинный, принесенный в жертву за виновного, спасает свою нацию; следовательно, это правильно и хорошо, чтобы он был принесен в жертву ею и ради нее, и, когда это было, это было хорошо».

Слышен ли вам рев хищного зверя в голосе человека? Видно ли, какими кривыми, исходящими их двух противоположных точек, эти безупречные идеологи шли снизу и сверху к общей точке — к эшафоту? Видите, как они превозносят и лелеют Убийство? Как Убийство прекрасно, как Убийство правильно, как это просто и удобно, нужно только дать ему подходящее обоснование! До чего красиво может Убийство быть представлено в устах человека с хорошо подвешенным языком, поднаторевшего в бесстыдных философских увертках! Можете ли вы утверждать, что те, кто проповедует пролитие крови, менее виновны, чем те, кто этой кровью опьяняется? Я, например, не могу.

Спросите об этом (если их дух можно вызвать) убийц всех времен и народов. Пусть соберутся с Востока и с Запада! Приходите в лохмотьях, приходите в сутанах, приходите в кольчугах, приходите убившие одного и убившие сто тысяч. Приходите все: от убийц Варфоломеевской ночи до убийц сентябрьской резни, от Жака Клемана и Равальяка до Лувеля, от Дез Адре и Монлюка до Марата и Шнейдера, приходите, вы найдете здесь друзей, только я не из их числа!

Тут Черный Доктор залился смехом; потом он вздохнул и, вновь собравшись с мыслями, продолжал:

— Ах, сударь, тут-то и стоит, по вашему обыкновению, кое-кого пожалеть.

В неутолимом стремлении любой ценой все привязать к некоей причине, к некоему Синтезу, в котором при желании находят объяснение и оправдание всему, заключается, по моему мнению, великая слабость многих людей: подобно

бредущим в темноте детям, они охвачены страхом, ибо не видят дна бездны, которое ни Бог-Творец, ни Бог-Спаситель не соблаговолили нам показать. Именно те, кто полагают себя наиболее сильными, оттого что строят больше всего систем и теорий, суть самые слабые, ибо больше других страшатся Анализа; Анализ повергает их в смятение, так как рассматривает вполне конкретные следствия, а Причину, навсегда от нас скрытую, созерцает лишь издали, сквозь мрак, коим пожелало окутать ее небо.

Однако, говорю я вам, не в Анализе настоящие умы, единственно достойные преклонения, находят и будут находить идеи, рождающие в нас внезапное ощущение счастливого покоя, какое может вызвать лишь редкое соприкосновение с незамутненной истиной.

Анализ — это удел вечно пребывающей в неведении Души человеческой.

Анализ — это лот. Заброшенный в глубь океана, он устрашает и повергает в смятение Слабого, зато ободряет и ведет вперед Сильного, который держит его твердой рукой.

Черный Доктор провел рукой по лбу и глазам, словно хотел прогнать, забыть или оборвать свои размышления, и продолжил рассказ.

33. Прогулка

В конце концов «Установления» Сен-Жюста так развешили меня, что я совершенно забыл, где нахожусь. Я с наслаждением погрузился в полную рассеянность, ибо давно уже перестал дорожить жизнью, вечно и бесконечно печальной. Вдруг дверь, через которую я попал в кабинет, открылась снова. В нее довольно бесцеремонно вошел высокий красивый человек лет тридцати, с военной выправкой и горделивой осанкой. Ботфорты, шпоры, стек, белый жилет, широкий небрежно повязанный черный галстук делали его похожим на молодого генерала.

— Неужели ты и впрямь не знаешь, можно ли с ним поговорить? — сказал он, обращаясь к арапу, распахнувшему перед ним дверь. — Доложи ему, что пришел автор «Гая Гракха» и «Тимолеона».

Негр вышел, не ответив, и запер его вместе со мной. Бывший драгунский офицер, так ничего и не добившись своим фанфаронством, прошел до самого камина, стуча каблуками.

— Давно ты ждешь, гражданин? — спросил он. — Я надеюсь, что меня, как представителя народа, гражданин Робеспьер примет сразу и отпустит раньше других. Мне надо сказать ему всего одно слово.

Он оглянулся и поправил перед зеркалом волосы.

— Я не проситель. Я говорю вслух все, что думаю, и, как при тиранах-Бурбонах, так и при этом режиме, не делаю тайны из своих убеждений.

Я положил тетрадь на стол и смотрел на него с удивлением.

— Никогда бы не подумал, — отозвался спокойно, — что вы пришли сюда просто так, для собственного удовольствия.

Он мгновенно оставил замашки матадора и сел рядом со мной в кресло.

— Послушайте-ка, говоря откровенно, — прошептал он, — вас что же, тоже вызвали, как и меня, не объяснив зачем?

Я заметил, как не раз замечал в то время, что обращение на «ты» было своего рода шутовским театральным языком, которым пользовались, играя роль, и отбрасывали, когда намеревались говорить серьезно.

— Да, меня вызвали, но с врачами это случается часто, так что у меня мало оснований беспокоиться, во всяком случае, за себя, — сказал я, делая ударение на последних словах.

— Ах, за себя! — повторил он, стряхивая стеклом пыль с ботфортов. Потом он встал и прошелся по комнате, раздраженно покашливая.

Он вернулся.

— Вы не знаете, он занят делами? — спросил он.

— Полагаю, что да, гражданин Шенье, — отвечал я.

Он порывисто схватил меня за руку.

— По-моему, вы не похожи на шпиона. Чего здесь от меня хотят? Если вам что-нибудь известно, скажите.

Я сидел как на иголках, чувствуя, что сейчас сюда войдут, что за нами, быть может, наблюдают и наверняка подслушивают. Террор витал в воздухе повсюду, и особенно в этой комнате. Я встал и принялся ходить взад и вперед, чтобы, по крайней мере, были слышны долгие паузы и разговор не казался связным. Он понял меня и зашагал по комнате в противоположном направлении. Мы шагали размеренным шагом как часовые, которые движутся навстречу другу; каждый из нас, казалось, размышлял о своем и, лишь

поравнявшись с другим, говорил ему пару слов, а тот при следующей встрече отвечал.

Я потерял руки.

— Вполне вероятно, — сказала я довольно тихо, проходя от двери к камину, — что нас свели здесь нарочно. И громко: — Какая чудесная комната!

Он возвращался от камина к двери и, встретившись со мной посередине, сказал:

— Полагаю, что вы правы. — Потом, подняв голову: — Окна выходят во двор.

Я прошел мимо.

— Я видел сегодня вашего отца и брата, — сказал я. И прокричал: — Какая сегодня чудесная погода!

Он снова прошел назад.

— Я так и предполагал, мы с отцом теперь не видимся. Надеюсь, Андре недолго еще там оставаться. Какое чистое небо!

Я опять поравнялся с ним.

— Тальен, Куртуа, Баррас, Клозель — хорошие граждане, — сказал я и, повысив голос, с воодушевлением добавил: — «Тимолеон» — прекрасная вещь.

Он поравнялся со мной, возвращаясь.

— Да, да, Баррас, Колло д'Эрбуа, Луазо, Бурдон, Баррер, Буасси д'Англас... Я больше люблю «Фенелона».

Я ускорил шаг.

— Это может продлиться еще несколько дней... Все хвалят стихи.

Он подошел широким шагом и коснулся меня локтем.

— Триумвиры не продержатся и четырех дней... Я читал его у гражданки Вестрис.

На сей раз я, проходя, пожал ему руку.

— Ни в коем случае не называйте имени вашего брата, о нем забыли... Говорят, развязка прекрасна.

На последнем переходе он снова встретил меня горячим рукопожатием.

— Его нет ни в одном списке, и я не стану его называть. Нужно затаиться. Девятого я освобожу его своей рукой... Боюсь, что эта развязка легко угадывается.

На этом прогулка кончилась. Дверь открылась; мы находились в противоположных концах комнаты.

34. Дивертисмент

Вошел Робеспьер, держа за руку Сен-Жюста, бледного и осунувшегося, в пыльном сюртуке. Робеспьер бросил на нас быстрый взгляд из-под очков, и, кажется, расстояние, разделявшее нас, ему понравилось; он улыбнулся, слегка раздвинув поджатые губы.

— Граждане, — сказал он, — я привел знакомого вам путешественника.

Мы приветствовали друг друга: Жозеф Шенье — нахмурившись, Сен-Жюст — резко и надменно, я — степенно, точно монах.

Сен-Жюст занял место рядом с Робеспьером, усевшимся опять в кожаное кресло напротив нас. Последовало долгое молчание. Я по очереди оглядел всех троих. Шенье сидел откинувшись и раскачивался на стуле, словно мысли его витали где-то далеко. Сен-Жюст спокойно склонил набок свое красивое задумчивое лицо с мягкими правильными чертами в ореоле вьющихся и свободно рассыпающихся каштановых волос; его большие глаза время от времени устремлялись к небу, и он вздыхал. Он был похож на юного святого. Гонимые часто принимают обличье жертв. Робеспьер же взирал на нас, как кошка на трех пойманных ею мышей.

— Итак, — сказал Робеспьер сияющим в дом, — наш друг Сен-Жюст возвратился из армии. Он раздавил предательство там, теперь раздавит здесь. Это сюрприз, его не ждали, не так ли, Шенье?

И он искоса взглянул на него, словно желая насладиться его смущением.

— Ты вызывал меня, гражданин? — спросил Мари Жозеф Шенье недружелюбно. — Если за делом, то давай поспешим, меня ждут в Конvente.

— Я хотел, — объявил Робеспьер торжественно, указывая на меня, — познакомить тебя с этим превосходнейшим человеком, который так печется о твоей семье.

Я был захвачен врасплох. Мари Жозеф и я посмотрели друг на друга и в этом взгляде сказали друг другу о всех наших опасениях. Я решил сменить тему.

— Я большой поклонник изящной словесности, а «Фенелон»...

— Да, кстати, — перебил меня Робеспьер, — прими, Шенье, мои поздравления по случаю успеха твоего «Тимолеона» в салонах «бывших», где ты его читаешь. Ты не зна-

ком с этим произведением? — иронически обратился он к Сен-Жюсту.

Тот презрительно усмехнулся и, не соблаговолив ответить, принялся сметать пыль с сапог полой своего длинного сюртука.

— Еще бы! — воскликнул Шенье, глядя на меня. — Сен-Жюст такими пустяками не интересуется.

Он хотел заметить это равнодушно, но писательская кровь в нем не выдержала и предательски бросилась в лицо.

Сен-Жюст, по-прежнему абсолютно невозмутимый, поднял глаза на Шенье и поглядел на него словно бы с восхищением.

— Член Конвента, который забавляется подобными вещами во II год Республики, кажется мне диковинкой, — сказал он.

— Право же, когда не имеешь решающего голоса в делах государства, — ответил Шенье, — то это лучшее, чем можно послужить народу.

Сен-Жюст пожал плечами.

Робеспьер взглянул на часы, словно ждал чего-то, и назидательно произнес:

— Тебе известно, гражданин Шенье, мое мнение о писателях. Я исключаю тебя, ибо знаю как хорошего республиканца, но вообще я смотрю на них как на самых опасных врагов нации. Нам необходимо, чтобы все было подчинено единой воле. Таково требование момента. Воля эта должна быть республиканской, поэтому нам нужны лишь республикански настроенные писатели — остальные только разлагают народ. Народ необходимо сплотить и избавить от тех членов общества, от которых исходит внутренняя опасность. Надо, чтобы Народ слился с Конвентом, а Конвент с Народом, чтобы санкюлоты получали жалование, оставались непримиримыми и не покидали городов. Кто мешает мне осуществить мои намерения? Всякие писаки, которые свое презрение облекают в рифмы, щелкоперы, которые восклицают: «О, моя душа! Удалимся в пустыню!» Эти люди подрывают моральный дух народа. Конвент должен рассматривать всех тех, кто не приносит пользы Республике, как контрреволюционеров.

— Это весьма жестоко, — сказал Мари Жозеф, изрядно напуганный, но еще больше уязвленный.

— О, я не имею в виду тебя, — продолжал Робеспьер медоточивым голосом, — ты был воином, теперь ты законодатель, и лишь когда нечего делать — Поэт.

— Вовсе нет! вовсе нет! — вскричал Мари Жозеф, оскорбленный до глубины души. — Я, напротив, родился Поэтом, а в армии и в Конvente только терял время.

Должен признаться, что, несмотря на серьезность положения, я не мог удержаться от улыбки.

Так мог бы говорить его брат; Мари Жозеф, по моему убеждению, несколько заблуждался на свой счет, и Неподкупный, который в глубине души держался моего мнения, продолжал дразнить его:

— Ну, н у , — сказал он с приторной фальшивой любезностью, — ты слишком скромн, ты отвергаешь два лавровых венка ради одного из мелких розочек.

— Но, если не ошибаюсь, ты тоже некогда любил эти розочки, гражданин! — отвечал Ш е н ь е . — Мне доводилось читать весьма приятные куплеты твоего сочинения о бокале на пиру. Там были такие строки:

Друзья, что я вижу, о боги!
Дар речи я вмиг потерял!
Кошмар, преступленье,
Беда, посрамленье,
Неслыxанный, право, скандал!
За вас я краснею,
Себя я жалею —
Взгляните же, пуст мой бокал!

А еще помню один мадригал с такими словами:

Свои оценивая чары,
Нам скромность мудрую яви;
Всегда сомненьем будь томима,
Лишь жарче будешь ты любима,
Боясь не заслужить любви.

Это было очаровательно! А еще у нас есть две речи о смертной казни, одна — против, другая — за, да еще похвальное слово Грессе, где был следующий красивый пассаж, который я до сих пор помню наизусть:

«О, прочтите «Вер-Вера», вы, стремящиеся постичь науку шутить и писать изящно; прочтите «Вер-Вера» и вы, ищущие лишь забавы: вам откроются новые источники наслаждений. Да, пока существует французский язык, «Вер-Вером» будут восхищаться. Благодаря силе гения, приключения попугая будут развлекать ваших внуков и правнуков. Множество героев утонуло в вечном забвении,

ибо не нашлось пера, достойного воспеть их деяния; но твоя слава, счастливец Вер-Вер, дойдет до далеких потомков! О Грессе, ты был величайшим из поэтов! Усыплем же цветами... и т. д., и т. п.»

Это было просто прелестно.

У меня до сих пор хранится это сочинение, подписанное «М. де Робеспьер, адвокат Парламента».

Мишень для насмешек была выбрана не слишком удачно. В кошачьем лице проступил тигриный оскал, хищник приготовился выпустить когти.

Сен-Жюст, которому стало скучно и хотелось поговорить о другом, тронул Робеспьера за плечо.

— В котором часу тебя ждут у якобинцев?

— Позднее, — ответил Робеспьер с досадой, — не мешай, меня все это забавляет.

И он рассмеялся так, что во рту у него защелкали зубы.

— Ко мне должны прийти, — добавил он. — А ты, Сен-Жюст, что решил делать с Поэтами?

— Я же тебе читал, — отозвался Сен-Жюст. — Им посвящена десятая глава моих «Установлений».

— Ну, так чем же они у тебя будут заниматься?

Сен-Жюст скорчил презрительную мину и оглядел пол под ногами, словно ища затерявшуюся на ковре булавку.

— Ну... будут сочинять гимны по заказу к первому числу каждого месяца для прославления Верховного существа и хороших граждан, — все как мечтал Платон. В жерминале они будут воспевать природу и народ, во флореале — любовь и супружество, в прериале — победу, в мессидоре — принятие Конституции, в термидоре — юношество, во фруктидоре — счастье, в вандемьере — стариков, в брюмере — бессмертную душу, во фримере — мудрость, в нивозе — родину, в плювиозе — труд, в вантозе — друзей.

— Прекрасное распределение! — одобрил Робеспьер.

— Значит, вдохновение или смерть! — воскликнул Шенье со смехом.

Сен-Жюст величественно поднялся.

— А почему бы и нет, — отвечал он, — если патриотических чувств недостаточно, чтобы их воспламенить? Гражданская доблесть или Террор — третьего не дано.

Затем он опустил голову и спокойно прислонился спиной к камину с видом человека, который сказал все и убежден, что сведущ во всем. Его безмятежность не нарушало ничто, голос был ровный, лицо убежденное, восторженное, красивое.

— Вот человек, которого я назвал бы Поэтом, — заявил Робеспьер, указывая на него, — он смотрит на вещи широко, не тратит зря времени на тонкости стиля; он мечет слова, словно молнии, во мрак грядущего и понимает, что удел людей второстепенных, занятых частными проблемами, состоит в том, чтобы воплощать наши идеи, что ни одна порода людей не может быть опаснее для свободы и враждебнее равенству, чем аристократы мысли, ибо их индивидуальная слава оказывает на общество опасное раскалывающее влияние, противостоящее единой воле, которая должна править всем.

Договорив, он взглянул на нас. Мы взглянули друг на друга. Мы были ошеломлены. Сен-Жюст жестом выразил свое одобрение; он всей душой разделял эти воззрения, продиктованные завистью и жадой господства, ибо Власть, приобретенная ценой неустанных усилий и борьбы, всегда жаждет подчинить себе ту таинственную и независимую Силу, каковую поэт обретает единственно благодаря размышлению, порождающему его творения, и восхищению народа, этими творениями вызванному.

Временщики, избранники Фортуны всегда будут, подобно Аману, питать злобу против этих суровых Мардохеев, которые приходят и садятся, возложив на себя вретище и пепел, на ступени их дворцов, одни среди всех отказываются поклоняться грозному властителю и даже порой вынуждают его спешиться и вести под уздцы лошадь своего непреклонного недруга.

Мари Жозеф Шенье не мог прийти в себя от изумления, услышав подобные речи. В конце концов вспыльчивый характер семьи взял верх.

— В самом деле, — сказал он, обращаясь ко мне, — я знавал в своей жизни поэтов, которым, чтобы быть Поэтами, недоставало лишь одного — Поэзии.

Робеспьер переломил в руке перо и взялся за газету, словно не слышал.

Сен-Жюст, который был, в сущности, человеком чрезвычайно наивным и прямолинейным, словно не успевший узнать жизнь школьник, принял все всерьез и начал говорить о себе с беспредельным самодовольством и в то же время с искренним простодушием, заставившим меня его пожалеть:

— Гражданин Шенье прав, — промолвил он, пристально глядя на стену перед собой и не видя ничего, кроме своей идеи, — я чувствую, что во мне говорил Поэт, когда в голове

моей рождались такие, к примеру, слова: «Великие люди не умирают в своей постели». Или: «Обстоятельства отпугивают лишь тех, кто отступает перед могилой». Или: «Я презираю прах, из которого состою и который беседует сейчас с вами». А вот еще: «Общество не есть творение человека». Или: «Даже добро может служить орудием хитрых происков; будем же неблагодарны, если хотим спасти родину».

— Это прекрасные, хотя и не слишком новые, максимы и парадоксы, — сказала я. — Изречения, спартанские по духу, но не имеющие ничего общего с Поэзией.

Сен-Жюст резко и недовольно повернулся ко мне спиной. Все замолчали.

Разговор оборвался на той точке, когда невозможно добавить ни одного слова, чтобы не нанести удар, а ни Мари Жозеф, ни я не имели склонности бить.

Мы были выведены из замешательства неожиданным образом: Робеспьер внезапно взял со стола колокольчик и громко позвонил. Вошел арап и ввел человека преклонных лет, который, едва попав в комнату, остановился, охваченный удивлением и ужасом.

— Вот еще один ваш знакомый, — сказал Робеспьер. — Я устроил вам здесь свидание.

Это был господин де Шенье, оказавшийся лицом к лицу с сыном. Я задрожал всем телом. Отец попятился. Сын опустил глаза, потом посмотрел на меня. Робеспьер ухмылялся. Сен-Жюст глядел на него, пытаясь угадать, в чем дело.

Старик прервал молчание первым. Все зависело от него, и никто уже не мог заставить его молчать или говорить. Мы ждали, как ждут удара топора.

Он с достоинством сделал шаг к сыну.

— Давно мы не виделись с вами, сударь, — промолвил он. — К вашей чести я полагаю, что вас привела сюда та же причина, что и меня.

Мари Жозеф, такой надменный, такой высокий, такой сильный и неприступный, согнулся в три погибели от смущения и горя.

— Отец, — медленно и веско произнес он, — боже мой! отец, хорошо ли вы обдумали то, что намерены сейчас сказать?

Отец открыл рот, и сын поспешил громко заговорить, чтобы заглушить его голос.

— Я знаю... я догадываюсь... примерно... я примерно знаю ваше дело...

И, обращаясь с улыбкой к Робеспьеру, продолжал:

— Дело мелкое, пустяк, в сущности...

Потом отцу:

— ...О котором вы намерены здесь говорить. Но я полагаю, что вы могли бы поручить его мне. Я депутат... я... я знаю...

— Кто вы есть, сударь, мне известно, — сказал господин де Шенье.

— Нет, право же, — отвечал Мари Жозеф, подходя к нему, — вы не знаете, вы абсолютно ничего обо мне не знаете. Уже так давно, граждане, мой бедный отец не желает меня видеть! Он даже не знает, что происходит в Республике. Я уверен, что он не знает до конца и того, о чем хочет говорить.

С этими словами он наступил отцу на ногу. Старик отпрянул.

— Я здесь, чтобы исполнить ваш долг, сударь, ибо сами вы его не исполняете.

— О боже праведный! — воскликнул Мари Жозеф, терзаясь невыносимой мукой.

— Разве эти двое не заняты? — язвительно сказал Робеспьер Сен-Жюсту, веселясь от души. — Интересно, из-за чего они так кричат?

Старик отец шагнул к Робеспьеру.

— Я не могу без отчаяния в сердце видеть... — начал он.

Я встал и взял его за локоть, пытаюсь остановить.

— Гражданин, — сказал Мари Жозеф Шенье Робеспьеру, — позволь мне поговорить с тобой наедине или на минуту выйти отсюда с отцом. По-моему, он болен, и мысли его слегка расстроены.

— Нечестивец, — воскликнул старик, — ты, оказываешься, такой же плохой сын, как и плохой..?

— Сударь, — перебил его, — неужели советы, которые я дал вам во время консультации сегодня утром, окажутся бесполезны?

— Нет, нет, — отвечал Робеспьер своим пронзительным голосом с удивительным хладнокровием, — нет, клянусь честью, я не хочу, чтобы твой отец, Шенье, меня покидал. Я дал ему аудиенцию и теперь непременно должен его выслушать. И почему тебе так хочется, чтобы он ушел? Боишься, что он сообщит мне что-то? Но что? Думаешь, мне неизвестно почти все, что у нас происходит, и даже твои утренние предписания, Доктор?

— Все кончено! — воскликнул я, в отчаянии упав на свой стул.

Мари Жозеф сделал последнее усилие, рванулся вперед и, дерзко оттеснив отца, встал между ним и Робеспьером.

— В конце концов, — заявил он ему, — мы с тобой равны, мы ведь братья, не так ли? И я могу сказать тебе, гражданин, то, что никто другой, кроме членов Конвента, не смеет тебе говорить, не правда ли? Так вот, я говорю тебе, что мой добрый отец, которого ты перед собой видишь, мой славный старый отец, возненавидевший меня за то, что я депутат, собирается рассказать тебе некое семейное дело, вовсе не стоящее того, чтобы отвлекать тебя от государственных дел, понимаешь ли ты это, гражданин Робеспьер? У тебя столько важных занятий, ты один, и путь твой одинок. К счастью для тебя, тебе неведомы семейные неурядицы, мелкие домашние дразги. Ты не должен ими заниматься.

Он взял его за обе руки:

— Нет, я решительно, решительно против того, чтобы ты его слушал, понимаешь, я против, — говорил он, приторно смеясь. — Ведь он начнет сейчас плести перед тобой всякий вздор.

Потом, понизив голос, быстро продолжал:

— Станет жаловаться на какую-нибудь мою давнишнюю выходку, высказывать старые, отжившие взгляды, которые у него остались с монархических времен. Бог знает, что он там напридумает. Послушай, друг, наш великий учитель, да, да, я искренне говорю, наш учитель! — иди, у тебя дела, тебя ждут в Собрании, где ты должен выступать, или лучше отошли нас прочь. Да, да, правда, выставь нас за дверь: мы здесь лишние. Господа, наше присутствие здесь неуместно, давайте уйдем.

Он схватился за шляпу, бледный, дрожащий, задышающийся, весь в поту:

— Пойдемте, Доктор, пойдемте, отец, мне нужно с вами поговорить. Наше присутствие здесь неуместно. Сен-Жюст приехал из такой дали, чтобы повидаться с хозяином дома! Из Северной армии! Не правда ли, Сен-Жюст?

Он подходил, отходил, в глазах его стояли слезы; он хватал Робеспьера за локоть, отца — за плечо: он обезумел.

Робеспьер встал и с предательской добротой, обойдя сына, протянул руку отцу. Старик сейчас же вообразил, что все улажено; мы поняли, что все погибло. Господин де

Шенье расчувствовался от одного рукопожатия, как все слабодушные старики.

— О, вы добры! — воскликнул он. — Просто вы этого не показываете, ведь правда? Потому вас и считают злым. Верните мне моего старшего сына, господин де Робеспьер! Верните мне его, заклинаю вас, он в тюрьме Сен-Лазар. Право же, он лучший из двоих, вы просто его не знаете! Он глубоко вами восхищается и восхищается всеми этими господами, он часто говорил мне об этом. Он вовсе не фанатик, что бы вам о нем ни рассказывали. Этот боится себя скомпрометировать, потому и не просит вас за брата. Но я, отец, сударь, я очень стар и я не боюсь. К тому же вы благовоспитанный человек, достаточно взглянуть на вас и на ваши манеры. С таким человеком, как вы, всегда можно найти общий язык, не так ли?

Потом, обращаясь к сыну:

— Нечего делать мне знаки! не прерывайте меня! вы мне надоели! пусть господин Робеспьер действует, как ему подсказывает сердце: он наверно получше, чем вы, понимает, как управлять государством! Вы всегда завидовали Андре, с самого детства. Оставьте меня, не пытайтесь со мною заговорить!

Несчастный брат! Он бы не заговорил и так, он онемел от горя, как и я.

— А - а , — с облегчением произнес Робеспьер и спокойно сел, снимая очки , — вот, значит, из-за чего столько шума! Подумай только, Сен-Жюст! Неужели они воображали, будто я не знаю об аресте их братца? Эти люди полагают, что я не в своем уме, ей-богу. Но в одном они правы: я не стал бы заниматься им в ближайшие дни. Ну что ж, — добавил он, взяв перо, и принялся что-то быстро писать , — дело твоего сына будет передано.

— Ну вот! — сказал я, задыхаясь.

— Как! что значит передано? — спросил отец растерянно.

— Так, гражданин, — холодно объяснил Сен-Жюст, — передано в Революционный трибунал, где он сможет оправдаться.

— А сам Андре? — спросил господин де Шенье.

— Андре? — ответил Сен-Жюст. — В Консьержери.

— Но на его арест не было постановления! — воскликнул отец.

— Ну, что ж, он заявит об этом в трибунале, — сказал Робеспьер, — тем лучше для него.

Говоря это, он по-прежнему писал.

— Но для чего его туда посылать? — спрашивал бедный старик.

— Чтобы он оправдался, — так же холодно отвечал Робеспьер, продолжая писать.

— Но станут ли его слушать? — воскликнул Мари Жозеф.

Робеспьер надел очки и пристально посмотрел на него; его глаза блестели сквозь зеленые стекла, словно глаза совы.

— Ты сомневаешься в беспристрастности Революционного трибунала? — спросил он.

Мари Жозеф опустил голову.

— Нет! — отвечал он, тяжело вздохнув.

Сен-Жюст серьезно сказал:

— Трибунал иногда оправдывает.

— Иногда! — повторил отец, задрожав.

— Кстати, Сен-Жюст, — промолвил Робеспьер, снова принимаясь писать, — ты знаешь, что этот Андре тоже Поэт? Мы говорим о них, а они о нас. Вот, полюбуйся, как он любезен. Это совсем недавно вышло, не правда ли, Доктор? Послушай только, Сен-Жюст, он называет нас «палачами — кропателями законов»...

— Не больше не меньше? — сказал Сен-Жюст, взяв газету, которую я не мог тотчас же не узнать: ее выкрали по приказанию Робеспьера лучшие его шпионы.

Вдруг Робеспьер вытащил часы, резко встал и объявил: «Два часа!»

Он поклонился нам и устремился к той двери, через которую вошел вместе с Сен-Жюстом. Он распахнул ее, прошел первым и, уже стоя в другой комнате, где мелькали люди, но все еще не убирая руки с ключа, словно опасаясь чего-то и готовясь в случае нужды захлопнуть дверь перед нашим носом, сказал высоким, фальшивым и твердым голосом:

— Мне только хотелось показать вам, что я довольно быстро бываю осведомлен обо всем, что происходит.

Потом, повернувшись к Сен-Жюсту, который спокойно следовал за ним с непередаваемой блаженной улыбкой, добавил:

— Послушай, Сен-Жюст, по-моему, я не хуже Поэтов умею создавать семейные сцены?

— Ну, погоди, Максимилиан! — крикнул Мари Жозеф, потрясая кулаком и выходя в противоположную дверь,

которая на сей раз открылась сама, — я иду в Конвент с Тальеном!

— А я в клуб якобинцев, — отвечал Робеспьер сухо и надменно.

— С Сен-Жюстом, — добавил Сен-Жюст угрожающе.

Выходя вслед за Мари Жозефом из берлоги Робеспьера, я сказал старику:

— Примите назад своего младшего сына, ибо старшего вы только что убили.

И мы вышли, не отваживаясь оглянуться и посмотреть ему в лицо.

35. Летний вечер

Моей первой заботой было спрятать Мари Жозефа Шенье. В ту пору, несмотря на Террор, никто не отказывал в приюте тем, над чьей головой был занесен топор. Я нашел двадцать домов. И выбрал из них один. Шенье позволил мне отвести себя туда, плача, как ребенок. Днем он скрывался, а ночью обходил членов Конвента, своих друзей, чтобы придать им мужества. Он был убит горем и говорил лишь о том, как ускорить свержение Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона. Только этой мыслью он и жил. Я помогал ему и тоже скрывался. Я бывал везде, только не у себя дома. Когда Мари Жозеф Шенье отправлялся в Конвент, он входил и выходил в окружении друзей и представителей народа, которых никто не осмеливался тронуть. На улице ему помогали исчезнуть, и даже свора шпионов Робеспьера, стоя самой коварной саранчи из всех, что когда-либо обрушивались на Париж, не могла напасть на его след. Спасение Андре Шенье было вопросом времени.

Вопрос этот состоял в том, что созреет скорее: гнев Робеспьера или гнев заговорщиков. В первую же ночь после описанной печальной сцены, с пятого на шестое термидора, мы нанесли визит всем тем, кого впоследствии стали называть «термидорианцами», всем, от Тальена до Барраса, от Лекуантра до Вадье. В своих намерениях они, благодаря нам, были едины, но мы не сумели собрать их. Каждый в отдельности уже решил, а все вместе еще нет.

Я вернулся печальный. Вот итог моих наблюдений.

Под Республику закладывались мины с двух сторон. Мина Робеспьера подводилась из Ратуши, контрмина Тальена — из Тюильри. День, когда саперы встретятся, должен

был стать днем взрыва. Но если в стане Робеспьера царило единство, то среди членов Конвента, ожидавших нападения, единства не было. Наши старания убедить их начать первыми привели и в эту ночь, и в ночь с шестого на седьмое лишь к робким совещаниям по несколько человек. Между тем якобинцы были готовы давно. А Конвент все еще намеревался ждать атаки с их стороны. Седьмого, когда наступило утро, это положение сохранялось.

Земля под Парижем содрогалась. Надвигающееся событие, как это здесь всегда бывает, накаляло воздух перекрестков. Площади были запружены охотниками поговорить. Двери домов были распахнуты. Окна обращали к улице немой вопрос.

Мы ничего не смогли узнать о том, что делается в тюрьме Сен-Лазар. Я заходил туда. Передо мной яростно захлопнули дверь и едва не арестовали. Я потратил целый день на тщетные попытки что-нибудь разузнать. Около шести часов вечера по площадям начали сновать группы людей. Они возбужденно бросали какую-нибудь новость в скопление народа и убегали. Говорили: «Секции берутся за оружие. В Конvente заговор. У якобинцев заговор. Коммуна отменяет постановления Конвента. Только что прошли каноны».

Кто-то кричал:

«Большая петиция якобинцев Конвенту в защиту народа».

Время от времени толпа на какой-нибудь улице вдруг бросалась бежать, и улица мгновенно пустела, неведомо почему, словно людей уносил ветер. Дети падали, женщины кричали, захлопывались ставни лавок, потом снова ненадолго воцарялась тишина, пока не возникла новая суматоха.

Солнце было подернуто дымкой, как бывает перед грозой. Духота стояла невыносимая. Я бродил возле своего дома на площади Революции и вдруг, сообразив, что после двух ночей отсутствия меня вряд ли станут искать здесь, нырнул под аркаду и вошел. Все двери были открыты настежь, привратники на улице. Я в одиночестве поднялся; в квартире все было по-прежнему: валялись мои разбросанные, слегка запыленные книги, окна были распахнуты. Я остановился у окна, выходящего на площадь.

Погруженный в свои мысли, я глядел сверху на Тюильри, эту вечную обитель власти и печали, на зеленеющие каштаны парка и длинное здание вдоль длинной террасы Фельянов, на белые от пыли деревья Елисейских полей и

черную от людских голов площадь, где посередине возвышались одно против другого два крашенных деревянных сооружения: статуя Свободы и гильотина.

Вечер был гнетущий. Чем ниже клонилось к закату солнце, постепенно скрываясь за деревьями и за тяжелой синей тучей, тем ярче горели его косые рассеянные лучи на красных колпаках и черных шляпах, — мрачные отблески придавали бурлящей толпе сходство с темным морем, покрытым лужами крови. Гул голосов достигал моих окон, расположенных под самой крышей, напоминая шум океана, и далекие раскаты грома усиливали это тягостное впечатление. Глухой ропот вдруг начал с невероятной силой нарастать, и я увидел, как все головы повернулись к бульварам, которые я видеть не мог. Что-то приближалось с той стороны, вызывая крики и свист, движение и борьбу. Сколько я ни высовывался, в поле моего зрения ничего не появлялось, а крики не утихали. Непреодолимое желание увидеть заставило меня забыть о своем положении: я решил было выйти, но тут вдруг услышал на лестнице перебранку, которая вынудила меня быстро захлопнуть дверь. Какие-то люди хотели подняться, а привратник, уверенный в том, что меня нет, доказывал им, потрясая двойной связкой ключей, что я больше не живу в этом доме. Два новых голоса вступили в спор и подтвердили, что это правда, так как час назад, разыскивая меня, тут все перевернули вверх дном. Я порадовался, что мне так повезло. Пришельцы неохотно повернули назад. По их проклятьям я догадался, откуда они приходили. Мне ничего иного не оставалось, как уныло вернуться к окну; я был пленником в собственной квартире.

Шум нарастал с каждой минутой, но еще больший шум внезапно донесся с площади, словно среди ружейной стрельбы раздался грохот пушек. Огромная волна людей, вооруженных пиками, накатила на широкое море безоружных, оттесняя их, и я наконец увидел причину грозного смятения.

Это была повозка, повозка, выкрашенная в красный цвет и везущая восемьдесят живых тел. Они все стояли, притиснутые вплотную друг к другу. Люди разного роста и возраста были связаны в сноп. Все ехали с непокрытой головой, и можно было видеть седые волосы, лысины, маленькие белокурые головки, едва достигавшие пояса взрослых, белые платья, одежду крестьян, офицеров, священников, горожан; я заметил даже двух женщин, которые держали у груди младенцев и продолжали кормить их, словно хотели отдать сыновьям все свое молоко, всю свою кровь,

всю жизнь, которую у них отнимали. Как я уже говорил вам, это называлось «партия».

Груз был так тяжел, что тройка лошадей едва тянула его. Вдобавок — это-то и было причиной шума — на каждом шагу их с громкими возгласами останавливал народ. Лошади пятились, тесня друг друга; повозку осаждали, словно крепость. В эти минуты приговоренные через головы стражников протягивали руки к друзьям.

Казалось, челн на море терпит крушение, и с берега его пытаются спасти. При каждой попытке жандармов и санкюлотов продвинуться вперед народ издавал оглушительный вопль и оттеснял кортеж грудью и плечами; налагая на приговор свое запоздалое страшное «вето», народ кричал протяжным, неясным, все нараставшим криком, который неся одновременно с Сены, с мостов, с набережных, с улиц, с деревьев с придорожных тумб и мостовых: «Нет! Нет! Нет! Нет!»

При каждом человеческом приливе повозка накренилась, как судно на якоре, и ее почти поднимали на воздух со всем грузом. Я надеялся, что она опрокинется. Сердце мое бешено колотилось. Я всем корпусом высунился из окна, опьяненный, одурманенный величием зрелища. У меня перехватило дыхание. Вся моя душа, вся моя жизнь сосредоточились в глазах.

В том состоянии восторга, в какое привел меня этот грандиозный спектакль, мне казалось, будто и небо и земля являются в нем действующими лицами. Порою из тучи вырывалась короткая вспышка, точно сигнал. Черный фасад Тюильри делался кроваво-красным, два больших квадрата деревьев опрокидывались назад, словно отшатнувшись от ужаса. Народ испускал стон, и вслед за его могучим голосом вновь мрачно рокотал голос тучи.

Тьма начинала распространяться: тьма грозы, предшествующая тьме ночи. Сухая пыль носилась над головами и временами скрывала от моих глаз всю картину. Однако я не мог отвести взора от раскачивающейся повозки. Я протягивал к ней руки, я издавал никому не слышные крики; я взывал к Народу! Я заклинал его: «Не отступай!» — и смотрел, не вмешается ли небо.

Я восклицал:

— Еще три дня! еще только три дня! О, Провидение! о Судьба! о, неведомые нам Силы! о Господь! о вы, Духи! вы, кому повинуются вселенная! о Бессмертные! если вы меня слышите, остановите их еще хотя бы на три дня!

Повозка двигалась шаг за шагом, медленно, с перебойми, с остановками, но, увы! вперед. Солдат вокруг нее становилось все больше. Между гильотиной и Свободой сверкала полоса штыков. Казалось, там порт, где поджидают челн. Народ, уставший от крови, народ негодующий, роптал все громче, но действовал слабее, чем вначале. Я дрожал, у меня стучали зубы.

Я видел всю площадь целиком, но, чтобы разглядеть детали, взял подзорную трубу. Повозка за это время успела продвинуться далеко вперед. Однако я узнал человека в сером кафтане, державшего руки за спиной. Не знаю, были ли они связаны. Я не сомневался, что это Андре Шенье. Повозка остановилась еще раз. Вокруг дрались врукопашную. Я увидел, как человек в красном колпаке поднялся на помост гильотины и принялся укреплять корзину.

Взор мой затуманился: я убрал от глаз трубу, чтобы вытереть стекло и глаза.

Общий вид площади менялся по мере того, как перемещалось поле битвы. Каждый шаг, сделанный лошадьми, казался народу поражением. Крики постепенно становились не такими яростными и больше походили на стон. И все же толпа разрасталась и мешала продвижению даже более, чем прежде, однако скорее числом, нежели действенным сопротивлением.

Я снова поднес к глазам трубу и снова увидел несчастных в повозке, возвышавшихся над толпой. Я мог бы в тот момент их пересчитать. Женщины были мне незнакомы. Я различал среди них бедных крестьянок, но тех, которых я так боялся увидеть, не было. Мужчин я узнал, я их видел в Сен-Лазаре. Андре что-то говорил, глядя на заходящее солнце. Душа моя слилась с его душой, и пока взгляд мой следил за движением его губ, мои губы повторяли его последние стихи:

Погас последний луч, пора заснуть зефиру.

Прекрасный день вот-вот умрет.

Присев на эшафот, настраиваю лиру.

Наверно, скоро мой черед *.

Вдруг он сделал резкое движение, и я опустил трубу, чтобы оглядеть площадь, на которой больше не слышалось криков.

Толпа неожиданно отхлынула.

* Шенье А. Ямбы. Пер. Г. Русакова.

Набережные, только что запруженные народом, быстро пустели. Людская масса разбивалась на группы, группы на семьи, семьи на отдельных людей. По краям площади люди бежали прочь, подымая гигантские облака пыли. Женщины прикрывали головы и прятали детей в юбки. Гнев угас... Пошел дождь.

Кто знает Париж, тот поймет. Я это видел собственными глазами. И видел потом не раз во время важных и великих событий.

Бурные крики, проклятия, вопли сменились жалобным ропотом, похожим на зловещее прощание, да редкими протяжными восклицаниями, чьи долгие звуки, низкие и срывающиеся, возвещали отказ от сопротивления и сожаление о собственной слабости. Униженная Нация склоняла голову; народ стадами разбрелся между статуей призрачной Свободы, которая была лишь образом образа, и реальным эшафотом, обгаренным лучшей кровью Франции.

Теснились теперь только затем, чтобы поглазеть или унести ноги. Никто уже не стремился ничему помешать. Палачи воспользовались моментом. Море было спокойно, и их ужасная лодка беспрепятственно вошла в гавань. Гильотина занесла свой нож.

Вся площадь от края до края вмиг застыла и смолкла. Раздавался лишь звонкий и однозвучный шум ливня, словно площадь поливали из гигантской лейки. Широкие струи воды мелькали перед моим взором, полосуюя воздух. Ноги подо мной подгибались: я почувствовал, что должен встать на колени.

Так я смотрел и слушал, затаив дыхание. Дождь был еще достаточно прозрачен, чтобы я мог через свою трубу разглядеть цвет одежды, возникавшей на помосте между столбами. Видел я и просвет между ножом и плахой, и когда это отверстие заслоняла тень, я закрывал глаза. Громкий крик зрителей оповещал меня о том, что можно их открыть.

Тридцать два раза опускал я голову, шепча безнадежную молитву, которую никогда не услышат человеческие уши и которая могла родиться только в моей голове.

После тридцать третьего крика я увидел на помосте серый кафтан. Я решил почтить мужество этого гения, набравшись мужества, чтобы увидеть его смерть: я встал.

Голова скатилась, и то, что в ней было, ушло в землю вместе с кровью.

36. Поворот колеса

Черный Доктор замолчал, не в силах продолжать. Внезапно он вскочил и, быстро шагая по комнате, сказал:

— В этот миг меня охватило неистовое бешенство! Я выбежал из квартиры на лестницу с криком: «Палачи! Злодеи! Можете доносить на меня! Арестуйте меня, вот я, пожалуйста!» И вытягивал голову, словно подставляя ее под нож. Я был в иступлении...

Ах, что на меня нашло! На площадке лестницы не было никого, кроме двоих малюток, детей привратника. Взгляд этих невинных созданий меня отрезвил. Перепуганные моим видом, они, держась за руки, прижались к стене, чтобы дать дорогу сумасшедшему, каковым я и являлся. Я остановился и спросил себя, куда я иду, и как случилось, что эта смерть так потрясла меня, человека, который видел столько смертей. Я немедленно овладел собой и, глубоко раскаявшись в том, что имел безрассудство четверть часа в жизни надеяться, снова стал бесстрастным наблюдателем, каким был всегда. Я осведомился у детей, не видели ли они моего канонира: оказалось, с пятого термидора он приходил сюда каждое утро в восемь часов, чистил мою одежду и спал возле печки. Потом, поскольку я не возвращался, он, никому ни слова не говоря, уходил. Я спросил у детей, где их отец. Они ответили, что он отправился на площадь смотреть церемонию. Я-то видел ее слишком хорошо.

Я стал спускаться медленнее: меня влекло неодолимое желание, последнее еще жившее во мне, увидеть, каков будет следующий шаг Судьбы, осмелится ли она добавить полный триумф Робеспьера к этой его маленькой победе. Меня бы это не удивило.

Толпа на площади была еще столь многочисленна и столь поглощена зрелищем, что я вышел незамеченным через парадные ворота, распахнутые и никем не охраняемые. Я шагал, опустив голову, не чувствуя дождя. Наступила ночь. Я продолжал идти, погруженный в свои мысли. Куда бы я ни забрел, в ушах у меня все еще звучали крики народа, далекие раскаты грома, монотонный шум дождя. Всюду мне виделась Статуя и Эшафот, печально глядящие друг на друга поверх голов, живых и отсеченных. Меня лихорадило. То и дело путь мне преграждали проходящие мимо отряды или бегущие толпы людей. Я останавливался, пропуская их, а мои опущенные глаза не в силах были смотреть ни на что, кроме блестящей скользкой мостовой, омы-

той дождем. Я замечал, как шагают мои ноги, но не знал, куда они идут. Я думал трезво, я рассуждал логично, видел все отчетливо и действовал как безумец. В воздухе повеяло свежестью, улицы высохли, как и моя одежда, хотя я даже не заметил этого. Я шел по набережным, переходил через мосты, потом возвращался назад, стараясь выбрать безлюдный тротуар, где бы меня не толкали, но мне это не удавалось. Народ был рядом, народ был впереди, народ был позади, народ был в голове, народ был всюду: я не знал, куда от него деваться. Мне перебегали дорогу, меня толкали, сдавливали. Я останавливался и присаживался на каменную тумбу или на низкую ограду: я продолжал размышлять. Каждый штрих недавней картины являлся моему взору еще более ярким, чем в жизни: я снова видел красный дворец Тюильри, черную бушующую площадь, тяжелую тучу и огромную статую напротив огромной гильотины. Тогда я вставал и вновь пускался в путь; народ подхватывал меня, толкал, нес куда-то. Я по привычке старался уклониться, но многолюдье не раздражало меня; напротив, толпа убавкивает. Мне хотелось, чтобы она обратила на меня внимание, чтобы, таким образом, внешний мир спас меня от внутреннего. Так, в безумном скитании, прошла половина ночи. Наконец, присев на парапет набережной, к которому меня притиснули, я поднял глаза и огляделся. Я сидел перед Ратушей, я узнал ее по светящемуся циферблату, который долго потом не освещали и, наконец, как вы знаете, стали освещать опять, но уже по-новому; тогда он был ярко-красным и издали напоминал большую кровавую луну со стрелками вещей часов Провидения. Они показывали двадцать минут первого. Я думал, мне все это снится. Больше всего меня удивило, что вокруг действительно толпится столько людей. Всюду, по Гревской площади, по набережным, люди шли, сами не зная куда. Те, что толпились перед Ратушей, глядели на большое освещенное окно. Это было окно совета Коммуны. На ступеньках старого дворца выстроился большой отряд людей в красных колпаках, вооруженных пиками и распевавших «Марсельезу»; остальной народ пребывал в оцепенении и говорил вполголоса.

Я принял тяжелое решение идти к Жозефу Шенье. Вскоре я очутился на одной из узких улиц острова Сен-Луи, где он скрывался. Старуха-хозяйка, наше доверенное лицо, заставив меня долго ждать у двери, наконец открыла, вся дрожа, и сказала, что он спит, что он очень доволен сегодняшним днем, что, не рискуя выйти, он принял у себя деся-

терых членов Конвента, что завтра будет выступление против Робеспьера и что девятого он пойдет вместе со мною освобождать Андре, а сейчас набирается сил.

Разбудить его, чтобы сказать «Твой брат мертв, ты придешь слишком поздно. Ты Станешь звать: „Брат!“», но ответа не будет; ты закричишь: „Я хотел его спасти!“, но тебе не поверят ни при жизни, ни после смерти! И изо дня в день ты будешь слышать вопрос: „Каин, где Авель, брат твой?“»

Разбудить его, чтобы сказать это? О нет!

— Пусть набирается с и л , — ответил я, — они ему завтра понадобятся.

И я снова пустился в свои ночные блуждания, решив не возвращаться к себе, пока событие не свершится. Всю ночь ходил я от Ратуши к Тюильри и от Тюильри к Ратуше. Казалось, весь Париж ночевал здесь на бивуаке.

День восьмого термидора вскоре настал, сверкая солнцем рассвета. Это был очень длинный день. Я следил снаружи за борьбой в главном стане Республики. Площадь перед Национальным дворцом, против обыкновения, была безмолвна, зато шум доносился изнутри. Народ еще целый день ждал постановления Конвента, но тщетно. Формировались партии. Коммуна держала наготове целые секции национальной гвардии. Якобинцы с жаром разглагольствовали в группах. Многие вооружались; там и тут раздавались вселяющие тревогу выстрелы — пробовали оружие. Снова наступила ночь, и стало известно лишь одно: что Робеспьер еще сильнее, чем прежде, и что он уничтожил могучей речью своих врагов в Конвенте. Как! неужели он не падет? Неужели он будет жить, будет убивать, будет царить? Для кого в эту вторую ночь могла идти речь о крове, о постели, о сне? Никто вокруг меня об этом даже не вспоминал, а я не покидал площадь. Я там жил, я врос в нее.

Наконец наступил второй день, день перелома, и мои усталые глаза издали приветствовали его зарю. И вновь целый день сотрясался дворец от бушевавших внутри сокрушительных споров. Когда какой-нибудь выкрик, какое-нибудь слово долетали до толпы, они потрясали Париж, и все вокруг менялось. На зеленом сукне метали кости: шла игра на головы. Время от времени кто-нибудь из бледных игроков подходил к окну, отирая с лица пот; тогда народ в волнении бросался к нему с вопросом, кто же выиграл партию, в которой решалась его судьба.

Вдруг, к концу дня и к концу заседания, стало известно, что брошен странный, неожиданный, непредвиден-

ный, немислимый клич: «Долой тирана!» и что Робеспьер в тюрьме. В тот же миг началась война. Каждый кинулся к своему посту. Забили барабаны, заблестело оружие, поднялись крики. Ратуша застонала вместе с набатом; казалось, она призывает своего властелина. Тюильри ошетиливается штыками, Робеспьер, вновь обретенный, царит в своем дворце, Собрание — в своем. Всю ночь Коммуна и Конвент созывают на помощь своих сторонников и предают друг друга анафеме.

Народ колебался между этими двумя силами. Граждане бродили по улицам, окликаая один другого, друг друга вопрошая, обманывая и боясь погубить себя и Францию; многие оставались на площади, постукивали по мостовой прикладами, стояли, опершись на них подбородком в ожидании дня и правды.

Пробило полночь. Я был на площади Каррусель, когда туда привезли десяток пушек. При свете зажженных фитилей и нескольких факелов я увидел, что офицеры расставляют пушки как придется, словно в артиллерийском парке: одни оказывались нацелены на Лувр, другие на реку. Приказания отдавались самые противоречивые. Наконец офицеры спешились, не зная в точности, в чье распоряжение им надлежит поступить. Канониры легли на землю. Подойдя к ним поближе, я заметил одного, пожалуй, самого изможденного, и уж точно самого долговязого, который удобно расположился на лафете своего орудия и уже начал похрапывать. Я встряхнул его за плечо: это был мой невозмутимый Блеро.

С минуту он в недоумении скреб в затылке, пяля на меня глаза, потом, наконец, узнал меня, не спеша поднялся и выпрямился во весь рост. Товарищи, привыкшие уважать в нем старшего, подошли, сочтя, что требуется их помощь в очередном маневре пушки. Он потянулся, стараясь стряхнуть сон, и сказал:

— Да идите, идите, от вас ничего не требуется, просто тут ко мне гражданин пришел выпить со мной стаканчик.

Товарищи отошли, кто-то снова улегся.

— Ну, скажи, великан, что же сегодня происходит?

Он взял фитиль от своей пушки и принялся раскуривать им трубку.

— О, ничего особенного.

— Однако! — воскликнул я.

Он шумно затыкнулся и запыхтел своей трубкой.

— Да пустяки, боже мой. Не стоит обращать внимания.

Он повернул голову и презрительно оглядел дворец Тюильри, где светились все окна.

— Просто там перегрызлась свора крючкотворов! Вот и в с е , — сказал он.

— Значит, ты так это понимаешь, да? — отвечал я, приняв покровительственный тон, и даже хотел похлопать его по плечу, но не достал.

— А что ж тут еще? — ответил Блеро с видом неоспоримого превосходства.

Я сел на лафет и задумался. Мне было стыдно, что по части философского отношения к происходящему он оставил меня так далеко позади.

Однако мне было трудно заставить себя не обращать внимания на то, что творилось вокруг. Площадь постепенно заполнялась войсками: части толпились перед Тюильри, с опаской вглядываясь в соседней. Это были секции Горы, Вильгельма Телля, Гард-Франсез и Фонтен-Гренель; они строились вокруг Конвента. Чтобы взять в окружение или чтобы защищать?

Как раз когда я раздумывал над этим вопросом, прискакали какие-то всадники. Из-под копыт летели искры. Они направились прямо к пушкам.

Какой-то толстяк, чье лицо в свете факелов трудно было разглядеть, скакал впереди, оглушительно вопя. Он размахивал огромной кривой саблей и издали кричал:

— Граждане канониры! К орудиям! Я генерал Анрио! Кричите, ребята: «Да здравствует Робеспьер!» Там, ребята, собрались изменники! Подпалите-ка им усы! Ну-ка, поглядим, возьмут ли они верх над такими бравыми молодцами! Да куда им, я-то здесь, с вами! Ведь вы меня знаете, дети мои, правда?

Ни звука в ответ. Он качался на лошади, то и дело заваливаясь назад. Чтобы удержать свое грузное тело, он резко натягивал поводья, подымая на дыбы бедное животное, которое уже выбилось из сил.

— Ну! Где тут офицеры, тысяча чертей! — орал он . — Да здравствует народ! Разрази меня гром! И Робеспьер! Друзья! Вперед! Мы с вами санкюлоты и славные парни, мы не лыком шиты! Вы ведь меня хорошо знаете, а? Ведь вы, канониры, знаете, что я не трус, а? Наведите-ка ваши пушечки на эту халупу, где засели мошенники и негодяи из Конвента.

Один из офицеров подошел к нему и сказал:

— Привет! Иди спать! Я в твою игру не играю. И тебя знать не знаю, понял? Так что отстань!

Другой офицер заметил, обращаясь к первому:

— Слушай, а может, он и впрямь генерал, этот старый забулдыга?

— Ну и что? Мне-то что за дело? — отозвался первый и сел.

Анрио от ярости брызгал слюной.

— Да я раскрою тебе череп, как дыню, если не станешь выполнять приказ, черт тебя возьми!

— О, потише, детка! — отвечал офицер, грозя ему банником. — Веди себя спокойно, гражданин.

Адъютанты, сопровождавшие Анрио, делали тщетные попытки воспламенить офицеров и заставить их действовать, но те обращали на них еще меньше внимания, чем на их пьяницу-генерала.

Вино, ярость и приливы крови душили ничтожного военачальника. Он кричал, божился, ругался, визжал, бил себя в грудь, несколько раз слезал с лошади и бросался на землю, потом снова влезал в седло, роняя шляпу с огромными перьями. Он метался взад и вперед вдоль пушек, и конь его спотыкался о лафеты. Канониры, не двигаясь с места, смотрели на него и смеялись. Вооруженные граждане со свечами и факелами подходили поглазеть на него и тоже смеялись.

На Анрио сыпались насмешки и оскорбления, он отвечал на них проклятиями не хуже пьяного кабатчика.

— У-у, толстый боров, кабан без клыков! Чего ему от нас надо, этому хряку в перьях?

Он кричал:

— Ко мне, славные санкюлоты! ко мне, силачи и храбрецы! Мы с вами разнесем весь этот бешеный сброд Тальена! Проткнем грудь Буасси д'Англасу, вспорем брюхо Колло д'Эрбуа, перережем глотку Мерлен-Тионвиллю, сделаем котлету по-конвентски из Бийо-Варена, ребята!

— Ну, ну! — сказал полковой адъютант канониров. — Давай-ка, разворачивайся, старый болван. Хватит! Довольно ты тут кривлялся. Не выйдет у тебя ничего.

С этими словами он стукнул лошадь Анрио рукояткой сабли по морде. Бедное животное пустилось вскачь по площади, унося на себе толстого седока; его сабля и шляпа свалились на землю, лошадь сбивала с ног стоящих спиной солдат, женщин, пришедших вместе с секци-

ями, и незадачливых мальчишек, сбежавшихся, как и все, поглазеть.

Однако пьяница прискакал снова и сделал еще одну попытку, уже серьезнее (видно, галоп и ветер остудили ему голову и слегка его отрезвили). Он сказал другому офицеру:

— Послушай, гражданин, приказ стрелять по Конвенту я привез из Коммуны, от имени Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона. Мне вверено командование всем гарнизоном. Ты это понимаешь, гражданин?

Офицер обнажил голову. Однако с полным хладнокровием отвечал:

— Дай мне письменный приказ, гражданин. Неужели ты думаешь, что я настолько глуп, чтобы открыть огонь без письменного приказа? Хорошенькое дело! Не такой я новичок в службе и вовсе не хочу очутиться завтра на гильотине. Дай мне подписанный по всей форме приказ, и я подпалю тебе Тюильри вместе с Конвентом, как коробок спичек.

С этими словами он подкрутил усы и отвернулся.

— Иначе говоря, — добавил он, — приказывай сам открыть огонь, а я вмешиваться не стану.

Анрио поймал его на слове. Он двинулся прямо к Блеро:

— Канонир, — сказал он. — Я тебя знаю.

Блеро оторопело вытаращил глаза:

— Надо же! Он меня знает!

— Приказываю тебе навести орудие на эту стену и выстрелить по ней.

Блеро зевнул. Однако он взялся за дело и одним движением развернул пушку. Присев на своих длинющих ногах, он, как опытный наводчик, вмиг навел пушку на цель, совместив обе точки прицела с самым большим освещенным окном дворца.

Анрио торжествовал.

Блеро выпрямился во весь рост и сказал солдатам, находившимся на своих местах при пушке:

— Нет, друзья, так не годится. Крутаните-ка еще разик колесо.

Я смотрел на это колесо, которое поворачивалось вперед, потом снова назад, и мне казалось, что передо мной легендарное колесо Фортуны... Колесо Фортуны, принявшее реальный облик.

От этого колеса зависела сейчас судьба мира. Если оно повернется вперед и наведет пушку, Робеспьер победит. Это был миг, когда члены Конвента узнали о прибытии Ан-

рио; это был миг, когда они садились в свои курульные кресла, чтобы в них умереть. Так рассказывал около нас народ, сбежавший с трибун. Если пушка выстрелит, Конвент будет распущен и секциям придется принять условия Коммуны. Террор усилится, потом станет мягче, потом от него останется какой-нибудь Ричард III или Кромвель, а дальше — Октавиан... кто знает?

Я не дышал, я только смотрел, я не хотел вмешиваться. Скажи я Блеро хоть слово, коснись колеса брошенная моей рукой песчинка или ветерок от малейшего моего движения, оно подалось бы назад. Но нет, я не осмеливался на это, я хотел знать, что породит Судьба сама по себе.

Пушка была установлена на узком выщербленном тротуаре. Канониры никак не могли разместить на нем все четыре колеса: одно или два непременно съезжали.

Блеро стоял чуть поодаль, скрестив руки, словно удрученный, недовольный своей картиной художник.

Состроив обиженную гримасу, он повернулся к одному из офицеров:

— Лейтенант! Слишком они еще зеленые, эти молодцы, не умеют с пушкой управляться. Пока мне дают таких служак, дело не продвинется. Куда это годится!

Лейтенант сердито отвечал:

— А я и не приказываю тебе стрелять, я тебе вообще ничего не приказываю.

— А, ну это дело другое, — сказал Блеро, зевая. — Тогда и я выхожу из игры. Здравия желаю!

Он пнул ногой пушку, она покатилась, встала задом наперед, и он на нее улегся.

Анрио выхватил саблю, которую кто-то успел подобрать и подать ему, и закричал:

— Будешь ты открывать огонь или нет?

Блеро курил и, держа в руке погасший фитиль, отозвался:

— Нет больше огня, потух. Иди спать!

Анрио, задыхаясь от ярости, ударил его саблей с такой силой, что можно было разрубить каменную стену, но он был пьян и бил так неловко, что лишь задел рукав кафтана да, насколько я мог судить, чуть-чуть поранил кожу.

Этого было достаточно, чтобы дело решилось против Анрио. Разъяренные канониры обрушили на его лошадь град ударов кулаками, ногами, банниками, и злосчастный генерал, заляпаный грязью, трясаясь на своем скакуне, как куль с мукой на осле, был унесен им в сторону Лувра и

вскоре, как вам известно, прибыл в ратушу, где якобинец Коффиналь выбросил его в окно прямо на навозную кучу — самое подходящее для него ложе.

В этот миг появились комиссары Конвента; они кричали еще издали, что Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон и Анрио «объявлены вне закона». Секции ответили на эти волшебные слова возгласами ликования. Площадь внезапно осветилась. На каждом ружье загорелся факел. «Да здравствует свобода! Да здравствует Конвент! Долой тиранов!» — орала вооруженная толпа. Все двинулись к Ратуше; собравшийся перед нею народ мгновенно подчинился и рассеялся при магическом крике «вне закона», который был республиканским «отлучением».

Осажденный только что Конвент торжественно вышел из Тюильри и двинулся осаждать Коммуну в ратуше. Я не пошел за ними: я не сомневался в победе. Я не видел, как Робеспьер прострелил себе челюсть, целясь в висок, и принял унижение, как принял бы почести, горделиво и безмолвно. Он ждал, что Париж сам падет к его ногам, вместо того, чтобы вызвать солдат и отправиться его покорять, как это сделал Конвент. Он оказался трусом. Для него все было кончено. Я не видел, как его брат бросился прямо на штыки с балкона ратуши, как Леба размозил себе череп и как взошел на гильотину Сен-Жюст — столь же спокойно, как посылал на нее других, скрестив руки и устремив глаза и помыслы к небу, словно Великий Инквизитор Свободы.

Их свергли; до остального мне дела не было.

Я остался на месте и, взяв за длинные руки моего бесхитростного канонира, произнес в честь него следующую речь:

— О Блеро! Имя твое не займет никакого места в истории, и тебя это мало заботит, лишь бы тебе спать день и ночь, да хорошо бы не слишком далеко от Розы. Но ты слишком неискусен и скромн, Блеро: клянусь тебе, что среди всех этих людей, которых историки называют «великими», немногие совершили нечто сравнимое с тем, что только что совершил ты. Ты прервал царство и эру демократии, ты заставил отступить на шаг Революцию, ты смертельно ранил Республику... вот, что ты сделал, о Блеро! Другие люди станут править, и им припишут твое деяние, а между тем стоило тебе дунуть, и они рассеялись бы, как дым твоей трубки. Про девятое термидора будут писать много и долго, быть может, не перестанут никогда, но никто не

догадается оказать тебе почести. Ты заслужил их в той же мере, что и другие вершители истории, которые так мало задумываются и так плохо сами понимают, каким образом совершилось то, что они совершили, хотя им далеко до твоего смирения и мудрого простодушия. Да не будет сказано, что тебе не воздали должное: ты, о Блеро, ты и никто другой, есть подлинный посланец Судьбы.

Сказав это, я поклонился с неподдельным уважением и смирением, ибо только что заглянул в самые истоки одного из величайших исторических событий.

Блеро решил, не знаю уж почему, что я насмехаюсь над ним. Он почтительно высвободил руки и почесал в затылке:

— Не будете ли вы так милостивы, — промолвил этот великий человек, — посмотреть мою руку, что там с ней?

— Ты прав, я совсем забыл.

Он засучил рукав, и я поднес факел.

— Поблагодари Анрио, сынок, — сказал я ему. — Он избавил тебя от самых опасных твоих иероглифов. Лилии, Бурбоны и Мадлен отсечены вместе с кожей. Послезавтра ты будешь здоров и, если пожелаешь, женат.

Я перевязал ему руку своим платком и повел домой, и все обещанное было исполнено.

Долго еще я не мог уснуть, ибо змей был раздавлен, но он пожрал лебедя Франции.

Вы слишком хорошо знаете свет, чтобы я пытался вас уверить, будто мадемуазель де Куаньи отравилась, а госпожа де Сент-Эньян закололась. Если горе и было для них ядом, то ядом медленного действия. Мадемуазель де Куаньи нашла прибежище в браке, но многие обстоятельства заставляют меня полагать, что она не обрела в нем благоденствия. Что же до госпожи де Сент-Эньян, то нежная, тихая, хотя и настороженно оберегаемая от нескромных взглядов печаль и воспитание троих прелестных детей заполнили ее жизнь и вдовство в уединении замка Сент-Эньян. Примерно через год после описанных событий ко мне пришла от нее женщина и спросила портрет. Она дождалась окончания траура по мужу, чтобы забрать у меня свое сокровище. Герцогиня предпочла не встречаться со мною сама. Я отдал драгоценную шкатулку фиолетового сафьяна и больше никогда ее не видел. Все это было очень достойно, очень чисто, очень утонченно. Я уважал волю герцогини и всегда буду чтить милое воспоминание о ней, ибо ее уже нет.

Говорят, никогда, ни в каких путешествиях не расставалась она с этим портретом; никому не позволила снять с него копию; возможно, умирая, она уничтожила его, а может быть, он хранится в ящике секретера в старом замке, и внуки красавицы-герцогини считают его портретом двоюродного дедушки. Такова участь портретов. Они заставляют биться лишь одно сердце, а когда оно больше не бьется, их следует уничтожить.

37. О вечном изгнании

Последние слова Черного Доктора еще звучали в большой комнате, когда Стелло, воздев руки, воскликнул:

— Да, это должно было происходить именно так!

— Мои истории, — сурово сказал саркастичный повествователь, — как и все человеческие рассказы, наполовину правдивы.

— Да, да, это должно было происходить именно так, — продолжал Стелло, — иначе моя душа не отзывалась бы такой болью на каждое ваше слово. Как человек чувствует сходство с оригиналом в портрете незнакомца или покойника, так я чувствую сходство в портретах, созданных вами. Да, да, их страсти и их стремления заставляли их говорить именно так. Значит, из трех возможных форм правления первая нас боится, вторая презирует за бесполезность, третья ненавидит и стремится «уравнять», как аристократические привилегии. Неужели мы вечно будем илотами в любом обществе?

— Илотами или Богами, — сказал Черный Доктор, — но во всех случаях Толпа, хотя и носит вас на руках, глядит на вас подозрительно, как, впрочем, на всех своих детей, и время от времени швыряет наземь и топчет ногами. Это плохая мать.

Вечная слава тому Афинянину... О! почему забыто его имя? Почему безвестный гений, создавший Венеру Милосскую, не изваял ему памятник из половины той мраморной глыбы? Почему не выведено золотыми буквами его имя, наверняка не отличающееся изысканностью, на первой же странице «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха? Слава тому Афинянину... Я всегда буду чтить его и видеть в нем вечный тип, великолепного представителя Народа всех наций и всех эпох. Я неизменно буду вспоминать о нем всякий раз, когда увижу сборище, сошедшееся, чтобы судить о чем-

то или о ком-то, или просто компанию, беседующую о выдающемся произведении или подвиге, или даже отдельных людей, которые произносят прославленное имя, как обычно произносят такие имена люди толпы, с особой непередаваемой интонацией: это интонация отчужденная, холодная, завистливая и враждебная. Кажется, что имя вылетает у них изо рта со взрывом, против воли самого говорящего, которого принуждает его произнести какое-то колдовство, какая-то неведомая сила, исторгающая из уст непрошенные слоги. Когда это имя слетает с языка, рот дергается, губы искривляются, складываются в нечто среднее между презрительной улыбкой и складкой глубокого и сосредоточенного размышления. Счастье еще, если в этой борьбе имя не оказывается исковеркано или не сопровождается грубым, уничижительным эпитетом. Так, если человек, поддавшись уговорам, глотнул горького питья и выплюнул его, то редко случается, чтобы это движение губ не сопровождалось шумным выдохом и выражением отвращения.

О люди! О люди безымянной Толпы! вы по природе своей враждебны именам! Задумайтесь над тем, что с вами происходит в театре. Подоплека ваших чувств — тайная жажда провала и страх успеха. Вы приходите туда словно нехотя, не желая подпасть под власть волшебства. Нужно, чтобы Поэт укротил вас с помощью своего посредника — Актера. Тогда вы покоряетесь, хотя и не без ропота и не без длинной череды глухих и упорных придирок. Ибо восславить чужой успех, восславить имя — значит поставить это имя выше своего, признать за ним превосходство, уязвляющее самолюбие того, кто перед ним склоняется. И я утверждаю, что никогда, никогда, о гордая Толпа, ты пред ним не склонилась бы, если бы не думала, что совершаешь тем самым (какое сладостное утешение!) акт покровительства. Роль ценителя, осыпающего кого-то золотом, слегка скрашивает мучительное усилие, которое приходится совершать, подтверждая рукоплесканиями признание чужого превосходства. Но всюду, где тебе отказано в этом тайном утешении, ты, едва восславив кого-то, сразу же находишь его славу чересчур большой и исподволь принимаешься ее подтачивать, урезать, отсекаешь ей ноги и голову, дабы заставить пасть до собственного уровня.

Ваша единственная страсть, люди Толпы, это равенство, и пока вы существуете, вы будете в определенные минуты чувствовать, все одновременно, необходимость «вечного изгнания».

Слава Афинянину... О боже! ну почему я не ведаю, как его звали?! Того, кто с бессмертной искренностью выразил ваши прирожденные чувства.

— За что ты присуждаешь этого человека к изгнанию? — спросили его.

— Мне надоело, — отвечал он, — слышать, как прославляют его имя!

38. Небо Гомера

— Илотами или Богами, — повторил Черный Доктор, — а помните ли вы некоего Платона, который именовал поэтов «подражателями теням» и изгонял их из своей республики? И в то же время называл «Божественными».

Платон был бы по-своему прав, поклоняясь им и вместе с тем удаляя их от дел, но затруднение, в котором он оказывается перед окончательным выводом (кстати, он его так и не делает), и не разрешенное им, по существу, противоречие между поклонением и изгнанием показывают, к какому убожеству и какой несправедливости неизбежно приходит строгий логический ум, когда пытается все подвести под единое правило. Платон хочет, чтобы каждый был в равной степени полезен всем; но вот он неожиданно наталкивается на прекрасных бесполезных гениев, вроде Гомера, и не знает, что с ними делать. Люди искусства ставят его в тупик; он пытается измерить их своим экером, а у него не получается, и это его раздражает. Он причисляет всех — Поэтов, Художников, Скульпторов, Музыкантов — к категории подражателей, заявляет, что всякое искусство есть лишь ребячья забава, что оно обращено к самой слабой, боязливой части души — той, что подвержена иллюзиям и отзывается на человеческие страдания; все искусства нелепы, «малодушны, робки, противны разуму»; желая угодить Толпе, Поэты стараются изображать характеры страстные, ибо они ярче и их легче понять; Поэты способны развратить ум даже самых мудрых, если их не изгнать, и, будь их воля, в Государстве правили бы наслаждение и страдание, а не законы и разум. Он говорит также, что если бы Гомер умел просвещать и наставлять других, вместо того, чтобы оставаться бесполезным певцом (неспособным даже, добавляет он, отучить своего друга Креофила от чревоугодия — о, недомыслие древних!), то ему не пришлось бы питаться подаянием и ходить босым, — ему оказывали бы уважение, его чтили бы

и служили ему, как Протагору из Абдеры и Продику с острова Кеос, мудрецам-философам, которым всюду воздавали высшие почести.

— О боже всемогущий! — воскликнул Стелло, — что значат для нас сегодня, скажите на милость, все эти достопочтенные Протагоры и Продики? Зато каждый старик, мужчина и дитя малое со слезами на глазах поклоняется божественному Гомеру!

— Вот! Вот! — подтвердил Доктор, и глаза его загорелись мрачным торжеством, — вы видите сами, что у философов Поэты встречаются не больше сочувствия, чем у государственных деятелей. Они заодно, когда топчут искусство.

— Да, понимаю, — отвечал Стелло, бледный и взволнованный, — но в чем же кроется неискоренимая причина этого?

— Чувство, которое движет и м и, — зависть, — твердо сказал Доктор, — алогический аргумент (поистине неопровержимое оправдание!) — бесполезность искусства для государства.

Личина, которую они надевают в присутствии П о э т а, — это покровительственная и пренебрежительная улыбка, но в глубине души все они чувствуют трепет перед ним, как перед своего рода Богом.

И все-таки они намного выше черни, ибо ее представители сознают превосходство Поэтов только наполовину, испытывая рядом с ними лишь смущение, какое, вероятно, вызвало бы у них зрелище великой страсти, которую они не в состоянии понять. Их неловкость сродни той, какую ощутил бы какой-нибудь фат или холодный педант, внезапно очутившись рядом с Полем в момент расставания с Виргинией, рядом с Вертером, когда он хватается за пистолет, рядом с Ромео, выпившим яд, рядом с Де Грие, когда он идет босой за повозкой с проститутками. Этот равнодушный, несомненно, счел бы их сумасшедшими, но все же почувствовал бы нечто величественное и достойное благоговения в этих людях, охваченных глубоким волнением; он молча удалился бы, сочтя себя выше их, так как сам не взволнован.

— Верно! о, как верно! — пробормотал Стелло, опустив голову на грудь и забываясь все глубже и глубже в кресло, словно хотел укрыться от звуков жесткого и непреклонного голоса, который мучил его.

— Возвращаясь к Платону, надо сказать, что он как бы соперничал в божественности с Гомером. Завистливое

раздражение владело этим могучим и поистине бессмертным умом, проникнутым, однако, позитивизмом, как все те, чье интеллектуальное превосходство основывается исключительно на бесконечном развертывании возможностей Суждения при полном пренебрежении Фантазией.

Его убежденность была глубока, ибо он черпал ее в сознании своих собственных дарований, по которым каждый хочет мерить способности других. У Платона был строгий, геометрический и последовательно рассуждающий ум, как спустя много веков у Паскаля, и оба они сурово отвергали Поэзию, которую не умели понять. Но я обвиняю только Платона: его идеи лежат в русле нашего разговора, ибо он притязал на роль законодателя и государственного деятеля.

Помнится, он говорил примерно следующее: «Способность выносить суждение о вещах, опираясь на измерения и расчеты, есть высшая способность души; следовательно, способность противоположная — это самое легкомысленное, что в нас есть».

Основываясь на этом утверждении, наш последовательный ученый муж смотрит на Гомера сверху вниз; он обходится с ним, как с обвиняемым, и высокомерно его вопрошает где-то книге в шестой «Государства»: «Дорогой мой Гомер, если неверно, что ты всего-навсего ремесленник, далекий от трех ступеней истины, не способный создать ничего, кроме призраков добродетели (ибо Платону дорога его идея призраков), если ты творец более высокого порядка, которому ведомо, что может привести Государство и отдельных граждан к добру и что ко злу, то скажи нам, какой же город обязан тебе реформой своего управления, как Лакедемон — Ликургу, Италия и Сицилия — Харондасу, Афины — Солону. В какой войне ты победил или был советчиком победителя? Какое полезное открытие, какое изобретение, нужное для усовершенствования ремесел или повседневного быта, прославило твое имя?»

И, продолжая таким образом свою речь под непрестанные поддакивания подхалима Главкона, который то и дело говорит: «Прекрасно сказано», «Истинная правда», «Вы правы» таким же тоном, каким начинающий семинарист отвечает своему аббату во время духовной беседы, мой философ в конце концов выталкивает взашей божественного нищего из своей Республики (к счастью для человечества, фантастической).

На это развязное обращение добрый старик Гомер ничего не ответил по той простой причине, что он спал, но не

тем недолгим сном (dormitat), в котором его осмелился упрекнуть кое-кто, тоже пожелавший устанавливать правила, а сном непробудным, тем, что лег бременем ночи на веки Жильбера, Чаттертона и Андре Шенье.

Тут Стелло тяжело вздохнул и закрыл лицо руками.

— Однако, — продолжал Черный Доктор, — предположим, что божественный Платон оказался бы сейчас здесь, в этой комнате; почему бы нам не сводить его в таком случае в музей Карла X (прошу прощения за такую вольность, но я не знаю для него другого названия), где великолепная роспись потолка представляет царство — ах, да что я говорю? — небо Гомера? Там, перед всеми, босой старец восседает на золотом троне, держа в руке, словно скипетр, свой посох, посох нищего и слепца, а у его ног — усталых, запыленных, израненных — две его дочери, две богини — Илиада и Одиссея. Толпа людей в венках созерцает его и поклоняется ему, но стоя, как и подобает гениям. Они величайшие поэты из тех, чьи имена дошли до нас, и если бы я сказал «величайшие страдальцы», это тоже было бы справедливо. Они образуют почти непрерывную цепочку — от Гомера до наших дней, — цепочку прославленных изгнанников, мужественных жертв гонения; мыслителей, потерявших разум от нищеты; воинов, которых вдохновение посещало в походе; моряков, спасающих свою лиру из Океана, а не из темницы, — все они с любовью пришли к самому первому и, наверно, самому среди них обездоленному, словно вопрошая его о причинах столь великой ненависти к ним, заставляющей их застыть от удивления.

Давайте мысленно расширим и поднимем выше этот великолепный потолок, раздвинем границы купола, чтобы он мог принять всех отверженных, которым Поэзия или Фантазия стоили всеобщего осуждения! Ах, целый небосвод в ясный августовский день не вместил бы их! Целый лазурно-золотой небосвод, каким он бывает над Каиром, не затененный даже легчайшей прозрачайшей дымкой, оказался бы слишком мал для того, чтобы послужить фоном для их портретов.

Поднимите взор к этому потолку и представьте себе, что на него восходят все новые и новые печальные тени: Торквато Тассо, чьи очи выжжены слезами, в лохмотьях, отвергнутый даже Монтенем (ах, философ, что ты наделал!) и лишенный способности видеть, причем не оттого, что ослеп, а... Но нет, я не хочу говорить по-французски, пусть этот вопль нищеты ляжет вечным позором на язык итальянцев:

Non avendo candella per scrivere i suoi versi. *

Слепой Мильтон, швыряющий издателю «Потерянный рай» за десять фунтов стерлингов; Камознс, принимающий в больнице подавание из рук благороднейшего своего раба, не покинувшего его и просившего ради него милостыню; Сервантес, простирающий длань с одра смерти и нищеты; седовласый Лесаж, идущий вместе с женой и дочерьми просить пристанища, чтобы спокойно умереть, у бедного каноника, своего сына; Корнель, не имеющий самого необходимого, «даже бульона», как докладывает Расин королю, великому королю! Драйден, в семьдесят лет погибающий от нищеты и тщетно ищущий в астрологии утешения от людских несправедливостей. Спенсер, пешком бредущий по Ирландии, почти такой же бедной и горемычной, как он сам, и умирающий с «Королевой фей» в мыслях, с Розалиндой в сердце и без крошки хлеба на устах. Как был бы я рад остановиться на этом!...

Вондел, этот старый голландский Шекспир, умер от голода в девяносто лет, и гроб его несли четырнадцать босых и нищих поэтов; Самюэль Руайе был найден умершим от холода на каком-то чердаке; Батлер, автор «Гудибраса», умер от нищеты; Флаيه Сайденхем и Рашворт были закованы в цепи, как преступники. Жан-Жак Руссо покончил с собой, ибо не мог больше жить из милости у чужих людей. Мальфилатра «свел в могилу голод», как сказал Жильбер...

Их еще много, тех, чьи имена начертаны в небе каждой нации и в книге записей ее больниц для бедных.

Так вот, представьте себе, что Платон выходит один в середину этого круга и читает небесному семейству ту страницу из «Государства», которую я только что процитировал. Неужели Гомер не мог бы ответить ему со своего трона: «Мой дорогой Платон, действительно, нищий Гомер, и вместе с ним все бессмертные страдалцы, которые его окружают, всего-навсего подражатели Природы; что правда, то правда, они не являются ни столярами, хотя берутся за описание кровати, ни врачами, хотя рассказывают об исцелении; они, в самом деле, с помощью определенного расположения слов и выражений, связанных воедино ритмом, размером и благозвучием, создают образ дела или предмета, которые они описывают; совершенно справедливо, что они, таким образом, предлагают взору смертных лишь зеркало жизни и, обманывая их зрение, обращаются к наиболее

* «Не имея свечи, чтоб писать стихи» (*ит.*).

подверженной иллюзиям части души; но, о божественный Платон! велико твое заблуждение, когда ты утверждаешь, будто эта часть души — та, что волнуется и воспаряет, — самая слабая, и отдаешь предпочтение той, что взвешивает и измеряет. Воображение и его избранные настолько же выше Суждения с его ораторами, насколько боги Олимпа выше полубогов. Самый драгоценный дар неба — это дар наиболее редкий. А как тебе известно, за сто лет рождается всего три Поэта на целую толпу логиков и софистов, очень рассудительных и изощренных. Воображение включает в себя и Суждение и Память, оно не могло бы без них существовать. Но что воспламеняет людей, как не волнение? Что порождает волнение, как не искусство? И кто учит искусству, как не сам Господь? Ибо у Поэта нет учителей; всем наукам можно обучиться, кроме этой. Вы спрашиваете, какие установления, какие законы, какие знания дал я городам. Никаких — отдельным народам и вечные — человечеству. Я не принадлежу никакому городу, зато принадлежу миру. Ваши знания, ваши законы и установления послужили одной эпохе, одному народу и умерли вместе с ними, в то время как творения небесного Искусства нетленны и направляют страдающих смертных к вечному закону Любви и Жалости».

Стелло невольно сжал руки, словно для молитвы. Доктор ненадолго умолк, а затем продолжал так:

39. Общественный обман

— И это спокойное достоинство древнего Гомера, чья судьба символизирует удел Поэтов, есть не что иное, как сознание своей миссии, коим непременно должен обладать человек, чувствующий, что его помыслы направляет Муза. Ибо Муза не просто так явилась к нему: она знает, что следует делать, а ему это открывается лишь в момент вдохновения. Его назначение — творить, причем лишь тогда, когда он слышит тайный голос. Он должен его ждать. И пусть никакое чуждое влияние не диктует ему слова: они будут бранны. И пусть не боится он, что его творение окажется бесполезным: если оно прекрасно, оно этим уже будет полезно, ибо объединит людей, созерцающих его и постигающих воплощенную в нем мысль, общим чувством восхищения.

Ваше столь бурное негодование, сударь, пробужденное моими рассказами, не позволяет мне усомниться в том, что вы до конца поняли неизбежность розни между человеком Власти и человеком Искусства; однако помимо вечного мотива — зависти и расхожего предлога — бесполезности, нет ли тут еще одной причины, более сокровенной, которую необходимо обнаружить? Не видится ли она вам в постоянном страхе, преследующем всякого правителя, страхе потерять эту бесценную и бесконечно дорогую ему власть, ставшую его душой?

— О, я, кажется, догадываюсь, что вы имеете в виду, — сказал Стелло. — Это боязнь правды?

— Совершенно верно, — удовлетворенно подтвердил Доктор. — Поскольку наука правления вынуждена приспособляться к своей эпохе, поскольку всякий общественный уклад основывается на обмане, более или менее смехотворном, в то время как произведения любого Искусства, напротив, прекрасны лишь тогда, когда в основе их лежит подлинно глубокая истина, вам должно быть очевидно, что Власть, какая бы она ни была, видит постоянную угрозу в таких плодах вдохновения. Отсюда и ее вечные попытки это вдохновение подавить или подкупить.

— Увы! — воскликнул Стелло, — на какую отвратительную и непрестанную борьбу обрекает Власть Поэта! Разве она не может сама встать на сторону правды?

— Да не может, конечно, — с горячностью вскричал Доктор, стукнув тростью по полу. — Три мои истории доказывают вовсе не то, что власть не понимает Поэтов; они доказывают, что сущность Власти противостоит вашей, и она неизбежно старается уничтожить то, что ей мешает.

— Однако, — сказал Стелло задумчиво, ища последнего прибежища, как одинокий пехотинец, которого на голой равнине атаковал целый эскадрон, — однако, если бы удалось установить такую Власть, которая не была бы обманом, разве мы не оказались бы с ней заодно?

— Конечно, оказались бы. Но может ли основа Власти быть иной, нежели Наследование или Способность? И как бы они вам ни были ненавистны, приходится к ним вернуться. Если избранная вами форма Власти зиждется на Наследовании и Собственности, то что вы скажете, сударь, на следующее соображение: «„Это место под солнцем — мое", — вот начало и прообраз захвата всей земли?»

Или на такое — относительно Наследования:

«Чтобы принять командование судном во время бури, выбирают не того из пассажиров, чье происхождение лучше».

Если же вы отдаете предпочтение Способности, то, пожалуйста, поищите убедительное возражение на следующее остроумное замечание:

«Кто кому должен уступить место? У меня не меньше талантов, чем у тебя. Кто нас рассудит?»

Ответы найти нетрудно, я вас не тороплю, даю вам на размышление, ну, скажем, столетие.

— А х , — вздохнул сраженный С т е л л о , — на это не хватит и двух.

— А з а т е м , — продолжал Черный Д о к т о р , — вам останется сущий пустяк — попробуйте побороть в сердце каждого рожденного женщиной неистребимый рефлекс: «Наш хозяин — наш враг». Возьмите, к примеру, меня: я с детства не выношу никакого принуждения.

— Клянусь честью, я т о ж е , — признался С т е л л о , — будь то даже безобидная власть сельского полицейского...

— Так надо ли огорчаться, что общественный порядок плох, если он иным и быть не может? Совершенно очевидно, что так угодно Господу. Ему ничего не стоило указать нам идеальную форму правления, когда он обитал среди нас. Признайте, что человечество упустило тогда редкий шанс!

— Какой мрачный юмор! — сказал Стелло.

— И больше ему такой шанс не представится, — продолжал его собеседник, — следует с этим смириться, невзирая на торжественные заверения, которые повторяют в один голос все законодатели. Как только создана очередная Конституция и записана пером и чернилами, они восклицают:

«Это навеки!»

Поскольку вы не принадлежите к массе, для которой политика есть тайна за семью печатями, с вами можно говорить; ну, скажите-ка, — Доктор откинулся в к р е с л е , — в какой парадокс вы сейчас влюблены?

Стелло молчал.

— На вашем месте я любил бы живое божье создание, а не умственные построения, какими бы красивыми они ни были.

Стелло опустил глаза.

— Какому Общественному обману вы хотите принести себя в жертву? Ибо мы уже признали, что для существования общества таковой необходим. Какому же? Ну смелее!

Хотя бы наименее абсурдному, я надеюсь? Итак, какому?

— Честно говоря, я не знаю, — ответил Стелло, загнанный в угол.

— Когда же мне представится случай обратиться к вам со словами, которые вертятся у меня на языке всякий раз, когда я встречаю человека, облеченного властью? «Как поживает ваш общественный обман нынче утром? Еще держится?»

— Но разве нельзя встать на сторону какого-либо правительства, не входя в него, и разве, к примеру, в разгар гражданской войны я не должен сделать выбор?

— Да кто же вам запрещает? — перебил его Доктор с досадой. — Делайте себе на здоровье. Я говорю лишь о ваших мыслях и ваших сочинениях, ибо для меня вы существуете в них и только в них. Что мне до ваших поступков? Разве важно, что в какие-нибудь смутные времена вас сожгут в собственном доме, или пристрелят на перекрестке, или вы будете «трижды убитым, трижды похороненным и трижды воскресшим», как подписывался нормандский капитан Франсуа Севиль во времена Карла IX?

Выбирайте игру себе по вкусу. Посадите, если угодно. Наследование в карету, а Способность — на козлы, дабы их сочетать...

— Пожалуйста, — промолвил Стелло.

— Пусть едут, пока кучер не попытается опрокинуть хозяина на дорогу или влезть в экипаж, что было бы неплохо, — продолжал Доктор. — О, нет сомнения, сударь, что, делая выбор во времена общественных столкновений, человек оказывается примерно в той же роли, что номера лото, когда чья-то рука встряхивает мешочек. Ум в этом почти не участвует, ибо, рассуждая о выборе наилучшей формы правления, мы, как видите, не можем принять ни одну, если, конечно, рассуждаем честно. Но в обстоятельствах, о которых мы с вами говорим, послушайте своего сердца или инстинкта. Будьте, простите за выражение, глупы, как знамя.

— О, осквернитель святынь! — воскликнул Стелло.

— Вы шутите? — сказал Доктор. — Самый великий осквернитель святынь — это Время: оно износило ваши знамена до древка. Когда белое знамя Вандеи развевалось по ветру, двигаясь против трехцветного знамени Конвента, оба они честно воплощали некую идею; одно недвусмысленно говорило: «Монархия, Наследование, Католицизм», другое — «Республика, Равенство, Разум», и их шелковые по-

лотнища хлопали по ветру над шпагами, в то время как над пушками неслись песни, рвущиеся из глубины полных веры сердец. «Генрих Четвертый» и «Марсельеза» вступали в битву в воздухе, как косы и штыки на земле. Вот это были знамена!

О эпоха презрения и немощи, у тебя таких знамен больше нет! Раньше белый флаг обозначал «хартию», теперь трехцветный. Белый флаг слегка покраснел и посинел, трехцветный побелел. Разница в оттенках стала неуловима. Если не ошибаюсь, вся она заключена в трех небольших параграфах текста. Снимите же полотнище и несите на древке эти параграфы!

Недалек тот день, уверяю вас, когда станет смешон и мундир, ибо сама война утратила свои краски. Солдат окажется раздет, как оказался раздет Мольером врач, и, возможно, это будет благом. Все станут одеваться одинаково, в черное платье, как я. Даже у восставших не будет своего флага. Как в Лионе, в нашем тысяча восемьсот тридцать втором году от Рождества Христова.

А пока что совершайте те поступки, какие вам хочется; меня они занимают мало.

Поступайте сообразно вашим склонностям, привычкам, положению в обществе, рождению... не знаю чему еще. Пусть дело решит лента, подаренная вам женщиной, и поддерживайте тот прелестный Общественный обман, который по вкусу даме. Прочтите ей стихи великого поэта:

Когда расколот край враждой двух грозных кланов,

Приводит случай нас в один из этих станов,

Но, сделав выбор свой, стой насмерть за него.

«Приводит случай!» Он думал, как и я, он не сказал «разум». На чьей стороне, по-вашему, была правда: на стороне гвельфов или на стороне гибеллинов? Не на стороне ли «Божественной Комедии»?

Тешьте же ваше сердце, руку, тело этой игрой случайностей. Не припутывайте сюда ни меня, ни философию, ни здравый смысл. Это исключительно вопрос чувства, обстановки, интересов и человеческих связей.

Я страстно хотел бы, ибо желаю вам добра, чтобы вы не принадлежали по рождению к той касте парий, которая прежде была кастой браминов, — некогда ее именовали дворянством, а потом клеймили иными названиями — к этому классу, извечно преданному Франции и дарившему ей самую высокую славу, покупавшему своей лучшей кровью право ее защищать и отдававшему ей свое достояние по частям из

поколения в поколение; к этой великой семье, обманутой, обделенной, подорванной могущественнейшими королями, вышедшими из ее лона; к семье, истребляемой некоторыми из них, но не перестававшей служить им и всегда говорившей с ними громко и прямо; к семье гонимой, ссылаемой, казнимой, но неизменно верной либо Монарху, который от нее отрекается, разоряет ее или бросает на произвол судьбы, либо Народу, который ее не признает и истребляет; к этой семье, всегда безупречной, но всегда оказывающейся между молотом и наковальней, между топором и плахой, всегда в крови и всегда с улыбкой, подобно мученикам; к этой породе, которая ныне вычеркнута из книги жизни и на которую смотрят косо, как на племя евреев. От души желал бы, чтобы вы к ней не принадлежали.

Но что я говорю? Кем бы вы ни были, вам вовсе не обязательно держаться своей партии. Партии прибирают человека к рукам даже вопреки его воле, в соответствии с его происхождением, положением, предками, причем так ловко, что ему не отбиться, даже если он станет кричать на всех перекрестках и кровью расписываться в том, что не разделяет взгляды своих предполагаемых единомышленников. Поэтому в случае общественных волнений я категорически возражаю лишь против тех партий, о которых мы говорили, а в остальном предоставляю вас воле ветров.

Стелло встал, как встает человек, когда хочет, тайно любясь собою, показать себя во весь рост, и даже бросил взгляд в зеркало, где отражался его силуэт.

— Да так ли уж хорошо вы меня знаете? — спросил он гордо. — Знаете ли вы (да и кто это может знать, кроме меня?), каким трудам посвящены мои ночи? Почему Поэт не отрывает от себя Поэзию и не швыряет наземь, как истрепанный плащ, несмотря на все муки, которые она на него навлекает? Кто вам сказал, что я не наблюдал, не следил, не изучал — жилка за жилкой, нерв за нервом, движение за движением — каждый орган морального строения человека, как вы — органы его физического строения? что я не взвешивал на железных макиавеллиевских весах все страсти естественного человека и интересы человека цивилизованного: их безрассудную гордость, эгоистические радости, суетные надежды, продуманную фальшь, скрытую недоброжелательность, со стыдом таимую зависть, прячущуюся под роскошью скупость, притворную любовь, ненависть, крошущуюся под личиной дружбы?

О человеческие желания! о человеческие страхи! веч-

ные, всечасно вздымающиеся валы неизменного Океана! вас могут порою подчинить, и то ненадолго, лишь дерзкие течения, которые уносят вас вдаль, буйные ветры, которые вас вздымают, да незыблемые скалы, о которые вы разбиваетесь!

— А вы, — сказал с улыбкой Доктор, — воображаете себя течением, ветром или скалой?

— А вы полагаете, что...

— Что вы лишь творения свои должны бросать в этот Океан. Чтобы выразить в произведении искусства все, что знаешь о жизни, требуется куда больше таланта, чем для того, чтобы швырнуть это зерно знания в постоянно перепаживаемую почву политических событий. Намного труднее создать маленькую книжку, чем большое правительство. Власть уже давно лишилась и силы, и благодати. Дни ее величия и процветания миновали. Мы стремимся к иному. Править всегда означало, по сути, уметь управлять глупцами и обстоятельствами, причем если их хорошенько перемешать и встряхнуть вместе в одном мешке, то выпадают порою непредвиденные и блестящие шансы, которым самые великие, по их собственным признаниям, обязаны своей славой. Но кому обязан славой Поэт, если не себе самому? Высота, глубина и размах его творчества и грядущей славы соответствуют трем измерениям его мозга. Он существует сам по себе, представляет только себя, и его творение есть он.

Первыми среди людей всегда будут те, кто из листа бумаги, холста, глыбы мрамора, звуков создают нетленное.

Ах, если однажды вы вдруг перестанете ощущать в себе главную и редчайшую способность — **ВООБРАЖЕНИЕ**, если горе или возраст иссушат его в вашей голове, как миндаль в скорлупе, если у вас останется лишь Рассудок и Память и вы почувствуете в себе готовность по сотне раз в год противоречить самому себе, когда ваши публичные выступления будут идти вразрез с публичными действиями, действия — с речами, одно действие с другим, сегодняшняя речь со вчерашней, как у всех политических деятелей, тогда, пожалуйста, поступайте, как многие достойные жалости ваши предшественники: покиньте небо Гомера. У вас, спустившегося с высот, больше, чем достаточно, останется еще дарований для политики и публичной деятельности. Но пока этого не случилось, не мешайте свободному и одинокому полету Воображения, которое, быть может, живет

в вас. Бессмертные произведения пишутся для того, чтобы обмануть Смерть, заставив наши мысли пережить наше тело. Создайте нечто подобное и будьте уверены, что если там встретится хоть одна мысль или даже слово, полезное для прогресса культуры, слово, оброненное вами, словно перо из крыла, то непременно сыщется достаточно людей, чтобы его подобрать, использовать, извлечь из него все, что только можно. Предоставьте это им. Приложение мыслей к вещному миру есть лишь потеря времени для творцов идей.

Стелло задумчиво посмотрел на Черного Доктора. Наконец он улыбнулся и протянул руку своему суровому другу.

— Сдаюсь, — объявил он. — Пишите ваше предписание.

Доктор взялся за бумагу.

— Очень редко случается, — заметил он, начиная писать, — чтобы предписанию, продиктованному здравым смыслом, действительно следовали.

— Я буду следовать вашему, как вечному и непреложному закону, — сказал Стелло, подавляя, однако, вздох. Он в глубоком отчаянии уронил голову на грудь, убежденный, что у ног его разверзлась новая бездна; однако, пока он слушал, ему начало казаться, что густой туман, застилавший его взор, постепенно рассеивается, и верная звезда его указывает единственный путь, коему надлежит следовать.

Вот, что писал Черный Доктор, обосновывая каждый пункт своего предписания, — привычка весьма похвальная и среди врачей довольно редкая.

40. Предписание Черного Доктора

I. Отделить поэзию от политики.

Предоставить кесарю кесарево, иначе говоря, не оспаривать его право ежедневно и ежечасно встречать ненависть на улице и обман во дворце, переносить глухое сопротивление и долгие заговоры, сокрушительное поражение и безжалостное изгнание.

Нападать на него или ему льстить, используя могучую силу искусства, означало бы обесценить свое творение, наложить на него печать бренности и мимолетности, отли-

чающих злободневность. Это занятие следует предоставить утренней хронике, которая не доживает до вечера, или вечерней, которая умирает к утру. Уступить кесарям всех видов народную площадь, предоставить им играть свою роль, а самому спокойно пройти мимо, если, конечно, они не нарушают труды ваших ночей и покой ваших дней. Пожалейте их всей жалостью, на какую вы способны, если они надели кесарев венец поневоле, ибо на нем давно уже нет листьев, и он ранит чело. Пожалейте их и в том случае, если они этого хотели: пробуждение еще более жестоко после долгой и прекрасной грезы. Пожалейте их, если они испорчены Властью, ибо не существует ничего такого, что не могла бы извратить эта древнейшая и, быть может, неизбежная ложь, виновница стольких бед. Следите, как угасает это светило, и вслушивайтесь в темноту: счастье, если ваш слух сможет помочь человечеству объединиться и сплотиться вокруг сияния более чистого!

II. Быть одиноким и независимым в исполнении своей миссии.

Принять как условие своего бытия свободу от влияния каких бы то ни было союзов, даже самых прекрасных.

Ибо только одиночество есть источник вдохновения.

Одиночество свято. Любые союзы обладают всеми пороками монастырей. Они любят навешивать ярлыки и руководить умами и постепенно превращаются в своего рода тираническую силу; эта сила, лишая человеческий ум свободы и индивидуальности, без которых он ничто, может задуть даже истинный гений, поставив его под гнет завистливого сообщества.

В Ассамблеях, Корпорациях, Товариществах, Школах, Академиях и им подобных собраниях пронырливые посредственности постепенно достигают господствующего положения благодаря грубой, низменной предприимчивости и той особой ловкости, до которой не опускаются умы широкие и благородные.

Воображение питают лишь непосредственные переживания, неповторимые для каждого, ибо они зависят от индивидуального склада и наклонностей человека.

Из всех видов республик только республика словесности состоит из людей истинно свободных, ибо в нее входят одинокие мыслители, творящие порознь и часто вовсе незнакомые друг другу.

Поэты и Художники — вот кому единственно даровано счастье исполнять свое назначение в одиночестве. Пусть

же они наслаждаются этим счастьем, радуются, что им не приходится растворяться в обществе, которое теснится вокруг любой знаменитости, наваливается на нее, присваивает ее, сдавливает, сжимает в объятиях и говорит о ней: Мы.

Да, воображение Поэта переменчиво, как воображение пятнадцатилетней девушки, впервые узнающей о любви. Воображением Поэта нельзя управлять, ибо оно не приобретается учением. Обрежьте ему крылья, и оно умрет.

Назначение Поэта или Художника состоит в том, чтобы творить, и все то, что ими сотворено, полезно, если вызывает в других восхищение.

Поэт показывает, чего он стоит, своими сочинениями; человека же, состоящего на службе у Власти, судят исключительно по посту, который он занимает. Счастье первому и горе второму, ибо у обоих мысль работает и идет вперед, но один стремительно достигает высот благодаря своему произведению, а другой вынужден подниматься постепенно, размеренно продвигаясь по ступеням карьеры да изредка пользуясь удачным стечением обстоятельств.

Быть одиноким и независимым в исполнении своей миссии.

III. Избегать нездорового, суетного самообольщения, вводящего в заблуждение разум, и употреблять всю силу воли, какая есть, чтобы отвратить свой взор от чересчур доступных предприятий активной жизни.

Ибо человек в минуты растерянности и уныния нередко поддается по лености ума искушению действовать, пробует подвизаться на ниве общественных интересов и видит, насколько это ниже его способностей и как просто на первый взгляд ему здесь завоевать превосходство. Так он сворачивает со своего пути, и если делает это часто, то в конце концов теряет его навсегда.

Нейтралитет одинокого мыслителя — это нейтралитет вооруженный, который в случае надобности может быть нарушен.

Он кладет руку на весы, и ее вес оказывается решающим. Он может подтолкнуть, а может и остановить мысль народов; он вдохновляет общественные движения или протестует против них, в зависимости от того, что велит ему пророческое видение будущего. Не все ли ему равно, как подставлять голову под топор, откинув ее назад или склонив вперед?

Он говорит слово, которое должен сказать, и становится свет.

Он говорит это слово нечасто и, пока оно еще звучит, он удаляется и погружается вновь в свою молчаливую работу, больше не думая о том, что совершил.

IV. Всегда хранить в памяти образы Жильбера, Чаттертона и Андре Шенье, выбранных наугад из тысячи их собратьев.

Ибо каждая из трех этих юных теней, оставаясь всегда перед вашим взором, будет стеречь одну из политических дорог, на которую вас может занести. Один милый призрак покажет вам свой ключ, второй — склянку с ядом, третий — гильотину. И каждый из них скажет: «На жизни Поэта тяготеет проклятье, но на имени его — благодать. Поэт, апостол вечно молодой истины, постоянно смущает человека Власти, апостола дряхлой лжи, ибо первому дано вдохновение, а второму лишь наблюдательность или живость ума; Поэт оставит по себе сочинение, где будет вынесен суд общественным событиям и их вершителям, и в тот миг, когда этих вершителей заставит навеки исчезнуть смерть, творец только начнет свою долгую жизнь. Следуйте же своему призванию. Ваше царство не от того мира, на который устремлен ваш взор, но от того, который пребудет, когда веки ваши сомкнутся.

Надежда есть величайшее наше безрассудство.

Чего ждать от мира, в который мы вступаем, заведомо зная, что нам предстоит увидеть смерть отца и матери?

От мира, где из двух любящих и живущих друг для друга людей один наверняка потеряет другого и увидит его смерть?»

Потом печальные тени соединят свои голоса в хоре, словно в священном гимне, ибо Разум говорит, а Любовь поет.

И вы услышите следующее:

О ЛАСТОЧКАХ

Посмотрите, как живут ласточки, такие же перелетные птицы, как и мы. Они говорят людям: «Защищайте нас, но не прикасайтесь к нам».

И люди испытывают перед ними, как и перед нами, суеверное благоговение.

Ласточки находят пристанище под мраморным фризом дворца и под соломенной кровлей хижины, но ни обитатель дворца, ни обитатель хижины не осмеливаются тронуть их

гнездо, ибо тогда навеки отпугнут птицу, приносящую счастье их жилищу, как приносим его мы землям тех народов, которые нас чтут.

Ласточки ступают по земле лишь в считанные мгновения, они парят весь свой век в небе так же легко, как дельфины плавают в море.

Если они и смотрят на землю, то лишь с высоты небосвода; деревья, горы, города, здания ничуть не возвышаются для них над долинами и ручьями, как для небесных взоров Поэта все, что ни есть на земле, сливается в единый шар, озаренный сверху лучами света.

Послушайте их и, если чувствуете вдохновение, напишите книгу.

Не надейтесь, что великую картину будут созерцать, а книгу читать в такой же обстановке и в таком же настроении, в каких они создавались.

Если вы написали книгу в одиночестве, в тиши и в раздумьях, то от души желаю вам, чтобы ее читали в раздумьях, в тиши и в одиночестве; но можете быть почти уверены, что ее станут читать на бульваре, в кафе, в экипаже, среди болтовни, споров, игр, звона бокалов и раскатов смеха, или вовсе читать не станут.

Если она будет оригинальна, то да сохранит вас Господь от жалких подражателей, от этой неисчислимой зловредной стаи неуклюжих обезьян, пачкающих все, к чему ни прикоснутся.

И в конце концов окажется, что вы произвели на свет книгу, которая, подобно всем человеческим творениям, содержащим, в сущности, всегда лишь вопрос и вздох, может, без сомнения, быть сведена к двум словам, которые никогда не перестанут выражать нашу судьбу, состоящую в вечном недоумении и скорби: «Почему?» и «Как жаль!»

41. Результаты консультации

На мгновение Стелло показалось, что он слышит самую мудрость. Все вздор! Его кошмар словно рассеялся; он невольно бросился к окну взглянуть на свою звезду, в которую так верил. У него вырвался громкий возглас.

Было светло. Бледный сырой рассвет прогнал с неба все звезды; оставалась только одна, у самого горизонта, но и она уже исчезала. Стелло почувствовал, как вместе с этими свя-

щенными для него лучами исчезают и его мысли. Ненавистные звуки дня уже начинали раздаваться за окном.

Он следил за последним прекрасным оком ночи и, когда оно закрылось, Стелло побледнел, упал, и Черный Доктор покинул его, погруженного в тяжелый, мучительный сон.

42. Конец

Такова была первая консультация Черного Доктора. Станет ли Стелло исполнять его предписание? Не знаю.

Кто такой Стелло? Кто такой Черный Доктор?

Этого я тоже не знаю в точности.

Не похож ли Стелло на некий образ чувства? А Черный Доктор на некий образ рассудка?

Мне только представляется, что, если бы мои сердце и разум принялись беседовать между собой на ту же тему, вряд ли они говорили бы иначе.

(Написано в Париже, в январе 1832 года)

ПРИМЕЧАНИЯ

Ф. Мориак.

ЖИЗНЬ ЖАНА РАСИНА

С. 18. *Квинтиллион* Марк Фабий (ок. 35 — ок. 96) — римский оратор и теоретик ораторского искусства.

...*благочестивого пьяницы Луи Расина*. — Луи Расин (1692—1763) был автором описательной поэмы «Религия» (1742). Его «Мемуары» (1747) — один из основных источников книги Мориака.

С. 20. *Пор-Руаяль*, женский монастырь неподалеку от Парижа, в долине Шеврез (осн. 1204), в первой половине XVII в. сделался центром янсенизма — религиозной доктрины, созданной голландским теологом Корнелием Янсением (1585—1638), автором изданного посмертно (1640) трактата «Августин» — комментария к трудам Блаженного Августина. Его последователем стал аббат Сен-Сиран (1581—1643), с 1636 г. духовник пор-руаяльских монахинь. С Пор-Руаялем были связаны миряне и духовные лица, разделявшие взгляды Янсения и Сен-Сирана — так называемые «отшельники», или «господа из Пор-Руаяля». Главной проблемой янсенизма был вопрос о свободе воли. Вслед за Блаженным Августином янсенисты полагали, что судьба человека предрешена еще до его рождения (этим янсенизм близок кальвинизму). Напротив, их основные оппоненты, иезуиты, развивая еретическое учение бретонского монаха Пелагия, с которым спорил Блаженный Августин, настаивали на том, что человек способен сам определять свою судьбу.

Все историки литературы, писавшие о Расине, пытались так или иначе решить вопрос о том, какую роль сыграли Пор-Руаяль и учение янсенистов в жизни Расина. В XVIII — первой половине XIX в. преобладала точка зрения, согласно которой все творчество Расина и вся его жизнь развивались под знаком Пор-Руаяля; только в конце XIX в. некоторые авторы (Ф. Брюнетьер, Ж. Леметр) попытались осмыслить противоречие между пор-руаяльским аскетизмом, с одной стороны, и жизнью и творчеством Расина — с другой. Об этом противоречии размышляет в своем романе и Мориак.

...*регистратор соляного амбара*... — Соляными амбарами называлась сеть королевских учреждений (осн. 1342), призванных решать спорные вопросы, касающиеся соляного налога, распределения соли и т. д.

С. 21 *...соблазну объяснить характер Расина смешением...* — Здесь и далее Мориак полемизирует с нашумевшей книгой А. Массона-Форестье «Вокруг неизвестного Расина» (1910), где традиционному образу «кроткого Расина» противопоставлен характер чувственный, жестокий, мстительный, честолюбивый, причем все эти черты объясняются франкскими корнями писателя.

...пророческий лебедь... — Лебедь издавна служит в литературе символом поэта (в основе образа лежит античная мифологема умирающего лебедя, который в минуту смерти взмывает вверх и издает последний крик).

...характерных для уроженцев Валуа... — Так, Г. Ларруме в книге «Расин» (1898) писал, что гармоничная и мягкая природа Ферте-Милона определила соответствующие черты поэзии Расина; напротив, Массон-Форестье, также выводивший характер драматурга из природы его родного края, назвал этот же пейзаж грубым и аскетичным.

Ковчег — ларец для хранения святых даров.

...гонимые янсенисты... — В 1638 г. кардинал Ришелье, считавший аббата Сен-Сирана мятежником, заключил его в Бастилию; с этим же были связаны и тогдашние гонения на пор-руаяльских «отшельников». Расин родился в декабре 1639 г.

С. 22. *Лансло* Клод (ок. 1615—1695) — французский педагог и лингвист, автор учебников латинского, греческого, итальянского и испанского языков (далее у лиц французского происхождения национальность не оговаривается); написал вместе с А. Арно так называемую «Граматику Пор-Руаяля» (1660).

Леметр Антуан (1608—1658) — один из первых «отшельников», автор «Апологии Сен-Сирана» (1642).

Серикур Симон Леметр де (1611—1650) — брат А. Леметра, служил в армии, затем вышел в отставку и, не обладая сам литературным талантом, посвятил себя переписыванию трудов собратьев-янсенистов.

Фонтен Никола (1625—1709) — янсенист, в 1664—1669 г. отбывавший наказание в Бастилии за свои религиозные убеждения; автор «Записок для истории Пор-Руаяля», напечатанных в 1736 г. в Утрехте.

Фронда — антиабсолютистское движение во Франции во время малолетства Людовика XIV и правления кардинала Мазарини (1648—1652).

Мать Анжелика — Арно Анжелика (1591—1661), в 1602 г., одиннадцати лет, стала настоятельницей Пор-Руаяля, реформировала жизнь в монастыре, сделав ее более суровой; привлекла в Пор-Руаяль Сен-Сирана, тем самым способствовав проникновению туда янсенизма. Анжелика приходилась сестрой Антуану Арно, прозванному «Великим Арно» (1612—1694), наиболее значительному янсенистскому теологу.

Амон Жак (1617—1687) — врач, принадлежавший к числу пор-руаяльских «отшельников», автор богословских трудов и меди-

цинских трактатов; в 1664 г., когда на «господ из Пор-Руаяля» посыпались очередные гонения, был отдан приказ о его аресте, однако ему удалось спастись; в последние годы жизни он лечил жителей прилегающих к Пор-Руаялю селений.

Гранж — ферма неподалеку от Пор-Руаяля, где с 1648 г. жили «отшельники»; там они занимались воспитанием и образованием порученных их заботам детей (так называемые «малые школы» Пор-Руаяля).

С. 24. *«Теаген и Хариклея, или Эфиопика»* — роман греческого писателя Гелиодора (III в.), послуживший образцом для галантно-авантюрных западноевропейских романов XVII-XVIII вв. Расин, скорее всего, читал его в классическом переводе Жака Амио (1547).

...солнце — око мира... земля сливается с небом... — Мориак упоминает третью и четвертую оду из цикла «Пейзаж, или Прогулки по Пор-Руаяль-де-Шан» (опубл. 1808).

С. 25. *Пусть Расин и не выучил наизусть огромный роман...* — по словам Луи Расина, Лансло дважды отнимал у Расина «Теагена и Хариклею» и бросал в огонь, поскольку романы считались неблагочестивым чтением. На третий раз Расин сам принес книгу наставнику и сказал, что теперь он знает ее наизусть.

«Письмо к автору „Мнимой ереси“ и „Духовидцев“ — полемическое сочинение Расина, вышедшее в свет в январе 1666 г. Расин спорил здесь с Пьером Николем (1625—1695), янсенистским моралистом, выпустившим в 1664—1666 гг. восемнадцать «Писем о мнимой ереси»; последние восемь писем имели подзаголовок «Духовидцы» и были направлены против одноименной анти-янсенистской комедии Жана Демаре де Сен-Сорлена (1595—1676).

...переводить... комедии Теренция... — перевод трех комедий римского драматурга Теренция (ок. 195—159 до н. э.) опубликовал в 1647 г. Исаак Леметр де Саси (1613—1684), брат А. Леметра, переводчик Библии на французский язык.

Господин де Саси... не в восторге от творений «мальши Расина». — Луи Расин приводит мнение Буало, который рассказывал, что Саси, сам занимавшийся переводами песнопений, хотел отвратить юного стихотворца от сочинительства, потому что увидел в нем опасного соперника.

Диоген Лаэртский (нач. III в.) — греческий писатель, автор сочинения «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов».

Филон Александрийский (21 или 28 до н. э. — 41 или 49 н. э.) — иудейско-греческий философ, создатель учения, составляющего промежуточное звено между язычеством и христианством.

Евсевий Кесарийский (260 или 265—338 или 339) — римский церковный писатель, автор «Церковной истории».

...несчастливых августинцев. — Так называли янсенистов, подражая трактату Янсения «Августин» (см. примеч. к с. 20).

С. 26 *...авторы, которые изображают... Расина хищником...* — здесь имеется в виду концепция Массона-Форестье и его последователей.

«Письма к провинциалу» Паскаля, направленные против иезуитов, выходили под псевдонимом Луи де Монтальт в 1656 г.; под одной обложкой напечатаны в 1657 г.

С. 27. *Перро* Шарль (1628—1703) — писатель, влиятельный благодаря покровительству министра финансов Кольбера, позже член Французской академии.

Шаплен Жан (1595—1674) — один из создателей Французской академии, поэт, теоретик классицизма.

«Амасия», «Влюбленный Овидий» — обе эти трагедии Расина до нас не дошли.

Театр Марс... *Бургундский отель...* — В середине XVII в. в Париже играли три крупные регулярные театральные труппы: Бургундский отель, первый регулярный парижский театр, основанный в конце XVI в.; театр квартала Марс (первоначально там давали только фарсы, но к середине XVII в. этот театр стал серьезным соперником Бургундского отеля) и театр Пале-Руаяля, руководимый Мольером.

С. 28 *...приключения Ариосто...* — Имеется в виду иронико-комическая поэма итальянского писателя Лудовико Ариосто (1474—1533) «Неистовый Роланд» (1516—1532).

...письмо Левассера... под самым носом у мужа... — этот эпизод изложен в письме Расина к Левассеру от 27 мая 1661 г.: «Прочтя, что Вы отправляетесь на выды, госпожа Витар вскрикнула, словно ей сообщили о Вашей смерти... Но затем выяснилось, что Вы желаете избавиться от известного ей одной тайного недомогания, чтобы получить к ней доступ...»

Элиаким... Иодай... — персонажи трагедии Расина «Гофолия», благочестивый отрок и первосвященник, его воспитатель.

...сонет в честь Мазарини... — До нас не дошел.

...легенду о мягком, кротком Расине... — Первым назвал Расина кротким (*tendre*) Буало в XXXI эпиграмме; всеобъемлющий смысл придал этому определению Луи Расин: «Кротким он родился <...> кротким он был перед Богом, когда возвратился к нему <...> кротким он был по отношению к Королю <...> всю жизнь он был кроток с друзьями, женившись, до конца дней своих был кроток с женой и со всеми детьми без исключения...» Первым, кто пересмотрел эту легенду, разглядев в характере Расина не только кротость, но и жестокую страстность, был Ф. Брюнетьер.

С. 29. *Сенглен* Антуан (1607—1664) — духовник пор-руаяльских монахинь после Сен-Сирана.

...монахи, у которых я учился... — Мориак учился в Бордо, в лицее Гран-Лебрэн, где преподавали монахи ордена марианитов.

С. 31 *...в бумагах его старшего сына...* — Биографические заметки Жана Батиста Расина были впервые опубликованы в 1807 г.

Бенефиций — доход с церковной должности. Существовали бенефиции разного типа: некоторые из них могли получать только представители черного духовенства, то есть монахи; на некоторые же могли претендовать и миряне; оставаясь в миру, можно было сделаться приором (т. е. настоятелем) небольшого мужского монастыря. Именно такой бенефиций и получил позже Расин.

С. 33. *Кифера* — остров в Греции, посвященный Афродите; символ счастливой, беззаботной жизни.

Дофин — Луи де Франс, прозванный Великим Дофином (1661—1711), сын Людовика XIV и Марии Терезии Австрийской (1638—1683).

...*древние арены* — римский амфитеатр I в. (римская колония существовала в Ниме с конца I в. до н. э.).

...в «*Любви Психеи*»... — «Любовь Психеи и Купидона» (1669) — повествование в стихах и прозе, где миф о Психее и Купидоне, известный по «Метаморфозам» Овидия, обрамлен историей бесед и прогулок четырех друзей, чьими прототипами в XVIII—XIX вв. считались Лафонтен, Буало, Расин и Шапель (или Мольер). В XX в. эта точка зрения была отвергнута; специалисты полагают, в частности, что в Аканте, которого Мориак отождествляет с Расином, следует видеть не столько Расина, сколько самого Лафонтена.

С. 34. *В этом Стендаль согласился бы с ним...* — Стендаль принадлежал к поколению романтиков, которые ниспровергали Расина, видя в нем олицетворение мертвого, нежизнеспособного, устаревшего искусства классицизма; с другой стороны, любовь в произведениях Стендаля достигает того же трагического накала, что и в трагедиях Расина.

С. 35. «*Братья-соперники*» — первая дошедшая до нас трагедия Расина, в основу которой положена история сыновей Эдипа Этеокла и Полиника (греч. миф.). Они должны были править родными Фивами по очереди, но Этеокл отказался в положенный срок уступить престол брату.

С. 36. *Не в эпоху Вольтера и Руссо литератор впервые ощутил себя богом...* — Мориак имеет в виду своеобразный «литературоцентризм» французского XVIII столетия, когда литература постепенно взяла себе функции церкви, полностью подчинила общественное мнение и стала влиять не только на убеждения людей, но и на их образ жизни и чувствования.

Сент-Эньян Франсуа де Бовилье, граф, а затем герцог де (1607—1687) — аристократ, сам не чуждый литературных занятий, член Французской академии; ему Расин посвятил «Братьев-соперников».

...*Мольер согласился поставить...* — «Братья-соперники» были впервые сыграны на сцене Пале-Руаяля 20 июня 1664 г.

...*подражание Ротру и Сенеке...* — Жан Ротру (1609—1650) был автором трагедии «Антигона» (1637); у Сенеки (4—65) враж-

де Этеокла и Полиника посвящена трагедия «Финикиянки». Впрочем, сам Расин в предисловии указывает, что он опирался не столько на «Финикиянок» Сенеки, сколько на одноименную трагедию Еврипида.

С. 37 *...после первого представления...* — «Александр Великий» был сыгран на сцене Пале-Руаяля 4 декабря 1665 г., а на сцене Бургундского отеля — спустя две недели.

Госпожа де Плесси-Генего — приятельница Мари де Рабютен-Шанталь, маркизы *де Севинье* (1626—1696), прославившейся своими письмами к дочери, госпоже де Гриньян, изданными посмертно (1726).

Ларошфуко Франсуа, герцог де (1613—1680) — писатель-моралист.

Помпон Симон Арно, маркиз де (1618—1699) — дипломат, в 1670-е гг. государственный секретарь по иностранным делам.

Лафайет Мари Мадлен Пьош де Ла Вернь, графиня де (1634—1693) — писательница, автор психологического романа «Принцесса Клевская» (1678).

Шпель (наст. имя Клод Эмманюэль Люийе; 1626—1686) — писатель-либертен, друг Буало.

С. 38. *«Жеманницы»* — «Смешные жеманницы» (1659), комедия Мольера.

...Мольер женился на дочери женщины... — 23 января 1662 г. Мольер женился на Арманде Бежар, приходившейся дочерью (или сестрой) его любовнице актрисе Мадлене Бежар.

Фестис (VI в. до н. э.) — древнегреческий драматург, которому приписывают изобретение многих составных частей трагедии; по легенде, на его колеснице прибыла в Атику первая труппа странствующих актеров.

С. 40 *...несколько скверных трагедий.* — Последние трагедии Корнеля «Агесилай» (1666), «Аттила» (1667), «Тит и Береника» (1670) и «Сурена» (1674) успеха не имели.

С. 41. *...Боссюэ в письме к отцу Каффаро...* — Итальянский монах-театинец Франсуа Каффаро опубликовал в 1694 г. «Письмо», приветствующее театральные зрелища; теолог и проповедник Жак Бенинь Боссюэ (1627—1704) в ответном письме опроверг эту точку зрения, настаивая на пагубности спектаклей.

...что Янсений не писал Пяти положений... — В 1649 г. синдик Сорбонны Н. Корне извлек из трактата Янсения «Августин» пять положений о благодати, которые были в 1653 г. осуждены папой римским. Из них дословно совпадает с текстом Янсения всего одно, а остальные лишь резюмируют его доктрину.

...пикантную историю о капуцинах! — Однажды в Пор-Руаяль попросились на ночлег два капуцина; им подали на ужин белый хлеб и вино, но тут кто-то сказал, что они принадлежат к числу противников янсенизма, и мать Анжелика велела заменить белый хлеб хлебом поглубже, а вино — сидром. Однако утром выяснилось, что капуцины, напротив, относятся к янсенизму вполне

сочувственно, и им, к их большому удивлению, опять принесли хороший хлеб и хорошее вино.

С. 42. *Таллеман Франсуа, аббат* (1620—1693), член Французской академии с 1651 г., брат известного мемуариста Гедсона Таллемана де Рео.

С. 43 ...*в своей апологии... до публикации «Мыслей»...* — С 1657 г. Паскаль работал над «Апологией христианской религии», которая, однако, осталась незаконченной и была опубликована в составе «Мыслей» в 1670 г. Умер Паскаль в 1662 г.

...*царице горестной»...* — Цитата из VII Послания Буало «К г-ну Расину».

Жена брата короля — Генриетта Английская (1644—1670), жена Филиппа Орлеанского, дочь английского короля Карла I.

Мария Манчини (1640 — ок. 1706—1715) — племянница кардинала Мазарини, в юности — возлюбленная Людовика XIV.

...*уставшим от жизни старцем...* — речь идет о Корнеле; история этого состязания подробно описана Мориаком ниже.

...*осудила госпожа де Севинье..* — Севинье писала дочери 15 января 1672 г.: «Баязид» неплох, но в конце кое-что не в порядке», а 16 марта 1672 г. продолжала эту мысль: «Развязка нехороша: неясны причины этой огромной резни».

С. 44—45... *создание характеров... возвращает публике то, что получил от нее...* — В начале своей книги «Характеры, или Нравы нынешнего века» (1688) Жан де Лабрюйер (1645—1696) писал: «Я возвращаю публике свой долг: ей я обязан тем, что составляет предмет этой книги».

С. 45. *Валенкур Жан Батист Анри де Труссе де* (1653—1730), литератор, друг Буало и Расина; посвятил памяти Расина мемуарное «Письмо к аббату д'Оливе».

...*о свидетельстве госпожи де Севинье...* — Это письмо госпожи де Севинье вряд ли может служить подтверждением мысли о том, что в жизни Расина сыграли важную роль какие-то другие женщины, кроме Дюпарк и Шанмеле; перед процитированной у Мориака фразой в письме госпожи де Севинье от 16 марта 1672 г. стоит: «Расин пишет пьесы для Шанмеле — но не для грядущих веков», — Севинье, следовательно, имела здесь в виду Шанмеле, и только ее.

С. 46. *Сент-Эвремон Шарль де Маргетель де Сен-Дени де* (1615—1703) — моралист и литературный критик; из-за своих выступлений против Мазарини в 1661 г. был вынужден покинуть Францию и до самой смерти жил в Лондоне.

С. 47 ...*пародию Сюблиньи...* — Полное название этой пьесы «Безумный спор, или Критика „Андромахи“». Некоторые стилистические замечания Сюблиньи Расин учел в третьем издании трагедии (1676).

С. 48. *Вуазен* (наст. имя Катрин Десей, по мужу Монвуазен; ок. 1640—1680) — авантюристка, сожженная по обвинению в колдовстве и отравлениях.

«Сутяги» были поставлены в октябре или ноябре 1668 г.

Скарамуш (наст. имя и фам. Тиберио Фиурелли; 1608—1698) — итальянский комический актер.

С. 49 ...*в духе Аристофана*. — В предисловии к своей комедии Расин отмечал, что она многим обязана комедии древнегреческого драматурга Аристофана (ок. 445 — ок. 385 до н. э.) «Ось» (422 до н. э.).

...*год постановки «Британика»* — Трагедия была впервые сыграна 13 декабря 1669 г.

Бурсо Эдм (1638—1701) — драматург и поэт, литературный противник Мольера и Буало.

С. 50 ...*никого не удивили ни Агриппина, ни Нерон...* — Сюжет «Британика» восходит к «Анналам» римского историка Тацита. Агриппина Младшая, четвертая жена императора Клавдия (10 до н. э. — 54 н. э.), отравила мужа, чтобы императором стал ее сын Нерон (37—68). Однако законным наследником престола является сын Клавдия от третьей жены, Британик, поэтому Нерон отравляет его (в трагедии Расина вражда Нерона и Британика усугубляется тем, что Британик любим Юнией, к которой равнодушен Нерон). *Нарцисс* — вольноотпущенник, воспитатель Британика и наперсник Нерона, вдохновляющий его на черные дела. *Бурр* — воспитатель Нерона, честный и прямодушный человек. *Локуста* — знаменитая отравительница.

...*историю Береники...* — История любви римского императора Тита (39—81) к иудейской царице Беренике заимствована из «Жизни двенадцати цезарей» римского историка Светония. Сам Расин, монтируя две фразы Светония, излагает ее в предисловии следующим образом: «Тит, страстно влюбленный в Беренику и даже, как говорят, обещавший жениться на ней, усладал ее из Рима против своего и ее желания с первых же дней прихода своего к власти».

...*у Буало не нашлось для нее доброго слова*. — По словам Л. Расина, все друзья его отца считали сюжет «Береники» неподходящим для трагедии, а Буало сказал, что, будь он рядом с Расином в тот момент, когда Генриетта Английская посоветовала ему писать на эту тему, он помешал бы Расину дать согласие.

С. 51 ...*как рассказывает Лафонтен...* — Имеется в виду начало стихотворной новеллы «Бельфегор», посвященной Шанмеле.

Клермон-Тоннер Франсуа де (1629—1701) — епископ и граф Нуайонский, поэт, член Французской академии.

С. 52. *Андре Жид* (1869—1951) откровенно писал о своих противоестественных склонностях в автобиографических сочинениях (роман «Если зерно не умрет», 1920, эссе «Коридон», 1911).

«*Баязид*» был сыгран впервые 5 января 1672 г. *Роксана* — фаворитка султана Мурада, который поручил ей в его отсутствие убить его брата Баязида. Роксана, влюбленная в Баязида, предлагает ему жениться на ней, а Мурада свергнуть. Баязид любит

Аталиду, но, чтобы спасти себе жизнь, соглашается на предложение Роксаны. Однако та разгадывает тайну влюбленных; по ее приказу Баязида убивают, после чего посланник Мурада закалывает саму фаворитку.

...*должность государственного казначея*... — В обязанности казначеев финансовых округов входил разбор дел, связанных с финансами, рубкой леса, дорогами и т. д.

Великий Конде — прозвище Людовика II де Бурбона, четвертого принца Конде (1621—1686), прославленного полководца.

Мортемары — Габриэль, маркиз, а затем герцог де Мортемар (1600—1675), с 1669 г. комендант Парижа, известный политический деятель и не менее известный светский остроумец, и его дети: сын Луи Виктор, граф де Вивонн (1636—1688), маршал Франции, друг Буало и Мольера, и дочери — Франсуаза Атенаис де Рошешуар де Мортемар, *маркиза де Монтеспан* (1641—1707), фаворитка Людовика XIV (предшественница госпожи де Ментенон) и маркиза *де Тианж*.

Шеврез Шарль Оноре д'Альбер, герцог де (ум. 1712) — один из высокопоставленных светских покровителей Расина; ему посвящен «Британик».

Кольбер Жан Батист (1619—1683) — суперинтендант финансов, занимавший также другие важные должности; в 1660—1670-х гг. — одно из первых лиц во французском государстве; ему посвящена «Береника».

С. 53. *Ламот Ле Вайе* Франсуа де (1588—1672) — философ, воспитатель Людовика XIV.

Флешье Эспри (1632—1710) — проповедник, известный своим красноречием.

...*создана «Ифигения»*. — Премьера состоялась 18 августа 1674 г.

Франш-Конте — историческая провинция на юго-востоке Франции, долгое время принадлежавшая графам Бургундским, а затем перешедшая к испанским Габсбургам. Людовик XIV завоевал ее в ходе войны с Нидерландами (1672—1678), где против Франции выступали также Испания и «Священная Римская империя».

Фелисьен Андре дез Аво и де Жаверси (1619—1695) — историкограф, архитектор и теоретик искусства.

...*по знаменитой эпиграмме*... —

Леклерк, поэт великий, и Кора,

Такой же гений, как его приятель,

Не поделили общего добра

И спорили, кто оно создатель.

«Мое!» — твердит Леклерк; Кора в ответ:

«Лжешь, «Ифигения» — моя заслуга!»

Но наконец пьеса вышла в свет —

И отреклись от бедной оба друга.

(Пер. М. Квятковской).

Кора Жак де (1630—1677) — поэт, автор поэм на библейские сюжеты, одну из которых высмеял Буало в «Поэтическом искусстве»; *Леклерк Мишель де* (1622—1691) — драматург, с 1662 г. член Французской академии. «Ифигения» Кора и Леклерка была впервые представлена 24 мая 1675 г. и после пяти представлений исключена из репертуара.

Филипп Жюльен Манчини, герцог Неверский (1639—1707) — именитый придворный, племянник Мазарини, занимался стихотворством и выпустил несколько книг; он считается прототипом знатного и бездарного поэта Оронта из пьесы Мольера «Мизантроп».

Герцогиня Буйонская (урожд. Манчини) Мария Анна (1649—1714) — хозяйка литературного салона, меценатка.

Дезюльер Антуанетта де Лижье де Лагард (1637—1694) — поэтесса, хозяйка литературного салона.

...опасными противниками... — Если прежде против Расина выступали в основном сторонники Корнея, то теперь его противниками были прежде всего аристократы-придворные, недовольные сближением драматурга с Кольбером, финансовая политика которого их не устраивала. Что же касается Жака Прудона (1644—1698), то он считал, что его трагедия «Тамерлан», поставленная за год до «Федры», провалилась стараниями Буало и Расина, и потому хотел отомстить.

С. 54 *...удалось поставить свою «Федру»...* — Премьера состоялась 1 января 1677 г.

...герцогиня Буйонская... сняла... залы... — По данным французских исследователей, легенда о том, что зал театра Пале-Руаяль был снят герцогиней Буйонской, документально не подтверждается.

Гийераг Габриэль де Лавернь, съёр де (1628—1685) — писатель и дипломат, автор эпистолярного романа «Португальские письма» (1669).

Бюсси-Рабютен Роже (1618—1693) — писатель; значительную часть его наследия составляют письма, замечательные своим стилем.

Отец Брюлар — Фабио Брюлар де Силлери (1655—1714), епископ Авраншский, эрудит, ставший позднее членом Академии надписей и Французской академии.

...как грозился герцог Неверский... — Герцог Неверский ответил на сонет друзей Расина третьим сонетом на те же рифмы, где пригрозил избить обоих поэтов.

С. 56 *...беспомощность Ореста... ничтожность Гермiony...* — Сюжет «Андромахи» таков: царь Эпира Пирр влюблен в свою пленницу троянку Андромаху, вдову Гектора, а Орест, посланный греками, чтобы забрать у Пирра Астианакса, малолетнего сына Гектора и Андромахи, влюблен в невесту Пирра Гермiony, которая забыта Пирром, но продолжает любить его. Гермiona приказывает Оресту убить Пирра, а когда тот выпол-

няет приказ, в отчаянии кончает с собой, после чего Орест сходит с ума.

С. 58. *Акомат* — персонаж «Баязида», визирь султана, интриган.

С. 59. *Люксембург* Франсуа Анри де Монморанси-Бутвиль, герцог де (1628—1695) — маршал Франции.

«*Митридат*» был поставлен в январе 1673 г. Сюжет трагедии таков: царь Понта Митридат влюблен в греческую принцессу Монику; в нее же влюблены его сыновья Фарнак и Кифарес, и второму из них она отвечает взаимностью. Митридат заключает обоим под стражу, но Фарнак убегает из тюрьмы и поднимает восстание против отца, Кифарес же встает на защиту царя. Митридат погибает, но перед смертью благословляет союз Кифареса и Моники, которая незадолго до этого, думая, что Кифарес убит, чуть было не приняла яд.

Данжо Филипп де Курсийон, маркиз де (1638—1720) — мемуарист, автор придворной хроники последних лет царствования Людовика XIV, опубликованной в XIX в.

Карл XII (1682—1718) — шведский король с 1697 г.

Принц Евгений — Евгений Савойский-Кариньян (1663—1736) — австрийский фельдмаршал.

...копия с античного образца. — Расин опирался на трагедию Еврипида «Ифигения в Авлиде» (405 г. до н. э.).

С. 60. *Ренар* Жюль (1864—1910) — писатель; дневник, который он вел с 1887 г. до смерти, был опубликован в 1927 г.

С. 61. *Броссет* Клод (1671—1743) — филолог, друг Буало, публикатор и комментатор его сочинений.

С. 62. *Религиозный дух... которым начали щеголять придворные подхалимы...* — Благодетельство стало насаждаться при дворе Людовика XIV с конца 1680-х годов в угоду фаворитке короля госпоже де Ментенон.

Федру гнетет бог Сен-Сирана. — Ниже Мориак разъясняет этот тезис подробнее, показывая, что Федра преступна лишь с точки зрения аскетичной религиозной морали. Мысль о том, что по сути дела изображенная Расином Федра — грешащая и кающаяся христианка, высказал еще в самом начале XIX в. Ф. Р. де Шатобриан, однако вопрос о янсенизме Федры обсуждался на протяжении всего XIX в. и до сих пор так и не может считаться окончательно решенным.

С. 63. «*Нет, похвалы не пусты...*» — Британик, д. 4. сц. 4. «*Огненная палата*» — специальный суд, созданный в 1679 г. по приказу короля для разбора дел об участвовавших в отравлениях.

Лува Франсуа Мишель Ле Телье, маркиз де (1639—1691) — государственный секретарь по военным делам, один из влиятельнейших чиновников при дворе Людовика XIV, соперник и противник Кольбера.

С. 64. ...копирующая Еврипида (и Сенеку)... — Древнегрече-

ский и римский драматурги, упомянутые Мориакон, были авторами трагедий о Федре.

Арикия — царевна из афинского царского рода; она любит Ипполита, сына афинского царя Тесея и амазонки Антиопы; его же любит жена Тесея Федра, дочь критского царя Миноса и Пасифаи, воспылавшей противоестественной страстью к быку.

С. 67 ...*среди безводных пустынь*. — Реминисценция из трагедии Расина «Гофолия» (д. 1, сц. 1); «И наступала сушь, и люди и земля В течение трех лет от жажды изнывали».

«*Поливект*» (1641) — трагедия П. Корнеля (1606—1684), в основу которой положена история христианского мученика Поливекта, не пожелавшего предать свою веру.

С. 68 ...*неотступно преследовала Пруста...* — Одна из центральных тем цикла романов М. Пруста (1871—1922) «В поисках утраченного времени» (1913—1922) — ход времени и работа человеческой памяти.

С. 69. «*Аттила*», «*Агесилай*» — см. примеч. к с. 40.

С. 70 ...*как писал Паскаль шведской королеве...* — В июне 1652 г. Блез Паскаль послал шведской королеве Христине (1626—1689) изобретенную им арифметическую машину, приложив к ней сопроводительное письмо-посвящение.

С. 71. *Фенелон* Франсуа де Салиньяк де Ламот (1651—1715) — теолог, проповедник, писатель.

...*преступления, которое король именовал «пособничеством»*. — Вся вторая половина XVII в. и первые годы XVIII в. во Франции прошли под знаком борьбы Людовика XIV с янсенизмом. В 1661 г. король заставил всех янсенистов подписать бумагу, в которой их взгляды, осужденные папскими буллами 1653 и 1656 гг., признавались ошибочными; однако монахини Пор-Руаяля отказались отречься от своей веры. В 1669 г. благодаря вмешательству папы Климента IX наступило временное «перемирие» между королем и янсенистами, но в 1679 г. преследования возобновились. В 1709 г. монахинь изгнали из Пор-Руаяля, а монастырь разрушили.

С. 73. *Кино* Филипп (1635—1688) — драматург, прославившийся своими либретто к операм Ж. Б. Люлли, придворного композитора Людовика XIV.

...*из предисловия Буало...* — Имеется в виду предисловие к фрагментам этой оперы (опубл. 1713).

...*настоятельница монастыря Фонтэвро...* — Этот смешанный монастырь (осн. в XI в.), в котором женской и мужской общиной управляла настоятельница очень высокого происхождения, имел обширные владения, где располагались подчиненные ему мелкие монастыри. В 1670-х гг. настоятельницей его была госпожа де Рошешуар де Мортемар, сестра госпожи де Монтеспан; две трети перевода «Пира» Платона (опубл. в 1732 г. аббатом д'Оливе без согласия сыновей Расина) принадлежат ее перу, и лишь одна треть — перу Расина.

...мать Сент-Тэкл, настоятельница Пор-Руаяля... — Тетка Расина стала настоятельницей позже, в 1690 г.

Герцог Мэнский — Луи Огюст де Бурбон (1670—1736), сын Людовика XIV и госпожи де Монтеспан.

С. 74 *...Менар удивляется.* — Имеется в виду обширная «Биографическая заметка» Ф. Менара, предваряющая подготовленное им первое «академическое» издание сочинений Расина (т. 1—8, 1865—1873) — основной (наряду с мемуарами Л. Расина) источник сведений Мориака о Расине.

...то, что Паскаль называл «автоматом»... — Паскаль писал в «Мыслях» (252 по классификации Бруншвига), что человек может уверовать, если проповедник будет апеллировать не только к его разуму, но и к его житейским привычкам, «бренной плоти» — то есть «автомату».

С. 75 *...идеи Фрейда...* — Австрийский психиатр Зигмунд Фрейд (1856—1939) придавал большое значение изучению либидо (сексуального влечения) на разных возрастных стадиях, начиная с младенчества.

С. 78. *Торси* Жан Батист Кольбер, маркиз де (1655—1748) — племянник Кольбера, с 1696 г. государственный секретарь по иностранным делам.

С. 80 *...если бы их патриотизм сочли ересью.* — Имеются в виду идеи галликанства — религиозно-политического движения, сторонники которого добивались автономии французской католической церкви от папства. Галликанство в XVII-XIX вв. неоднократно осуждалось Ватиканом.

Квиетизм — религиозно-этическое учение, созданное испанским теологом XVII в. Мигелем де Молиносом и проповедовавшее пассивную «чистую» любовь к богу. Во Франции основными проповедниками квиетизма, осужденного в 1687 г. папой Иннокентием XI, были мистическая писательница госпожа де Гийон и Фенелон (см. примеч. к с. 71); в 1693 г. оба они впали в немилость и подверглись преследованиям из-за своих религиозных убеждений.

Отей — местность в районе Булонского леса (ныне — часть Парижа, а в XVII в. — его пригород), где находился загородный дом Буало.

С. 81 *...во время последней войны...* — Имеется в виду первая мировая война.

...воюющего в Нидерландах и Люксембурге... — Война с Нидерландами шла в 1672—1678 гг.; военные действия на территории Люксембургского герцогства шли в ходе войны с Аугсбургской лигой (1688—1697); лигу составляли Англия, Испания, Нидерланды, Швеция и некоторые германские княжества.

Сегре Жан Реньо де (1624—1701) — поэт.

...при осаде Гента... — Гент был осажден в ходе Фландрской кампании 1678 г. и сдался 12 марта.

С. 82. *Кавуа* Луи д'Оже, маркиз де (1640—1716) — офицер королевской гвардии, ловкий царедворец, любимец женщин.

Скюдери — либо Мадлен де Скюдери (1607—1701), писательница, автор галантно-авантюрных романов, либо Жорж де Скюдери (1601—1667), поэт, ее брат.

Флерюс — селение на территории Эно, исторической провинции Бельгии, где 1 июля 1690 г. маршал Люксембургский разбил войска Аугсбургской лиги.

Монс — город на территории Эно, капитулировал 8 апреля 1691 г.

С. 84. *Сен-Сир* — школа, созданная в 1686 г. госпожой де Ментенон для воспитания бедных девиц благородного происхождения.

...рассказ об участии Есфири... — Сюжет «Есфири», почерпнутый из Ветхого завета, таков: персидский царь Артаксеркс прогоняет свою жену Астину и женится на Есфири, не зная, что она еврейка; от своего дяди Мардохея Есфирь узнает о том, что Артаксеркс, поддавшись уговорам царедворца Амана, собирается уничтожить ее соплеменников; тогда, рискуя жизнью, Есфирь открывает царю тайну своего происхождения и вымалчивает у него отмену его решения.

...на стороне принца Оранского... — Вильгельм III Оранский-Нассау (1650—1702), с 1674 г. правитель Нидерландов, с 1689 г. английский король, выступал против Людовика XIV на стороне Аугсбургской лиги.

С. 87 *...потревожить его покой.* — Когда Пор-Руаяль был разрушен, родственникам людей, похороненных там, было приказано перенести их прах в другое место, поэтому 2 декабря 1711 г. останки Расина были перенесены в церковь Сент-Этьен-дю-Мон в Париже.

Он заимствовал Гофолию из Библии... — Заглавная героиня трагедии — дочь израильского царя Ахава и царицы Иезавели, поклоняющихся тирскому божеству Ваалу, и жена иудейского царя Иорама из династии Давида; когда родители Гофолии и сын ее Охозия были убиты по воле бога, она в отместку истребила всех потомков Охозии, дабы известить род царя Давида. Однако первосвященник Иодай спас и спрятал в храме внука Гофолии, Иоаса. Гофолия, напуганная сном, в котором ей привиделся юный Иоас, начинает розыски, дважды приходит в храм и во второй раз попадает в ловушку — по приказу Иодая ее убивают.

Бернар Сара (наст. имя Розина; 1844—1923) — актриса. Она сыграла «Гофолию» в 1920 г.

С. 88. *Авенир* — один из военачальников иудейских царей.

Екатерина Медичи (1519—1589) — французская королева, жена Генриха II, после его смерти регентша при малолетнем Карле IX. Мориак перечисляет цариц, отличавшихся «мужским» — решительным и властным — характером.

С. 89. *Матфан* — персонаж «Гофолии», священник-вероотступник, жрец Ваала.

С. 91. *Захария* — сын Иодая, пророк, которого Иоас впоследствии убил; это отступничество Иоаса и предсказывает Гофолия.

...как она обошлась с Фенелоном... — Фенелон впал в немилость из-за того, что проповедовал квиетизм (см. примеч. к с. 80).

С. 92. *Фуше Жозеф* (1759—1820) — в 1799—1809 гг. начальник полиции.

...трогательные рассуждения о несчастном народе... — Об этой записке рассказывает в своих мемуарах Л. Расин; никаких документов, подтверждающих его рассказ, не сохранилось, и современный комментатор считает его маловероятным.

С. 93. ...должен был появиться на свет Жан-Жак Руссо. — Вероятно, Мориак называет здесь имя Руссо, поскольку тот был одновременно и большим писателем, и оригинальным политическим мыслителем.

...об уменьшении налога на должность... — За должность королевского секретаря Расину пришлось заплатить 50 тысяч ливров; сумма была для него очень велика, и ему пришлось влезть в долги; поэтому, когда король неожиданно обложил эту должность налогом, Расин попросил избавить его от дополнительного расхода.

С. 94 ...и стала я царицей... — Госпожа де Ментенон, чье благочестие с годами все больше и больше напоминало ханжество, настояла на том, чтобы после смерти королевы Марии Терезии (1683) король вступил с ней в тайный морганатический брак.

С. 95 ...славно позабавились, читая его. — Современный комментатор замечает, что мы не располагаем никакими фактами, свидетельствующими, что это письмо было отправлено.

«История Пор-Руаяля» — Рукопись Расина, которую он перед смертью вручил доктору Додару (см. у Мориака ниже); долгие годы судьба ее была неизвестна даже детям Расина; 1-я часть опубликована в 1742 г., 2-я — в 1767 г.

С. 96. *Марли, Фонтенбло* — загородные резиденции Людовика XIV.

...как можно больше времени проводить в Париже... — Основная резиденция короля была не в Париже, а в Версале.

Ло Джон (1671—1729) — шотландский финансист; для усиления хозяйственной активности открыл во Франции государственный банк, призванный спасти страну от банкротства, на грани которой она стояла; выпускал в обращение бумажные деньги, обеспеченные не золотом и серебром, а доходами от налогов, откупов, торговли и пр. Из-за спекуляций банк Ло обанкротился, а его создатель в 1720 г. был вынужден бежать из Франции.

С. 97. *Перрейв* Анри (1831—1865) — религиозный деятель, преподаватель истории церкви в Сорбонне.

Оливе Пьер Жозеф Тулье, аббат д' (1682—1768) — писатель и грамматик.

Понишартрен Луи Фелипо, граф де (1643—1727) — генеральный контролер финансов.

Тулузский Луи Александр де Бурбон, граф (1678—1737) — адмирал, сын Людовика XIV и маркизы де Монтеспан.

Д'Агессо Анри Франсуа (1668—1751) — главный адвокат, затем главный прокурор парижского суда.

С. 98 ...у изножья могилы господина Амона. — На самом деле Расина похоронили в головах этой могилы, так как у изножья не было места.

С. 99. «С трудом слагать...» — По словам Л. Расина, Буало впервые произнес эти слова, которые потом неоднократно повторял, познакомившись с текстом «Британика».

«Сид» (1636) — трагедия П. Корнеля.

С. 100 ...в споре с Перро... — Имеется в виду так называемый «Спор древних и новых» конца XVII — начала XVIII в. «Новые», которых возглавлял Шарль Перро, отстаивали превосходство культуры «века Людовика XIV», «древние», глашатаем которых был Буало, утверждали, что совершенство произведений искусства не зависит от накопленного человечеством опыта, и противопоставляли изысканной литературе XVII в. простоту античных поэм и пьес.

С. 101. «Духовные песнопения» были опубликованы в 1694 г. ...предаться во власть благодати... — Реминисценция из финала Песнопения третьего.

И вот Расин мечтает... — Ниже цитируется Песнопение второе «О счастье праведных и горе нечестивых».

С. 102. *Новалис* (наст. имя и фам. Фридрих фон Гарденберг, 1772—1801) — немецкий поэт-романтик. О связи характера и судьбы см. в его романе «Генрих фон Офтердинген» (гл. 6) и «Фрагментах» (Лит. теория нем. романтизма. Л., 1934. С. 137—138).

С. 105 ...случалось повторять бессмертную жалобу... — Ниже цитируется Песнопение третье «Жалоба христианина».

С. 106. *Монтерлан* Анри Миллон де (1896—1972) — прозаик и драматург, в юности правоверный католик, затем стал относиться к религии скептически.

С. 107 ...открытия исторической критики... Имеется в виду историческая критика евангелий в XIX в., связанная прежде всего с именем немецкого философа и историка Д. Штрауса, который увидел в Христе историческую личность и вскрыл мифологическую основу евангельских преданий.

С. 108. *Маритен* Жак (1882—1973) — современный католический философ-томист, христианский гуманист.

С. 109 ...поэма Луи... — Речь идет о поэме «Религия» (1742)

Ж. де Нерваль

ИСПОВЕДЬ НИКОЛА

Впервые — «Ревю де Де Монд», 15 августа, 1 и 15 сентября 1850 г.; затем вошло в сборник «Ясновидцы» (1852). По мнению исследователей творчества Нерваля, правильнее было бы дать этому сборнику название «Чудаки»: герои всех повестей, среди которых средневековый безумец Рауль Спифам, дерзкий авантюрист аббат де Бюкуа, писатель-мистик XVIII в. Жак Казот, шарлатан Калиостро и создатель неоязыческой философии, мыслитель начала XIX в. Квинтус Оклер, — люди эксцентрические.

С. 112. «Воспитанница» (1734) — комедия в прозе К. Б. Фагана (1702—1755), «Обманчивая наружность, или Светский человек» (1740) — комедия в стихах Луи де Буассе (1694—1757).

С. 115. *Я потомок императора Пертинакса...* — О Пертинаксе см. примеч. к с. 117. Родословную Ретифов составил дед писателя Пьер Ретиф, чтобы одернуть не в меру чванливых родственников своей жены. Никола Ретиф впервые опубликовал ее во втором издании своей книги «Жизнь отца моего» (1780); помещена она и во введении к «Мемуарам господина Никола» (т. 1—16, 1794) — основном источнике романа Нерваля.

...*В Голландском отеле...* — По разысканиям историков, описание праздника, происходившего в этом отеле, недостоверно. Нерваль здесь, как и во многих других местах романа, облагораживает Ретифа, ставя на место весьма откровенных описаний и истинных побуждений героя, подчас довольно низменных, описания и побуждения весьма возвышенные.

Пошероны — предместье Парижа, где в XVIII в. располагались многочисленные кабачки, любимые простым народом.

Гюс Аделаида (1733—1805) — актриса Французской комедии («Комеди Франсез»); *Арну Софи* (1740—1802) — певица; *госпожа Фавар* (урожд. Дюронсере; 1727—1772) — актриса Комической оперы, жена известного драматурга Ш. С. Фавара.

С. 116. «*Бледные огни*» — ария из оперы Ж. Ф. Рамо «Кастор и Поллукс» (1737); «*Служанка-госпожа*» (1733) — опера-буфф итальянского композитора Д. Б. Перголези (1710—1736), поставленная в Парижской опере в 1752 г.

Грекур Жан Батист Жозеф Виллар де (1683—1743) — поэт, автор эротических стихотворений; в том же жанре писал и *Роббе* де Бовезе (1714—1794); *Конта* Луи Франсуа, принц де (1717—1776) — полководец, меценат; *Пирон* Алексис (1689—1773) — поэт и драматург, остро слов; стихотворение, которое он читал, называлось «Ода Приапу».

С. 117 *...начал излагать историю своего рода...* — У Ретифа в «Мемуарах господина Никола» герой рассказывает в Голландском отеле свое приключение с Септиманией, которое Нерваль описывает ниже.

Пертинакс Публий Гельвий (126—193) — римский император в 193 г.; императором он был провозглашен после того, как *Коммод* (император в 176—192 гг.) был убит в результате заговора. Сам Пертинакс 28 марта 193 г. был также убит заговорщиками-преторианцами, которым он запретил заниматься грабежом и разбоем. Каракалла стал императором в 198 г. и правил до 217 г. Богач *Дидий Юлиан* вступил в переговоры с преторианцами после убийства Пертинакса и был провозглашен императором, но вскоре (1 июня того же 193 г.) был умерщвлен по постановлению Сената, и власть перешла к полководцу Септимию Северу.

...переводом имени его предка... — Латинское слово *pertinax* имеет значение «упрямый, упорный» — то же, что и французское слово *gétif*.

С. 118. *Прево Д'Экзиль* Антуан Франсуа, аббат (1697—1763) — автор «Подлинной истории кавалера де Грие и Манон Леско» (1731) и многих других романов. *Арно* — Бакуляр Д'Арно Франсуа Тома Мари де (1718—1805) — автор чувствительных романов; *Кребийон* Клод (1707—1777) — автор эротических и психологических романов.

С. 119. *Совет десяти* — секретный трибунал, в состав которого входили десять членов венецианского Большого совета.

...красавица *Геан* очень скоро умерла от чахотки... — На самом деле эта актриса умерла (в 1758 г., 25 лет от роду) от оспы.

С. 120. *Педро I Справедливый* (1320—1367) — португальский король с 1357 г., был прозван Справедливым за многочисленные реформы, направленные к улучшению жизни народа.

«*Философия господина Никола*» (т. 1—3, 1796) — книга Ретифа, где изложена его космогония.

...*Фурье*... многое позаимствовал из этой системы... — Мысль о сходстве учения утопического социалиста Шарля Фурье (1772—1837) с теориями Ретифа, возможно, была навеяна Нервалю статьей французского философа Пьера Леру «Восемь писем о фурьеризме» (1850), где Фурье обвинялся в «присвоении» системы Ретифа.

С. 121 ...*резни 2 сентября*... — Имеются в виду массовые убийства аристократов в сентябре 1792 г.

...*имели смелость описать самих себя*... — Имеются в виду следующие автобиографические произведения: «Исповедь» (397—401) средневекового теолога Августина Аврелия (354—430), «Опыты» (1580—1588) — Мишеля Монтеня (1533—1592), «Мемуары» (изд. 1717) Поля де Гонди, кардинала де Реца (1613—1679) и «О моей жизни» итальянского философа и математика Джероламо Кардано (1501—1576).

Фоблаз — герой романа Ж. Б. Луве де Кувре «Любовные приключения кавалера де Фоблаза» (1787—1789), *Вальмон* — герой романа П. Шодерло де Лакло «Опасные связи» (1782).

С. 124 ...*удод, соломонова птица*... — В повести «История Утренней царицы и Сулеймана, повелителя джиннов», вошедшей в

книгу Нерваля «Путешествие на Восток», удод, птица, наделенная неземной мудростью, помогает царице Савской узнать ее суженого.

Гете... приносил жертву Предвечному... — Гете описал это жертвоприношение в первой книге своего автобиографического сочинения «Поэзия и правда» (изд. 1811—1833). Нерваль хорошо знал творчество Гете; в 1828 г. он выпустил перевод первой части «Фауста».

С. 125. *Бисетр* — В XVII в. богадельня для солдат-инвалидов, затем госпиталь.

О «*Письмах к провинциалу*» Паскаля и о Николе см. примеч. к с. 25, 26. *Парис* Франсуа де (1690—1727) — дьякон-янсенист; на его могиле, где якобы совершались чудеса, с верующими делались истерические припадки; *Тиссар* Франсуа (ок. 1460—1508) — филолог, первым во Франции начавший издавать греческие и древнееврейские книги.

С. 126. *Аннат* Франсуа (1607—1670) — иезуит, духовник Людовика XIV, один из активнейших противников янсенизма; *Коссен* Никола (1583—1651) — иезуит, духовник Людовика XIII, автор нескольких незамысловатых религиозных сочинений.

Молинисты — последователи испанского иезуита Луиса Молины (1536—1600), оппоненты янсенистов в вопросе о предопределении (см. примеч. к с. 20).

Кенель Паскье (1634—1719) — автор «Нравственных размышлений о Новом завете» (оконч. изд. 1694), которые были запрещены церковниками из-за симпатии автора к янсенизму.

С. 127. *Проскомидия* — часть литургии, при которой готовят дары на жертвеннике для освящения.

С. 128. *Magnificat* — гимн деве Марии, исполняющийся в католической церкви во время вечера.

С. 133 *...читать часы...* — то есть произносить псалмы, стихи и молитвы, соответствующие данному времени дня.

С. 137. *Типография господина Парангона...* — Осерского типографа, у которого был в учении Ретиф, звали Франсуа Фурнье, но Ретиф, выведя своего бывшего хозяина и его жену Маргариту, урожденную Колле, в романе «Совращенный поселянин» под именами Парангона и Колетты Парангон, в дальнейшем именовал их так и в автобиографических произведениях.

Госпожа де Вильде (1640—1683 или 1692) — писательница, автор галантных романов.

С. 139. О «*Принцессе Клевской*» см. примеч. к с. 37.

«*Заира*» (1732) — трагедия Вольтера.

С. 140. *Годэ д'Аппас...* — Попытки исследователей творчества Ретифа установить личность этого человека не увенчались успехом, хотя прототипы всех других осерских персонажей «Совращенного поселянина» и «Мемуаров господина Никола» обнаруживаются довольно легко. Французский исследователь М. Шадурн в книге «Ретиф де Ла Бретонн, или Пророческий век» (1958)

высказал остроумную гипотезу, предложив считать этого персонажа демоном-искусителем, в которого верил Ретиф, вольнодумец, переставший верить в Бога, но допускающий существование дьявола. Что касается имени героя, то оно составлено из фамилии приятеля Никола, любвеобильного бакалейщика, к которой прибавлено «д'Аррас» в память о фривольной поэме аббата Дюлорана «Свеча из Арраса» (1765), весьма популярной в ту пору.

С. 141. *«Женщина как тень...»* — Эти слова А. де Мюссе поставил эпиграфом к первой песни поэмы «Намуна» (1832).

С. 142. *Тримальхион* — богатый вольноотпущенник, персонаж романа римского писателя Петрония (ум. 66) «Сатирикон».

«Сид» (1636) — трагедия П. Корнеля; *Химена* и *Родриго* — ее герои. Родриго вместо своего отца дерется на дуэли с отцом Химены и убивает его, но затем воинскими подвигами добывается руки своей возлюбленной.

С. 149. *Шолье* Гийом Амфри де, аббат (1639—1720) и *Лафар* Шарль Огюст, маркиз де (1644—1712) — поэты, авторы стихотворений в анакреонтическом духе.

С. 152 *...отравило ее последние минуты...* — Как и во многих других случаях, Нерваль излагает события более возвышенно, чем Ретиф; в «Мемуарах господина Никола» госпожа Парангон и после своего «падения» поддерживает с Никола вполне дружеские отношения; по Ретифу, она однажды поскользнулась, неся на почту письмо в Париж, к Никола, и это падение послужило причиной смерти. На самом же деле смерть ее была следствием родов (она родила седьмого ребенка).

С. 154. *«Кого Юпитер хочет превратить в раба...»* — У Гомера сходная мысль встречается в «Илиаде» (IX, 377); в той форме, которая сделалась пословицей, афоризм был впервые употреблен в латинском комментарии к Еврипиду Д. Бернса (1684).

Аньес Лебег успела опередить его... — На самом деле супруги окончательно расстались позже, а в Париж они переехали (по настоянию Аньес) вместе.

...свои первые романы... «Неверная жена»... — Ошибка Нерваля: этот роман, памфлет против своей жены, Ретиф выпустил в 1788 г., на тринадцать лет позже, чем «Совращенного поселянина».

С. 156. *«Драма жизни. Пьесы в тринадцати действиях и десяти отдельных пьесах для театра теней»* вышли в 1793 г.

С. 161 *...обнародовал в 1746 году...* — Ошибка Нерваля или опечатка; возможно, речь идет о 1757 годе, когда Ретиф рассказал о приключении с Септиманией в Голландском отеле (см. примеч. к с. 115).

С. 162 *...одного из его первых сочинений.* — Вероятно, имеется в виду «Порнограф» (1769), где Ретиф высказал свои соображения о том, как нужно реорганизовать жизнь публичных женщин.

Жанна I Неаполитанская (1326—1382) — королева Неаполя с 1342 г.

С. 167. *Кребийон-сын* — Клод Кребийон (см. примеч. к с. 118), сын известного драматурга Проспера Жюлио, сьера де Кребийона (1674—1762); *Вуазенон* Клод де Фюзез, аббат де (1708—1775) — автор фривольных романов.

С. 168 *...мушкетеры захотели ее отбить.* — В «Мемуарах господина Никола» эта история носит более прозаический характер: два знатных молодых человека задирали Никола на улице, он подрался с ними и был арестован, Зефира бросилась выручать его и простудилась по дороге. Вообще в «Мемуарах» отношения Никола и Зефиры не столь платоничны, и у них даже рождается дочь.

...засадим тебя в Шатле... — Здесь Шатле — одна из парижских тюрем (так называемый «Малый Шатле», разрушенный в 1782 г.).

С. 169 *...разогнать еретиков, слушавших его проповедь.* — Протестантизм во Франции был запрещен в течение почти всего XVIII столетия (запрет снят в 1787 г.).

С. 172. *Сара* — Эту историю Ретиф описал в романе «Последнее приключение сорокапятилетнего мужчины» (1783).

...одинадцати тысяч дев... — Это французское фразеологическое выражение, которое Нерваль употребляет здесь в буквальном смысле, восходит к легенде о мученичестве святой Урсулы, которая была убита вместе с девушкой по имени Ундецимила; это имя было принято (в переводе с латыни) за число «одинадцать тысяч», в результате стало считаться, что вместе со святой Урсулой погибло одинадцать тысяч дев.

С. 173 *...песенок из тех, что зовут «брюнетками»* — название объясняется тем, что в одной из этих песенок были слова: «Любовь моя, брюнетка, вечно ль мне страдать?»

С. 174. *Николе* Жан Батист (ок. 1710—1796) — директор театра, где выступали канатные плясуны, кукольники и дрессированные животные, а также игрались фривольные пьески; *Одино* Никола Медар (1732—1801) — актер и драматург, создатель театра «Амбигю-Комик», где дети разыгрывали пантомимы.

С. 175 *...пирог с запеченным бобом.* — Во Франции существовал обычай есть такой пирог в праздник Крещения или накануне в узком семейном кругу; тот, кому доставался боб, получал звание-Бобового короля (или королевы).

С. 179 *...был скромнее, чем Руссо...* — Никола сравнивает свой рассказ о любви к госпоже Парангон с рассказом Руссо о его любви к госпоже де Варанс в «Исповеди».

«Современницы» (т. 1—42; 1780—1783) — цикл рассказов Ретифа; Саре посвящен 50-й рассказ «Дочь моей хозяйки».

С. 191 *...Сирано, ученик Гассенди...* — Нерваль цитирует (с небольшой перестановкой слов) трагедию Савиньена де Сирано де Бержерака (1619—1655) «Смерть Агриппины» (1654), в пору

создания считавшуюся «безбожной»; *Гассенди* Пьер (1592—1655) — ученый и философ, сенсуалист.

Первый раз Никола женился... — Историю своей женитьбы на англичанке Ретиф описал в романе «Отцовское проклятие» (1780), а затем в пьесе «Национальный предрассудок» (1784). По всей вероятности, история эта вымышленна; во всяком случае, как Ретиф сам признается в «Современницах», отец не проклинал его.

С. 192. *«Быть может, это и было счастье?»* — Эта фраза, вложенная Нервалем в уста Ретифа, почти дословно совпадает с размышлениями повествователя в финалах двух повестей из сборника Нерваля «Дочери огня», «Сильвия» и «Октавия».

С. 194 *...он обвенчался с Жаннеттой...* — На самом деле, когда в 1794 г. Ретифа наконец развели с Аньес Лебег, Жаннетты Руссо уже не было в живых.

С. 196. *В устах Лоренса Стерна...* — Английский писатель Лоренс Стерн (1713—1768) строил романное повествование на обнажении литературной условности; в его прозе автор непринужденно беседует с читателем, обсуждая с ним достоинства и слабости героев, равно как и свои собственные. Стернианская манера повествования была очень популярна во французской литературе первой половины XIX в.; ей отдали дань и сам Нерваль в своих многочисленных эссе, которые он публиковал в периодической печати, и Альфред де Виньи (в манере Стерна написана в романе «Стелло» часть, посвященная Жильберу).

С. 197. *«Если девушка осмелится...»* — Цитата из первого предисловия к роману Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761). Впрочем, далее Руссо пишет, что погубит такую девушку отнюдь не книга, поскольку «зло было посеяно прежде».

«Самаритянка» — водонапорная башня, снабжавшая Париж водой в XVII — первой половине XIX в.

Ла Реньер — Гримо де Ла Реньер Александр Балтазар Лоран (1758—1838) — литератор и гастроном, известный своими мистификациями и эксцентрическими выходками. *Богарне* Фанни де, графиня (1738—1813) — поэтесса, хозяйка литературного салона, покровительница Ретифа в последние годы его жизни.

«Парижанки» (т. 1—4) вышли в 1787 г.; *«Провинциалки»* — книга «Год национальных дам» (т. 1—2; 1791—1794), имевшая подзаголовок «Истории девиц и женщин из французских провинций...»

С. 198 *...рассказать о его творческой жизни* — Нерваль следует примеру самого Ретифа, который в «Мемуарах господина Никола» вынес рассказ о своих произведениях в отдельный, XIV том.

...составил... календарь... — В XIII томе «Мемуаров господина Никола» Ретиф распределил всех людей, описанных в этой книге (преимущественно женщин) по числам года с 1 января по 31 декабря, чтобы ему было удобнее их вспоминать.

...две дочери... с мужем одной из них, Оже... — Старшая дочь Ретифа Аньес поддалась уговорам матери и вышла замуж за человека много старше себя, по фамилии Оже, оказавшегося садистом; когда Аньес убежала от мужа, он подал в суд на нее и на Ретифа (укрывавшего беглянку); суд, состоявшийся в 1786 г., вынес решение, предписывавшее Аньес жить у свекра; официальный развод она получила лишь в 1794 г. Эта история легла в основу романа Ретифа «Простушка Саксанкур» (1789). Вторая дочь, Марион, в последние годы жила вместе с Ретифом, и, как могла, заботилась о нем.

«Жизнь отца моего» вышла первым изданием в 1779 г. Русский перевод см. в кн.: Ретиф де Ла Бретонн Н. Свораченный поселянин. Жизнь отца моего. М., 1972.

С. 199. «Добротельное семейство» вышло в 1767 г. (т. 1—4).

С. 200 ...дань Ричардсону... — Романы английского писателя Сэмюэла Ричардсона (1689—1761), посвященные жизни буржуазных патриархальных семейств и резко отличавшиеся от фривольных французских романов, имели во Франции во второй половине XVIII в. огромный успех.

«...так же глупы, как в Парагвае». — Антиклерикальный выпад Ретифа в духе Вольтера, который в повести «Кандид» (гл. 14) осмеляет государство иезуитов в Парагвае, где «святые отцы владеют всем, а народ ничем».

...некоего Прогре... — Имеется в виду Жан Батист Нугаре (1742—1823), автор многочисленных романов и исторических компиляций, принимавший участие в сочинении «Мимोगрафа» Ретифа де Ла Бретонна. «Поэтикой оперы-буфф» Нерваль, по видимому, именуется книгу Нугаре «О театральном искусстве вообще, или <...> о древней и новой комедии <...> об опере-серии, опере-буфф и комедии с ариеттами, вкпе с философической историей музыки» (1769).

...Розы Помблен, в которую был влюблен отец Ретифа. — Эта история рассказана в «Жизни отца моего»; отец Ретифа влюбился в Розу, будучи в Париже, но по настоянию своего отца, деда Ретифа, женился на девушке из родных мест.

С. 201. «Люсиль» вышла в 1768 г.

Буре Этьен Мишель — с 1743 г. генеральный откупщик Людовика XV, очень богатый и расточительный. В повести «Племянник Рамо» (изд. в 1805 г. в нем. переводе, в оригинале — 1823) Дидро описал некоторые его причуды. В той же повести не раз упоминается и актриса Гюс (см. о ней выше, примеч. к с. 115), но вне связи с Буре (она пользовалась благосклонностью другого богача, генерального контролера финансов Бертена).

«Ножка Фанишеты» вышла в 1769 г. (рус. пер. 1774).

С. 202. «Порнограф» вышел в том же 1769 г.

...предвосхищает учение Фурье... — Ш. Фурье был проповедником свободной любви; он предлагал распределить людей на три любовные корпорации, в первую из которых будут входить тради-

ционные супружеские пары, во вторую — «дамузели», редко меняющие свои привязанности, в третью — «галантные», чьи любовные правила не отличаются строгостью.

С. 203. *Иосиф II* (1741—1790) — император «Священной Римской империи» с 1765 г. Примечание Нерваля восходит к Ретифу, который, впрочем, принимал желаемое за действительное — на самом деле император не осуществлял его проектов.

«*Мимोगраф*» вышел в 1770 г.

...*достойные Дидро и Бомарше*... — Имеется в виду пропаганда «среднего» жанра — драмы (или мелодрамы), которую осуществляли эти драматурги, порывая с канонами классицистической трагедии.

...*переписка нот*... — Жан-Жак Руссо некоторое время вел жизнь обычного ремесленника, зарабатывая на хлеб перепиской нот, поскольку желал сохранить самостоятельность и не зависеть от богатых меценатов.

...*перепечатки без ведома и согласия автора*... — В XVIII в. автор не имел реальных прав на свои произведения, и любой издатель мог перепечатать книгу, пользуясь его известностью.

С. 204. «*Побочная дочь*» вышла в 1769 г., «*Письма дочери к отцу*» — в 1772 г., «*Продувная бестия*» — в 1776 г., «*Совращенный поселянин*» в 1775 г., «*Совращенная поселянка*» — в 1784 г., а не через три года после «*Поселянина*», как считает Нерваль; в том же году оба романа изданы под одной обложкой.

С. 205. «*Система природы*» (1770) — материалистическое и атеистическое сочинение просветителя Анри Гольбаха (1723—1789).

Дюпон де Немур Пьер Самюэль (1739—1817) — философ и экономист, автор «*Философии вселенной*» (1796), где утверждает, что миром правит любовь к ближнему.

Пернетти Антуан Жозеф (1711—1801) — бенедиктинец, последователь шведского мистика Э. Сведенборга; *Аржан*, маркиз д' (1704—1771) причислен к теософам напрасно, поскольку был, напротив, скептиком и вольнодумцем; *Делиль де Саль* (1741—1816) — автор «*Философии природы*» (1769), продолжающей традиции античного пифагорейства; *Эспремениль* Жан Жак Дюваль д' (1745—1794) — государственный деятель, разделявший модные в конце XVIII в. теории («животный магнетизм», общение с духами и проч.); *Сен-Мартен* Луи Клод де (1743—1803) — крупнейший французский теософ XVIII столетия.

С. 206. «*Андрограф*» (первонач. назв. «*Антропограф, или Обновленный человек*») вышел в 1782 г.; «*Гинограф*» — в 1776 г. «*Тесмограф*» был начат весной 1789 г. в связи с началом Великой французской революции и издан в конце этого года; «*Глоссограф, или Реформа языка*» — неопубликованное сочинение, отрывки из которого Ретиф включил в XIV том «*Мемуаров господина Никола*» (все 16 томов этого произведения набраны уже по новой, весьма причудливой орфографии, которую предлагает писатель в «*Глоссографе*»).

С. 207 ...*роковым Ментором...* — Ментор — мудрый наставник, персонаж воспитательного романа Фенелона «Приключения Телемака» (изд. 1699).

С. 209. *Дора* Клод Жозеф (1734—1780) — один из самых плодотворных французских поэтов XVIII в., работавший в самых различных жанрах, в том числе в жанрах «легкой поэзии».

«*Французенки*» (т. 1—4) вышли в 1786 г.; «*Пале-Руаяль*» (т. 1—3) — в 1790 г.; «*Сорокалетний*» — в 1777 г.

«*Сыч*, или Ночной наблюдатель» — неопубликованное произведение Ретифа.

«*Новый Абельяр*, или Письма двух любовников, никогда не видевших друг друга» — книга Ретифа, вышедшая в 1773 г.

«*Физика*» — часть книги «Философия господина Никола». ...*прекрасная маркиза, с которой вел ученые беседы Фонтенель.* — В «Рассуждении о множественности миров» (1686) Бернар Ле Бовье де Фонтенель (1657—1757) объясняет читателю гелиоцентрическую систему в диалогах с некоей маркизой.

«*Летающий человек*» вышел в 1781 г.; точное название — «Южное открытие, сочинение летающего человека, или Французский Дедал» (рус. пер. 1936). В этом произведении, оконченном за три года до того, как братья Монгольфье изобрели воздушный шар, Ретиф описал полеты по воздуху, предсказав такие позднейшие изобретения, как трансатлантические перелеты в Америку, воздушные войны, повозки без лошадей и проч. Нерваль относился к утопиям и открытиям, связанным с воздухоплаванием, с большим интересом и посвятил им очерк «Наследники Икара» (1850).

С. 210 ...*пример Сирано.* — Имеется в виду книга Сирано де Бержерака «Иной мир, государства и империи Луны» (1657).

«*Отцовское проклятие*» вышло в 1780 г.; речь здесь идет не о Зефире, как пишет Нерваль, а о женитьбе Ретифа на англичанке.

С. 211 ...*полное собрание сочинений Вольтера.* — Так называемое «кельское» собрание сочинений в 70 томах Вольтера, изданное Бомарше, выходило в 1784—1789 гг.

С. 212. *Шевалье де Кюбьер* — Кюбьер-Пальмезо Мишель де (1752—1820), поэт и драматург.

Сенак де Мейян Габриэль (1736—1803) — государственный деятель, философ и литератор.

С. 213. *Мерсье* Себастьян (1740—1814) — писатель, близкий Ретифу и планами театральных реформ, и демократическими убеждениями; *Легран д'Осси* (1737—1800) — историк средневековья, выпустивший две книги об Оверни (историческая провинция Франции). Овернские горы и их история интересовали и самого Нерваля (он писал об этом 31 марта 1841 г. управляющему вопросами искусства И. Каве).

Монморанси-Лаваль Матье, герцог де (1766—1826) — политический деятель, в начале Революции выступил за отказ дво-

рянства от привилегий; затем эмигрировал, впоследствии был одним из крупнейших представителей ультрароялистской партии; *епископом Отенским* с 1788 г. был Шарль Морис де Талейран-Перигор (1754—1838), впоследствии знаменитый государственный деятель и дипломат; *Сийес* Эмманюэль Жозеф (1748—1836) — политический деятель, идеолог третьего сословия, впоследствии член Директории, затем соратник Наполеона.

С. 214. *Сен-Пьер* Шарль Иреней Кастель, аббат де (1658—1743) — автор сочинения «Проект вечного мира» (1713), где предложен проект союза нескольких европейских держав; состоящий при них совет должен был бы разрешать мирным путем любые конфликты.

...обменный банк... — Этот термин был предложен в 1848 г. мелкобуржуазным социалистом П. Ж. Прудоном.

С. 215. «*Парижские ночи*» (т. 1—8) вышли в 1788—1790 гг. (сокр. рус. пер. 1924).

...причуды... господина де Бюффона. — Естествоиспытатель Жорж Луи Леклерк де Бюффон (1707—1788), приступая к работе, всегда тщательно наряжался и надевал кружевные манжеты.

С. 216. *Бабёф* Грахх (наст. имя Франсуа Ноэль; 1760—1797) — революционер, проповедник равенства, в 1796 г. организатор заговора против Директории.

Французский институт — совокупность пяти академий (осн. 1795).

С. 217. *Ламбеск!.. В Тюильри убивают!* — 12 июля 1789 г., за день до взятия Бастилии, Шарль Эжен Лотарингский, принц де Ламбеск (1751—1825), командир полка Королевской гвардии, зверски расправился с толпой в саду Тюильри.

Колло д'Эрбуа Жан Мари (1750—1796) — политический деятель и литератор, в 1792—1794 гг. активный сторонник Террора; «Поселянин-судья» — его комедия в прозе, поставленная 7 декабря 1789 г.; «Альманах отца Жерара» — патриотическое издание, которое он выпускал в 1791 г.

Мирабо Оноре Габриэль Рикетти, граф де (1749—1791) — деятель Великой французской революции; вначале активно способствовал ее развитию, а затем начал защищать интересы королевской семьи.

С. 218 *...волокут тело Бертье...* — 22 июля 1789 г. народ убил бывшего интенданта армии и флота Жозефа Франсуа Фуллона (1714—1789) и его зятя, интенданта Парижа Бертье де Савиньи (1739—1789).

...убить де Лоне и Флесселя... — 14 июля 1789 г. народ казнил коменданта Бастилии Бернара Рене Журдана, маркиза де Лоне (1740—1789) и купеческого старшину Парижа Жака де Флесселя (1721—1789).

17 июля 1789 г. король приехал в Париж из Версаля, где до

октября 1789 г. находилась его резиденция и заседало Национальное собрание.

Д'Артуа — Шарль Филипп де Бурбон (1757—1836), младший брат Людовика XVI, в 1824—1830 гг. французский король под именем Карла X; в июле 1789 г. одним из первых эмигрировал и возглавил вместе с Луи Жозефом де Бурбоном, принцем де Конде (1736—1818), также бежавшим из Франции в июле 1789 г., роялистскую эмигрантскую армию.

...Версаль 5 и 6 октября... — Имеется в виду поход парижских женщин на Версаль 5 и 6 октября 1789 г. с требованием, чтобы король утвердил демократические реформы, принятые Национальным собранием в августе 1789 г. Вследствие версальских событий королевская чета, двор и Национальное собрание переехали из Версаля в Париж, где находились под наблюдением революционного народа.

Герцог Орлеанский — Луи Филипп Жозеф де Бурбон, герцог Орлеанский (1747—1793), кузен Людовика XVI, претендовавший на трон или регентство и потому «флиртовавший» с революцией; его обвиняли в подготовке событий 5—6 октября.

Шатле — в данном случае военный трибунал в Париже, приступивший в октябре 1789 г. к рассмотрению версальских событий, но вскоре признанный неправомочным и упраздненный в ходе реформы судебного законодательства.

...мой брат — Мирабо Андре Бонифас Луи де Рикетти, виконт де (1754—1792), по прозвищу «Мирабо-бочка», известный своей любовью к спиртным напиткам; роялист.

...скопище дурных актеров... — Мирабо перечисляет политических деятелей и литераторов самых разных убеждений: *Демулен* Камиль (1760—1794) — революционный деятель, член клуба Кордельеров; *Дюрозуа* Барнабе Фармиан де (1745—1792) — литератор-роялист; *Руаю* Тома Мари (1741—1792) и его брат *Руаю* Жак Корантен (1745—1828) — литераторы-роялисты, издававшие в 1790 г. газету «Друг короля»; *Жоффруа* Жюльен Луи (1743—1814) — литературный критик, в годы Революции соавтор Руаю по газете «Друг короля»; *Понселен* Жан Шарль (1746—1828) — журналист и литератор, вначале сочувствовавший революционным идеям, а затем перешедший на более консервативные позиции; *Малле дю Пан* Жак (1749—1800) — швейцарский публицист, убежденный роялист; *Сотеро* де Марси Клод Сикст (1740—1815) — литератор без отчетливой политической позиции; *Нозль* Жан Франсуа Мишель (1755—1841) — дипломат и филолог, горячий сторонник Революции; *Ривароль* Антуан, граф де (1753—1801) — писатель и острослов, роялист. По всей вероятности, ирония Мирабо заключается в том, что всех этих деятелей эпохи Революции он представляет в «ролях» представителей третьего сословия — основной движущей силы революции.

С. 220. *Жан-Зубодробитель* — персонаж романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», монах-пьяница, блудодей и силач.

«...обманываю Далилу вместе с филистимлянами». — Далила — филистимлянка, возлюбленная героя ветхозаветных преданий Самсона; узнав от Самсона, что, если остричь ему волосы, он лишится своей невиданной физической силы, Далила предала Самсона его врагам-филистимлянам.

Мори Жан Сиффейн, аббат (1746—1817) — депутат духовенства в составе Генеральных штатов 1789 г., выступал в Национальном собрании против отнятия у духовенства привилегий; несмотря на возражения Мори и его единомышленников, 2 ноября 1789 г. был издан декрет, объявляющий все церковное имущество перешедшим в распоряжение нации.

Неккер Жак (1732—1804) — министр финансов Франции с полномочиями первого министра в 1777—1783 и 1788—1790 гг.; хотя представители разных политических лагерей возлагали на него большие надежды, его крайне умеренная политика не смогла вывести страну из глубокого финансового кризиса.

С. 221. *Шабо Франсуа* (1759—1794) — якобинец, член Конвента, из-за своей склонности к интригам навлекший на себя упреки из самых противоположных политических лагерей; в 1793 г. женился на дочери австрийского банкира и оказался замешан в сомнительных финансовых предприятиях; *Гранженев Жак Антуан* (1750—1793) — адвокат, жирондист, в начале Революции настроенный очень радикально, затем перешедший на более умеренные позиции.

С. 222. *Шапелье* — Ле Шапелье Исаак Рене Ги (1754—1794) — адвокат, в начале Революции ее активный сторонник, в 1791 г. перешел на сторону двора.

...бежать за границу... — Имеется в виду бегство в Варенн — попытка королевской четы бежать за границу в ночь с 20 на 21 июня 1791 г., окончательно дискредитировавшая короля в глазах народа; в городке Варенн Людовик XVI и Мария Антуанетта были узнаны и задержаны.

Шамийяр Мишель де (1651—1721) — министр финансов Франции в 1699—1708 гг.; *Ормессон Мари Франсуа Поль Лефевр, маркиз д'* (1710—1775) — с 1756 г. интендант финансов; финансовая политика обоих была крайне неудачной.

«Погребок» — кафе, где с 1737 г. (с перерывами) собирался кружок поэтов-песенников.

С. 223. *Празднество Верховного существа* состоялось по инициативе Робеспьера 8 июня 1794 г.; действенный культ Верховного существа должен был противостоять и традиционному католицизму и ультрареволюционному атеизму.

...Робеспьера свергли люди, которые были еще хуже. — Имеется в виду термидорианский переворот 27 июля 1794 г., свергнувший якобинскую диктатуру и положивший конец Великой французской революции.

...называет его духом согласия... — Мистическое толкование личности и судьбы Наполеона вызывало интерес самого Нер-

валя (в 1844 г. он посвятил ему статью «Мистическая литература»).

«*Письма из могилы*» (т. 1—4) — вышли в 1802 г.; *Казот* Жак (1719—1792) — писатель, герой одноименной повести Нерваля, вошедшей в состав «Ясновидцев». В отличие от Ретифа — «реалиста» и «коммуниста», Казот был роялистом и автором фантастических повестей, среди которых наибольший интерес представляет «Влюбленный дьявол» (1772). В повести о Казоте Нерваль, по-видимому, выразил те стороны своей творческой индивидуальности, которые не смогли найти органичного воплощения в рассказе о Ретифе де Ла Бретонне.

С. 224. *Сведенборг* Эммануэль (1688—1772) — шведский мистик, веривший в свою способность беседовать с духами умерших.

С. 225. «*Микромегас*» (1752) — рассказ Вольтера, где житель Сириуса беседует с жителем Сатурна и высмеивает самонадеянность земных ученых.

...*Энниево жемчужное зерно...* Энний Квинт (239—169 до н. э.) — римский писатель; автор эпической поэмы «Анналы», посвященной истории Рима от основания до II в. до н. э.; художественные достоинства стихов Энния оставляли желать лучшего, тем не менее Вергилий использовал некоторые его строки в «Энеиде» — по его собственным словам, извлек из Энниева навоза жемчужное зерно.

Сантей Жан де (1630—1697) — поэт, близкий к янсенистам, автор священных од и гимнов на латыни.

С. 226. *Фюретьер* Антуан (1619—1688) — писатель и филолог, автор «Мещанского романа» (1666) — пародии на галантно-авантюрные романы; *Обиные* Агриппа д' (1552—1630) — писатель, автор бурлескно-сатирического романа «Приключения барона Фенеста» (1617—1626).

Лагарп Жан Франсуа (1739—1803) — критик и историк литературы; *Фрерон* Эли (1718—1776) — критик, известный своей ожесточенной полемикой с Вольтером; *Фернейский старец* — прозвище Вольтера по названию его замка близ швейцарской границы, где он прожил последние двадцать лет жизни.

С. 227 *...выхлопотали ему доходное место...* — Ретиф служил в отделе перлюстрации министерства полиции в 1799—1803 гг., но затем отдел закрыли и материальное положение писателя снова ухудшилось.

...*Катаклизмы выбрасывают на поверхность...* — Финал книги автобиографичен; Нерваль воспринимал сходным образом и свое поколение, считая, что и оно также живет на распутье, в тщетных поисках себя и своего идеала. Мысль о том, что духовную сумятицу предреволюционной поры лучше других писателей XVIII столетия выразил Ретиф де Ла Бретонн, восходит, возможно, к «Письмам о фурьеризме» Пьера Леру, где есть и другие параллели с книгой Нерваля (см. примеч. к с. 120).

СТЕЛЛО, ИЛИ СИНИЕ ДЕМОНЫ

Впервые — «Ревю де Де Монд», 15 октября, 1 декабря 1831 г., 1 апреля 1832 г. Отд. и з д. — июнь 1832 г. «Стелло» — первая часть задуманного Виньи цикла «Консультации Черного Доктора»; вторая «консультация», «Дафнэ», в которой рассказ о римском императоре Юлиане Отступнике переплетается с размышлениями о вере и неверии в современном мире, была опубликована лишь посмертно, в 1912 г. Окончательное заглавие «Стелло» — «Первая консультация Черного Доктора. Стелло, или Синие демоны», однако первая часть не «прижилась» в сознании читателей и критиков, и роман более известен под заглавием «Стелло».

Основными источниками романа послужили вступительная статья Шарля Нодье (доброего знакомого Виньи) к изданию сочинений Жильбера 1817 г., стихотворение французского писателя Анри де Латуша «Поэт» (1825), посвященное Чаттертону, и вступительная статья того же Анри де Латуша к первому изданию сочинений Андре Шенье (1819). В повествовании о жизни Шенье писатель опирался, кроме того, на устные рассказы своих родителей и их друзей, а также на мемуары о Великой французской революции, которых к концу 1820-х гг. было опубликовано уже немало.

Имя заглавного героя образовано от латинского слова *Stella* — звезда (в поэзии Виньи звезда служит символом мудрости, любви и вдохновения). Среди возможных источников имени — поэма французского поэта Шарля Луазона (1791—1820) «Стеллино, или Новый Вертер» (1819), где, между прочим, оплакивается смерть Жильбера, Чаттертона и Шенье. Относительно имени второго героя, Черного Доктора, было выдвинуто обоснованное предположение, что это — антоним фамилии известного французского психиатра Эспри Бланша (1796—1852; по-французски *blanche* — белая). С другой стороны, черный цвет, цвет страшной действительности, противоположен свету звезды, то есть поэту Стелло; «реалист» Черный Доктор — это своего рода «тьнь» поэта.

Синие демоны — игра слов: французское *diabes bleus* — калька с английского *blue devils* — тоска, меланхолия; именно эта болезнь и мучает Стелло.

С. 231. *Лаццум* — историческая область в центральной Италии с Римом в центре. Сырыми ночами здесь легко было заразиться малярией.

С. 232. *Галль* Франц Йозеф (1758—1828) — австрийский врач, создатель френологии — теории о связях между формой черепа и умственными и моральными качествами человека.

...*действиям Ганнибала в Альпах.* — Карфагенский полководец

Ганнибал (247 или 246—183 до н. э.) совершил переход через Альпы в ходе Второй Пунической войны (218—201).

С. 234 ...*статуя Царя в Санкт-Петербурге...* — По-видимому, имеется в виду «Медный всадник», изваянный французским скульптором Фальконе и известный во Франции по многочисленным описаниям путешественников как своего рода символ Петербурга.

С. 235. *Собственность и Способность* — сен-симонистские термины. Последователи утопического социалиста Клода Анри де Сен-Симона (1760—1825) выступали против наследственной собственности и за передачу производства в руки тех, кто проявляет наибольшие способности к созидательной деятельности. Виньи на рубеже 1820—1830-х гг. внимательно изучал теории Сен-Симона и разделял многие его взгляды.

Терм — римское божество, олицетворение неподвижности, отождествленное с межевыми камнями. В стихотворении «Дом пастуха» (1844) Виньи, рассуждая о варварстве, до сих пор тяготеющем над человечеством, сравнивает всякого человека, пытающегося жить деятельной жизнью, с этим божеством, увязшим в земле на меже.

«*Книдский храм*» (1725) — поэма в прозе писателя и философа Шарля де Монтескье (1689—1755), слащавая и напыщенная.

С. 236. *Трианон* — название двух дворцов, построенных в XVII—XVIII вв. в Версальском парке.

Мадемуазель де Куланж — вымышленное лицо, собирательный образ фаворитки любвеобильного короля Людовика XV.

С. 237. *Парк-о-Серф* (Олений парк) — небольшой дворец в Версале, где Людовик XV принимал своих любовниц.

Сен-Сир — см. примеч. к с. 84.

С. 238. О *Вуазеноне* см. примеч. к с. 167. Вуазенон упомянут как представитель фривольной и даже скабрёзной линии в литературе XVIII в.; упоминание о его мемуарах — мистификация; впрочем, он оставил любопытные «Литературные анекдоты».

С. 239. О *Мишеле де Кюбьере* см. примеч. к с. 212. Он стал именовать Дора-Кюбьером, поскольку был очень дружен с известным поэтом, признанным мастером «легкой» поэзии Клодом Жозефом Дора (см. примеч. к с. 209).

С. 243. *Бомон*, Кристоф де (1703—1781), архиепископ парижский с 1746 г., противник янсенистов (см. об этом в «Исповеди Никола» Нерваля, с. 126) и энциклопедистов, в течение нескольких лет покровительствовал Жильберу и выплачивал ему пенсию, поэтому рассказ Виньи о встрече поэта и архиепископа вымышлен.

С. 245. *Д'Аламбер, изоцрненный педант...* — Неприязненное отношение Жильбера к энциклопедистам, выразившееся в его сатире «XVIII век» (1775), объясняется в первую очередь биографическими обстоятельствами: он приехал в Париж с рекомендательным письмом к Д'Аламберу, тот пообещал ему место учителя, но спустя несколько дней выяснилось, что на это место по совету того же Д'Аламбера взят другой.

...воскликнул, как Паскаль... — Виньи цитирует (с некоторыми неточностями) текст так называемого «Мемориала», записанного Блезом Паскалем 23 (а не 25, как у Виньи) ноября 1654 г. и найденного после смерти философа зашитым в подкладке его камзола.

С. 246. «Бармакиды» (1778) — трагедия писателя и критика Жана Франсуа Лагарпа (см. примеч. к с. 226), не имевшая успеха. Мстя Жильберу за язвительные упоминания в сатирах, Лагарп в своей «Литературной переписке» (1801 и 1806, письмо 138) дал поэту весьма неприязненную характеристику.

...Бюффон в своих манжетах... — См. примеч. к с. 215.

С. 248. Буше Франсуа (1703—1770), Грез Жан Батист (1725—1805) — художники; первый был создателем картин на мифологические и эротические сюжеты, второй — автор сентиментально-назидательных полотен из жизни буржуа, преимущественно — портретов.

С. 251 ...королю прусскому... гостеприимство, оказанное вашим Поэтам? — Имеется в виду Фридрих II (1712—1786), у которого в 1750—1753 гг. гостил в Берлине и Потсдаме Вольтер. Из-за издания неугодной королю брошюры Вольтер впал в немилость и вынужден был покинуть Пруссию.

...поколотишь этого субъекта палкой. — Этот эпизод относится к более раннему периоду жизни Вольтера: таким образом в 1726 г. шевалье де Роган отомстил поэту за нелестные высказывания в свой адрес.

Фонтенуа — деревня на территории современной Бельгии, близ которой в 1745 г. французские войска победили англичан и голландцев в ходе войны за австрийское наследство.

С. 252 ...двор... не так глуп... — продолжение цитаты из «Ученых женщин» Мольера (акт IV, явл. 3).

С. 255. На жизненном пиру я обойденный гость... — Строка из «Оды, написанной в подражание нескольким псалмам», созданной Жильбером за несколько дней до смерти.

С. 256. Проклятье тем, кто дал мне жизнь... — Строки из стихотворения Жильбера «Жалобы несчастного» (1771).

...какого-то ключа... Я знал, где он находится. — В предисловии Нодье, на которое опирался Виньи, рассказано, как Жильбер ускорил свою смерть, проглотив ключ от шкатулки; сделал он это, по-видимому, в припадке безумия — то ли для того, чтобы его рукописи никому не достались, то ли потому, что принял за ключ от ненавистой Академии. Предание о проглоченном ключе восходит к описанию смерти Жильбера в «Литературной переписке» Лагарпа.

С. 259. Памела и Кларисса — добродетельные героини одноименных романов С. Ричардсона (см. примеч. к с. 200). Офелия и Миранда — героини пьес Шекспира «Гамлет» и «Буря».

С. 260. Троншен Теодор (1709—1781) — швейцарский врач, в 1760—1770-х гг. живший в Париже и пользовавшийся там большой

популярностью; действует в комедии Виньи «Отделалась легким испугом» (1833).

С. 262 *...вашим Пантеоном... откуда дважды выбрасывали на улицу святую Женевьеву...* — Речь идет о соборе Святой Женевьевы в Париже, построенном в 1764—1789 гг. Дважды (в 1791—1806 и в 1830—1851 гг.) этот собор превращали в светский памятник архитектуры — Пантеон, или усыпальницу великих людей Франции (в третий раз, уже окончательно, собор превратился в Пантеон в 1885 г.). *Аттила* (?—453), предводитель гуннов, в 451 г. отступил со своей армией от Парижа; если верить легенде, это произошло благодаря молитвам святой Женевьевы.

С. 265. *Он пел, как Оссиан.* — Шотландский писатель Джеймс Макферсон (1736—1796) выпустил в 1765 г. «Поэмы Оссиана», выдав их за подлинные песни легендарного воина и барда III в. Поэмы Оссиана оказали огромное влияние на предромантическую и романтическую литературу и породили множество подражаний, среди которых и «средневековые» поэмы Чаттертона.

Святой *Тургот* — советник шотландского короля Малькольма III, священник, умер в 1115 г., то есть столетием позже, чем сказано у Виньи; автор «Жизни короля Малькольма» и «Истории Дэхемского монастыря».

Гарольд II (ок. 1022—1066) — английский король в 1066 г.; был побежден в битве при Гастингсе (1066) нормандским герцогом Вильгельмом Завоевателем (1027 или 1028—1087), получившим в результате этого сражения английскую корону.

С. 266. *Лорд Четхем* — граф Уильям Питт Старший (1708—1778), премьер-министр Великобритании в 1766—1768 гг., видный английский государственный деятель.

Лорд Фредерик Норт (1732—1793) — премьер-министр Великобритании в 1770—1782 гг.

Сэр Уильям Дрейпер (1721—1787) — английский генерал и литератор.

Блекстоун Уильям (1723—1780) — английский юрист.

С. 268. *Том Джонс* — герой авантюрно-воспитательного романа Генри Филдинга «История Тома Джонса, найденыша» (1749).

Демокрит (V—IV в. до н. э.) и *Гераклит* (кон. VI — нач. V в. до н. э.) — древнегреческие философы; по преданию, первый из них смеялся над людским безумием, а второй его оплакивал.

С. 271. *Шарлемань* (Charlemagne, от лат. Carolus Magnus) — Карл Великий (742—814), франкский король с 768 г., император с 800 г.

С. 272 *...достойные пастушков с берегов Линьона.* — На берегах реки Линьон происходит действие пасторального романа Оноре д'Юрфе «Астрея» (1607—1628).

Вильям Мальмсберийский (XI—XII вв.) — библиотекарь монастыря в Мальмсбери, автор «Деяний английских королей» и «Новейшей истории Англии» — истории Британии с 1066 по 1143 г.

С. 273. *Уортон* Томас (1728—1790) — английский поэт и критик, автор «Истории английской литературы» (с XI в.) и исследования о подлинности стихов Чаттертона, приписанных Раули.

Робер Вас (ум. после 1174) — нормандский поэт, живший во Франции, автор исторических хроник, написанных восьмисложным стихом на народном романском языке.

Стау Джон (1525—1605) — английский историк, автор исследований, посвященных древним английским хроникам.

«*Айвенго*» (1819) — исторический роман В. Скотта, посвященный борьбе саксов и норманнов в Англии в XII в.

С. 274. *Ланкастеры, Йорки* — две ветви династии Плантагенетов, которые вели междоусобную войну Алой и Белой Розы в Англии в 1455—1485 гг.

С. 276. *Фруассар* Жан (ок. 1337 — после 1404) — французский историк и поэт, автор хроники, отразившей события Столетней войны между Францией и Англией (1337—1453).

Герцог Графтон — Август Генри Фицрой (1735—1811), английский государственный деятель, член партии вигов, соратник Питта.

Граф Мэнсфилд — Уильям Меррей (1705—1793) — английский государственный деятель, представитель партии тори, противник Питта.

Юnius — псевдоним автора «Политических писем» (1769—1772), направленных против лорда Норта; авторство этих писем точно не установлено; предположительно их сочинил секретарь Питта Старшего Ф. Френсис.

«*Подражание Иисусу Христу*» — религиозное сочинение XV в., приписываемое Фоме Кемпийскому.

Имя Гомера... перечеркнуто неким греческим господином. — Виный имел в виду Константина Вьолиадеса, опубликовавшего в 1830 г. в газете «Глоб» заметки о Гомере. Мысль о том, что «Илиада» и «Одиссея» — коллективные творения многих сказителей, была высказана в начале XVIII в. итальянским философом Д. Вико, а затем развита и углублена немецкими филологами конца XVIII — начала XIX в.

С. 279. *Литтлтон* Джордж (1709—1773) — английский политический деятель, в юности и под старость сочинявший стихи; *Свифт* Джонатан (1667—1745) — английский писатель и политический деятель; *Уилкс* Джон (1727—1797) — английский политический деятель, литератор; ни Свифт, ни Уилкс стихов не сочиняли.

...*речи ...генеральчиков...* — Имеется в виду маршал Никола Жан де Дье Сульт (1769—1851); он отличался поразительной беспринципностью и служил тому, кто в данный момент находился у власти: при Империи — Наполеону, при Реставрации — Бурбонам, при Июльской монархии — Луи Филиппу; в 1831 г. Сульт был военным министром.

С. 281. «*Фантазии! О откровенья Неба!*» — Корнель П. Польевкт (1641), акт IV, явл. 3.

...заставлять камни танцевать... — Намек на греческий миф об Амфионе, который возвел стены Фив, играя на флейте и лире.

Джонсон Бенджамин (1572—1637) — английский комедиограф, пользовался огромной известностью, но умер в бедности.

С. 282. *Святой Сократ... ученый Эразм...* — Эразм Роттердамский (1469—1536), гуманист эпохи Возрождения, был врагом религиозного фанатизма, поэтому вместо христианского бога он вызывает к античному мудрецу Сократу.

С. 288 ...*навьюченных на бедного осла хозяином... своим врагом...* — Реминисценция из басни Лафонтена «Старик и осел» (Басни, VI, 8).

С. 290. *Годвин* Уильям (1756—1836) — английский писатель и публицист; *Фолкленд* — герой его романа «Приключения Калеба Вильямса» (1794).

С. 293. *Децемвиры* — в Древнем Риме правительственная коллегия, состоявшая из десяти человек; в данном случае — Робеспьер, Кутон и Сен-Жюст, возглавлявшие Комитет общественного спасения в апреле — июле 1794 г.

Жирондисты — представители торгово-промышленной и земледельческой буржуазии, выступавшие против дальнейшего развития революции; вожди этой партии были казнены в конце октября 1793 г.

Эбертисты — «бешеные», ультраревOLUTIONеры, последователи Жака Рене Эбера (1757—1794), требовавшие усиления революционного террора и полного отказа от всех форм религии; в этом они расходились с Робеспьером, основоположником культа Верховного существа (см. примеч. к с. 223); эбертисты были казнены в марте 1794 г.

Дантон Жорж Жак (1759—1794) и его последователи, выступавшие за ослабление революционного террора, были казнены в апреле 1794 г.

С. 299. *Гора, Болото* — названия политических партий (по местам, которые занимали их представители в Учредительном собрании).

Верньо Пьер Виктюрньен (1753—1793) — один из вождей жирондистов.

С. 300. *5 термидора* — 23 июля 1794 г.

Площадь Революции — до революции она именовалась площадью Людовика XV; в 1792 г. стоявшую на ней статую Людовика XV расплавили, а на ее место поставили гигантскую статую Свободы. Ныне эта площадь носит название площади Согласия.

Пять футов девять дюймов — около 1 метра 90 см.

С. 304. *Младший сейчас представитель народа...* — Речь идет о Мари Жозефе Шенье (1764—1811) — члене Якобинского клуба и Конвента, авторе трагедий «Карл IX, или Школа королей» (1788, пост. 1789) и др., пользовавшихся в начале революции большой популярностью.

С. 305 ...*письмо Людовика XVI к Конвенту.* — В этом письме Андре Шенье от имени Людовика XVI просил Конвент вынести вопрос о смертной казни короля на всенародное голосование.

Во время процесса над королем письмо Шенье использовано не было.

Органическая эпоха — сен-симонистский термин; сен-симонисты различали органические эпохи, когда общество живет по традиции, и эпохи критические, когда все установления пересматриваются и обновляются.

С. 308 ...*ты, в отличие от жирондистов, не федералист.* — Революционные федералистские комитеты были созданы в разных департаментах Франции в мае 1793 г., дабы воспрепятствовать возможному установлению диктатуры Парижа над всей Францией. После выведения жирондистов из состава Конвента (2 июня 1793 г.) в разных концах страны началось федералистское восстание, которое было окончательно подавлено Конвентом лишь к концу 1793 г.

«*Вязальщицами*» называли в годы революции женщин из народа, которые присутствовали на заседаниях Конвента и революционных трибуналов; они одобрительно выслушивали все приговоры, не переставая вязать.

С. 309. *Святая Варвара* считалась покровительницей артиллеристов.

С. 310. *Григорий Турский* (ок. 538 — ок. 594) — религиозный и государственный деятель, епископ Турский с 573 г., автор многотомной «Истории франков».

С. 313. *Ламбаль* Мария Тереза де Савуа-Кариньян, *принцесса де* (1749—1792) — подруга Марии Антуанетты, убитая в сентябре 1792 г.; голову ее, посаженную на пику, выставили под окном королевы.

Герцогиня де Сент-Эньян — реальное лицо; с ней была знакома мать Виньи. Герцогиня в самом деле была в тюрьме Сен-Лазар одновременно с Шенье; беременность ее, вероятно, — вымысел Виньи.

С. 318. *Риккобони* (урожд. Лабора де Мезьер) Мария Жанна (1714—1792) — писательница; автор сентиментально-авантюрных романов.

С. 320. *Людовик XVII* (1785—1795) — второй сын Людовика XVI и Марии Антуанетты, провозглашенный королем в эмигрантских кругах после казни Людовика XVI (январь 1793 г.); умер при невыясненных обстоятельствах, что способствовало появлению многочисленных самозванцев.

С. 323. *Де Панж* Франсуа (1764—1796) — друг детства А. Шенье и адресат многих его стихотворений; публицист.

С. 326 ...*оба молодых Трюдена...* — Братья Трюден, сыновья генерального интенданта финансов, члена Академии наук Ж. Ш. Ф. Трюдена де Монтиньи (1733—1777) были друзьями детства А. Шенье и адресатами его стихов (ср. упоминание о них в «Исповеди Никола», с. 211). Казнены одновременно с Шенье.

Вержен Шарль Гравье, граф де — политический деятель, дипломат, министр иностранных дел в царствование Людовика XVI; в 1794 г. ему в самом деле исполнилось бы семьдесят шесть или даже семьдесят семь лет (он родился в 1717 г.), однако он умер в 1787 г., не дожив до революции.

Совсем юная девушка... — На самом деле мадемуазель де Куаньи было в это время 25 лет; в 1793 г. она развелась с мужем, за которого вышла 8 лет назад. Виньи строит образ мадемуазель де Куаньи, основываясь на стихотворении Шенье «Юная узница»; в реальности чувства Шенье к этой молодой женщине были, возможно, не столь возвышенны.

С. 332 *...явились к моему другу арестовывать его.* — Шенье был арестован случайно, в доме маркиза де Пасторе, как подозрительное лицо.

С. 334. *Берк* Эдмунд (1730—1797) — автор памфлета «Размышления о французской революции» (1790); Шенье, в ту пору еще приветствовавший революционные события, полемизировал с ним в статье «Размышления о духе партий» (1791).

С. 343. *Герцог Йоркский* (1763—1827) — второй сын английского короля Георга III, командовал войсками антифранцузской коалиции, сражавшимися в 1793—1794 гг. против армии революционной Франции.

Питт Уильям Младший (1759—1806) — премьер-министр Великобритании в 1783—1801 гг., один из руководителей антиреволюционной коалиции.

Веррес (ок. 119—43 до н. э.) — наместник Сицилии в 73—71 гг. до н. э.; по жалобам сицилийцев Цицерон в 70 г. до н. э. обвинил его в вымогательстве; Веррес признал себя побежденным и удалился в добровольное изгнание.

Катилина (ок. 108—62 до н. э.) — римский политический деятель, организатор заговора для насильственного захвата власти, который был раскрыт Цицероном.

Ронсен Филипп и *Шометт* Пьер — эбертисты, казненные 24 марта 1794 г.

С. 344. *Катрин Тео* (1725?—1794) — «ясновидица», объявившая Робеспьера, введшего культ Верховного существа, новым мессией, что ускорило его падение.

Бриссотинцы — жирондисты, соратники Жака Пьера Бриссо де Варвиля (1754—1793).

Теории Шометта и Фуше — имеется в виду полный отказ от христианства и поклонение Разуму.

С. 344—345 *...не желаете военной диктатуры... и они оказались пророческими...* — Робеспьер зимой — весной 1792 г. в Якобинском клубе выступал против войны, считая ее преждевременной и предупреждал об опасностях, которыми грозит военная диктатура, тем самым «предсказав» появление Наполеона и переворот 18 брюмера.

С. 346. *Это проект законодательства, составленный Сен-Жюстом...* — Виньи цитирует фрагменты «Республиканских установле-

ний» Сен-Жюста, найденные в бумагах Робеспьера и опубликованные в 1800 г.

Алексис — имя, почерпнутое из пасторального романа «Астрея» (см. примеч. к с. 272); под этим именем главный герой романа пастух Селадон предстает перед своей возлюбленной, пастушкой Астрейей.

С. 349 *...пусть лучше погибнет целый мир, чем принцип.* — Парафраза слов, произнесенных Робеспьером или, по другой версии, А. Барнавом в мае 1791 г., когда обсуждался вопрос о необходимости продолжать использовать в колониях рабский труд. Робеспьер выступал за освобождение негров-рабов.

«...искупительная кровавая жертва» — Здесь Виньи впервые упоминает философскую концепцию Жозефа де Местра (1753—1821), чьи идеи подробно характеризует и оспаривает в следующей главе романа.

С. 350. *Ориген* (ок. 185—253 или 254) — христианский теолог и философ, создатель учения о неизбежности полного «спасения» всех душ и духов, включая дьявола, как бы независимо от их воли. Виньи называет его *добровольным Абельяром*, поскольку в припадке религиозного рвения этот богослов кастрировал себя; французского же философа Пьера Абельяра (1079—1142) этой мучительной операции подверг дядя его возлюбленной Элоизы, каноник Фульбер.

Афанасий Александрийский (295—373) и *Иоанн Златоуст* (ок. 349—407) — христианские теологи; учение Оригена поддерживали также Василий Великий, Григорий Назианзин и Григорий Нисский.

Святой Иероним (ок. 347—420) — христианский теолог, один из отцов церкви; против Оригена выступали также Анастасий I (папа римский в 399—401 гг.) и Святой Епифаний; *император* Восточной римской империи *Юстиниан* (482—565) в эдикте 543 г. объявил Оригена еретиком.

С. 352. *О сентябрьской резне* см. примеч. к с. 121.

Клеман Жак (1567—1589) — монах-доминиканец, убийца французского короля Генриха III.

Равальяк Франсуа (1578—1610) — убийца французского короля Генриха IV.

Нувель Луи Пьер (1783—1820) — шорник, убийца наследника престола герцога Беррийского.

Дез Адре Франсуа де Бомон (1513—1586) — протестант, вначале свирепо истреблявший католиков, а затем перешедший в католичество и принявшийся так же свирепо расправляться с бывшими единоверцами.

Монлюк Блез де (1502—1577) — маршал Франции, по прозвищу «королевский мясник», известный зверской жестокостью по отношению к протестантам.

Шнейдер Элож (1756—1794) — монах-расстрига, во время Революции общественный обвинитель, отличавшийся большой

жестокостью, за злоупотребление властью казнен по приказу Сен-Жюста.

С. 353. «Гай Гракх» (1792) — революционная трагедия М. Ж. Шенье, прославляющая равенство; несмотря на это, была запрещена по подозрению в излишней умеренности; «Тимолеон» (1794) — его трагедия, не поставленная по той же причине.

С. 355. *Тальен, Куртуа...* — Перечислены противники Робеспьера, вдохновители термидорианского переворота 1794 г.

«Фенелон» (1793) — трагедия М. Ж. Шенье, запрещенная вскоре после постановки за проповедь клерикальных идей.

Гражданка Вестрис — Мари Роза, урожд. Гурго-Дюгазон (1746—1804) — трагическая актриса, играла в трагедиях М. Ж. Шенье «Карл IX» и «Генрих VIII» (1791).

С. 357 *...ты был воином...* — М. Ж. Шенье в юности служил два года в драгунском полку.

С. 358 *...ты тоже некогда любил эти розочки...* — В родном Аррасе Робеспьер входил в поэтическое общество «Розати», члены которого сочиняли эротические и вакхические стихи.

Похвальное слово Грессе Робеспьер написал в 1785 г. (тема была предложена Амьенской академией).

«*Вер-Вер*» — шутливая поэма о монахинях и попугае поэта Луи Грессе (1709—1777).

С. 360. *Аман, Мардохей* — персонажи трагедии Расина «Есфирь» (см. примеч. к с. 84).

С. 361. «*Великие люди не умирают в своей постели...*» — Виньи приводит подлинные слова Сен-Жюста из «Фрагментов республиканских установлений».

Это был господин де Шенье... — Визит Шенье-отца к Робеспьеру — вымысел Виньи; на самом деле, если верить семейному преданию, Луи де Шенье обращался с аналогичной просьбой к Б. Бареру де Вьезаку (1755—1841), участнику термидорианского переворота.

С. 366. *Мина Робеспьера... из Ратуши... контрмина Тальена* — из *Тюильри*. — В ратуше заседала Парижская коммуна (революционное правительство Парижа в 1789—1795 гг.), которая поддерживала Робеспьера; во дворце Тюильри, или Национальном дворце, с 1793 г. заседал Конвент, который в июле 1794 г. был настроен против Робеспьера.

С. 368 *...статуя Свободы и гильотина.* — Виньи перенес место казни Андре Шенье на площадь Революции; исторического Шенье казнили у заставы Венсан, не ночью, а в шесть часов вечера.

С. 369 *...налагая на приговор свое... «вето»...* — В действительности попыток воспротивиться казни Шенье не было.

С. 371 *...то, что в ней было...* — В предисловии Латуша приведены последние слова Шенье, сказанные им поэту Руше, когда их обоих везли на казнь; показав на свою голову, Шенье сказал:

«А ведь здесь что-то было». Пушкин процитировал эту фразу в примечаниях к стихотворению «Андрей Шенье».

С. 374. *«Каин, где Авель, брат твой?»* — После термидорианского переворота публицист и историк Ж. Ф. Мишо почти каждый день печатал под тем или иным предлогом в роялистской газете «Котидьен» эту фразу, намекая на историю братьев Шенье. М. Ж. Шенье ответил на обвинения стихотворением «Речь о клевете» (1795).

С. 376. *Анрио* Франсуа (1761—1794) — командующий парижской Национальной гвардией в 1793—1794 гг.

С. 379. *Октавиан* Август (63 до н. э. — 14 н. э.) — римский император с 27 г. до н. э.; сосредоточив власть в своих руках, первоначально сохранил традиционные республиканские учреждения.

С. 380. *Коффиналь* Жан Батист (1754—1794) — вице-председатель революционного трибунала, сторонник Робеспьера; предание о том, что он выбросил Анрио в окно, поскольку был крайне раздражен его бездеятельностью и пьянством, документально не подтверждено.

...его брат бросился прямо на штыки... — Младший брат Робеспьера Огюстен Бон Жозеф (1764—1794) был представителем Конвента в южной армии.

Леба Франсуа Жозеф (1765—1794) — деятель Французской революции, соратник Робеспьера.

С. 382. *Вечная слава тому Афинянину...* — Виньи имеет в виду эпизод из биографии афинского полководца Аристиды (ок. 540 — ок. 467 до н. э.), изложенный в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха («Аристид», VII); Аристиды подвергли остракизму (изгнанию на десять лет) якобы из страха перед тиранией, а на самом деле из зависти, причем один из крестьян, высказавшийся за изгнание, сказал, что не знает Аристиду, но ему надоело слышать, как того называют «Справедливым» и хвалят за это.

С. 385. *Поль... Виргиния... Вертер... Ромео... Де Грие...* — Перечислены персонажи повести Ж. А. Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» (1787), романа И. В. Гете «Страдания молодого Вертера» (1774), трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» (1594) и повести аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731).

С. 386 *...книге в шестой «Государства»...* — Ошибка Виньи или опечатка (по-французски six вместо dix); приведенные слова взяты из десятой книги диалога Платона «Государство».

...старик Гомер... спал... — Реминисценция из «Искусства поэзии» Горация (строки 359—360): «Но рассержусь, когда задремать случится Гомеру — Хоть и не грех ненадолго соснуть в столь длинной поэме» (перевод М. Л. Гаспарова); Гораций упрекает Гомера за то, что и тот иногда пишет скучно.

...музей Карла X... великолепная роспись потолка... — Имеется в виду плафон «Апофеоз Гомера» (1827) Энгра в Лувре. Виньи интерпретирует роспись Энгра очень субъективно; на самом деле

Гомер там — не нищий старик, а поэты, окружающие его, вовсе не выглядят столь несчастными.

С. 387. *Торквато Тассо* (1544—1595) в 1579—1586 гг. находился в Ферраре на излечении в лечебнице для душевнобольных. Монтень (Опыты, II, XII) отозвался о Тассо вовсе не презрительно; он видит в судьбе итальянского поэта пример того, что «глубочайшие умы бывают разрушены своей собственной силой и тонкостью», и добавляет, что «ощутил скорее горечь, чем сострадание», увидев Тассо «в столь жалком состоянии».

Камонс Луиш ди (1524 или 1525—1580) — португальский поэт, жизнь которого была цепью невзгод и лишений; многие годы он провел в ссылке; а под старость жил на милостыню, которую собирал для него его слуга Антонио.

С. 388. *Лесаж* Ален Рене (1668—1747) — романист и драматург; умер в городке Булонь-сюр-мер, куда удалился с женой и дочерью после смерти старшего сына, актера; свидетельств о том, что Лесаж провел конец жизни в нищете, нет.

Пьер *Корнель* в старости жил бедно, но нет оснований считать, что Расин за него заступался.

Драйден Джон (1631—1700) — английский поэт и драматург; в царствование Стюартов находился на вершине славы, а после буржуазной революции 1688—1689 гг. впадал в безвестность и нищету.

Спенсер Эдмунд (1553—1599) — английский поэт; королева Елизавета предоставила ему конфискованный участок земли в Ирландии, и одиннадцать лет он спокойно прожил там, но затем землю вернули прежнему владельцу. Спенсер вынужден был бежать отсюда и потерял при этом окончание своей аллегорической поэмы «Королева фей»; Розалинда — возлюбленная Спенсера, прославленная в «Календаре пастуха» (1579) — цикле из двенадцати эклог.

Вондел Йост ван ден (1587—1679) — голландский драматург, последние годы жизни зарабатывал на хлеб службой в амстердамском ломбарде.

Самюэль Руайе упомянут в списке поэтов, умерших голодной смертью, который приведен в поэме Шарля Кольне «Искусство обеда» (1813).

Батлер Сэмюэл (1612—1680) — английский поэт, автор ироикомической поэмы «Гудибрас» (1663—1678), направленной против религиозного фанатизма.

Флайе Сайденхем (1710—1787) — английский переводчик Платона; за долги был посажен в тюрьму и вскоре умер.

Рашворт Джон (1612—1690) — английский политический деятель, член парламента при Кромвелле, при Реставрации утратил свои позиции и провел последние годы жизни в тюрьме; Рашворт не был поэтом, его единственный печатный труд — многотомный сборник, посвященный тайной истории Англии и английского парламента в XVII в.

Жан-Жак Руссо скорее всего умер своей смертью; легенда о его самоубийстве была принята на веру в конце XVIII — начале XIX в.

Мальфилатр Жак Шарль Луи де Кленшан де (1733—1767) — поэт, чья ранняя смерть обросла легендами, как и смерть Жильбера; как и Жильбер, Мальфилатр в действительности скончался от болезней, а не от нищеты. Цитируемые у Виньи слова Жильбера взяты из сатиры «XVIII век».

С. 390. *Способность... Собственность...* — см. примеч. к с. 235.

«Это место под солнцем — мое»... — эта и две следующие цитаты взяты из «Мыслей» Паскаля (295, 319 и 320 по классификации Бруншвига).

С. 392 *...белый флаг обозначал «хартию»...* — Конституционная хартия — документ, принятый Людовиком XVIII в июне 1814 г. и устанавливавший во Франции конституционную монархию; хартия строилась на компромиссе между завоеваниями Революции и Империи, с одной стороны, и старинными монархическими традициями, с другой; среди последних было и признание в качестве государственного флага белого знамени. Трехцветное знамя появилось во Франции в 1789 г. (красный и синий — цвета знамени Парижа, а белый — цвет монархии, еще не окончательно утратившей свой авторитет); национальными эти три цвета оставались до 1814 г., а затем их вновь ввел в 1830 г. Луи Филипп, чье царствование также было конституционной монархией. Называя трехцветное знамя Луи Филиппа «побелевшим», Виньи имеет в виду олигархический характер нового государственного строя.

С. 393. *Как в Лионе...* — Имеется в виду восстание лионских ткачей в октябре 1831 г.

...стихи великого поэта... — Виньи цитирует трагедию П. Корнеля «Серторий» (д. III, явл. I).

Гвельфы, гибеллины — политические партии в средневековой Италии. Гвельфы поддерживали власть пап, гибеллины — власть императора. В родном городе Данте Флоренции в XIV в. гвельфы разделились на «черных» (феодалы) и «белых» (богатые горожане); Данте принадлежал к «белым» гвельфам, и когда к власти пришли «черные», был навсегда изгнан из Флоренции.

С. 400. *«Почему?» и «Как жаль!»* — В феврале 1837 г. Виньи записал в дневник: «Стелло, сострадание, вечное „как жаль!“, Черный Доктор, презрение, вечное „почему?“».

В. А. Мильчина

СОДЕРЖАНИЕ

В. А. Мильчина.

УРОКИ ТРЕХ РОМАНОВ

5

Ф. МОРИАК.

ЖИЗНЬ ЖАНА РАСИНА.

Пер. В. А. Мильчиной

17

Ж. ДЕ НЕРВАЛЬ.

ИСПОВЕДЬ НИКОЛА.

Пер. О. Э. Гринберг

111

А. ДЕ ВИНЬИ.

СТЕЛЛО, ИЛИ СИНИЕ ДЕМОНЫ.

Пер. И. И. Кузнецовой

229

ПРИМЕЧАНИЯ

402

Франсуа Мориак
ЖИЗНЬ ЖАНА РАСИНА
Жерар де Нерваль
ИСПОВЕДЬ НИКОЛА
Альфред де Виньи
СТЕЛЛО, ИЛИ СИНИЕ ДЕМОНЫ

Зав. редакцией Т. В. Громова
Редактор Е. Л. Новицкая
Художественный редактор В. В. Ситников
Технический редактор Н. И. Аврутич
Корректор Л. В. Петрова

Сдано в набор 15.09.87. Подписано к печати 14.12.87. Формат 84X108^{1/32}.
Бум. тип. № 2. Гарнитура Тип Таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 23,52.
Усл. кр.-отт. 23,52. Уч.-изд. л. 26,59. Тираж 100 000 экз. Изд. № 4686.
Заказ 7—2729. Цена 2 р. 30 к.

Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького, 50.

Главное предприятие республиканского
производственного объединения «Полиграфкнига»,
252057, Киев-57, ул. Довженко, 3.

Мориак Ф.

М79 Жизнь Жана Расина; Нерваль Ж. де. Исповедь Никола; Виньи А. де. Стелло, или Синие демоны / Пер. с фр. — М.: Книга, 1988. — 444 с.

В сборник вошли художественные жизнеописания великого французского драматурга XVII в. Жана Расина и знаменитого романиста и философа XVIII в. Никола Ретифа де Ла Бретонна.

История Расина, воссозданная одним из крупнейших мастеров психологической прозы Ф. Мориаком, — это история страстной, сложной натуры. В романе «Исповедь Никола» Ж. де Нерваль представляет жизненный и творческий путь личности талантливой, яркой и даже эксцентрической.

Роман А. де Виньи «Стелло, или Синие демоны» — это биографии-притчи, биографии-легенды трех литераторов (Н. Жильбера, Т. Чаттертона и А. Шенье).

М $\frac{470300000-003}{002(01)-88}$ 66—88